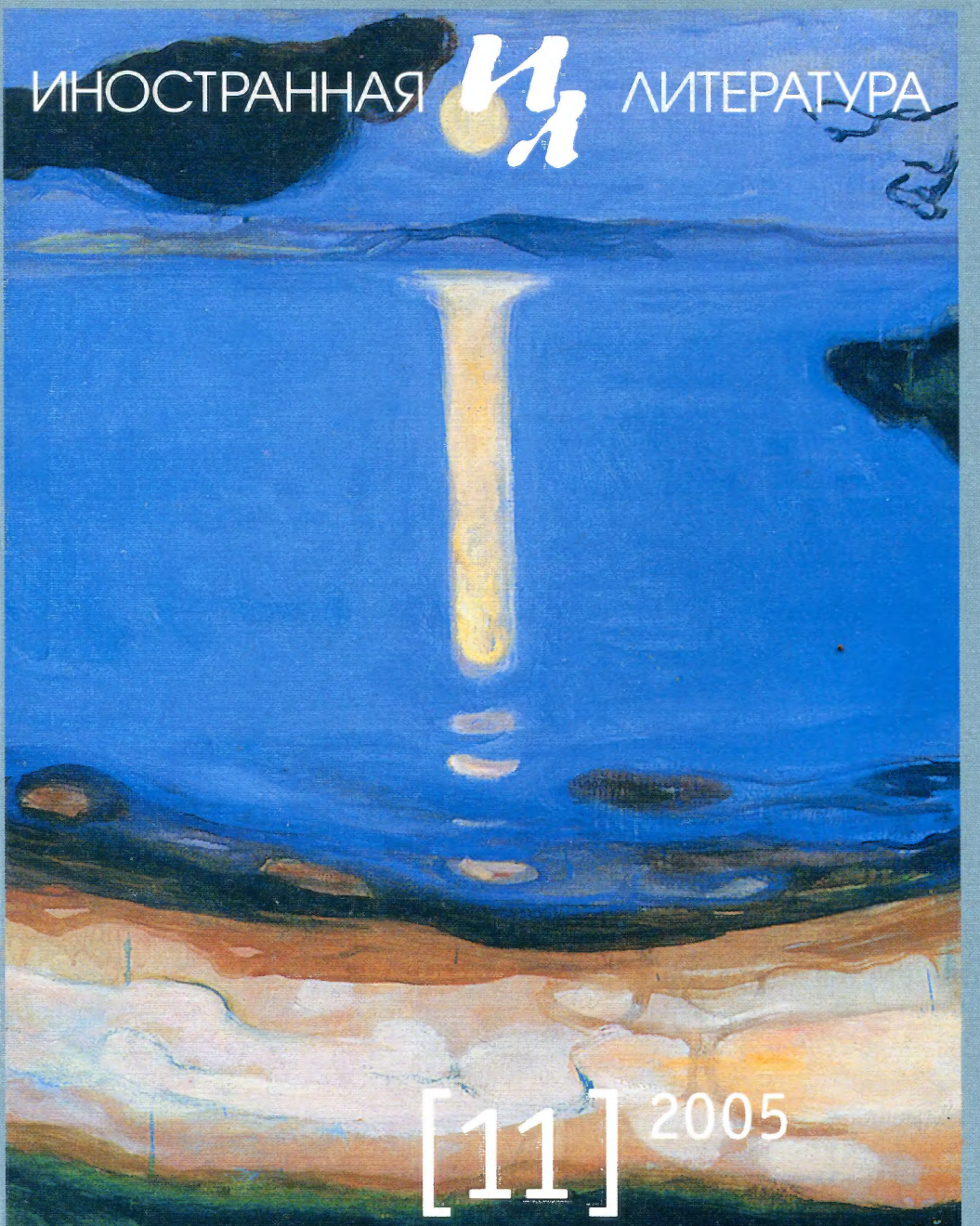
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2005

НОРВЕЖСКИЙ ЛАНДШАФТ: РОМАН ЭРЛЕНДА ЛУ "ДОППЛЕР" / СТИХИ СТЕЙНА МЕРЕНА И ЮНА ФОССЕ / "АНТОЛОГИЯ НОВЕЛЛЫ": ХЬЕЛЛЬ АСКИЛЬДСЕН, ЮХАН БОРГЕН, ТАРЬЕЙ ВЕСОС / ФРИТЬОФ НАНСЕН И КНУТ ГАМСУН В РУБРИКЕ "ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА. XX ВЕК" / ЭССЕ ДАГА СУЛЬСТАДА И ЯНА ХЬЯРСТАДА

Основан в 1891 году

Журнал “Иностранная литература” и составители номера, Ольга Дробот и Антон Нестеров, выражают огромную признательность за помощь и поддержку МИД Норвегии, агентству NORLA и всем его сотрудникам и посольству Королевства Норвегии в России.

NORLA

(Центр содействия продвижению норвежской художественной и научно-популярной литературы за рубежом)

NORLA – это норвежское государственное некоммерческое информационное агентство. Оно распространяет за пределами страны информацию о норвежской литературе и норвежских писателях,

[11]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2005

Ежемесячный литературно-художественный журнал

НОРВЕЖСКИЙ ЛАНДШАФТ

Специальный номер, посвященный 100-летию государственной независимости Норвегии

3 Ойвинд Нордслеттен, посол Норвегии в России *К российскому читателю*

6 Эрленд Лу *Допплер.* Роман. Перевод Ольги Дробот

"Тринадцатое созвездие"

79 *Стихи* Стейна Мерена, Поль-Хельге Хаугена, Юна Фоссе, Туне Хёднебё. Перевод Антона Нестерова, Анны Турунтаевой. Вступление Антона Нестерова

Антология новеллы "Игра света"

101 Вступление Ольги Дробот

102 Тарьей Весос *Недотепа.* Перевод Л. Горлиной

115 Юхан Борген *Три притчи и рассказ.* Перевод Норы Киямовой

122 Йенс Бьёрнебу *Как мы с профессором Арне Нэссом напали на НАТО. История одной мирной акции в Норвегии.* Перевод Т. Шенявской

126 Хьелль Аскильдсен *Соломенная шляпа.* Перевод Л. Горлиной

132 Бьёрг Вик *Сквозь лед.* Перевод О. Вронской

143 Хьяртан Флёгстад *Дорога на запад.* Перевод Т. Шенявской

148 Ханс Хербьёрнсрюд *Юханнес Хёуге, 63 года, крестьянин.* Перевод Екатерины Чевкиной

168 Фруде Грюттен *Принцесса Бурунди.* Перевод А. Афиногеновой

176 Юн Фоссе *Я не мог тебе сказать.* Перевод В. Дьяконовой

179 Рой Якобсен *Правая рука.* Перевод Екатерины Чевкиной

186 Юнни Берг *Игра света.* Перевод Н. Федоровой

191 Беата Гримсрюд *День рождения.* Перевод Елены Рачинской

194 Бьярте Брейтейг *Стокгольм.* Перевод Екатерины Чевкиной

201 Фритьоф Нансен *Беженцы.* Перевод Т. Шенявской

История и литература. XX век

205 Пер Эгиль Хегге *Бедствие в России.* Из книги *Фритьоф Нансен – только одно желание.* Перевод Светланы Карпушиной

221 Ингар Слеттен Коллоэн *Неизбежное крушение?* Перевод Н. Федоровой

231 Кнут Гамсун *Публицистика 1935–1944 годов.* Перевод Н. Федоровой

239 Гейр Поллен *Несколько слов о норвежской литературе.* Перевод Елены Рачинской

Писатель и общество: норвежский вариант

247 Даг Сульстад *Рассказ учителя гимназии Педерсена о великом политическом пробуждении, которого сподобилась наша страна.* Фрагмент романа. Перевод Елены Рачинской

252 Ян Хьярстад *Лжешь ты, Пер!* Перевод с английского Антона Нестерова

259 Нина Витошек *Христиане и модернизаторы: "пасторальное Просвещение" в Норвегии. Изобретение нации.* Перевод с английского Антона Нестерова

Библиография

270 *Норвежская литература на страницах "ИЛ"*

272 *Норвежская художественная литература в России.* Список книжных изданий 1994–2004 годов. Составил Б. Ерхов

Авторы номера 282

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ойвинд Нордслеттен

Посол Норвегии в России

К *российскому читателю*

Я очень рад, что журнал "Иностранная литература" в этот особенный для Норвегии год познакомит российского читателя с широким кругом норвежских писателей. В 2005 году Норвегия отмечает столетие независимости, а также столетие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

Россия и Норвегия соседствуют уже тысячу лет и никогда не воевали друг с другом. Отношения между нами сегодня лучше и содержательнее, чем раньше. Наши политические лидеры часто встречаются, и с каждым годом увеличивается число россиян, желающих своими глазами увидеть норвежские города и фьорды. Все больше норвежцев приезжают в Россию. Торговля между нашими странами постоянно растет.

В развитии контактов важную роль играет и литература. Писатели — это лучшие дипломаты для страны; при этом я говорю не только о замечательных русских писателях, бывших также и дипломатами, — таких, как Грибоедов и Тютчев. Благодаря литературе мы знакомимся с культурой друг друга, образом жизни и мыслей.

Позвольте мне прежде всего вкратце рассказать о событиях, которые привели нашу страну к независимости в 1905 году. В 1380 году Норвегия попала под власть Дании. В результате наполеоновских войн Датско-Норвежская уния в 1814-м была расторгнута и создана новая, Шведско-Норвежская, уния. Однако 17 мая 1814 года в Норвегии была принята одна из наиболее либеральных для того времени конституций и был учрежден норвежский парламент. Поэтому в унии со Швецией Норвегия получила большую степень независимости. Требования самостоятельности звучали все громче к концу XIX века, и, когда Стокгольм отказался пойти навстречу желанию Норвегии создать собственную внешнеполитическую службу, разразился кризис. 7 июня 1905 года норвежский парламент объявил унию расторгнутой, и на референдуме в августе лишь 184 норвежца проголосовали против этого решения. Была объявлена военная мобилизация, однако в течение осени норвежцы и шведы договорились о мирном расторжении унии. Россия была первой страной, признавшей новое независимое государство — Норвегию.

Вторая половина XIX века стала временем расцвета норвежской музыки, изобразительного искусства и литературы. Это было

время, когда русские писатели — Достоевский, Тургенев и Толстой — заняли ведущее место в мировой литературе, а норвежцы Ибсен, Бьёрнсон и Гамсун завоевали сердца читателей во всем мире. Они нашли путь и к русскому читателю. Следом за ними в России стали популярны такие имена, как Сигрид Унсет, Сигурд Хёль и Юхан Борген.

Классики русской литературы — Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов и Булгаков — по-прежнему очень популярны в Норвегии, в том числе среди молодых читателей. В норвежских университетах нередко можно встретить студентов с томиком "Преступления и наказания" или "Мертвых душ" под мышкой, и речь идет не только о студентах-филологах. В то же время я очень рад тому, что среди норвежских читателей растет интерес к современной русской литературе. На норвежский язык, среди прочих, переведены произведения Виктора Пелевина и Бориса Акунина.

В России интерес к современной норвежской литературе в последние десять—пятнадцать лет переживает небывалый подъем. Это объясняется и тем, что появляется все больше отличных переводчиков, а также вкладом организации NORLA — своего рода "внешнеполитической службы норвежской литературы". Однако самое главное — это высокое качество самих книг.

Для этого номера "Иностранной литературы" был сделан мудрый и интересный выбор поэзии и прозы, молодых и маститых мастеров слова. Перед нами такие столпы норвежской литературы, как Юхан Борген, Даг Сульстад, Йенс Бьёрнебу, Тарьей Весос и Стейн Мерен, и молодые многообещающие писатели, например, Фруде Грюттен, Беата Гримсрюд, Туне Хёднебё и Бьярте Брейтейг. Многие из них уже издали в России свои книги и пользуются широкой известностью, например, Эрленд Лу. Здесь представлен также 46-летний Юн Фоссе, которому удалось стать самым популярным норвежским драматургом после Ибсена — по количеству постановок его пьес не только в Норвегии, но и на мировой сцене.

Столетие независимости отмечается как в Норвегии, так и в странах, являющихся нашими основными партнерами по сотрудничеству. Только в России мы организуем свыше семидесяти концертов, различные выставки и семинары. Центральным мероприятием стала совместная культурно-историческая выставка "Норвегия—Россия. Сквозь века и границы" в Санкт-Петербурге и Осло. На выставке представлена история наших добрососедских отношений: мы узнаем о королях-викингах, охотно бравших в жены русских княжон, о Фритьофе Нансене и его помощи российским беженцам и голодающим, а также о политическом, культурном и экономическом сотрудничестве в наши дни. Мы видим молодого Сергея Дягилева и узнаем, что он задолго до основания своей знаменитой балетной труппы в Париже посещал норвежских художников и организовал выставку скандинавского искусства в Санкт-Петербурге.

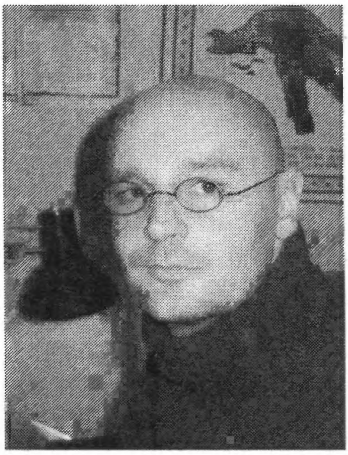
На выставке имеется также множество свидетельств тому, как высоко норвежцы и русские ценят литературу друг друга, рассказывается о личных контактах между писателями и их взаимоуважении. В то время как Достоевский служил источником вдохновения для Гамсуна, Ибсен играл такую же роль для Чехова и Белого. Среди русских переводчиков Ибсена – Анна Ахматова. Идеи Ибсена оказали сильное влияние и на общественные дебаты в России. Александр Блок писал по этому поводу: "Ибсен – знамя нашей эпохи, последний мировой писатель, так жизненно, как хлеб и вода, необходимый людям, а теперь особенно – русским людям"[1].

Отмечая столетие дипломатических отношений между Норвегией и Россией, мы можем с уверенностью сказать, что наши литературные связи гораздо старше.

Читайте и получайте удовольствие!

1. Б. А. Шайкевич. Ибсен и русская культура: Очерки. – Киев, 1974, с. 63. (*Прим. ред.*)

Эрленд Лу



Допплер

Роман

Перевод Ольги Дробот

The woods are lovely dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Robert Frost[1]

Ноябрь

Я похоронил отца.
А вчера убил лосиху.
Что тут скажешь.

Или она, или я, получалось так. Я оголодал. Честно говоря, отощал уже. В ночь на вчера я спустился в Маридален и украл с какого-то двора сено. Отомкнул своим ножиком сарай и набил полный рюкзак. Вернулся, вздремнул, а чуть развиднелось, пошел к расщелине к востоку от лагеря и разложил сено как приманку. Само место для засады я определил давно. Лег на краю расщелины и несколько часов ждал. Что лоси здесь

© J. W. Cappelens Forlag a. s., 2004
© Ольга Дробот. Перевод, 2005
Роман будет опубликован в издательстве "Азбука".

1. Под сенью леса тишина,
А дома – ждет меня жена,
А до ночлега – так длинна
Дорога, так длинна.
Роберт Фрост
Перевод А. Нестерова (Здесь и далее – прим. перев.)

водятся, я знал. Своими глазами их видел. Они даже к моей палатке както подходили. Лоси, они всегда в пути. Обходят лес за лесом, следуя своей логике, в чем-то даже разумной: ищут место, где жизнь лучше, и верят, видимо, что где-то оно есть. Их правда, может статься. В конце концов лось таки появился. Но за ним ковылял теленок. Меня смутило, что это лосиха с теленком. Мне б хотелось без теленка. Но он вон он, тащится следом. А направление ветра идеальное. Я зажал в зубах нож, не маленький ножик, а такой большой, тесак, короче — изготовился. Лоси медленно приближались ко мне. Жевали мох, объедали листву с молодых березок внизу расщелины. И вот она стоит. Прямо подо мной. Огромная как черт знает что. Лоси вообще крупные. Мы часто забываем, какие они гиганты. Да. И я прыгнул ей на спину. Естественно, я тысячу раз прокручивал в голове план во всех деталях. Исходил из того, что зверь не придет в восторг и, наверно, рванет с места. Так и вышло. Но прежде чем лосиха развила скорость, я всадил нож ей в голову. Одним мощным рубленым ударом тесак пробил череп, вошел в мозг, и теперь рукоятка торчала из головы лосихи как эдакая кокетливая шляпка. Я спрыгнул, вскарабкался для пущей безопасности на высокий камень и выжидал, а перед глазами лосихи проходила вся ее жизнь: светлые времена, когда пищи вдосталь, беспечные солнечные неторопливые дни лета, короткий роман по осени, одиночество потом. Роды, счастье продолжения себя в потомстве, но еще нудные изматывающие месяцы пережитых зим, отчаяние, растерянность, и всегда под боком детеныш, этот неуемный вечный двигатель, отвязаться от которого, насколько я знаю, может, кажется и облегчением. Вся жизнь промелькнула перед ее мысленным взором за каких-то полсекунды, и она рухнула.

Некоторое время я стоял и смотрел на нее и на лосенка: он не сбежал, топтался рядом с мертвой матерью, не совсем понимая, что произошло. На душе у меня было нехорошо, непонятно как-то. Хоть я обретаюсь тут уже с полгода, убил я впервые, и убил сразу огромного зверя, возможно, самого крупного в Норвегии — то есть, нарушив все свои принципы, я по-варварски обобрал природу, мало того, взял у нее больше, чем в состоянии отдать, во всяком случае в обозримом будущем. Меня это огорчило. В идеале во всем должен соблюдаться паритет. А на практике голод есть голод, но с природой постараюсь постепенно рассчитаться, подумал я, спрыгнул с камня, отогнал лосенка и потом только выдернул нож и вспорол им брюхо мертвому зверю. Куча внутренностей вывалилась наружу, я отрезал кусок желудка и съел его, сырым. Не сходя с места. Прямо как индеец. Потом накромсал, что сумел, на куски, часть оттащил в палатку, там прихватил топор, вернулся и порубил остатки. До вечера я перетащил в лагерь все. Затем изжарил на костре несколько больших кусков мяса и впервые за последние недели наелся досыта. Остальное мясо повесил коптиться в примитивной коптильне, я корпел над ее сооружением все последние дни. Засим заснул.

А когда сегодня проснулся, услышал рядом с палаткой топот лосенка. Он возится там до сих пор. А я не решаюсь вылезти наружу. У меня не хватает духу посмотреть детенышу в глаза.

Но и валяться так дальше я не могу. Мне требуется молоко. Обезжиренное молоко. Без него я не человек. Делаюсь раздражительным, вспыльчивым. За молоком, отчетливо понимаю я, предстоит идти в город. Че-

рез не хочу, но придется, потому как молоко нужно мне позарез. Из-за него я время от времени, словно обычный человек, наведываюсь в окрестности стадиона "Уллеволл". Спору нет, раньше это происходило гораздо чаще, чтоб не сказать каждый день, но с тех пор — как бы это лучше выразиться — как я переселился в лес, где теперь, собственно, и живу, в лесу то есть, в город я наведываюсь все реже и реже. Одна из причин в том, что у меня нет денег. Но главное, мне не хочется встречать людей. Они мне противны. Чем дальше, тем больше. Хотя молоко мне необходимо. Мой отец тоже пил молоко. Но отца теперь нет.

Настырный лосенок все возится за палаткой. Это он так громко и назойливо осуждает меня. Пытается раздавить психологически. Но я только еще глубже заползаю в спальный мешок и застегиваю его, теперь между мной и миром ничейная полоса. Мир не может вторгнуться ко мне, я не могу выйти наружу и, точно маленький ребенок, лежу не дыша: "я в домике". Но лосенок не отступается. Топочет и топочет. А мне приспичило пописать. Бог мой, это всего-навсего теленок, уговариваю я себя. С какой стати я, взрослый мужик, должен терзаться угрызениями совести из-за того, что убил лося? Это в природе вещей. Жизнь все равно заставит лосенка жить по ее законам, пусть радуется, что этот первый урок преподал ему я, Допплер, на моем месте менее совестливый человек небось прикончил бы заодно и его самого.

Я вылезаю из палатки и иду отлить. Как всегда встаю на определенное место, на гладкий камень пониже палатки. Отсюда обычно видно весь город и фьорд, но сегодня мешает туман. Лосенка я полностью игнорирую. Точно его тут нет. Хотя он напряженно следит за мной, пока я писаю. Я стараюсь повернуться к нему спиной, но он все уже мельком увидел и теперь желает рассмотреть подробно. Он переходит на другое место и заглядывает оттуда. Я отворачиваюсь, он передвигается на новое место. Точно хочет удостовериться, что глаза его не обманули. Как хотят все и всегда. Story of my life[1]. Ладно, черт с тобой, говорю я и разворачиваюсь в его сторону, спустив штаны до колен и вскинув руки. Гляди, говорю я. Так хорошо? Все рассмотрел? Доволен?

Но нет, упрямый малолетний мерзавец все еще недоволен. Он готов все глаза проглядеть. Однако есть предел тому, что я готов снести от какого-то засранца лося. Я выхватываю топор, вогнанный в дерево неподалеку, и со всего маху запускаю им в лосенка. Он отскакивает в сторону и убегает.

Жизнь доказала мне, что, когда я утаиваю правду, события оборачиваются против меня, поэтому пусть уж я сразу расскажу все как есть: у меня очень большой член.

Что тут скажешь.

У меня привлекающий внимание своим размером, иначе говоря, гигантский половой орган.

Член-великан, короче.

Такой он у меня от роду — большой. Лучшего слова для него не подобрать. Длинный. Увесистый. И толстый. Большой, одним словом.

В школе меня дразнили Член с ногами.

1. История моей жизни (*англ.*).

К счастью, школа давно в прошлом. Те обиды свербят уже не так. Хотя было больно. У меня ведь имелись и другие достоинства, на которые мне хотелось, чтобы люди обратили внимание.

Член с ногами!

Если честно, я страшно зол, что этот гаденыш разворошил старое. Так я давно уже не вспоминал о школе, а тут на тебе. Проклятый лось. Пусть только вернется, я с него шкуру спущу.

Вчера я остался без молока. Весь день убил на то, чтобы прогнать окаянного лосенка. Когда я шуганул его в лес, он, естественно, явился обратно, недолго заставил себя ждать. И час за часом действовал мне на нервы, слоняясь вокруг палатки. Ни дать ни взять ученик старшей школы Согна — той, что выглядит как универсальная прототюрьма. Я много лет ездил мимо на велосипеде. И теперь могу видеть ее в бинокль, если вдруг захочу и не будет тумана. Ученики вечно ошиваются там на углу и трогательно как-то даже маются, силясь до звонка накуриться впрок. Будь у лосенка доступ к сигаретам, его б не пришлось упрашивать. Чему тут удивляться: он одинок, а до него начинает доходить, насколько мир жесток. Лось не знает ни зачем ему дальше жить, ни как. Конечно, переносить свою фрустрацию на меня весьма инфантильно, но можно ли было ожидать иного? Он ведь еще ребенок, как ни крути.

В конце концов мое терпение лопнуло, ребенок он там или кто. Стараясь не шуметь, я напялил на себя охотничий костюм и выскочил из палатки с занесенным для удара топором, но этот юный гимнаст вновь увернулся. Заставив меня еще несколько часов гоняться за ним по всем окрестностям. Мы побывали на Веттаколлен, спустились к озеру Согнсванн и вскарабкались по косогору чуть не до сэтера Уллеволл. По данным навигационной системы GPS, мы одолели без малого пятьдесят километров, двигаясь по лесу и пересеченной местности со средней скоростью двенадцать километров в час. Уже затемно я дотащился до палатки совершенно без сил. И когда вслед за мной появился лосенок, я не принял бой. Я капитулировал. Сегодня ночью мы вместе спали в палатке. Лосенок, к моему удивлению, согревал меня, как печка. Большую часть ночи я елозил по нему головой, как по подушке, а когда проснулся поутру, мы долго лежали и смотрели друг на друга, и я чувствовал такое духовное единение с ним, какое редко переживал с людьми. В этом было нечто чересчур даже интимное. Не думаю, чтобы хоть раз испытал подобную душевную близость с женой. Даже в самом начале отношений. Я попросил прощения, что убил его мать, и сказал, что отныне он может приходить и уходить когда вздумает. Лосенок, естественно, ничего не говорил. Он только смотрел на меня большими доверчивыми глазами.

Какое блаженство — общаться с тем, кто не умеет говорить.

Сегодня мы целый день лежали в палатке и болтали. Я угостил лосенка водой и принес ему веток с сочной корой, а себе нажарил на углях большие куски мяса. Я вычесал его своей гребенкой и объяснил, в педагогических целях, что люди охотятся на лосей тысячелетия не забавы ради, а в силу жизненной необходимости. Если бы поголовье бесконтрольно росло, это немедленно привело бы к катастрофическим последствиям, заявил я, не совсем понимая, что говорю, но мне кажется, я читал или

слышал о чем-то подобном, поэтому и прибавил ради красного словца, что, мол, едва лосей становится слишком много, тут же начинают распространяться болезни, и соматические, и психические, в результате в лесу складывается страшно неприятная обстановка, и все равно человеку приходится с ней разбираться. Вот представь себе, сказал я лосенку, которому, кстати, не хватало имени, надо бы его придумать, но пока я сказал просто: представь себе, толпы неизлечимо больных, с помутившимся рассудком лосей с ревом носятся по всему лесу и бьются из-за каждой крошки корма, дерзко попирая законы лесного общежития и моральный кодекс лосей. Этого никто не хочет, так? Вот почему деды мои и прадеды охотились на лосей, и мы продолжаем их дело. Хотя сегодня мы легко бы прожили без мяса и шкур, добавил я, понизив голос, мы все равно отстреливаем лосей. Пойти в лес и добыть лося кажется нам удовольствием. Среди охотников, насколько мне известно, царит крепкая дружба, и охота стала одной из наших многовековых традиций. Мы охотимся по традиции. И чтобы регулировать поголовье, о чем я уже упоминал. Так обстоят дела. Но я убил твою маму не по традиции. А из необходимости. У меня неделями не бывало пищи, с тех пор как сошла черника, я вообще ни разу не ел до сытости. Меня коробит, что я сделал это ножом, сказал я. Подобная жестокость недопустима, но у меня нет ружья, и стрелять я тоже не умею. Я пойму, если ты осудишь меня или начнешь шарахаться из крайности в крайность, мучаясь и не зная, как ко мне относиться, сказал я. Это твое право. Ты должен сам разобраться в своих чувствах и сам провести в наших отношениях границу там, где сочтешь нужным. Помни одно — в это трудное время я всегда готов поддержать тебя, сказал я, к тому же, продолжил я после короткой паузы, прошло бы совсем немного времени, и твоя мать разорвала бы узы между вами самым безжалостным образом. Она бы оттолкнула тебя и велела убираться прочь. Такие уж вы, лоси. На вид ангелы, а с детьми своими обращаетесь как последние мерзавцы. Звери вы. Рожаете ребенка, выкармливаете его молоком, в первом приближении наставляете в жизни, а потом, в тот момент, когда малыш наслаждается безмятежностью и не ждет подвоха, — раз и пошел вон. Совсем скоро, может, прямо на следующей неделе, твоя мать сказала бы: "Всё. Иди своей дорогой!", и этот день стал бы для тебя кошмаром, источником тягостных комплексов, от которых большинству лосей не удается избавиться никогда, но тебе они не будут знакомы, потому что я устранил ее: ты будешь вспоминать не двоедушное вероломство родной матери, а то, каким чистым и светлым существом она была, бесконечно для тебя дорогим, и как бессмысленно и скоропостижно ушла из жизни, говорил я, расчесывая ему шерстку.

Раз уж мы об этом заговорили, продолжал я, знаешь, я тоже недавно пережил горе. Я лишился отца. Я его почти не знал. Мало понимал, что он за человек. А теперь его нет. Так что мы с тобой, как говорится, два сапога пара. Ты потерял мать, я — отца. Чем меня проклинать, можешь с таким же успехом обрушить свой гнев на господина Дюссельдорфа с Планетвейен. Долгое время у меня был свободный доступ в его подвал, объяснил я. Покойная жена господина Дюссельдорфа успела накрутить варений-солений на пару человеческих жизней, его вместительный морозильник грамотно забит беконом и прочими мясопродуктами, к тому же дотошное, в течение нескольких недель, изучение окре-

стностей убедило меня, что ни в один другой дом нельзя проникнуть с такой легкостью, как к Дюссельдорфу, чему немало способствует то, что он раззява, любит выпить и вообще с придурью — все вечера клеит никому не нужные макеты колесной техники времен Второй мировой войны, которые он воспроизводит в масштабе, насколько я понимаю, 1:20, и скрупулезно, конечно же преувеличивая бремя своей ответственности, раскрашивает, ни на йоту не отступая в цвете от оригинала, а я, не мешая ему, тем временем проникал в дом через садовую дверь, которая все лето почти постоянно стояла нараспашку, спускался в подвал, без зазрения совести выбирал, что повкуснее, набивал рюкзак и тем же путем уходил к себе в лес. Этот порядок, мнилось мне, идеально устраивал нас обоих — и меня, и господина Дюссельдорфа. У него есть все, что требуется для земной жизни. Большой дом, залежи еды, круглая сумма денег в банке (смотри выписки из счета, сложенные на шкатулке у двери в подвал) и сверх того хобби, которое явно скрашивает и наполняет смыслом его жизнь. Нелегко придумать, чего бы еще он мог себе пожелать, сказал я лосенку. Все выглядело настолько безоблачно, что в глубине души я уже почти верил: стоит мне позвонить в дверь и напрямик спросить, могу ли я время от времени наведываться к нему в дом и угощаться излишками из подвала, он улыбнется и скажет: "Конечно, не стесняйтесь". Но потом он вдруг передумал. Не так давно я нашел дверь в сад запертой, а на доме появились жучки сигнализации и грозные напоминания о том, что он охраняется, а преступления караются.

Вот до чего мы дожили. Люди замуровывают себя в домах, боясь ближнего.

Я оказался у разбитого корыта и вскоре, что вполне закономерно, начал голодать. С каждым днем голод мучил меня все сильнее, дошло до того, что я не видел иного выхода, кроме как заманить твою мать в ловушку и раскроить ей череп тесаком. Вот и вся история. Так действует голод. Все остальное перестает существовать. Единственное желание — любой ценой раздобыть пищу. Может, сказал я лосенку, ты и по себе это знаешь, а может — нет. Хотелось бы надеяться, что нет.

Потребность в молоке стала критичной, поэтому, натолкав в рюкзак килограммов двадцать оленины, я пошагал в сторону стадиона "Уллеволл". Лосенок потрусил следом, но я строго сказал, что так нельзя. Ты должен ждать здесь, в лесу, сказал я. В ле-су, повторил я громко по слогам, как для тугоухого ребенка. Я и так небрит, неухожен и произвожу достаточно сильное впечатление, даже когда являюсь один, без сопровождения бредущего следом лосенка. Успокойся, я быстро, говорю я. Но он не успокаивается. Он боится, что я уйду. Бедный ты мой лосенок, думаешь, я тебя брошу? Да нет же, я только схожу в магазин, говорю я, нам нужно молоко и еще кой-какие мелочи. Он и ухом не ведет. В его глазах мерцает ужас расставания, и я чувствую, что меня смущает такая привязчивость. Я считал лосей более самостоятельными. А этот того гляди прицепится накрепко, что-то я пока не готов взвалить на себя такую обузу. Вот дура, недобрым словом поминаю я его покойную мамашу, потащила малыша с собой в разгар охотничьего сезона. О чем только думала?

Я останавливаюсь, снимаю с плеч рюкзак, чтобы приласкать малыша. Пытаюсь взять его на руки, но он слишком тяжелый, тогда я принимаюсь чесать ему голову костяшками пальцев, шутливо и дружески. Ла-

сковушки, как мы называем это дома. Потом, не жалея времени, обстоятельно обрисовываю ему ситуацию. Я и своим детям всегда все объясняю. Такой уж я энтузиаст ясности. Моя идея в том, что стоит взрослому отвратиться или чего-то недоговорить, как дети тут же начинают подозревать, что от них скрывают ужасную правду. Поэтому я корчу гримасы и растолковываю зверенышу, что сейчас мне нужно спуститься в город, туда, где люди, и это опасно для маленького лося. Там внизу машины и автобусы, громкие звуки, сирены. От них в голове мутится. Кстати говоря, невыносимый шум — самая характерная особенность людей, они чемпионы по отвратным звукам, нет, правда, уже многие тысячи лет никто не производит более мерзких звуков, чем человек.

А когда лоси по ошибке забредают к людям, их убивают, говорю я и изображаю несчастного: в него стреляют, он умирает — нелепая постыдная кончина. Поэтому, говорю я, тебе лучше подождать здесь. Через пару часов я вернусь, и тогда мы вволю наобщаемся, придумаем что-нибудь интересное.

Я жду знака, что он понял меня и согласен, но не тут-то было. Прослушав мои аргументы, презрев мои благие порывы, он упрямо тащится следом. Пока я просто-напросто не привязываю его к дереву. Так, с этим разобрались.

Директор магазина ICA[1] в замешательстве. Я читаю его как открытую книгу. Сомнения раздирают его. Помогите бедному охотнику и собирателю, говорю я, но вижу, что ему затея представляется странной. Мы стоим на складе, он отчаянно старается вести себя мужественно, но, несмотря на вышколенность, закоренелую предупредительность и аксиому, что покупатель всегда прав, директора терзает недоверие. То, о чем я прошу, естественно, не предусмотрено никакими правилами и инструкциями. Я предлагаю ему лосятину в обмен на молоко и толику других товаров из обширного ассортимента магазина, его идея смущает.

Я знаю, говорю я: в большинстве своем люди уверены, что натуральное хозяйство давно отошло в область преданий, но тем не менее я уже стою перед вами, и мясо отличное, как и сам по себе простой товарообмен, кстати. Люди обмениваются. Делают что-то друг для друга. Я уверен, что эти времена возвращаются. И когда они вернутся, вы сможете, если согласитесь на мое предложение, гордиться тем, что были среди первопроходцев. Вы будете тем, кто торит дорогу новому мышлению, поскольку совершенно очевидно, что обмен товарами возрождается. Через десять лет бартер расцветет пышным цветом. Тут и спорить бессмысленно, говорю я. Потому что так, как сейчас, продолжаться не может. Это никуда не годится. Откройте любую газету или любой журнал, и сами убедитесь: никто из наших преуспевающих сограждан не сомневается в том, что систему потребления необходимо коренным образом перестроить, иначе через пару десятков лет нас ждет крах. Я вижу, вас мое предложение заставило задуматься. Вы его рассматриваете. И я оценил, что вы не отвергли его с порога.

Ему лет тридцать пять, и жизнь его вполне удалась. У него за плечами, судя по должности, солидное образование, и раскрутку нового магазина ICA в районе стадиона "Уллеволл" он считает интересным и амби-

1. Известная сеть супермаркетов.

циозным проектом. Магазин свеженький, с иголочки, все при всем. Одна из крупнейших в стране сетей супермаркетов. Прилавки с парным товаром уходят за горизонт, в наличии и пармская ветчина ценой в несколько тысяч крон за кило, и сыры размером с дом, и наверняка прекрасный коллектив инициативных сотрудников, где каждый готов прийти товарищу на выручку и вкладывает в работу душу. Директор мнется, ему и хочется и колется. Он многое ставит на кон, но насколько реальна опасность, что об этом прознают? И он любит лосятину. А против нее аргументы бессильны.

Он оглядывается, желая убедиться, что никого из подчиненных нет поблизости и никто не услышит, что он собирается мне сказать. И что тебе надо? — спрашивает он.

Я отвечаю, что мне надо несколько вещей, но первое и главное — это молочный договор. Молочный договор? Я киваю. Мне, то есть моим органам и клеткам, проще говоря, моему телу необходимо горючее в виде одного литра обезжиренного молока в день, говорю я. Поэтому мне бы хотелось каждый понедельник и четверг в семь утра, перед открытием магазина, находить на улице соответственно три или четыре пачки молока, к примеру, между складом и контейнером с мусором.

— Почему именно обезжиренного? — спрашивает он.

— Мой дорогой друг, — отвечаю я, — на сегодняшний день обезжиренное молоко представляет собой наивысшее достижение среди всех завоеваний человечества. В любую секунду каждый идиот в состоянии обеспечить себя обычным коровьим молоком, говорю я, но революционный скачок к молоку обезжиренному свершился благодаря гениальному озарению и совершенной методике сепарирования, ставшей доступной лишь в новейшие времена. Говоря по чести, я опасаюсь, что дальше этого людям уже не продвинуться. Обезжиренное молоко навсегда останется венцом человеческого гения. Планкой, к которой homo sapiens будут тянуться.

Обезжиренное молоко облагораживает человека.

— На сколько недель договор? — спрашивает он.

— На сколько потребуется, — отвечаю я.

— Потребуется для чего? — спрашивает он.

— Там видно будет, — говорю я. — Кроме того, мне нужны батарейки и еще кое-какие мелочи.

— О каком количестве мяса идет речь? — спрашивает он.

— Прямо сейчас, не отходя от кассы, как говорится, я отдам все, что у меня в рюкзаке, а если договор продлится после Нового года, то еще.

— Согласен, — говорит он и жмет мне руку.

Получилось. Это хорошо. Это убедительная победа жизненного уклада охотников и собирателей. Убитый ножом лось обменивается на молоко и другие потребительские товары. Подлинный прорыв.

Может, мир все-таки спасется.

В магазине я, надо ж такому случиться, встречаю свою жену.
Обычно в это время она на работе, но не сегодня, вижу я. Знать, у нее на то свои причины.

— Привет, — говорю я.

— Ну у тебя и видок, — говорит она.

Избегая резкостей, можно сказать, что жена относится к моему переселению в лес с недоумением. Складывается впечатление, что ей этот образ жизни не до конца понятен. Я не виню ее. Я сам мало что понимаю во всей этой истории. Мой отец только умер, мы с мамой и сестрами приводили в порядок бумаги. Было начало весны. Я катался в лесу на велосипеде, после долгой зимы это ни с чем не сравнимое удовольствие. Хотя я, естественно, езжу на велосипеде круглый год. На работу и с работы. Я — велосипедист. Велосипедист прежде всего. Меня не пугает ни погода, ни обстановка на дороге. Зимой я надеваю на колеса шипы. И у меня есть шлем. Велосипедные перчатки. Специальные брюки и куртки. Бортовой компьютер. Фонарь. За год я проезжаю четыре тысячи километров. Попутно на общественных началах не ленюсь отламывать дворники с невежливых машин. Могу садануть им по корпусу. Или в боковое стекло. Ору так, что теряю голос, и не пугаюсь, если водитель останавливается и идет на меня. Не снижая тона, я доказываю свою точку зрения, разбиваю наголову его претензии и отстаиваю свои права велосипедиста. И ведь я добираюсь до места очень быстро. Гораздо быстрее машин. Самая большая для меня отрада — пробки по утрам. Возьмем для примера путь по Согнсвейен вниз, через Адамстюен и далее по Терезесгатен и Пилестредет. Здесь скапливается масса машин и обязательно несколько трамваев. Они останавливаются посреди Терезесгатен, а поскольку почти всегда есть еще и встречный поток, машинам приходится ждать, и тут я вылетаю на тротуар, прижимаюсь сильно вправо, объезжаю пассажиров, которые входят и выходят из трамвая, и успеваю соскочить на мостовую метрах в четырех-пяти впереди трамвая задолго до того, как он тронется. Тротуар как раз в этом месте немного выше обычного и слегка скошен вверх, так что я группируюсь, прыгаю и приземляюсь на оба колеса точно между рельсов. Это непростой трюк, но я не делаю из него вселенской премьеры. Кто видел, тот видел. Возможно, кого-то это зрелище побудит завести себе велосипед. Мысль об этом уже достаточная награда. Воодушевленный ею, я продолжаю путь к следующему препятствию, круговому повороту на Бишлете, где я тоже применяю до блеска отточенную методику, правда, она вызывает известное недовольство профессиональных шоферов и несколько противоречит правилам. Но, становясь велосипедистом, человек поневоле становится комбатантом. Он вынужден вести жизнь партизана и посягать на сложившуюся систему передвижения, все более и более приобретающую вид езды на автомобиле, причем даже в случае здоровых и крепких людей. Велосипедистов третируют, мы — не имеющее голоса меньшинство, чей ареал обитания каждодневно ужимают, вытесняя нас в не приспособленные для нашего быта места, нам не позволяют говорить на нашем языке, нас сживают под землю. Но берегитесь, ибо несправедливость вопиюща и злость и агрессия копятся в велосипедистах, потом не удивляйтесь, если в один прекрасный день, когда не-велосипедисты разжиреют так, что перестанут помещаться за рулем, мы, велосипедисты, перейдем в наступление и церемониться не будем.

Я велосипедист. Кроме того, я муж, отец, сын и лицо с постоянным источником дохода. И домовладелец. И еще разное. Человек, он много кто.

Да, так значит, я ехал на велосипеде. По лесу, весной. И упал. Навернулся капитально. Как известно, в лесу иногда разгоняешься. А ехать узко. Я свернул с тропы и стал по вересковой целине спускаться к такому маленькому вроде склону. И вдруг переднее колесо заклинило между двух камней, я перелетел через велосипед, ударился бедром о корень, и вдобавок велосипед стукнул меня по лбу. Сперва я лежал. Было чертовски больно. Я не мог пошевелиться. Просто лежал, как бревно, и глядел вверх, на ветки, они тихо колыхались на слабом ветру. Впервые за несколько лет кругом была совершенная тишина. Когда первая боль прошла, я испытал блаженное умиротворение. Был только лес. Привычная мешанина из разнокалиберных мыслей, чувств, планов и обязательств не мутила голову. Внезапно все превратилось просто в лес. И в мозгу не звучала ни одна из этих доводящих до исступления детских песенок. Обычно они привязываются ко мне намертво. Песенки из мультиков, которые мой сын и его приятели смотрят на видике или DVD. Песни-прилипучки, специально для того цинично сварганенные. Для моей центральной нервной системы они бремя непосильное. К тому моменту, когда я сверзился с велосипеда, я уже несколько месяцев слышал их постоянно. Они мучили меня всю зиму. Я работал, отдыхал, хоронил отца под неумолчные песенки. И уже подумывал обратиться за профессиональной помощью. Возьмем хотя бы Пингу. Это видеопингвин немецкого производства, которого обожает мой сын. Баа, баа, бабаба, баа, баа, бабаба, баба, баба, баба, баба, баба, баба, бааа, ба, ба, баа, БАААА! Песенка могла крутиться в голове сутками. А я тем временем принимал душ, завтракал, ехал на велосипеде на работу, проводил совещания, возвращался домой, заезжал в магазин, в детский сад, и так далее и тому подобное. Пингу с утра до вечера. А в другие дни это бывал Строитель Боб. О, Господи. Строитель Боб, вы за это возьметесь? Конечно возьмусь! Бэм, Бэм, бэмбэмбэм, БЭЭМ! Или Телепузики. Ужас. Эти, прошу прощения за слово, тошнотворные якобы игрушки, созданные, как утверждается, британскими психологами специально для того, чтобы удовлетворять непостижимые и загадочные нужды, а также любопытство маленьких детей. На двухлетках этот адский замысел срабатывает безотказно, но куда деваться таким, как я, кому больше двух лет? Тинки-Винки! Лала! Дипси! По! Телепузики! Телепузики! Скажи "при-вет"! У меня возникает одно, но сильное желание — спустить всю компанию в измельчитель отходов. А паровозик Томас? Этот, может, и не так ужасен. Первые раз пятьдесят-шестьдесят. Бодро пыхтя "Туту-ту-тututу-туту, ту-тут-тututу, тututуту-ту" (и так далее), он разъезжает по педантично воссозданной из коллекционной железной дороги стране, слегка напоминающей Англию, хотя всем детям известно, что на самом деле маленький паровозик Томас, счастливый и довольный, носится по острову Судур, где у него есть вагончики Анни и Кларабель, коллеги-локомотивы Перси, Тоби и Джеймс или как их там, а также вертолет Харальд, автобус Берти, бульдозер Терренс и главный контролер мистер Фуражка, как мы называем его дома, от похвалы которого не ускользнет ни одно доброе дело, совершенное его паровозами, а они только тем в основном и заняты. Вот ведь какой ты незаменимый, маленький локомотив Томас, может он, к примеру, сказать, хотя бывает и крут, как в тот раз, когда большие локомотивы загордились и отказались сами таскать

свои вагоны. Только с мистером Фуражкой такие номера не проходят, не на того напали.

Но и его не было в моих мыслях, когда я валялся среди вереска. Песни стихли. И все мучительные проблемы, связанные с ванной, тоже чудесным образом развеялись. Я с трудом мог вспомнить, когда последний раз не думал о ванной. И вдруг сознание мое полностью от нее очистилось. Меня больше не донимал вопрос, надо ли нам выбрать итальянскую плитку или испанскую, матовую или глянцевую или все-таки не пожалеть денег и сделать уж стеклянную мозаику, за которую, естественно, ратовала моя жена. Уж не говорю о цвете. О нем я вообще теперь не думал. Ни о синем. Ни о зеленом. Ни о белом. Не то чтобы меня перестало волновать, какого цвета будет плитка или потолок, но мысль об этом просто-напросто покинула меня. Мне вышло помилование, освобождение от этой неотвязной суеты в голове. И смесители тоже не занимают меня, хотя по-прежнему существуют в семистах вариантах и поставляются в течение шести недель, если нам нужна хромированная сталь, и несколько быстрее, если мы согласимся на обычный вариант, но с какой стати выбирать заурядный смеситель, уж не говорю о ванне, которую нам пришлось обсуждать в день начала военных действий США и Англии против Ирака. Я помню, как меня взбесило, что теперь нужно определяться еще в вопросе войны. Это уже перебор. Как будто мало мне мороки с выбором всех этих аксессуаров для ванной. Так нате вам, теперь решай вдобавок, чью сторону принять в Ираке. Меня выводило из себя, что где-то в мире как нарочно происходят вещи, по сути полностью лишающие смысла вопрос, решению которого я отдал столько мыслительной энергии и душевных сил. Моя система ценностей перекосилась настолько, что я упорствовал в своем видении приоритетов. Много недель меня бесило, что они и не подумали подождать с началом бомбардировок, пока мы не закончим ремонт в ванной. Черт бы вас побрал, думал я. Потому как вдруг нам следовало все-таки выбрать польскую ванну, которая была существенно дешевле, а не шведскую, которая нам тоже нравилась? Или категорически нельзя поступаться качеством во имя бюджета? Тем более и за ту, и за другую модель были свои "за" и "против". То есть шведская не была однозначно лучше по всем статьям. Мы рисовали, как та и другая встанет в нашей ванной комнате, и обменивались листами с плюсами и минусами польского и шведского варианта, сидя перед телевизором, где на экране падали бомбы на Евфрат и на Тигр, и хотя мы выключили звук, но работать над дизайн-проектом в подобных условиях — такое мучение, такое психологическое напряжение, что или человек сразу принимает твердое решение: да, это действительно важно — или весь ремонт пойдет коту под хвост и семейная жизнь тоже.

И о туалете, лежа среди вереска, я не думал. Должен ли он быть со встроенным в стену бачком, как теперь модно, или нам сгодится более классическая свободно стоящая модель. Даже беседы со слесарем не тревожили меня тем вечером в лесу. Не исключая и ту судьбоносную, когда он сообщил, что по вине предыдущего слесаря дерьмо никогда не сможет падать куда ему положено, в связи с чем он намерен сию секунду решительно взломать пол и проложить трубу наново.

Все это исчезло. Я вдруг перестал думать о довольно многих вещах.

Вместо них, лежа среди вереска в плачевном состоянии и подставляя лицо весеннему солнцу, я думал о том, что отца больше нет и никог-

да не будет, а я его не знал толком, и когда мама сообщила о его смерти, в душе у меня ничего не дрогнуло. Он умер ночью. Внезапно. И тихо. Теперь в лесу потеря всей тяжестью легла на душу. Драматизм потери. Вот только что был человек — и нет его. Пропасть между вчера и сегодня. Это больно поразило меня, я всем существом почувствовал, что разница между этими вчера и сегодня такая всеобъемлющая и непостижимая, что рассудку остается только поднять лапки кверху и сказать: "Тут я пас". Секунду назад все было возможно: добиться того, заиметь другое — а спустя миг уже ничего невозможно ни добиться, ни заиметь, потому что время добывать и иметь вышло. Отвратительная альтернатива. В одной части конструкции все, в другой ничего. Бессилие, вызванное этими раздумьями, в сочетании с последствиями удара по голове ввергли меня в сон. Когда я вскоре очнулся, мне вспомнилось, что сказала недавно моя шестнадцатилетняя дочь. Мы сидели в кафе после просмотра в "Колизее" одной части "Властелина колец" — "Двух башен". Сама она посмотрела фильм одиннадцать раз, после чего заявила, что, если я вслух признаюсь в том, что до сих пор не видел этого шедевра, на меня начнут пальцем показывать. И что лично она не может позволить себе мириться с тем, что ее родной отец все еще не приобщен к этому эпохальному, по ее словам, событию. В свое время дочь пару недель буквально дневала и ночевала в очереди, чтобы достать билеты на премьеру. Она, ее друг, ее подружки и их дружки. Одетые эльфами. Нам пришлось выдержать несколько раундов объяснений со школой, чтобы убедить дирекцию закрыть глаза на столь долгое отсутствие дочери на занятиях в разгар учебного года, но она — примерная ученица, и преподаватель английского поручился, что она легко нагонит, к тому же речь шла о Толкиене, который считается непревзойденным мастером по части разбудить любопытство тинейджеров, в общем, пусть тешится, тем более спальник у нас теплый, надежный. Тем не менее. В фильме есть эпизод, когда у очень нехорошего человека Сарумана (к слову сказать, как две капли воды похожего на ныне покойного седовласого и седобородого лидера движения "Хамас", который из инвалидного кресла писклявым голосом клятвенно заверял мир, что палестинцы все равно ни за что никогда не сдадутся) весьма драматичным образом разрушают башню и копи — в тот момент, как он послал так называемых орков (гадких уродцев вроде троллей, которых он до этого долгое время держал при себе и прикармливал) истреблять все, что есть в мире хорошего. Под обух Сарумана подводят некие живые деревья, которых хоббиты подговаривают ввязаться в бой. Среди прочего они разрушают плотину, так что вода разливается и наносит Саруману огромный урон. Выходя из кино, я имел недальновидность высказаться в том духе, что на строительство новой башни у Сарумана уйдет немало времени. Дочь смолчала, но в кафе вошла с бешеным блеском в глазах. Мне было, конечно, любопытно, какая муха ее укусила, хотя не могу сказать, чтобы я боялся услышать то, что она, по-видимому, собралась мне высказать. Для меня она существо столь непостижимое, что я в любой момент готов ко всему буквально. Девочки-подростки всегда казались мне загадочными, даже в ту пору, когда мы были ровесниками. И с годами расстояние между нами только увеличивалось, что естественно, а теперь вот у меня подросла собственная дочь и, судя по дальнейшим событиям того вечера полугодичной давности, в наши дни загадочность отроковиц достигла

заоблачных высот. Возьми то, чего не может быть, помножь это на самое большое число, которое в силах себе представить, и как раз получится моя дочь, так бы я ее обрисовал. Мы зашли в кафе, сели.

— И в чем дело? — выждав, спросил я.

Она сказала, что шокирована моей первой реакцией на этот великий эпос, ее циничностью и тем, что я остался совершенно глух к трагической истории, которую мы только что пережили.

— Ну уж, пережили, — сказал я. — Мы посмотрели безумно дорогостоящий фильм о троллях. Зрелище впечатляет. И я рад, что ознакомился с фильмом, раз для тебя он так много значит.

Она заявила, что не может принять такой ответ и что пропасть между нами оказалась ровно такой огромной, как она и боялась, или, если только это возможно, даже больше.

— Что ты хочешь, чтобы я сказал? — спросил я.

— Мы посмотрели сказание о добре и зле, — ответила моя дочь. — Неужели ты совсем ничего не чувствуешь?

— Нет, ну что ты. Зрелище впечатляет, как я уже сказал. И я понял, что кольцо несет опасность, и многие охотятся за ним, и фильм добротно сделан, этот, как его, прозрачный, который жрет рыбу.

— Голум, — сказала она.

— Вот, Голум, — ответил я. — Он сделан просто мастерски. Не знаю, как им это удалось, но здорово. Сцена боя величественна, ну и вообще.

— Папа, ты знаешь, в чем твоя проблема? — спросила она.

Я помотал головой.

— Ты не любишь людей, — сказала она. — Они тебе не нравятся. Поэтому и я тебя не люблю.

Встала и ушла.

Порвала со мной, как будто я ей друг амурный. В этом был даже свой стиль. На миг я ощутил отцовскую гордость. Вон идет моя дочь, думал я, она не пропадет. После чего я заказал себе пива и занес происшествие в папку "Нерациональное поведение", решив, что через пару дней дочь станет самой собой. И она стала, более или менее.

Но, лежа среди вереска, мучаясь болью в бедре и жмурясь на солнце, я понял, что моя дочь сказала чистую правду.

Я не люблю людей.

Мне не нравится то, что они делают. И сами они не нравятся. И что они говорят, не нравится тоже.

Дочь нашла мою ахиллесову пяту. Она озвучила факт, в который я не желал верить, но напрягал все силы, чтоб только удержаться от поступков, неизбежно из него вытекающих. Последние годы я все больше и больше отдалялся от окружающих. Я не вкладывал душу в работу, да и в семью, в общем, тоже не вкладывал. Моя жена несколько раз высказывалась по этому поводу. Она считала, что это с ней что-то не в порядке, и за неимением более подходящего объяснения я ее не разуверял. Кто ж добровольно признается, что это с ним что-то не так? По крайней мере доколе находятся желающие переложить вину на себя. Почти постоянно я пребывал в остраненном состоянии, я замечал, что вокруг происходят какие-то события, но совершенно не улавливал связи между ними и мной. А дочь моя, в костюме эльфа, нашла нарыв и вскрыла его.

Тем вечером я долго провалялся в лесу. Пару раз меня вырвало; когда я через какое-то время проголодался, то попытался сшибить белку велосипедным насосом, но промахнулся. Потом позвонила моя жена узнать, куда я подевался. Я упал с велосипеда, ответил я и попробовал подняться. Мне это кое-как удалось. Скоро буду, сказал я и захромал в сторону дома, опираясь на велосипед. Я здорово ободрался, посадил синяк размером, ну, скажем, со шницель по-венски, цвета багрово-желтого, кроме того, у меня, видимо, сотрясение мозга. Моя жена в ответ досадливо чертыхнулась, а я сказал, что это не с ней, а со мной что-то не в порядке. Вот как, сказала она. А что не в порядке? Еще рано говорить, ответил я. Но я думал об этом, пока лежал. Вот и отлично, сказала она.

Следующие дни я не ходил на работу и сидел дома. Врач выдал мне бюллетень и прописал неделю-другую полного покоя.

Моя дочь продолжала раз за разом смотреть "Властелина колец", но ясно дала понять, что сарказм с моей стороны не допускается, а мой сын, Грегус (Господи, один ты знаешь, как я мог согласиться на такое имя), гонял свои доводящие до исступления мультики всякую минуту, когда не был в детском саду. Благословенны пребудут детские сады во веки веков.

Как-то незадолго до выписки с больничного я взялся разбирать стопку фотографий и бумаг, отданных мне мамой после смерти отца. Это были квитанции, записи и масса фотографий, представьте себе, туалетов. Я позвонил маме, и она объяснила, что отец скрупулезно сфотографировал все туалеты, которыми воспользовался за последние годы жизни. Не говоря зачем. Фотографировал и помалкивал. Результатом чего стали сотни снимков туалетов вкупе с деревьями, камнями и прочими объектами, около которых можно справить нужду, если находишься на природе. Так я с ходу выяснил, что знал отца еще меньше, чем думал, но мне понравились и снимки и сам ход его мысли. Мой отец — фотограф туалетов. Под впечатлением от этой новости, или поддавшись настроению, вызванному этим открытием, или вследствие чего-то с чем-то хоть как-то (хотелось бы надеяться) связанного, я сложил рюкзак и, повинуясь порыву, казавшемуся и поныне кажущемуся мне случайным, ушел в лес. На кухонном столе я оставил записку, где коротко и ясно сообщал, что иду в лес, когда вернусь, не знаю, но к обеду меня ждать точно не стоит. С тех пор прошло примерно полгода, и жену свою за это время я видел считаные разы. Дважды она приходила ко мне сюда, чтобы получить с меня секс и обещание возвратиться домой, и хотя я оба раза соглашался вернуться, но сам и поныне здесь. Я говорю, что приду назад, но не прихожу. Некоторым образом мои обещания как бы напоминают ложь, но что поделаешь: жизнь — моя, а мне надо еще какое-то время побыть в лесу.

Мою жену пугает, что подумают люди, как она говорит. Меня это не тревожит совершенно. Ничто не занимает меня меньше, чем пересуды о моей персоне. Пусть что хотят, то и говорят и думают. Все равно людей я по большей части не люблю, а мнения их редко уважаю. Наши так называемые друзья не интересуют меня давно. Они общаются с нами, мы с ними. Что сводится к вечной маете со званными обедами, детьми, поездками на выходные на дачу и за границу в снятые на лето апартаменты. Естественно, я всегда принимал во всем этом живое участие и, тем самым, как это ни чудовищно, вписался в эту круговерть в качестве

неотъемлемого винтика. Приятелям было о чем задуматься, когда я сбежал в лес. Надо же, Допплер, думали они, он-то что. Хорошая работа, чудесная семья, большой дом, вон ремонт шикарный затеял. И что мне отвечать людям, они же спрашивают? — каждый раз говорит моя жена, чуть не плача. Говори что хочешь, отвечал я. Что я безумно увлекся флорой и фауной или просто сошел с ума, да как тебе больше нравится.

Я отдаю себе отчет в том, что мое поведение становится испытанием для моей жены, и несколько раз пробовал растолковать ей, что мое "бегство" никак с ней не связано. Ей нелегко в это поверить, замечаю я. Поначалу она подозревала, что у меня завелась другая, теперь она так не думает. И вроде бы стерпелась с тем, что я живу в лесу, хотя и не понимает, что на меня нашло. И в горе, и в радости, было сказано, когда мы освящали свои узы браком. Проблема тут только в том, что один и тот же день может оказаться для одного радостным, а для другого — горьким.

— Я беременна, — заявляет теперь она, пока мы стоим перед лотком с готовыми супами в крупнейшем в Норвегии супермаркете ICA.

— Ужас, — отвечаю я, — опять? — Мы почти не поддерживали сексуальных отношений с тех пор, как я съехал в лес. Как я уже упоминал, таких случаев наберется два, от силы три. Она приходила в палатку ночью и уходила после краткого соития, во время которого едва обременяла себя тем, чтобы скинуть верхнюю одежду.

— Срок в мае, — говорит она. — Или ты к тому моменту дома, или все кончено. Можешь нас просто забыть. Это понятно?

— Я тебя слышу, — говорю я.

— И мне тяжело одной с детьми и к тому же без твоей зарплаты, — говорит она.

— Ясное дело, — отвечаю я. — Но я живу в лесу не удовольствия ради. Я делаю это потому, что должен жить в лесу, но тебе сложно меня понять, ведь ты никогда не испытывала чувства, что твое место — в лесу. И у тебя все всегда идет отлично, а у меня плохо, ты легко и с радостью общаешься с людьми, а я мучительно и без удовольствия.

— Еще немного, и ты станешь копией своего отца, — говорит она и поворачивается, чтобы уйти.

— Май. — Слышу я ее последние слова. Она останавливается и повторяет: — Май.

Для одного раза многовато. Ходить к людям все равно что нарочно искать неприятностей на свою голову. Лосенку я это растолковал, а сам не уберегся. Естественно, надо было сперва убедиться, что в магазине нет моей благоверной, а потом уж идти шляться по нему как обыкновенному покупателю. Но теперь поздно, дело сделано, информация вошла в мое сердце. Я снова стану отцом. Ужас. Еще раз пережить несколько лет, с утра до утра заполненных этими гнусными песенками; не уверен, что моя психика выдержит такое. Ну почему, почему у меня огромный член? Лучше бы он был с гулькин нос, ни на что не годный, чтоб жена моя не млела от него, даже не вспоминала о нем. Но что мечтать попусту, человеку приходится жить с тем, что ему досталось. Тем более я никогда не видел рекламы или хоть электронного "спама" с предложением уменьшить член в размерах, а дети — это ж действительно чудо, хотя чу-

десность их не всегда заметна, однако ведь примиряет с ними, всему вопреки. Но что за отвратительный заколдованный круг. Жизнь и смерть. Уходит мой отец, зарождается новая жизнь. Тот, кого я толком не знал, замещается тем, кого я скорей всего никогда хорошо не узнаю.

Кем я не стану точно, так это копией моего отца. Как она могла такое сказать? Я ненавижу эту ее манеру будто бы размышлять вслух. Словно бы она давно ходит, думает над вещами, в которых я ни бум-бум, и вдруг решает поделиться со мной плодами своих раздумий, не всеми, конечно, а так, крупицами, полунамеком, чтоб мне было над чем поломать голову, стремясь дорисовать всю картину. Этим приемчиком она, однако, злоупотребляет, надо будет при встрече посоветовать ей, что ли, подтереться своими сентенциями.

Лосенка будут звать Бонго, как моего отца, осеняет меня, пока я бреду в сторону леса. Хотя отца звали не Бонго, лосенок получит такое имя в честь отца. Бывают в жизни моменты, когда человек обязан мыслить широко и видеть такого рода взаимосвязи.

В рюкзаке у меня молоко, мука, яйца, растительное масло и прочие предметы первой необходимости, но главное, конечно, молоко, и лото с животными, которое я выменял в книжном магазине. Оно потянуло всего-то на полкило. Лосятина — товар универсальный, она годится на все. Но кстати о молоке. Я останавливаюсь на опушке леса и выдуваю литр молока, мысленно прощаясь с последними городскими домами. Пакет я аккуратно складываю и беру с собой, на растопку.

Фактически я живу в каких-то сотнях метров от опушки леса, но здесь никто не появляется. Народ ходит по дорожкам. Ими тут все изрезано. Сотни дорожек проложены во всех направлениях. В общем-то мое "в лесу" довольно условно, но получается — как в чаще, потому что ко мне никто не забредает. Владелец леса, Лёвеншёльд, обо мне не знает. По закону палатка может стоять на одном месте трое суток, моя простояла почти двести. Лёвеншёльд бы, я думаю, огорчился. Респектабельные сторонники "Хёйре"[1] совершают в моем лесу воскресный моцион и выгуливают собак, меня они в упор не видят, хотя проходят буквально в пятидесяти метрах от палатки: но ведь они всегда в заботах, всегда держат курс на Веттаколлен, чтобы полюбоваться оттуда на город и в очередной раз убедиться, что по-прежнему проживают в одном из лучших районов города, где ж им меня заметить? Пока они обдумывают свои насущные проблемы: не вложить ли еще денег в стабильный паевой фонд и не пора ли уже принудить соседа спилить ветку, которая закрыла несколько миллиметров их драгоценного вида на фьорд и заслонила пядь сада от солнца, — я сижу в своей палатке и ох как не люблю этих господ правых консерваторов, а им это невдомек, что меня особо радует. Я даже удовольствие получаю. Странно. Наверно, прятаться приятно просто само по себе. Древняя первобытная радость, что тебя не видят. Сжаться, затаиться как мышка и думать, что тебя никогда не найдут. Это бодрит.

При виде меня Бонго чуть не сошел с ума от счастья, и остаток дня мы провели в палатке. Играли вдвоем в лото, нежились, мне сразу вспомнилось школьное ничегонеделанье на пару с закадычным другом.

1. Правая консервативная партия.

Ты просто проводишь с кем-то вместе время. Болтаешь о пустяках. Жаль только, Бонго слаб в лото. Если он хочет, чтобы я согласился сыграть с ним еще раз, он должен поднапрячься. Я нарочно выбрал лото с животными, чтобы уравнять наши шансы, но пока я заполняю поле за полем лисами, бурундуками, белками и горлицами, Бонго сидит без единой карточки. Можно подумать, он не в силах запомнить, где лежат карточки. Я вместо него тычу в них, ожидая, что он подаст мне знак голосом, или кивнет, или еще как, но нет. Ни звука. Ни кивка. Ох, Бонго, Бонго, говорю я. Не быть тебе отличником. Зато ты настоящий друг. И теплая подушка.

Баста, отныне я денег больше не зарабатываю, говорю я Бонго, валяясь в палатке и наслаждаясь победой. Он переживает проигрыш с полнейшим спокойствием. Этого у него не отнять. Никакого тебе раздутого самолюбия или забот о престиже. А я из человека, думающего в первую очередь о деньгах, превратился в бессребреника — насколько это позволяет наша культура. Все студенческие годы я думал о деньгах и заработках и смотрел на тех, кто учится на малоденежных специальностях, как на блаженных, говорю я. А теперь выяснил, что отсутствие денег не заботит меня вообще. Это банально. Так бывает только в мультиках про утенка Дональда Дака. Хрясь, один удар по башке — и полный переворот в мозгах. Все мои интересы крутились вокруг денег, все свое время и таланты я тратил на то, чтоб заработать как можно больше. И вдруг я падаю с велосипеда, слегка ударяюсь головой, хопс, деньги перестают волновать меня вообще. Как и многое другое, вынужден я с сожалением констатировать, хотя я не теряю надежду, что смогу еще чем-то из прошлой жизни заинтересоваться. Предпосылки созданы. У меня есть палатка в лесу, уйма времени и мяса. И Бонго, новый мой товарищ. Можно подумать, мы знали друг друга всегда. Жена моя пребывает в заблуждении, если думает, что я вернусь в мае к ней, будущему ребенку и вообще — к людям. В мои намерения это не входит. Наоборот, у меня зреет план этого не делать. Ей придется забирать меня насильно. Тащить. А на сносях ей с этим не справиться. Нечего и волноваться.

Я лез из кожи вон.

Я был идеальным.

Черт возьми, каким же правильным молодцом-отличником я был.

Прекрасно вел себя в детском саду. Превосходно учился в начальной школе. Лучше всех успевал в средней. В гимназии проявил себя до омерзения отлично не только в учебе, но и в социальном плане. Я был отличник в квадрате, не зашуганный зубрила, только пыхтящий над уроками, а вполне дерзкий наглец, с учителями держался на грани дозволенного, тем не менее они любили меня больше всех, а для этого человек должен быть отвратительно, почти до неприличия прилежен, исполнителен и старателен, с отвращением вижу я теперь. Я блестяще учился в университете и завел себе суперидеальную подружку, с которой потом образцово-показательно сочетался браком в кругу отличных друзей, уже получив приглашение на работу столь завидную, что она затмила собой все прочие суперпредложения. Потом мы родили детей и стали примерными родителями, купили дом и отделали его по высшему разряду. Год за годом меня вела по жизни бескомпромиссная первокласс-

сность. В ней я просыпался, в ней засыпал. Я дышал безупречностью. И как-то постепенно, незаметно упустил саму жизнь. Вот как обстоят дела, дошло до меня теперь. Господи, не приведи детям моим стать такими же отличниками жизни, каким был я.

Хотя... в дочери я замечаю тревожные признаки человека-отличника. И надеюсь только, что мое переселение в лес (и с этой точки зрения столь своевременное!) сослужит ей хорошую службу: хоть дочь и расценивает мой поступок как начальную стадию слабоумия, но, возможно, именно он заронит в ее душу зерно сомнения, расширит жизненную перспективу и позволит ей выбрать путь не столь всесторонней первоклассности, умерить амбиции и в целом не задирать планку до предела. Если еще не поздно. Если стремление к идеальности не успело уже угнездиться в ней и пропитать ее насквозь. Хотя боюсь, и угнездилось, и пропитало, потому что при синдроме отличника привыкание наступает очень быстро. Стоит человеку стать отличником, и вот уже нет предела тому, на что он готов пойти, лишь бы заслужить пятерку с плюсом. Эта спираль сама себя раскручивает все дальше и дальше, — воистину нет предела совершенству. Сперва человек идеальный ученик и студент, потом он отлично проявляет себя на службе, в профессиональных союзах и организациях, что не мешает ему одновременно быть примерным супругом, надежным другом и прекрасным товарищем, родителем и потребителем; практически нет на свете ничего, что нельзя было бы делать лучше остальных: можно образцово стареть, героически переносить болезнь и красиво уйти из жизни, к чему бы и я, несомненно, стремился, не упади я с велосипеда и не ударься головой. А теперь всё, поздно. Смерть моя будет так, на троечку, и до гробовой доски я не вспомню о престиже. Ничего не стану добиваться. Я отыграл амбициями и отбыл свое отличником.

Но сын мой, к счастью, не успел стать пай-мальчиком, и у меня остается надежда, что его еще можно спасти. Мое отсутствие дома спасет его, постоянно думаю я. Разлука со мной наверно породит в нем тоску, беспокойство, дискомфорт, говорю я себе, и это досадное чувство, Бог даст, спасет его от синдрома отличника. А уж как жене моей пойдет на пользу меньшая безупречность! Теперь, когда меня нет дома, она сильнее устает и, надо надеяться, рано или поздно совершит промах. Замотается, станет раздражительной и, глядишь, сорвется на детях; к тому же она меньше спит, значит, ей не хватает того привычно долгого здорового сна, который позволял ей потом энергично и результативно работать, так что постепенно ее станут мучить угрызения совести, а ничто так не подрывает ее правильности и идеальности, как больная совесть. Своим пребыванием в лесу я, по сути дела, спасаю всю семью. Пусть сейчас они видят в этой ситуации одни только минусы, но на самом деле нам, мне и моей семье, будет за что благодарить лес, если рано или поздно я решусь вернуться в город.

Хотя я не представляю, что могло бы подвигнуть меня на такой шаг. Живя в лесу, я не подвергаю людей общению со мной, а себя — с ними. Они защищены от моего сарказма и ненависти, а я огражден от их тупости и правильности. Идеальный порядок, на мой взгляд.

К тому же в лесу я упражняюсь в одиночестве. Учусь в нем жить. Как жил и мой отец. Возможно, не догадываясь о том. Он был совершенно одинок, мой отец. При нем большую часть жизни находилась моя мать,

но все равно он был один. Последние сорок лет у него был я и мои сестры, от чего он никак не стал менее одиноким. Что творилось у него в голове, что он думал, когда просыпался утром, ложился спать, катался на лыжах или фотографировал туалеты, я не знаю. И никогда не знал. А теперь всё, этого больше нет. И можно утверждать, что и не было никогда, оно ведь существовало исключительно в отцовой голове. Было, не было там что, как узнаешь? Типичная кошка Шрёдингера. Это когда в закрытый ящик помещают кошку, ампулу с цианидом, счетчик Гейгера и радиоактивную частицу — если она распадается, счетчик фиксирует радиацию, и тогда механизм разбивает ампулу, и кошка дохнет. Пока человек не заглянет в ящик, он не знает наверняка, запустился механизм или нет. Поэтому он вынужден считать кошку в ящике живой и мертвой одновременно — или, если угодно, ни живой, ни мертвой. Вот и мой отец такой кот в ящике. Возможно, он много думал, возможно — мало. Быть может, ему жилось хорошо, быть может, плохо. Он одновременно был совершенно жив и совершенно мертв. А теперь мертв и только.

Человек рождается один и умирает один. Это надо просто понять, чем раньше, тем лучше. Вся конструкция зиждется на одинокости. Она, так сказать, несущая опора. Человек, случается, живет вместе с другим человеком, но вместе обыкновенно означает рядом. Что тоже совсем неплохо. Человек живет бок о бок с другими людьми, а некие особо благословенные секунды проживает вместе с ними. Они едут в одном автомобиле, сидят за одним столом за обедом, наряжают одну елку на Рождество. Но это совершенно не то что вместе ехать в машине, вместе обедать и вместе встречать Рождество. Это две противоположности. Две планеты. Кстати об этом: тут открыли новое небесное тело, и некоторые расценивают его как планету, а другие — нет. Только подумайте: нам кажется, мы познали все, а на поверку оказывается, мы даже не знаем, что можно считать планетой. Где уж нам постичь своего отца. Что он за человек — или каким был. Тебе этого не понять, говорю я Бонго. Ты вообще не знаешь, кто твой отец. Возможно, он тоже существо из ящика. Из ящика Шрёдингера в чаще леса. Одно все же ясно, подбадриваю я Бонго, он был лосем. Причем наверняка крупным лосем, раз сумел оплодотворить твою мать, особь внушительных размеров, чтоб не сказать огромную. Значит, и ты вырастешь большой, говорю я, вывожу его из палатки и замеряю его рост на сосне. Я слежу, чтобы он держал голову прямо, прижимаю сверху книгу, делаю зарубку и вырезаю число. Теперь увидим, как быстро ты растешь, говорю я.

Несколькими днями позже вечером, у догорающего костра меня обжигает мысль, что сравнение моего отца с кошкой Шрёдингера было идеальным. Опять я расстарался на пять с плюсом. Даже наедине с самим собой, твердо решив не стремиться к отличности. Просто болезнь какая-то.

Мама поделилась со мной еще смутившей мой покой историей из жизни отца: в одной из их многочисленных поездок на юг, после вкусного, насколько я понимаю, ужина с хорошей едой и вином, отец попросил маму, если он умрет первым, положить ему с собой в гроб ритмическое яйцо. Не забудь — отдавая в похоронное бюро костюм, сунь в карман пиджака яйцо, сказал он. Дело было в отпуске, беззаботным южным ве-

чером, но маме показалось, что отец говорил всерьез. И это был первый и последний, насколько мама могла вспомнить, раз за всю жизнь, что отец упомянул это самое ритмическое яйцо. Когда он умер, мы долго обсуждали, вправе ли мы отмахнуться от тех его слов, посчитать их шуткой. Сестра настаивала, что только так и надо, но, покрутив так и эдак, мы не рискнули нарушить отцову волю. Я пошел в музыкальный магазин и купил красное ритмическое яйцо. Стоило оно недорого, по дороге домой я не утерпел и на пробу встряхнул его. Оказалось, звучит эффектно. Зажигательно даже. Я сразу представил себе, как здорово оно, вкупе с другими инструментами, может поднять слушателям настроение. Сперва, естественно, задается основной ритм. Потом отбивается ритмически изощренный пассаж, оживленный пикантными синкопами. И наконец — ритмическое яйцо. Как крупица приправы. Такой тонкой, что замечаешь ее, только когда ее вдруг забудут положить. Так же точно ты сразу чувствуешь, что в музыкальной композиции не хватает стука ритмического яйца. А в жизни — отца. Правда, он, насколько мне известно, никогда не был поклонником ни бит-музыки, ни ритмических инструментов. Возможно, разгадка в том, что в тот вечер на море отец был счастлив, пьян, переполнен южными ритмами, музыка наверняка звучала со всех сторон, и в какой-то миг, как иногда случается, ему подумалось, что в его жизни не хватает веселья, танцев, музыки, свободы, а чересчур много обычных докучных дел и обязанностей, это нормально, такие мысли, хоть впромельк, посещают иной раз каждого, всякому, я думаю, знакомы эти приступы беспросветности, когда вдруг остро чувствуешь, что погряз в каких-то бессмысленных, в сущности, делах и завидуешь тем, кто живет иначе, подлинно, осмысленно, у кого есть что-то по-настоящему важное: ритм, темп, радость, глубина или дети. Вероятно, тем южным вечером отец был как раз в таком настроении. Или это был приступ страха смерти, вызвавший у отца мысль, что ритмическое яйцо каким-то образом облегчит ему момент перехода, что с его помощью он преодолеет все потусторонние врата и преграды. Это все мои домыслы, само собой. Но мне известно, что отец много читал. И прочитанным ни с кем как правило не делился. Он любил классическую литературу. А там смерть на каждом шагу, непрестанно описываются царства мертвых и как в них переплыть-спуститься. Хотя в классической литературе именно ритмическое яйцо встречается, конечно, не часто. Вряд ли оно упоминается у греков, думаю я. И у римлян вряд ли. Так что откуда отец взял его, остается загадкой. Но теперь оба они преданы земле. И отец. И яйцо. Там они постепенно разберутся что к чему, я надеюсь.

На ночь мы с Бонго писаем на нашем обычном месте и любуемся городом и фьордом. Вечер холодный, ясный, и я замечаю, что в Институте метеорологии еще светятся окна. Тамошние сотрудники день и ночь в заботах. Наблюдают за погодой, изучают, моделируют ее. И конца-краю этому нет. Погода, она никогда не прекращается и перерывов не делает. А вот снега что-то нет как нет. В прошлом году он выпал рано, в октябре уже лежал. А в этом все нет. Исключительно солнце ко всеобщей вящей радости. А мне бы снега. Снегопад — единственная погода, которую я люблю. Он меня почти не раздражает, в отличие от всего остального. Я часами могу сидеть у окна и смотреть, как идет снег. Тишина снегопа-

дения. Она хороша для разных дел. Самое лучшее — смотреть сквозь густой снег на свет, к примеру, на уличный фонарь. Или выйти из дому, чтобы снег на тебя ложился. Вот оно, чудо. Человеческими руками такого не создать. А еще я обожаю сгребать снег. Могу заниматься этим сколько угодно. Ну и конечно мне сладко, что все кругом снег не любят. Что они раздражаются, когда он выпадает. Что, прожив всю жизнь в Норвегии, они не смирились со снегом, а злятся на него. Поэтому, когда снег, я блаженствую. Не без ехидства. Плохо только, что энтузиасты из метеорологического института, похоже, химичат там, чтоб я остался без снега. В результате он стал непредсказуем, я даже не уверен, выпадет ли он вообще в этом году, а без снега мне плохо. Я бы предпочел снег почти всему. Большинству людей. Может, даже и тебе, Бонго, говорю я, пока мы стряхиваем последнюю каплю. Но это гипотетический вопрос, и давай не будем в него углубляться, говорю я. Не морочь себе этим голову. Ты ведь мне тоже нравишься, Бонго. Ты отличный парень. Но ты не снег, в этом вся штука.

Декабрь

Тинейджером я остро чувствовал, что не могу так жить: в Африке люди голодают, а я тут в роскоши купаюсь. Много вечеров я провел, гоняя "The Wall"[1] и переживая несправедливость мира. Я видел, что он устроен жестоко и неправильно, но мучительно не знал, как его переделать. А потом вдруг чувство, что так жить нельзя, ушло. Так же внезапно, как и навалилось. А уж сегодня у меня этих мыслей и в помине нет. Теперешнее мое благосостояние сопоставимо, я полагаю, с достатком большинства африканцев. Живу я тем, что сумел сегодня добыть. Я охотник и собиратель. На то, чтобы обеспечить себя водой, у меня уходит столько же времени, сколько у среднего африканца. Если я умираю от жажды, то, бывает, наполняю бутылку прямо из ближайшего болота, но вода там коричневая, стоячая, она тухла тысячу лет, наверное, поэтому я предпочитаю ходить к какому-нибудь из здешних ручьев. Но они ненадежны. Иногда в них так мало воды, что не знаешь, как ее набрать. Сам ты теперь Африка, говорю я себе. Как и она, ты недоразвит (за исключением полового органа, который скорее переразвит) и так же вызываешь у окружающего мира желание тебе помочь, но точь-в-точь как гордая Африка требуешь права по-своему решать свои проблемы. Между Африкой и мной есть одно существенное различие: она любит, когда людей много, а я их вообще не выношу. Африка только и мечтает, чтоб везде толпились друзья, родня и знакомые, ну а я не желаю знаться ни с приятелями, ни с семьей, ни с кем вообще. За вычетом этого пункта, мы с Африкой похожи как две капли воды.

Я трачу, как уже сказал, уйму времени, чтобы обеспечить себя водой. Не говоря уж о молоке. Но договор действует. Директор ICA, как и обещал, ставит для меня молоко за помойкой, а я забираю его. Так что жидкостью организм насыщен. Витамины и минералы я получаю из молока и мамаши Бонго, ее у меня пока достаточно. А вот потребность в сладком не удовлетворена никак. Я не держал во рту сладкого с тех пор,

1. Альбом группы "Pink Floyd".

как сошли последние ягоды, то есть больше месяца. Из-за этого я сделался каким-то беспокойным. Как и все остальные, я — отлаженный высокоточный механизм, который надлежит в нужный момент смазывать в определенных местах. Избыток, равно как и недостаток чего-то, вызывает сбои в организме. Без сахара я хирею, а когда вдруг обнаруживаю, что вот уже несколько часов хожу кругами вокруг палатки, как больной зверь, и неотвязно думаю только о сахаре, пугаюсь всерьез и, проведя сколько-то дней в таком нервозном состоянии, беру с собой Бонго и спускаюсь к дому Дюссельдорфа. Из своих наблюдений я помню, что шоколад он хранит в доме. Наш добрейший Дюссельдорф помешан на шоколаде. А Бонго я научил носить поклажу. Из шкуры его матери я сшил две сумки, или торбы, или как их там назвать, которые я кладу ему на спину и скрепляю под брюхом. Держатся прекрасно, и Бонго вроде не в обиде. Он на все готов, лишь бы я брал его с собой. Бонго мой грузовой лось. И таскает дрова, воду, молоко, как будто сроду ничем другим не занимался. Мы долго следим за Дюссельдорфом, укрывшись в его саду. Он всецело поглощен новой моделью. Какой именно, я не вижу, но Дюссельдорф вооружен пинцетом и клеем и с головой ушел в работу. Он недавно куда-то ездил, догадываюсь я. На кухонном столе лежит самая большая шоколадка "Тоблерон", какая только бывает в продаже. Весом в четыре с половиной килограмма, длиной больше метра и толстая, как мое бедро. Я часто видел такие. В аэропорту "Каструп" и в других, куда я регулярно попадал по служебной необходимости, пока не переселился в лес. Но сам я всегда покупал только маленькие. Ни разу не отважился на такой поступок, не купил эту громадину. Образцовопоказательность мешала, думаю я. Вечная пай-мальчиковость. Маленькие шоколадки, они правильные. Их покупают как знак того, что отец думает о своей семье. Помнит о ней. Заботится. А вот гигантский "Тоблерон" неправильный, он слишком велик. Чрезмерен. В человеке, который такое покупает, можно заподозрить изъян. Или у него проблемы с питанием. Или он одинок. Или со странностями. Он, знаете ли, может оказаться каким угодно. Я замечаю, что эта черта Дюссельдорфа вызывает у меня уважение. В смысле, его умение мыслить масштабно. И он сегодня проветривает: дверь в сад приоткрыта. А проветривает он потому, что курит. Занятно: даже курильщики, которые живут одни, и те теперь проветривают. Вот до чего дошло. Но мне это на руку. Велев Бонго тихо ждать за кустом, я крадучись подбираюсь к двери, шмыгаю внутрь и по-пластунски ползу через кухню к "Тоблерону", к огромной шоколадной глыбе, которую вожделею каждой клеточкой своего тела, тут речь не просто о желании — у меня острейшее сахарное голодание, организм углеводов не просит, а требует, а этот "батончик" шоколада обеспечит меня сахаром на месяцы, на год, возможно, поэтому я вытягиваю руку и сдвигаю колосса к краю, ближе, ближе, пока наконец он не ложится, раскачиваясь, на самом краешке, я действую бесшумно, это всегда отличало нас, охотников и собирателей, — вот уже сорок тысяч лет мы не шумим на работе; теперь шоколад, считай, у меня в руках, я вытягиваюсь и, вытянувшись, не слышу, что Дюссельдорф встает и идет на кухню, я поглощен делом и отсекаю все посторонние звуки, к которым по нелепой, но роковой ошибке причисляю и шаги Дюссельдорфа, — и в результате я как последний дурак ни о чем не подозреваю до тех самых пор, пока Дюссельдорф не возникает на пороге, видит, что

происходит, кидается к столу, хватает шоколад, и между нами завязывается бой. Я держу добычу обеими руками, Дюссельдорф с другого конца вцепляется в шоколадину мертвой хваткой: мужчина против мужчины, классический вариант, теоретически я несомненно сильнее Дюссельдорфа, однако, к моему изумлению, шоколадная плита вдруг оказывается у него в руках, и ею он несколько раз бьет меня по голове. Свет меркнет, а когда сознание возвращается, я лежу — увы и ах! — связанный по рукам и ногам, на полу кухни Дюссельдорфа, застланной, как выяснилось при близком рассмотрении, коричневым линолеумом.

Проходит час, второй, по звукам из гостиной слышно, что Дюссельдорф как ни в чем не бывало продолжил свои занятия. Бросив меня тут валяться. Такой уровень самодостаточности мне даже импонирует. Он, так сказать, истинный мономан.

— Что вы мастерите? — не выдерживаю я наконец.

В ответ те же звуки.

— Я полагаю, это ты таскал из подвала варенье и мясо, — говорит он.

— Боюсь, вы правы, — говорю я. — Был момент, я заимствовал кое-что по мелочи, но давно завязал с этим.

— Ты завязал, потому что я установил сигнализацию, — говорит Дюссельдорф.

— Скорей всего, ваша правда, — соглашаюсь я.

— А теперь снова развязал? — говорит он.

— У меня критическая нехватка углеводов в организме, — говорю я. — Мне срочно нужен сахар.

Он возвращается на кухню, открывает "Тоблерон", отрезает ножом кусок. И дает его мне. Прямо в рот.

Ого-го! — ликует тело. Сахар! По телу разливается тихое блаженство. Как же мало нам нужно. Так вот мы устроены, чертовски банально.

Дюссельдорф уходит назад в гостиную.

— Так вы клеите модели? — пробую я продолжить беседу.

— Клею, — отвечает Дюссельдорф.

Я полагал, что он скажет еще что-нибудь, поэтому лежу тихо, но он, очевидно, свое уже сказал.

— А что вы клеите? — спрашиваю я еще погодя.

Мне слышно, что он кладет что-то на стол, потом становится тихо.

Раздражен, наверно, думается мне.

— Я клею немецкую машину "Штейер 1500 А 101", — наконец сообщает он.

Я жду продолжения, но снова тишина.

— Интересно, — говорю тогда я.

— Немцы в начале войны давили очень мощно, — говорит он. — В большой мере это объясняется их классной техникой. У них на вооружении были качественные машины, отличные танки, прекрасные самолеты и так далее.

Снова тишина.

— Насколько я помню, в конце войны дела у них пошли неважно, — отвечаю я и начинаю бесшумно отползать к двери в сад.

— Да, — говорит Дюссельдорф, — неважно. Но поначалу все было хорошо. И у них, повторюсь, были отличные автомобили. Модель, кото-

рую я сейчас клею, производилась в Австрии в пяти весовых модификациях, конкретно эта весила полторы тонны, и ее охотно использовали как штабную и санитарную машину, да и в качестве тягача тоже.

– Машина на все случаи, – отзываюсь я.

– Совершенно верно, – говорит Дюссельдорф. – Полноприводная. Объем двигателя 3,5 литра. 85 лошадиных сил.

– Вот оно что, – поддакиваю я уже от двери, где и обнаруживается, что предусмотрительный Дюссельдорф накрепко привязал меня за ногу к батарее под кухонным столом. Мне едва удается высунуть наружу нос и подать Бонго сигнал, чтоб он подошел. Этот самый послушный в истории человечества лось как вкопанный стоит за тем самым кустом, где я его оставил. Но теперь он тихо пересекает лужайку и приходит мне на подмогу. Я высовываю наружу руки, и Бонго принимается мусолить и жевать веревку, которая стягивает их.

Человек и животное сообща противодействуют силам зла – что может сравниться с этим!

– А почему вы выбрали эту модель? – спрашиваю я, стараясь не выдать голосом, что переместился на другое место, сижу, скрючившись в немыслимой позе, и к тому же мне глубоко до лампочки, что он там мастерит и почему.

Он не отвечает.

– Нет, конечно, это не моего ума дело, – говорю я. – У вас наверняка есть свои причины.

– Есть, – отвечает Дюссельдорф.

Бонго перекусывает последнюю нитку, руки мои свободны. Я развязываю узел на ноге и встаю. Мой первый порыв, естественно, убежать и никогда сюда не возвращаться, но нет: "Тоблерон" не отпускает меня. Отчасти мне просто хочется шоколада, а отчасти надо доказать Дюссельдорфу, кто все-таки в доме хозяин. Я крадучись подбираюсь к шоколаду и хватаю его. Ты мой, думаю я. Черт побери, я тебя выстрадал. Но едва гротескно большая шоколадина оказалась зажатой у меня под мышкой, я совсем раздухарился и решил одним глазком заглянуть в гостиную, чтобы воочию убедиться, насколько жалкое впечатление производит стареющий мужчина, который коротает свой век за таким идиотским занятием, как склеивание модели "Штейер 1500 А 101". Тем более прежде я в гостиной не бывал. Я всегда заходил через садовую дверь, спускался в подвал, а потом быстро делал ноги.

Я крадусь к двери гостиной, разумеется, бесшумно, как положено охотнику и собирателю, но на этот раз все чувства обострены, один звук из гостиной – и я исчезну прежде, чем Дюссельдорф сообразит что к чему. Вот я заглядываю внутрь и вижу спину Дюссельдорфа, сидящего за большим столом, заставленным всякими штучками, чтобы клеить модели. Он сосредоточен, работает. Скольжу взглядом в глубь комнаты, и мне открывается картина, которая не то что потрясает, а едва не шокирует меня. Гостиная Дюссельдорфа представляет собой поле битвы. В прямом смысле слова. В комнате на площади в пятьдесят-шестьдесят, наверно, метров разыгрывается бой. Мои знания о войне довольно поверхностны, тем не менее я отчетливо вижу, что это Вторая мировая война. Цвета и иконография панорамы в гостиной Дюссельдорфа соответствуют моим представлениям о той войне один в один. С радостным безумием, не упустив ни единой детали, он воссо-

здал в самой большой комнате своего дома некий городок с пригородами. Я вижу жилой массив, дома, железнодорожные пути, нарезы земли, пару крестьянских изб на той стороне реки или канала – ближе к окну. Здесь есть деревья, фонарные столбы, пожарные брандспойты – короче, полная инфраструктура любого города имеется и в нереальном городе в гостиной Дюссельдорфа. Макет наверняка воспроизводит некий настоящий город, догадываюсь я, как он выглядел в какой-то день Второй мировой. Город заполонен солдатами. Они прячутся за каждым углом, вагонами, машинами и оттуда стреляют друг в друга. В городе зима. Все покрыто снегом. Искусственным. Но вполне правдоподобным. Следы машин на снегу. Повсюду убитые и раненые. Это застывший эпизод Второй мировой войны. И я сердцем чувствую, что ни одна деталь ни на йоту не отступает от истинной картины боев, захлестнувших тогда окраины городка. Вид танков, грузовиков, солдат не оставляет сомнений. Техника изношена долгой войной. Солдаты устали. Пулеметные расчеты действуют грамотно и эффективно, но без воодушевления, и курят пулеметчики нещадно. Дома пострадали от обстрела. Штукатурка осыпалась и лежит вдоль стен небольшими холмиками. Сгоревшие машины опрокинуты и служат укрытиями для групп солдат, которые перезаряжают винтовки или просто переводят дух. Локомотив, тащивший очень тяжелую пушку, сошел с рельсов, и кучка людей пытается с помощью крана поднять его. Я мысленно прикидываю, что тут около ста единиц транспорта и раза в три-четыре больше солдат. Чтобы сотворить такое, нужен год. Дюссельдорф отдал год своей жизни, чтобы воссоздать эту зимнюю сцену из Второй мировой войны, и я чувствую: уважаю.

– Простите, пожалуйста, – тихо спрашиваю я, простояв над макетом сколько-то времени, – что это такое?

Дюссельдорф оборачивается. Смотрит на меня, на "Тоблерон", который идиотски торчит из-под мышки, переводит взгляд на свою батальную сцену.

– Наступление в Арденнах, – говорит он. – Декабрь 1944-го. Точнее, рождественский вечер того года. Город называется Бастонь. Мой отец погиб там в тот день. Его застрелили, когда он вел такой вот грузовик. – Дюссельдорф приподнимает и показывает мне машину, которую клеит. – Пуля угодила отцу в левый висок в тот момент, когда он ехал к генералу Мантёйффелю с рапортом о текущем положении дел. В два часа двадцать минут пополудни. С утра шел снег, и судя по всему час спустя вновь начался сильный снегопад. Когда наступление в Арденнах захлебнулось, ни один человек уже не верил, что немцы победят. Исход войны был решен.

Дюссельдорф снова усаживается. И принимается раскрашивать машину.

Я вперяюсь взглядом в баталию. Стрелка на часах и на соборе, и на вокзале этого панно, или сцены, или не знаю, как ее назвать, приближается к двадцати минутам третьего. Дюссельдорф строит смерть своего отца. Она вот-вот случится, хотя уже давно произошла, и я чувствую, что именно этот двойной отсчет поражает меня. Он реконструирует событие, которое должно произойти, но в то же время уже свершилось несколько десятилетий назад.

– Сочувствую, – говорю я.

— Ничего, — говорит Дюссельдорф. — Это давние дела. Я никогда не видел его. Вот только время смерти меня смущает. Я разговаривал с его сослуживцами. Они говорят, что отец погиб в два двадцать пополудни. Что это за время такое? Черт побери, как так — умереть в два двадцать?

— Может, это не так важно, — говорю я осторожно.

— Думаю, ты не понимаешь, — отзывается Дюссельдорф.

— Видимо, — отвечаю я.

Дюссельдорф работает, я чувствую, что мне давно пора убираться в лес, но вместо того чтобы уйти, к своему удивлению, вдруг говорю, что мой отец тоже умер.

— Представляете, у меня отец тоже умер, — говорю я. — Сейчас, весной.

— Жаль, — говорит Дюссельдорф. — Он был хороший человек?

— Я не знаю, — отвечаю я. — Я его не так хорошо знал. Но в последние годы своей жизни он фотографировал туалеты. Не могу сказать, хорошо это или плохо.

— На мой взгляд, это говорит о нем хорошо, — отвечает Дюссельдорф. — Ты не должен был позволить ему умереть.

— Да, — говорю я. — Не должен был.

Мне налит херес, и я сижу напротив Дюссельдорфа за его рабочим столом и смотрю, как он красит модели. Держит пинцетом крохотную пластмассовую детальку, которой предстоит стать задней осью, и крохотной кисточкой красит ее в бледно-зеленый цвет. И между делом рассказывает, что его отца в начале войны отправили в Норвегию. Сюда, в Осло. Здесь он встретил маму Дюссельдорфа, пару раз прогулялся с ней по лесу, сходил на танцы и сделал ей ребенка. Потом его отозвали на родину, откуда поздней осенью 1944-го перебросили в Бельгию. Он считался опытным офицером, а немцам для арденнского наступления нужны были лучшие кадры. Наступление расценивалось как последний шанс переломить неудачный ход событий. Поскольку отец его был родом из Дюссельдорфа, то, когда несколько лет назад норвежский закон об имянаречении смягчили, Дюссельдорф решил взять себе такую фамилию. Он гордится тем, что он сын немецкого солдата, сказал он. Тут не в том дело, что он симпатизирует нацистам, просто жизнь такова, какова есть. Мой отец был немецким солдатом, говорит он. С этим фактом ничего не поделаешь. Но у меня нет оснований думать, что он был чем-то хуже других солдат. Наоборот, у меня есть все основания считать его самым обычным молодым человеком, которому, как и нескольким миллионам других самых обычных молодых людей, пришлось поплатиться за то, что они появились на свет тогда и там, где появились. Раз мне не довелось встретиться с ним, я хочу почтить его память. Я клею все это в его честь. Клею вот уже шесть лет. С того дня, как умерла моя жена. В день ее похорон я и начал. С ней я не мог говорить об отце. Она о нем слышать не желала. Мне приходилось делать вид, что и меня он не волнует. И мать ни разу о нем не заикнулась. Некоторым образом я понимаю ее. Есть темы более привлекательные для обсуждения, чем тот факт, что у тебя родился ребенок от немецкого солдата, оккупировавшего твою родину. Только после смерти матери мне в руки попали письма отца плюс одно от солдата, служившего под его началом, где тот сообщает, что отец погиб, и описывает, как это случилось. Да, так вот,

когда и мать, и жена умерли, я стал волен делать что хочу, а хотелось мне сотворить отцу память. Сейчас я почти у цели. Все эти годы я рассчитывал, что вот доклею офицерскую легковушку, доделаю отца, раскрашу, поставлю их куда нужно в макет и пущу себе пулю в лоб. Иногда я думал, что лучше всего сделать это дома, но иной раз склонялся в пользу другого варианта — поехать в Бастонь и совершить задуманное на том самом месте, где погиб отец. Мне оно точно известно.

Дюссельдорф встает, с кисточкой в одной руке и пинцетом, сжимающим пластмассовую детальку, в другой, делает шаг в панораму и показывает на один из перекрестков. Вот здесь это было, говорит он. А вон человек, который прислал матери письмо. Он указывает на солдата, опустившегося на одно колено позади разрушенной стены. Его звали Райнер. Хороший мужик. У него было хобби — клеить модели самолетов. Я виделся с ним пару раз, пока он не умер, года три-четыре назад.

Вернувшись за стол, Дюссельдорф продолжает красить дальше.

— Что-то в этом плане мне претит, — говорит он, помолчав. — Пафосно и банально. Не знаю. Посмотрю. Сам-то как? — спрашивает он.

— Да спасибо, — отвечаю я. — Нормально. Я в лесу живу, с лосем. Недалеко отсюда. У меня палатка.

Он поднимает на меня глаза.

— Могу я спросить, почему ты живешь в лесу?

— Я не люблю людей.

Он кивает.

— Это понятно, — говорит он, кладет кисточку и протягивает мне руку для пожатия.

— Дюссельдорф, — представляется он.

— Допплер, — отвечаю я.

Накануне матча наших против Испании ко мне в палатку является жена и говорит, что ей нужна передышка, и поэтому они с подружкой улетают в четверг до конца недели в Рим.

— А, Рим, — говорю я, мысленно перебирая: Пантеон, Колизей, кардиналы, выставляющие себя напоказ, как продажные девицы, но занятые, однако же, исключительно рассуждениями на тему, есть ли душа у женщины, и конечно же Нерон, при котором Рим сгорел, а казни вошли в обиход. Наверняка Нерон людей тоже недолюбливал.

— В Рим в декабре? — говорю я. — Не холодновато?

— Нет, — отвечает моя жена.

— Ну и отлично, — говорю я. — Прекрасная идея. А как же дети? Кто за ними присмотрит?

— Ты, — отвечает она. — У Норы в четверг родительское собрание, а Грегусу в пятницу надо дать с собой в детский сад фрукт.

— Фрукт? — говорю я. — Где ж я его возьму? Нет, так не пойдет. Я не могу бросить палатку. И на мне лось.

— Я не собираюсь ничего с тобой обсуждать, — говорит жена. — Я пришла просто сказать тебе, что́ ты должен сделать, нравится тебе это или нет.

Дочь нашу зовут Нора[1], само собой разумеется — Нора! Моя жена помешана на Ибсене, ну и в целом на театре, она совершенно всеядна,

1. Нора — героиня пьесы Ибсена "Кукольный дом".

смотрит обязательно все и всем восторгается. На ее некритичный взгляд, пьесы хороши уже тем, что они пьесы, театр великолепен сам по себе, а дочь должна быть названа в честь Норы, одной из первых наших поборниц женского равноправия. По мне, ее с таким же успехом можно было назвать хоть Строителем Сольнесом[1]. Но в тот момент я так не говорил. Я был для этого слишком правильным. Мы оба считали, что Нора — отличное имя, хотя, наверно, для жены оно потянуло на пять с плюсом, а для меня так, на пятерочку.

— Так ты у нас в роли Норы? — говорю я, не успев хорошенько подумать.

— Не поняла? — говорит моя жена.

— Ты уезжаешь от мужа и детей, — объясняю я. — Точно как Нора.

— Нет, это ты у нас Нора, — отвечает жена. — Взял и сбежал от всего и вся уже полгода как.

— Я не Нора, я Африка, — объясняю я.

— Тебе нужно полечиться, — заявляет моя жена.

— А как вообще дела? — интересуюсь я. — Как питаешься? Как самочувствие?

— Нет, тебе определенно надо к доктору, — повторяет она.

После ухода жены Бонго долго дуется на меня. Ревнует, я думаю. Он видит в моей жене соперницу, что в общем и целом соответствует реальному положению вещей. Но жена это совсем не то что друг, растолковываю я Бонго. На ней я женат и должен строить отношения, ну и нравится она мне тоже, объясняю я. А с тобой мы друзья и будем всегда дружить, тебе я рассказываю такое, о чем с ней никогда не заговорю. Не бойся, говорю я, обирая с него блох.

Ты да я, говорю я, мы с тобой.

Со стадиона "Уллеволл" до меня долетает рев: наши играют против Испании. Подгоняемый любопытством, я забираюсь на верх склона и пытаюсь оттуда следить за матчем в бинокль, но вижу только небольшой кусок поля и часть одних ворот. В них влетает мяч, по гудению стадиона я понимаю, что отличилась не Норвегия. Потом еще дважды я слышу такое же гудение и догадываюсь, что игра продута. Норвегия не поедет на чемпионат в Португалию. И то правильно, что нам там делать, да, Бонго? Или ты думаешь иначе? Но из него слова не вытянешь, он как воды в рот набрал и не признается, что на самом деле думает о тренере нашей сборной, этом Сембе. Но ты хоть можешь сказать, он тебе нравится? — спрашиваю я. Бонго молчит. Нет, но все-таки, по-твоему, он душка и харизматик или ему давно пора убираться ко всем чертям? — настаиваю я. Нет ответа. В таком случае будем считать, что, на твой взгляд, ему пора убираться ко всем чертям. Поправь меня, если я ошибся. Он не поправляет меня, значит, я не ошибся. Признаться, я шокирован, говорю я тогда. Ты производишь впечатление мягкого, компанейского добрячка, а в душе у тебя, оказывается, кипит агрессия и копится нетерпимость. Ты должен бороться с этим, говорю я. У каждого из нас есть проблемы, но мы с ними постоянно боремся. У меня самого проблем море. Но то, что ты жаждешь

1. Герой одноименной пьесы Ибсена.

крови тренера национальной сборной, господина Сембе, это меня, извини, удивляет. Легко понять, что он тебе не нравится, но денно и нощно мечтать о расправе?!

А впрочем, почему бы и нет? Тебе виднее.

Я прихожу за сыном в садик к самому закрытию. Весь день я переживал и мучился: что я ему скажу? Как объясню, что последние полгода жил в каких-то трех-четырех километрах от него и ни разу не объявился? Что я выбрал лес? Счел за лучшее жить в палатке, в тишине, с лосями всякими, а не дома с ним, его сестрицей и мамой? Предпочел лес работе и, скажем, вылазкам в Smart Club[1], где покупаются полуторалитровые баллоны "Лактацида" и штабеля туалетной бумаги, дабы ягодицы всех членов семьи в любой момент не стыдно было предъявить общественности, а также конструктор "Лего" за полцены, жидкость для лобовых стекол в канистрах и сосиски в киоске на выходе? Грегус Smart Club обожает. Но теперь моя клубная карта закончилась, а сам я выбрал жизнь в лесу, предстоит мне объяснять ему, когда мы совсем скоро встретимся. Я отдал предпочтение лесу, а не Smart Club и прочим абсурдным местам, в посещении которых проходит век человека, если он женат и живет в столице Норвегии. Всего этого трехлетка, естественно, понять не в состоянии, или ему уже четыре? Бог мой, ему, я думаю, четыре уже исполнилось. Как летит время, когда живешь в лесу! Да, в общем, слова мои до него не дойдут. Ребенок, который может вскочить посреди ночи с вопросом, скоро ли мы опять поедем в Smart Club, не поймет ни слова из моих мудреных объяснений, так что, стоя перед воротами детского сада, я чувствую, что все мои резоны и доводы прозвучат неубедительно.

Всех детей уже забрали, и Грегус, увидев меня, ударяется в плач. Воспитательница меня не узнаёт, а я не могу вспомнить ее. Она желает увидеть доказательство того, что я — это я, в чем я никак не могу ей помочь, потому что документов больше при себе не ношу, и говорю: послушайте, это же я, старина Допплер, хотите, расскажу вам шутки с позапрошлогоднего новогоднего утренника, говорю я под вопли продолжающего орать Грегуса, и все заканчивается не раньше, чем я вынимаю из кармана нож и уже собираюсь срезать бороду, но сотрудница останавливает меня и звонит жене, которая, насколько я понимаю из их беседы, как раз подъезжает к Пантеону, и из автобуса, лавирующего по старым улицам Рима, жена подтверждает, что у меня есть борода и что я действительно выгляжу как грязный оборванец.

Грегус успокоился, мы бредем домой, и я расспрашиваю его о полной сложностей детсадовской жизни. Он, со своей стороны, интересуется, почему я выгляжу так странно. И я отвечаю, как оно и есть, что в данный момент я живу в палатке в лесу и что бороду я отрастил, потому что мне проще позволить ей расти, чем все время пытаться этому помешать. Заодно я добавляю, что у него самого когда-нибудь пробьется борода, но он считает, что я его нарочно обманываю.

Дома мы встречаемся с Норой, которую тоже повергает в шок мой внешний вид. Я говорю ей, что хочу забрать Грегуса к себе, чтоб он по-

1. Магазин, где товары продаются мелкими партиями, но со скидкой.

был у меня в палатке, пока их мать не вернется из Рима. Естественно, я буду счастлив, если и она составит нам компанию, говорю я, прекрасно зная, что такое предложение ей наверняка поперек души. И точно, она отказывается. Она заканчивает работу о Толкиене, сообщает она, и планирует потратить выходные на то, чтобы все отшлифовать. Испуганный такой прилежностью, я начинаю уговаривать ее устроить лучше вечеринку. Только представь, урезониваю я, какую классную гулянку вы можете закатить. Одна дома, никого нет. Позови хоть всю школу, говорю я. Оторвитесь по полной. Пусть народ курит, танцует, все крушит и веселится. В молодости полезны такие гулянки, говорю я, такие праздники. Человек проносит их с собой через всю жизнь, они делают человека человеком. И вспоминать ты, придет время, будешь не пятерки за школьные доклады, а как вы зажигали. Нет, она мне не верит. Ну хоть маленький праздничек себе устрой, уговариваю я. Сама подумай, девочка. Дом в полном твоем распоряжении. Это редкое везение. А на другой день можешь прийти ко мне в палатку, проспаться, поесть лосятины. Она как-то странно смотрит на меня.

— Надеюсь, ты не собираешься идти сегодня на собрание, — говорит она, и я отвечаю, что собираюсь непременно. Ее мать попросила меня сходить, и я, естественно, выполню ее просьбу.

— Ты хочешь, чтобы я поговорил о чем-то специально? — спрашиваю я. — Довольна ли ты педагогами? Подстегивают ли они твой интерес к учебе? Не заставляют ли ходить на физкультуру во время месячных?

Она смотрит на меня как на чокнутого.

— Я буду тебе очень благодарна, если ты туда не пойдешь, — говорит она.

На собрание я иду. Во-первых, потому что жена просила об этом, во-вторых, чтобы избежать упреков в том, что Норины родители наплевательски, мол, относятся к школьным проблемам. Сразу настораживает, что собрание подозрительно хорошо организовано. На доске написана повестка дня, на партах таблички с именами учеников. Я сажусь на Норино место в первом ряду у окна и напрягаюсь. Хотя лет десять уже как сидеть на первой парте перестало считаться у молодежи престижным, я понимаю, что для Норы добиться места на первой парте и быть самой лучшей — это вопрос чести. Классная наставница, женщина лет пятидесяти, для начала говорит, что класс обладает небывалым потенциалом, такого сильного класса она не видела за все годы своей работы в сфере образования, потом объясняет, что они сейчас проходят, и переходит к предстоящей вскоре поездке в Прибалтику. Несмотря на то что год с лишним класс на больших переменах торговал вафлями, с каждого ученика требуется еще взнос в три тысячи крон. Я понимаю, что прошу слишком много, говорит она, и участие в поездке добровольно, но имейте в виду: дети посетят и Таллин, и Вильнюс, города очень интересные, насколько я разобрался. Там можно углубить познания в истории, немало узнать о войне и о Советском Союзе, а для такого сильного класса, как наш, поездка станет поистине золотой жилой, поскольку увиденное и услышанное пригодится ребятам еще не раз. Тут тебе и доклады, и стенгазеты, и альбомы, к тому же в таких путешествиях завязываются дружеские связи на всю жизнь.

Возникает вопрос об алкоголе. Я поднимаю руку и предлагаю разрешить ребятам выпивать. Остальным родителям идея не по нраву. Послушайте, призываю я. Давайте немного ослабим узду. Пусть напьются до потери пульса, так, чтобы вернуться в гостиницу под утро, еле держась на ногах. Мы оказываем медвежью услугу своим детям, чрезмерно опекая их, говорю я, но не встречаю понимания. Скажу больше, у меня складывается впечатление, будто я предлагаю что-то дикое, абсурдное, такую чушь, которая к жизни этих благородных людей отношения не имеет. Вот ведь доопекались. Чем ни займись, сразу велосипедные шлемы и средства детской безопасности. Лично моей дочери разрешается пить сколько влезет, под конец говорю я упрямо, и все родители отводят глаза.

При обсуждении "разного" я предлагаю включить в программу основы товарообмена. Надо учить молодежь как можно активнее обмениваться вещами и услугами, а не покупать их. От этого зависит будущее Земли, говорю я. Не человек владеет Землей, а наоборот. Цветы — наши сестры, а кони, орлы, не говоря уж о лосях, — братья. И как может человек покупать или продавать что бы то ни было? Кому принадлежит теплота воздуха или шелест ветра в листве? Бродящий в деревьях сок несет память о тех, кто жил до нас. В журчании ручья звенит голос моего отца, и его отца, и так дальше. Мы обязаны внушить детям, что твердь, по которой мы ходим, удобрена прахом наших предков, и как мы поступаем с землей, так поступят потом и с нами, так что, плюя на землю, мы плюем на себя, и кстати, раз уж я взял слово: не хочет ли кто из вас обменять немного фруктов на лосятину? Я достаю из рюкзака шматок на пару кило и кладу его на парту. Отличное мясо, говорю я. Сочное, подкопченное. А в обмен мне нужна всего-то гроздь бананов или немного других фруктов, подходящих для детского сада. Пока идет собрание, никто интереса к сделке не проявляет, но после ко мне подходит отец одной из самых правильных Нориных подруг, тоже гордости класса, и говорит, что берет лосятину. На его машине мы едем на заправку, он заходит в магазин и появляется с полным пакетом разных фруктов, а потом отвозит меня домой. Дорогой делится наблюдением, что я изменился, и осторожно интересуется, чем я теперь занимаюсь. Видно, слышал что-то от своей отличницы-дочки. Я в лес перебрался, говорю я. Ушел с работы и поселился в лесу, это было самым разумным из всего, что я мог сделать. Он кивает. Лес коварен, напутствует он меня, когда я вылезаю из машины, так что будь осторожен. Ошибаешься, отвечаю я. Лес добродушен и дружелюбен. Это море коварно. И горы. А лес предсказуем и раздражает в разы меньше, чем практически любое другое место на свете. Полагаться на море, горы или других людей нельзя никак, а вот доверить свою жизнь лесу человек может спокойно. Ибо, говорю я, лес слушает и внемлет. Он ничего не разрушает, а только насаждает и взращивает. Лес все понимает и все в себя вмещает. Ясненько, говорит он. Но ты все-таки береги себя. А ты себя, отвечаю я.

Когда я появляюсь дома, Нора уже уложила Грегуса и теперь смотрит телевизор. Показывают документальное кино о том, как работа над фильмом на всю жизнь сплотила команду "Властелина колец". Теперь, когда съемки окончены, все они ужасно скучают друг без друга, а некоторые впали в депрессию и не находят в себе сил взяться за но-

вые проекты. Норе тяжело это слышать, вижу я. Но она реагирует блуждающей улыбкой на рассказы актеров о смешных и трогательных эпизодах в гримерных вагончиках и на съемочной площадке. Жизнь группы не назовешь шоколадной. Сплошь и рядом им приходилось вставать затемно и по нескольку часов терпеть, пока им наращивали на ноги хоббичьи лапищи, но Питер, режиссер то есть, всегда находил время каждого подбодрить, сказать, какой тот талантливый и незаменимый, и это при том, что сам он буквально жил великим эпосом и думал только об одном: как лучше выстроить ту или иную сцену, чтобы уважить многочисленных поклонников Толкиена по всему миру и не ранить их чувств. Выдающаяся личность этот Питер. Большой, похожий на плюшевого мишку, симпатяга и при том чертовски талантлив и мужик нормальный. Я, по-видимому, устроен иначе, чем он. Режиссер бы из меня не получился никогда. Подумать только, каким кристально-ясным должно быть у человека видение будущей картины, чтобы потратить год своей жизни на его воплощение вопреки всем препонам и помехам, и какая энергия, ведь надо еще сподвигнуть толпу совершенно разных людей выложиться на полную катушку, хотя их представление о фильме обычно страшно далеко от режиссерского. Это было бы чистое безумие. Актеры ненавидели бы меня так же люто, как я их. Относиться к самой этой истории серьезно я бы не смог. Батальная сцена между вымышленными существами? Что за бред?! Моими стараниями на площадке воцарились бы ненависть и подозрительность, и фильм тоже наполнился бы ненавистью и подозрительностью. И не получил бы ни одного Оскара. И образцово-показательные тинейджеры не выстроились бы в очередь за билетами на премьеру.

Всем крупно повезло, что "Властелина колец" снимал не я, и особенно что я вообще не снял ни одного фильма. Какие все-таки люди молодцы, вдруг приходит мне в голову. Хорошо знают свое дело, умело добиваются поставленной цели. Мир вокруг меня остается одержим идеей успеха, я один выбыл из гонки.

– Как прошло собрание? – наконец спрашивает Нора.

– Отлично прошло, – отвечаю я. – Говорят, вы собираетесь в поездку. Интересно.

Она кивает, а на экране Лив Тайлер рассказывает об эльфийском языке. Выясняется, что выучить его было делом нелегким. Можно себе представить. Он не просто мертвый, он никогда не существовал нигде, кроме как в воображении неуемного англичанина.

– Эльфийский – фантастически красивый язык, – говорит Нора.

– Вне всякого сомнения, – отвечаю я.

– На нем можно сказать слова, которые на других языках не скажешь, – продолжает она.

– Что же, например? – интересуюсь я.

– Например, "я тебя люблю". По-норвежски это звучит патетично, да и по-английски на самом деле тоже, как поняла она со временем. А вот на языке эльфов эти слова звучат божественно.

– Вполне возможно, – говорю я. – Но как часто у людей твоего возраста возникает потребность сказать кому-то, что они его любят? – спрашиваю я.

– Что ты в этом понимаешь, – отвечает Нора.

– Ничего, – говорю я, – поэтому и спрашиваю.

– Видишь ли, человек может полюбить, даже когда он совсем юн, – заявляет она неприятным тоном.

– И кого он может тогда полюбить? – спрашиваю я.

– Суженого, например, – отвечает Нора.

– Ха-ха! – смеюсь я в ответ.

– Или Питера Джексона, – продолжает она.

Заднице моей, и той смешно.

Как меня это ни гнетет, но я вынужден остаться в доме на вечер и ночь. Признаться, я планировал отнести спящего Грегуса в палатку в детском рюкзаке, но правильная Нора не позволила. Теперь они оба спят, а у меня сердце ноет от неотвязной мысли, что бедный Бонго не знает, где я. Маленький лосенок, конечно, мечется там и чувствует себя брошенным. Он даже в палатку попасть не может. Рук у него нет. Лоси очень ограниченны – в смысле развития мелкой моторики.

Не считая нелегальных визитов к Дюссельдорфу и пары заходов в ICA у стадиона "Уллеволл", я попал в дом впервые за последние полгода. Все здесь мне не по душе. Я как неприкаянный слоняюсь из угла в угол. Собираю в рюкзак инструменты и пищевые концентраты, пригодятся. Немного сижу перед телевизором, предлагающим обычный свой богатый выбор между теннисными матчами, "расследованиями", где смакуются подробности ужасных преступлений, и вымышленными более или менее историями о людских страстях и печалях. Для меня телевизор – это нечто вроде большой энциклопедии моей нелюбви к людям. Телевидение кажется мне квинтэссенцией всего самого мерзкого, что в нас есть. Те человеческие слабости, с которыми в реальной жизни с трудом, но удается примириться, в телевизионном воплощении предстают вопиющими. Люди выглядят полными идиотами. Даже я и то наверняка показался бы таким на экране.

Надо же, все человеческое мне чуждо.

До падения с велосипеда я считал правильным проводить вечера с семьей. Но поскольку так называемый "организованный досуг" претил мне до отвращения, то едва ли не все вечера я просто торчал дома. Мы ужинали, смотрели детскую передачу, укладывали Грегуса, потом снова усаживались перед телевизором с более или менее интересной газетой и так коротали время, пока часы не показывали, что уже можно начинать оплачивать счета в Интернете. Счетов всегда было завались. Электричество и коммунальные платежи, телефон, подписка, слесарь, детский сад, уж не говоря о теннисном клубе Нордберга, у которого мы регулярно покупали шестьдесят четыре рулона туалетной бумаги с доставкой на дом. Нам нравился такой порядок: пожилые люди поддерживают себя в хорошей форме, они играют в теннис, а когда не играют и не ухаживают за кортом, то развозят по окрестным домам туалетную бумагу и тем самым зарабатывают на свой клуб. Для них это вроде работы. И все довольны: они активно участвуют в жизни, а мы получаем бумагу для известных гигиенических процедур. Дудки, говорю я теперь с дьявольской усмешкой, свой последний счет я уже оплатил. А больше никогда ничего оплачивать не стану. Ни через Интернет, никак. Я буду жить бартером, воровством и лесом. А когда меня не станет, лес подпитается мной. Таков уговор.

Я засыпаю в гостиной прямо в одежде, но просыпаюсь от того, что на веранде кто-то возится с замком. Не дыша я сажусь на диване и как зачарованный перенимаю опыт. Всего через несколько минут, так и не произведя сколько-нибудь значительного шума, в комнату уже заходит мужчина. Он зажигает фонарик на лбу и осматривается. Проходит время, прежде чем он замечает меня.

– Добро пожаловать к нашему очагу, – говорю я.

Он вздрагивает, но довольно быстро берет себя в руки.

– Ничего не бойтесь, – говорит он. – Я никого не убиваю, я сейчас уйду. Смотрите, я уже ухожу, – тянет он, отступая к двери.

– Да ладно, – приглашаю я, – заходи, – а сам выхожу на кухню поставить воду для кофе.

– Тебе кофе? – кричу я.

– Спасибо за приглашение, – отвечает он. – Прям не знаю. Мне бы лучше, наверно, пойти дальше.

– Посиди немного, – говорю я и протягиваю ему руку. – Фамилия моя Допплер. Андреас Допплер.

Он несколько сбит с толку, вижу я, но после короткой внутренней борьбы все же протягивает руку в ответ.

– Рогер, – представляется он.

– Просто Рогер?

– Имя я поостерегусь называть, – говорит он, – но меня еще зовут Железным Рогером, я прежде по железу работал.

– Интересно, – отвечаю я.

– Ты понял, что я собирался сделать? – спрашивает он.

– Да, – отвечаю я.

– И ты не этот, не умственно отсталый? – спрашивает он.

– Не больше, чем все остальные, – говорю я. – Покажешь инструмент, которым дверь открывал?

Он достает связку отмычек, они нацеплены на массивное кольцо вроде ключного, в свою очередь пристегнутое к карабину такой цепи, которая в ходу у альпинистов. Вот человек, пришедший с холода, думаю я.

– Тебе к кофе что-нибудь дать? – спрашиваю я.

– Нет, спасибо, – отвечает он.

– Может, хочешь чего-нибудь покрепче? – спрашиваю я в надежде, что канистра с медицинским спиртом по-прежнему стоит в мастерской в подвале.

– На работе не пью, – отвечает Железный Рогер.

– Да ладно, – говорю я. – Расслабься уже, черт возьми. Чистый натуральный продукт.

Он косится на часы.

– Полрюмочки, – говорит он.

Канистра стоит на старом месте; я наливаю нам обоим.

– Ты, значит, вышел на дело, – говорю я.

– Да, – признается Рогер. – Люблю работать в этом районе. Много дорогих вещей, и почти ни у кого не стоит сигнализация. Там выше, где электорат "Хёйре", сигнализация на сигнализации, а здесь народ голосует за Социалистическую левую, то есть все поголовно верят в доброе начало в человеке и в деньгах купаются. Непревзойденная и непости-

жимая комбинация, как специально для меня. Ты здесь живешь? — спрашивает он.

— Ни в коем разе, — отвечаю я.

— Но ночуешь, да?

— Что правда, то правда, — отвечаю я. — Раньше я тут жил, а теперь жена с детьми остались.

— Развод, — понимающе кивает он. — Муторное дело. По себе знаю.

— Как раз нет, — отвечаю я. — Мы женаты. Просто я съехал в лес. И живу там в палатке вместе с лосенком.

— Понятно, — отвечает он и снова бросает взгляд на часы.

Я доливаю кофе и спирта.

— Расскажи мне о своей работе, — прошу я.

— Тут нечего особо рассказывать, — отвечает он.

— Позволь тебе не поверить, — говорю я. — Ты забираешься к людям в дома и воруешь их вещи. И тебе нечего про это рассказать? Не дури.

— Хорошо, — говорит он и отхлебывает кофе. — Я стараюсь работать профессионально. Предварительно изучаю объект и иду только туда, где, по моим сведениям, есть что взять. Личные вещи не трогаю. Ничего не ломаю. Сам посуди, каково людям, если вор еще и перевернул дом вверх дном. Я знаю любителей так порезвиться, но никогда их не одобрял. А ничего, если я закурю?

— Кури на здоровье, — говорю я. — Жена в Риме.

Я ставлю вскипятиться еще воды, приношу пепельницы и собираюсь разлить в очередной раз спирт.

— Не знаю, стоит ли мне еще, — говорит он. — Я за рулем.

— Ты можешь и такси вызвать, — предлагаю я. — В кои веки раз. А машину завтра заберешь. Я поставлю у станции метро "Стадион 'Уллеволл'", на той стороне пешеходного моста. Всего делов.

— Уу, — соглашается Рогер. — Тогда наливай.

— А деньги как тратишь? — говорю я. — На наркотики?

— Ты меня разочаровываешь, — морщится Рогер. — Зачем же стричь всех под одну гребенку? Я не употребляю наркотиков. У меня семья, как и у тебя. Но на мне судимость плюс отсутствие образования и прочего, что делает резюме привлекательным. Да к тому же не умею никому подчиняться. Вот и получается, что меня мало на какую работу согласны взять, а та мне обычно не нравится. К тому же я стараюсь держаться подальше от кругов, отягощенных определенными проблемами. Для одиночки остается не так много иных возможностей. Работой своей я доволен. Жить можно. Да и люди не внакладе — как правило, им возмещают ущерб по страховке.

Рогер оказался мировым парнем. Он рассказывает мне об отмычках и дает еще немало ценных советов о том, как проникать в чужие дома. Чем дольше мы выпиваем и беседуем, тем больше он мне нравится. По мере убывания спирта мы обнаруживаем все больше общих интересов, особенно нас сближает любовь к жизни на природе, к лесам и полям, что же до раздела откровенных признаний, то Рогер давно уверился в том, что его ждет рак простаты, как и его отца, и очень из-за этого переживал, но недавно вычитал, что 20—25 семяизвержений в месяц существенно уменьшают риск заболеть. Поэтому теперь он извергает семя налево и направо и выяснил, что особое удовольствие ему доставляет, когда сперма попадает на вещи, созданные совсем не для этого. Напри-

мер, на книги, говорит он, или журналы, или там вазы. И что самое приятное — подружке его это по сердцу. Он поливает все в квартире семенем, а она не куксится.

Ближе к рассвету я спрашиваю его, за чем он лез к нам.

— У вас есть система "Primare", — говорит он.

— Есть, — подтверждаю я.

— Хорошая вещь, — говорит он. — Шведский Hi-Fi в прекрасном исполнении.

— И ты собирался забрать всю эту муру целиком? — спрашиваю я.

— Собирался, — говорит он. — Машина стоит за углом, и я думал вынести всё за две-три ходки.

— Вместе с колонками?

— Да, — говорит он. — "Audiovector" тоже хорошая марка. Датское качество. В вашем районе у многих техника Hi-Fi скандинавского производства. Это верный признак денег. Сам можешь прикинуть, во что обходится производство вещей такого качества в наших широтах, с нашим уровнем зарплат. Дорого, само собой. Но всем хочется чего получше. Разве можно слушать Баха или что там вы слушаете на балалайке из Азии. Это вроде как недостаточно хорошо. Вам же надо не просто хорошо, а еще с наворотиком. Тут вы за несколькими тысчонками не стоите.

— Тебе какая часть системы особенно глянулась? — спрашиваю я.

— Проигрыватель cd-dvd дисков, — отвечает он.

— Забирай, — предлагаю я. — Из-за меня у тебя ночь, можно сказать, пропала. По моей вине ты недополучил заработок. Так что давай, забирай.

— Ну нет, — говорит он. — Это уж слишком. Я не хочу.

— Бери, бери, — настаиваю я. — Моя жена любит слушать радио, поэтому отдавать приемник мне не очень хочется, и он не действует без усилителя, да и без колонок выходит ерунда на постном масле, а вот проигрыватель дисков забирай смело. И ты меня премного обяжешь, если заодно прихватишь и dvd-коллекцию моего сына. Обширная подборка, включающая в себя и Строителя Боба, и Телепузиков, и Пингу, и Паровозика Томаса. Я тебе гарантирую, что любой современный ребенок придет в восторг от этого собрания. У тебя самого, кстати, дети есть?

— Двое, — горделиво отвечает Рогер, рассказывает, как кого зовут, и предъявляет мне фотографии, которые носит в бумажнике.

— Повезло тебе, — говорю я и ухожу за коробкой для проигрывателя и гарантийным талоном на него.

Я рисую Рогеру, как найти мою палатку, и он обещает навестить меня, а потом я выхожу на террасу и машу вслед увозящему его такси.

Почти сразу вслед за тем просыпается Грегус и приходит в гостиную посмотреть до ухода в садик мультик, как он любит.

— К сожалению, Грегус, мультиков сегодня не будет. Ночью к нам залез вор и унес проигрыватель и все твои диски.

Он, естественно, ударяется в рев и гундит, что мы должны немедленно звонить в полицию. Я решительно хватаю трубку и разыгрываю полный драматизма разговор со следователем, из которого Грегус понимает, что пока еще вор не схвачен, но на его поимку брошены все силы. Положив трубку, я говорю Грегусу, что это, по-моему, был вполне симпа-

тичный вор. Почти как в его книжке о разбойниках из города Кардамона[1]. Добрый внутри. Пусть пользуется нашим проигрывателем, говорю я, ему он, наверно, нужнее, чем нам. Ты ведь можешь начать копить на новый. А фильмы эти ты бы все равно скоро перерос. Не вешай нос. Лучше взгляни на ситуацию как на новый шанс, как на интересный поворот жизни. Это то, о чем мы всегда мечтаем, говорю я. Что в одно прекрасное утро мы свернем на дорогу, о которой и думать не думали. Грегус, у тебя это утро сегодня, говорю я, сейчас.

Вручив Грегуса и фрукт воспитательнице, я мелкой рысью бегу к лесу, чтобы проверить, как там Бонго. Весь мокрый и чуть живой он лежит у палатки, я оправдываюсь, говорю про форс-мажор и обещаю, что такое впредь не повторится, но Бонго обижен, раздосадован, не желает со мной общаться и остается неумолим чуть не целый час, который я у костра растираю его полотенцем, напевая частушки из нашей богатейшей сокровищницы фольклора. Потом мы оба засыпаем, а просыпаемся уже ближе к вечеру, так что нам приходится бежать вприпрыжку, чтобы успеть в детский сад к закрытию. У меня не хватает ни времени, ни жестокосердия привязать Бонго на опушке, поэтому мы вместе доходим до самого порога. Служащие детского садика закатывают глаза в ответ на мои извинения за опоздание, но я проворно собираю вещи Грегуса и весьма, на мой взгляд, элегантно уворачиваюсь от скандала. Это Бонго, сообщаю я Грегусу, когда мы отходим от садика на некоторое расстояние. Он действительно лось, но тем не менее он мой, а значит и твой хороший друг. Они довольно быстро сходятся, Грегус и Бонго. По уровню умственного развития они в одной возрастной категории и с упоением гоняются друг за дружкой среди деревьев, пока мы идем к палатке. Когда Грегус устает, ему позволяется ехать верхом на Бонго, которого я веду за веревку. Издали мы, наверно, смотримся как библейское Святое семейство. Иосиф, немного странного вида осел и Мария, сущее дитя.

Грегус весь в отца, лесная душа. В нем это живет. Инстинкт охотника и собирателя так же глубоко укоренен в его естестве, как и во мне. Мы жарим мясо, насадив на палку, и жуем, вольготно привалясь спиной к Бонго каждый со своей стороны, но когда время подходит к детской передаче, по телу Грегуса пробегает дрожь. У него нет часов, он ничего в них и не смыслит, но импульс — вот он, ощутимый, конкретный, физиологический. Ребенок чувствует: тут что-то не то, а словами выразить не может. Я тоже молчу. Время детской передачи настает и проходит, а Грегус так и не осознает, что наступило и прошло. Постепенно его беспокойство рассеивается, и он принимается играть с Бонго. В темноте Грегус собирает за палаткой шишки, и я понимаю из его криков, что он считает, будто занимается этим на пару с Бонго, хотя как раз собирать лось ничего не может. Перед сном мы играем партию в лото. Бонго, естественно, продувается, а я раздумываю над тем, не поддаться ли мне Грегусу, но решаю, что победа может привести к развитию синдрома отличника, и в конце концов вырываю у Грегуса победу, да еще сыплю ему соль на рану, подчеркивая, что я выиграл, а он проиграл. После чего он

1. Книга Турбьёрна Эгнера "Люди и разбойники из Кардамона" — норвежская детская классика.

засыпает у костра в моем спальнике. А я сижу, смотрю на него в сполохах костра и с радостью думаю, что он мне нравится. Хотя бы мой сын мне нравится, его общество я выносить могу.

На следующее утро я слышу у палатки шум. Мы с Бонго вылезаем и видим типичного избирателя "Хёйре" — спортивного, подтянутого, с собакой, — надменно рассматривающего палатку.

— Вам известно, что вы не имеете права стоять с палаткой на одном месте более трех дней? — спрашивает сей господин консерватор.

— Известно, — отвечаю я.

— Мне представляется, что палатка простояла здесь гораздо дольше, — говорит он.

— Возможно, — отвечаю я, — и раз уж мы начали с вами разговор, я бы посоветовал вам в следующий раз тут не проходить, — говорю я.

— Вы не можете мне это запретить! — вскидывается он.

— Безусловно, но я хочу еще раз подчеркнуть, что вы меня весьма обяжете, если в следующий раз выберете для своих прогулок иной маршрут, — говорю я.

— Это мы посмотрим, — говорит он.

— Папа, кто там? — кричит Грегус из палатки.

— Один из тех, кто голосует за правых, — отвечаю я. — Спи.

— Будьте уверены, я сюда еще вернусь! — говорит он. — И я запомню сегодняшнее число.

— А какое сегодня число? — спрашиваю я.

— 13 декабря[1].

И тогда я непроизвольно открываю рот и начинаю петь. Годы утренников и праздников в саду и школе оставили такой неизгладимый след в моей психике, что я невольно начинаю петь, едва произнесут это число.

— Ночь, — запеваю я тихо, — и черным-черно в хлевах и спальнях, но солнце спит давно, — продолжаю я, — в пределах дальних, — присоединяется ко мне из палатки тоненький голосок Грегуса. — Но вот уж на крыльце в сияющем венце, — поем мы, возвышая голоса, — святая Люсия, святая Люсия[2]. — Мы исполняем все куплеты, но едва песня замирает, как сторонник правых взглядов заявляет, что, если палатка не будет убрана через два дня, он позвонит Лёвеншёльду.

— Рождественские сантименты насчет милосердия и любви к ближнему не в твоем вкусе, насколько я понимаю, — говорю я.

Он молчит.

— И ты, конечно же, лично знаком с Лёвеншёльдом, — говорю я.

— Представь себе, — отвечает он.

— Но разве может воздух, которым мы дышим, или деревья в лесу кому-то принадлежать? А вода в ручье? А пение птиц? Неужели у меня как у гражданина этой страны не должно быть права пожить некоторое время в лесу, когда мне это надо?

— Только не в этом лесу, — отвечает господин консерватор.

— Ты защищаешь существующий порядок, а я смутьян, как говорится, враг народа. Тебе лишь бы все сохранить как есть — я устои ломаю. Ты мечтаешь, чтобы все вечно шло, как идет, а я хочу, чтобы оно кончи-

1. 13 декабря — праздник святой Люсии Светоносной.
2. Канон Святой Люсии. Перевод Юрия Вронского.

лось как можно быстрее. У тебя собака, у меня лось. Ты предпочитаешь покупать, я — выменивать. И это лишь часть различий между нами. Можешь сколько тебе угодно являться сюда со своей зверюгой и устраивать скандалы, но имей в виду: мне претит твой образ мыслей, твоя отвратительная манера одеваться, твоя собака, не говоря уж о твоей самодовольной улыбочке, от которой разит неуязвимым материальным благополучием и десятилетиями голосования за правых консерваторов. Чего я не просто не люблю, но не выношу. Так что послушайся меня — иди отсюда.

Он уходит. Но оборачивается пару раз, дабы заметить мне, что точка в нашем разговоре не поставлена и что он через два дня вернется и проверит, убрался ли я отсюда. Ой, боюсь, боюсь, тяну я плаксиво, как ребенок. А сам думаю: поразительное дело — начни высокопоставленный деятель из правых угрожать мне преследованиями полгода назад, я бы сразу стушевался, заподозрил, что делаю что-то не то, а теперь, в моей лесной жизни, его возмущение меня ни капли не задевает. Я чувствую себя в недосягаемости. Хотя у меня нет сомнений, что этот господин консерватор и люди его круга не последние среди тех, кто в этой стране пишет законы и держит руль, но надо мной он не властен. Я сделал шаг в сторону, а здесь, в лесу, живут по другим правилам. Тут не город Осло и не королевство Норвегия, тут лес. Свое отдельное государство с собственным простым и понятным укладом. За вычетом нашего леса господа поборники правоконсервативных ценностей могут обустраивать под себя всю остальную страну норвежскую, продавать друг другу машины, корабли и недвижимость, подсказывать юридические лазейки в тяжбах с соседями, покупать в складчину лицензии на отстрел лосей, награждать на собачьих выставках мосек друг друга, пристраивать к себе на службу в качестве консультантов и замов приятельских детей (конечно, когда они отучатся и постажируются за рубежом); но здесь, в лесу, у них права голоса нет. Лес задурить им слабó. Он даже никак не выделяет их из других людей, обходится с ними как со всеми. Здесь в лесу они меня не тронут.

— Почему ты живешь тут в палатке? — спрашивает Грегус, когда мы завтракаем у костра.

— Не знаю, отвечаю я. — Мне надо было уехать. Побыть наедине с собой. Я очень давно этого не делал.

— Ты уехал, когда умер дедушка, — говорит он.

— Это правда, — отвечаю я. — Он был мне папа, как я — тебе, и я очень огорчился, когда он умер. Я грустил.

— Папы не должны умирать, — говорит Грегус.

— Ты прав, — отвечаю я.

— И мамы тоже.

— Согласен.

— А когда человек умер, ему хоть немножко сны снятся? — спрашивает Грегус.

— К сожалению, — говорю я, — нет. Он не видит снов. Его, понимаешь ли, больше вообще не существует.

— А это больно? — спрашивает Грегус.

— Нет, — отвечаю я. — Тогда человек ничего не чувствует. Все звери, и люди, и растения умирают, когда становятся старыми. Это нормально.

— И вы с мамой тоже умрете? — спрашивает он.

— Да, — отвечаю я.

— А я буду жить и когда вы умрете? — спрашивает он.

— Да, — признаюсь я.

— Пап, — говорит он, — я, пожалуй, тоже умру вместе с вами.

— Ты отзывчивый малыш, мне это приятно, — говорю я. — Но когда ты станешь взрослым, то, возможно, и думать будешь иначе. Давай вернемся к этому разговору потом.

Отсутствие в лесу внешних раздражителей идет Грегусу на пользу. Мы долго сидим у костра, ничем в сущности не занимаясь, беседуем о том о сем. Внизу невнятно шумит город, иногда нет да взвизгнет поезд. Звук немного напоминает поезда в Канаде, я по телевизору видел. Они там, поезда в смысле, чудовищно, как я понял, длинные и, отстукивая тысячи миль от побережья до побережья по глухим необжитым местам, гудят как гибнущие. Позже мы принимаемся учить Бонго приносить палочку, но его эта затея не увлекает, как и меня, откровенно говоря, так что вскоре мы возвращаемся к палатке и бездельничаем до тех пор, пока нам не надоедает. Все мы приучены постоянно заниматься делом. Искать себе занятие. Самоотверженный труд и служебное рвение всегда считаются неоспоримыми достоинствами человека, каким бы дурацким делом ни был он занят. Мы шарахаемся от скуки как черт от ладана, а в лесу я стал замечать, что мне скучать все больше нравится. Мы явно скуку недооцениваем. У меня, признаюсь я Грегусу, созрел план: скучать, пока это не станет мне в радость. Ничуть не сомневаясь, что с оборотной стороной скуки обнаружится нечто сходное с удовлетворением, я, естественно, не могу требовать от Грегуса, чтобы он разделял мои чувства, поэтому, проведя за ленивым ничегонеделаньем и жареньем мяса еще сколько-то часов, мы отправляемся на поиски подходящих палок, чтобы смастерить лук со стрелами. Зимой это не просто, но я слышал, что самые хорошие луки получаются из ясеня, поэтому я срубаю две ветки с дерева, которое считаю ясенем, хотя на поверку этот ясень может оказаться чем угодно, и (поскольку Грегус вряд ли согласится ждать, как советуют педанты, целый год, чтоб заготовка просохла) мы решительно беремся за дело: сдираем кору, вырезаем на концах зарубки и натягиваем вместо тетивы сухожилия Бонговой мамы. Еще я делаю стрелы. Острые, крепкие. Потом мы начинаем стрелять во все стороны. И вверх. Вверх нам обоим нравится больше всего. Мы как можно резче пускаем стрелу строго вверх, а потом уворачиваемся, чтобы, падая, она не попала нам в голову. До чего здорово, когда стрелы с глухим стуком врезаются в землю в нескольких метрах от тебя! Так проходит много времени, пока организм Грегуса не говорит ему, что приближается телевизионный детский час, и Грегуса начинает корежить. Пап, смотри, как у меня рука дергается, говорит он. Ничего себе, откликаюсь я, с чего бы это? Не знаю, говорит он. А я и подавно, говорю я.

Мы еще минут десять продолжаем стрелять, но я вижу, что у Грегуса пропала всякая охота. Взгляд стеклянный, отрешенный. Его ломает, и мне больно видеть это.

Сейчас время детской передачи, говорю я. Поэтому у тебя дергается рука. Твое тело пытается тебе объяснить, что пора включать телевизор. Я так и думал, что это неспроста, кивает Грегус, а где телевизор? У меня нет телевизора, растолковываю я, в лесу, как правило, живут без телевизоров. Хорошо, покладисто соглашается Грегус, пойдем скорей

туда, где есть телевизор. Нет, говорю я, ничего не выйдет. Пока ты живешь у меня, придется тебе обходиться без телевизора. Я хочу посмотреть детскую передачу, срывающимся голосом говорит Грегус. Не получится, возражаю я. Но я хочу, задыхается он, и я понимаю, что еще секунда, и мой сын подвинется рассудком, поэтому я на полуслове обрываю дискуссию, подсаживаю его на спину Бонго, и мы рысью мчим к дому Дюссельдорфа.

Он как обычно клеит машинки и вряд ли в курсе, что детский телечас опустится на нашу столь протяженную страну буквально через пару секунд. Я стучу в садовую дверь, объясняю ситуацию и прошу разрешения зайти на сорок пять минут, чтобы посмотреть телевизор. Хорошо, говорит Дюссельдорф. Бонго и Грегус осторожно перешагивают истерзанный войной бельгийский пластмассовый город и сворачиваются клубком на диване. Заставка детского часа уже расплывается по экрану, Грегус подпевает песенке. Сам я подсаживаюсь к столу Дюссельдорфа. Он по-прежнему трудится над машиной "Штейер 1500 А 101" и фигуркой, которая будет изображать его отца.

— Вижу, работа идет медленно, — говорю я.

— Проблема скорее в том, что она идет недостаточно медленно, — говорит Дюссельдорф. — Я всегда работал над моделями тщательно, но такого уровня точности прежде ни разу не достигал. Пока я занят этим, я живу вместе с отцом. А когда все доделаю, мы больше не будем вместе. И я вижу, что мне не хочется заканчивать работу.

— Ты мог бы, наверно, переключиться на другие проекты. Сделать, например, тот лес в Осло, в котором прогуливались твои отец с матерью.

— Нет, — отвечает Дюссельдорф. — Я знаю, что после этого никогда ничего делать не буду. А это я закончу недели через две. Наверно, еще до Рождества все будет готово.

— Мне кажется, ты преувеличиваешь, — говорю я. — Речь всего лишь о пластмассовых моделях.

— Я не преувеличиваю, — отвечает Дюссельдорф, — а отношусь к этим вещам ровно с тем страхом и трепетом, которых они заслуживают. А вот ты их недооцениваешь.

— Возможно, — соглашаюсь я.

— Мы ведем речь не о пластмассовых макетах, — говорит он, — а о самой страшной войне, которую довелось видеть миру. Мы говорим о десятках миллионов павших и о неизмеримо большем числе оставшихся жить с незаживающей раной, включая сюда и меня. Мы говорим о Европе. Несчастной Европе. И о значительной части остального мира. Несчастной его части. Еще мы ведем речь о моем отце. Вот о нем, — говорит Дюссельдорф и указывает на крошечного солдатика, которого он закрепил на самодельном штативе под сильной лупой и раскрашивает с усердием, я бы сказал, превеликим. Пуговицы на форме, обшлага рубашки, немного вылезшие из-под мундира, пальцы, ногти выкрашены в тщательно подобранный и абсолютно естественный цвет. Только лица нет. Отец Дюссельдорфа пока не обрел лица, и я понимаю, что в это все и уперлось. — Я уже почти решил, что он должен улыбаться, — говорит Дюссельдорф. — Это был не очевидный выбор, многое говорит за то, что ему в тот день было не до улыбок, но тем не менее я считаю, что, когда он ехал по городу, чтобы вручить рапорт генералу Мантёйффелю,

он улыбался, он должен был улыбаться по той причине, что он ехал и думал о сыне, обо мне то есть. Он видел меня только на фотографии, но он знает, что я есть, и то, что он знает об этом, заставляет его несмело улыбаться своим мыслям. Важно, чтобы улыбка не получилась откровенной, широкой, иначе она не будет соответствовать кошмару вокруг него. Но это не должна быть и загадочно-непостижимая гримаска Моны Лизы, которую можно толковать как угодно. Тут требуется, чтобы зубов не было видно и при том не оставалось сомнений, что он улыбается, — разъясняет Дюссельдорф. — Пусть он думает о том, что я вот-вот сделаю первый шаг, пусть считает, что война близится к концу. Пуля снайпера настигнет его в тот момент, когда он будет радоваться, что совсем скоро увидит меня.

Все это Дюссельдорф произносит не поднимая глаз, между тем нанося первый слой краски на лицо отца.

— Понятно, — говорю я. — Хорошая мысль.

— Не знаю, хорошая эта мысль или нет, — отвечает Дюссельдорф, — но будет так.

— Конечно, — соглашаюсь я, упершись взглядом в стопку пустых коробок из-под пиццы на кухонной столешнице — свидетельство, как я догадываюсь, неустроенности быта в этом доме в последнее время.

— Ты обедал? — спрашиваю я Дюссельдорфа.

— Какие обеды, — отвечает он.

— Давай что-нибудь приготовлю? — предлагаю я.

— Спасибо за предложение, — говорит Дюссельдорф, — но единственное, что сейчас мне по вкусу, это пицца. Если ты позвонишь и сделаешь заказ, будет кстати. Я не люблю прерывать работу из-за такой малости. Номер висит на холодильнике. Я ем пиццу с чесноком и пепперони, но без ананаса. Никогда не мог взять в толк, как можно класть ананас в пиццу. Это какая-то нездоровая комбинация. И вам тоже закажи, если хотите.

Я бросаю взгляд на диван, где оба, и Грегус, и Бонго, уснули, тесно прижавшись друг к другу перед экраном, осеняющим их светом вечерних новостей. Они насладились приятной частью телевизионного вечера и отгородились сном от всего того убожества, что льется на них теперь.

— Думаю, нам пора домой, — говорю я и иду на кухню заказать Дюссельдорфу пиццу.

Потом я бужу Бонго, осторожно вывожу его в сад, бережно выношу Грегуса и укладываю его Бонго на спину.

— Что ты делаешь на Рождество? — спрашивает Дюссельдорф, когда я возвращаюсь в дом поблагодарить и попрощаться.

— На Рождество я не делаю совершенно ничего, — говорю я.

— Тогда тебя, возможно, заинтересует скромный рождественский ужин у меня? — спрашивает Дюссельдорф.

— Возможно, — говорю я.

— Значит, договорились, — говорит Дюссельдорф и машет нам на прощание.

Прежним новозаветным манером мы возвращаемся в палатку. Я снимаю куртку, укрываю ей Грегуса и думаю, что, по-моему, я совсем неплохо справляюсь с ролью отца, несмотря на долгий перерыв. Я так думаю.

Когда я на следующий день возвращаю Грегуса, Нора сует мне распечатку с сайта, носящего название The Elvish Name Generator[1]. Она ввела в компьютер мое имя, Андреас Допплер, и программа, воспользовавшись хитро-лукавой, зато безошибочной языковой логикой Толкиена, распознала, что на эльфийском меня зовут Valandil Tîwele.

Звучит, безусловно, совершенно по-эльфийски, я благодарю и уточняю, не хотела ли она сообщить мне нечто особенное тем, что вручила эту распечатку. Она мотает головой. Ей важно, чтоб я просто знал, говорит она. Помнил, что у меня есть эльфийское имя.

Ладно, соглашаюсь я. Буду помнить.

И я прощаюсь с Норой, Грегусом и женой, кстати говоря отлично съездившей в Рим. Она окунулась в классическую культуру и купила кой-какой одежды и мелочей, что, судя по ней, отчасти вернуло ей желание жить. Все-таки поразительно, какую силу имеет одежда и вещи вообще. Покупка чего-то в нужный момент может решить все дело. Благословенны пребудут вещи во веки веков. Жена сияет и щебечет, поэтому я ухожу вечером из дому к себе, почти не мучаясь угрызениями совести. Грегус хотел бы остаться со мной в лесу, насколько я понял. Еще чего! Лес мой, и мне надо жить здесь одному, затворником, если я собираюсь добиться того, о чем мечтаю, хотя о чем я мечтаю, сам не знаю.

— Ты мог бы иногда брать его на выходные, — заявляет моя жена.

— В лесу нет различия между буднями и выходными, — говорю я, — так что мой ответ — нет. Короче говоря, дудки!

— Я приведу его в палатку, — говорит жена.

— Получишь стрелу в горло, — отвечаю я. — Не обессудь.

Несколько дней я мучаюсь в поисках настроения. Праздную лодыря, сидя у костра: строгаю стрелы, обираю блох с Бонго, иногда пою ему, но вяло, все без настроения. То, что я побыл дома и забирал к себе Грегуса, сбило меня с панталыку. Я снова потерял душевный покой. И думаю о том, как далеко отошел от накатанной жизненной колеи, по которой двигался, пока лес не забрал меня к себе, если так можно выразиться. Звучит напыщенно, хотя по сути чистая правда. Я присутствовал во всех обычных для жителя Осло местах и делал всё как все, и вдруг — мне открылся лес, и он забрал меня к себе. Усыновил. И сделал это как нельзя более вовремя. Вижу я теперь. Все шло к тому, чтобы я стал мизантропом и форменным мучением для окружающих. Столичный город Осло не желал терпеть на своих улицах такую некачественную единицу. Я не излучал ни энергии, ни положительного настроя. Не был подарком судьбы ни для ближних, ни для сослуживцев, ни для моего более-менее широкого социального круга, ни для той экономической конструкции, в которую все вышеперечисленное встроено. Еще немного, и я стал бы для всех обузой, но меня выбраковали раньше. Природа так чертовски дальновидна, что выбраковала меня раньше, чем я успел нанести ей ущерб. Лично мне эта система упреждения внушает уважение. Тысячелетия развития природы и культуры отладили механизм, который таких, как я, просто выпалывает из рядов. Нас обезвреживают. Врагов человечества, которые вот-вот сорвут флер с иллюзии о братстве и осмысленности, отправляют прочь — одуматься в одиночестве. В море,

1. Вычислитель эльфийских имен (*англ.*).

например, или в горы, или под замок, или вот, как в моем случае, — в лес. Лукавый способ наказать так, чтоб это отчасти казалось и наградой.

Вот об этом и о многом другом я и размышляю, бездельничая у костра.

Прав ли я, так ли все обстоит в действительности, я не знаю. Как и того, а существует ли вообще то, что люди так дерзновенно называют действительностью. Единственное, в чем я более-менее уверен: костер греет, а у моих ног лежит лосенок по имени Бонго и мурлычет, если так называется звук, коим лоси выражают, что им хорошо.

И Рождество наступает.

Я слышу его по тому, что ближе к вечеру становится необычно тихо. Люди внизу, в городе, никуда не идут и не едут. Они добрались до мест, где будут сегодня праздновать, и успокоились. Таким кротким, примолкшим город бывает, наверно, один-единственный день в году. И вот этот день настал, и к нам сюда тоже доносится меньше звуков. Кажется, что город присмирел. Стал ручным, неопасным. Готовым есть с моей руки. И вдруг зазвонили колокола. Они ударили не все разом, а вступая постепенно, и мы с Бонго воспользовались моментом, чтобы обменяться подарками. Ему досталась симпатичная шляпка из гофрированной бумаги, сделанная мной лично. Бумага торчала из помойного бака, мимо которого днями пролег, как говорится, мой путь, я прихватил ее и потратил несколько ночных часов на создание этой хитроумной конструкции. Сам я получил не то чтобы все сокровища мира. Да что уж темнить, ничего я не получил, но, бог мой, Бонго же лось, и я ни секунды не сомневаюсь, что мне достался бы незабываемый подарок, сумей он постичь, что такое Рождество. Ты, Бонго, сам по себе подарок, говорю я. Не комплексуй. То, что ты здесь со мной, уже счастье. С Рождеством тебя!

Когда Дюссельдорф открывает дверь, первым делом я отмечаю, что у него огромные мешки под глазами и он в той же одежде, какую я видел на нем две недели назад.

— Вот проклятье, Рождество, — первое, что он говорит, увидев нас.

О рождественском ужине он начисто забыл, но все же приглашает нас в дом, пряча досаду. Усадив нас на диван, идет в подвал, приносит из морозильника морошку и сует ее в печку, забыв вынуть из пакета для замораживания. Потом подсаживается к фортепьяно и героически пытается поднять дух нам и себе исполнением "Земли прекрасной"[1]; выходит ужасно.

— Пожалуй, мы пойдем, не будем мешать, — говорю я минут через пять.

— Ты серьезно? — спрашивает Дюссельдорф с явным облегчением.

— Да. Я вижу, работа тебя не отпускает, — говорю я.

— Как ни смешно, но ты угадал, — говорит Дюссельдорф. — Так и есть. Это все лицо отца. Мне кажется, я что-то такое нащупал. Осталось чуть-чуть. Мне удалось добиться улыбки. Теперь на очереди глаза.

1. Рождественский хорал. Автор текста Б. С. Ингеманн.

Мы вдвоем подходим к столу со штативом, на котором, как и в прошлый раз, укреплена маленькая фигурка солдата. Рядом лежит фотография отца, и видно, что Дюссельдорф не хвастает, когда говорит, что нащупал что-то. Между фигуркой и человеком на снимке пугающее сходство.

— У меня нет слов, — говорю я.

— Сам видишь, — отвечает Дюссельдорф. — Извини, что так получилось с ужином. Давайте попробуем еще раз на Новый год.

— Ничего страшного, — говорю я. — Будут и другие рождественские вечера.

— Надо надеяться, — отзывается Дюссельдорф.

На прощание я получаю морошку, по-прежнему скорее замороженную, чем оттаявшую. Дюссельдорф настолько возвращается в действительность, что даже перевязывает контейнер с ягодами красной лентой, придавая ему сходство с настоящим подарком.

— Спасибо тебе, — говорю я. — И счастливого Рождества.

— И тебе, — отвечает Дюссельдорф.

Когда мы приходим в палатку, выясняется, что заходил Железный Рогер с подарком. Он оставил записку с благодарностями за проигрыватель и диски. Дети очень радовались, пишет он. В свертке я нахожу отмычку. Я несколько раз сглатываю, чтоб исчез комок в горле. Вот это я понимаю, настоящий друг. Остаток вечера мы угощаемся полуоттаявшими ягодами. Бонго засыпает рано, а я долго сижу у костра и думаю, что Дюссельдорф подал всем нам пример, как надо чтить отцов. Я тоже должен увековечить память моего отца. Пусть я его и не знал. Вернее, наоборот — раз я не знал. Он прожил жизнь, уединившись в свой мирок. Как живу и я. Но он был на земле. И я есть.

Если я не увековечу память отца, этого не сделает никто. Я должен воздвигнуть тотемный столб в его честь. Золотая мысль! Вот оно — единственное все же стоящее дело в жизни, сразу понимаю я. Сделать тотем своими руками и поставить здесь, в лесу. Засыпая, я мысленно рисую себе, как мой столб будет выглядеть.

Рождественскую неделю мы проводим в основном под крышей. На улице холодно и промозгло, а снега так и нет. Я по большей части сижу у костра и мастерю предметы, которые лет сто или даже пятьдесят назад я смог бы продать летом в городе на ярмарке, но теперь их круглый год легко купить в ИКЕА за каких-нибудь десять крон. Массовое производство выбило почву из-под товарообмена. Кустарей вроде меня оно выставило и вовсе посмешищами. Съело с потрохами. Но я не сдаюсь. Тружусь себе и тружусь. Иногда прерываюсь, чтобы научить Бонго простейшим словам, но он необучаем, в конце концов признаю я. Пару гласных звуков, если не придираться к различиям между ними, он еще может воспроизвести, но насчет согласных надежды нет. Бонго, тебе предстоит пройти долгий путь, говорю я. Так и знай. Но я пройду его вместе с тобой. Не сомневайся. Я пройду его вместе с тобой.

Каким мы оставили Дюссельдорфа на Рождество, таким и нашли на Новый год. С той разницей, что теперь он сам это заметил и заранее выставил на крыльцо бутылку водки с красным бантом на горлышке.

Осталось совсем немного, написал он на визитке союза художников – специалистов по ртам, ушам и носам. С Новым годом! Поняв намек, я не стал стучать в дверь, забрал бутылку, вернулся в палатку и напился в зюзю, а теперь вот вышел пописать, стою на своем обычном месте, смотрю на Осло и думаю, что в новом году у меня две задачи: создать памятник отцу и по возможности ничего больше не делать. Я подниму искусство ничегонеделанья на недосягаемую высоту. А к цивилизации не вернусь, фигушки. И раз уж я оказался в этом месте, то начинаю кричать. От имени короля и премьер-министра в одном лице я обращаюсь к народу. Дорогие, ору я, соотечественники, не люблю я вас. Возьмите себя в руки наконец. Разуйте глаза и перестаньте уже быть такими чертовски правильными. Правые консерваторы, отделайтесь от своих проклятых собак, сотрите с лиц свои отвратительные самодовольные улыбочки и обменивайтесь, чтоб вам пусто было, товарами. И пересядьте на велосипеды. Только если все мы будем ездить на велосипедах и вести натуральное хозяйство, у нас появится шанс, что все это не гикнется. Как могут шум ветра и цветы на лугу принадлежать какому-то одному человеку? А Телепузики пусть сгорят в аду, черт, я сбился, я слишком пьян и теряю нить своей новогодней речи, но ты, Лёвеншёльд, кричу я, обязан вернуть лес народу, тоже мне – хозяин, лесом не должен владеть никто, а ты, папа, продолжаю я, ты умер, а я почти не знал тебя, а теперь остался один, но никого к себе не подпускаю, потому что я такой же дурак, как остальные, и никто меня не знает, и, боюсь, никто и не узнает, сколько я ни проживу, и тут я сдаюсь и кричу только "дьявол, дьявол", пока не начинаю сипеть.

Бедняга Бонго не узнает меня. Какая вопиющая безответственность – так надраться на глазах у малыша. Ведь я ему вместо мамы, а какой пример подаю? Ужас. Но до чего здорово поорать! И я продолжаю пить, вопить, буянить, а сам думаю, что для Бонго я сейчас, наверно, будто нарастающий шум. Вынести меня в таком состоянии десять минут еще как-то можно, двадцать – уже перебор, это сложнее не в два, а в двадцать два раза, а про тридцать минут и подумать страшно. То же мучение и с децибелами. А теперь вот со мной на пороге нового года. Еще одного года правильности и враждебности, веры, надежды и любви в мире.

Но превыше всего – лес.

Январь

О январе сказать в общем-то нечего.

Темно, холодно, я жгу костер как заведенный, чтобы удержать тепло.

В начавшемся году я первым, практически, делом продлеваю молочный договор. Запаковываю увесистый отрубок мяса и оставляю его в том месте, где обычно беру молоко. Оно составляет во многих смыслах фундамент, благодаря которому нелепая конструкция по имени Допплер еще держится. Без молока он, я то есть, ноль, как говорится, без палочки. Но теперь настанут молочные времена. А пока есть обезжиренное молоко, есть и надежда.

Едва проходят праздники, как выпадает много снега, что уменьшает мое недовольство жизнью до небывало низкого уровня. Я забираю свои

лыжи из гаража и дни напролет прочесываю на них лес, высматривая, из чего бы сделать тотемный столб. Бонго топает следом, снег ему нравится несмотря на то, что он в нем вязнет.

В одну, можно сказать, прекрасную ночь ломается четырех- почти метровый шест, подпиравший крышу. Едва мы улеглись, повалил густой, плотный снег, на улице ноль градусов, палатка на такое, понятно, не рассчитана. Мы с Бонго просыпаемся от того, что нас облепляет тяжелый брезент, и я долго ползаю в темноте, прежде чем мне удается выбраться. Потом я стряхиваю снег с полотнища, срубаю в перелеске другой шест и заново растягиваю палатку. Отойдя от шока, мы запаливаем костер и сидим себе, болтаем, пока, выговорившись и успокоившись, оба не засыпаем.

Убив на поиски не один день, я нахожу-таки подходящее дерево для тотемного столба. Но нахожу далеко от лагеря. Я срубаю эту махину и десять дней, используя Бонго как тяглового лося, волоку ее до моей палатки. Бонго, бедняга, совсем выбился из сил. Исхудал, потерял несколько килограммов, и по ночам я тихо вылезаю из палатки, встаю на лыжи, спускаюсь вниз и во дворах Маридалена набиваю рюкзак сеном для Бонго. Он ест как прорва. Если считать по-лосиному, ему чуть больше десяти лет, думаю я. Возраст упрямства и пробуждения чувственности, поэтому я часто вызываю его на долгие беседы. Несколько раз они кончались тем, что Бонго в ярости убегал из палатки, но, к счастью, каждый раз возвращался.

В один из рейдов в Маридален я прихватываю на чьем-то дворе пару добротных топоров. Говоря начистоту, один у меня есть, но эти почти совсем новенькие. Солидный инструмент фирмы "Fiskars". Насколько я понимаю, специально для плотничных работ. Один большой, один маленький, невезучий хозяин наверняка получил их на Рождество. Но так уж устроена жизнь. Кто-то дает, кто-то берет. Тем более я же не исключаю, что верну их хозяину, когда вытешу колонну.

В последний день января меня вдруг огорошивает мысль, что вот уже больше месяца как я не перемолвился с человеком ни словечком. И чудесно. Мало ли чего я мог бы наговорить окружающим, а так обошлось. Я — ходячее доказательство тому, что говорить нам в сущности нечего. Так что я собой горд. Это хорошее начало года.

Февраль

Весь день я мурлыкаю неизвестно откуда всплывшую песенку. У меня чудесное настроение, я бодро стесываю топором кору с моего тотемного столба. Куски коры разлетаются по всей опушке, где я хлопочу вокруг обдираемого ствола, напевая и насвистывая. Ближе к вечеру в памяти воскресают отрывочные строки из припева, я не задумываясь подхватываю и их тоже и долго пою, пока меня вдруг не прошибает холодный пот от страшного прозрения, что я весь день распеваю песенку из мультика "Бананы в пижамах". Даже лесное затворничество не уберегло меня от ядовитых стрел детской поп-культуры. Это болезнь, и передается она через слух. Самого непродолжительного соприкосновения с песенной заразой достаточно, чтобы ее вирус безжалостно поразил мозг. Там он месяцами дремлет, человек как ни в чем не бывало наслаждается

жизнью, не подозревая о грозящей опасности, и вдруг нежданно-негаданно вирус просыпается и коварно переходит в атаку. Остаток вечера я провожу в беспощадной борьбе с бананами и пижамами. Я из последних сил отгоняю от себя песенку, но она всеми правдами и неправдами находит дорогу назад. Стоит мне на секунду отвлечься от мысли, что петь песенку нельзя, и на тебе — уже бормочу ее. Одержимость в чистом виде. Все вместе вызывает в памяти фильм, виденный тысячу лет назад, где собственная рука героя исполнилась зла и вознамерилась его убить. В конце концов он отрезал ее электропилой. Держа руку-злоумышленницу лояльной рукой и дергая веревку стартера зубами. Как иначе призовешь к порядку собственную руку? Долой ее!

Угольком я набрасываю на столбе контур будущего изображения. Снизу — фундамент на пару метров, он потом уйдет в землю. Следовательно, торчать будет примерно полуметровый цоколь, а на нем покоиться двухметровое яйцо — на самом деле ритмическое, но чтоб это понять, надо было очень близко знать моего отца, а у него таких друзей закадычных, как я уже устал повторять, ни одного нет. Другими словами, задумку мою никто не поймет, и случайный прохожий примет яйцо за обыкновенное. Не беда. На макушке яйца будет сидеть мой отец, подтянув ноги к подбородку и раскинув руки, а на голове у отца помещусь я сам, на велосипеде. Это будет красиво. У меня на голове, в свою очередь, встанет — мордой к городу — Бонго. Он заслужил это тем, что приволок тяжеленное дерево к палатке. Хотя место в композиции было ему гарантировано все равно. Просто за то, что он Бонго. Но коль скоро он в буквальном смысле слова вложил часть себя в транспортировку тотемного столба, то увековечение его в тотеме из возможности превращается в неизбежность.

Два метра основания плюс полметра цоколя плюс два метра яйца плюс четыре метра отца и два меня на велосипеде и сколько-то Бонго. Мы говорим о колонне не менее одиннадцати метров высотой, из них девять над землей. За работу!

Оттого что тотемный столб я делаю первый раз, мне трудно реально оценить, сколько времени на это уйдет. Поначалу я думал: несколько дней, в худшем случае — пара недель, но время идет, срок отодвигается, и теперь я понимаю, что на колонну уйдет и зима, и весна в придачу. На это время самыми надежными моими товарищами становятся топоры из Маридалена. Большой я использую для грубой работы, а маленький — для деликатной доводки. Скоро мне понадобятся стамеска, напильник и, естественно, некоторое количество наждачной бумаги. От Бонго в работе никакого проку. Пока я вкалываю, он как неприкаянный слоняется вокруг. Я пробую объяснить ему, что свою лепту он уже внес. Не будь тебя, я бы никогда не смог притащить дерево в лагерь, говорю я. Ты один из важнейших винтиков этого механизма, и не твоя вина, что ты рожден лосем и не умеешь пользоваться орудиями труда. Тут уж поезд ушел, причем много миллионов лет тому назад. Тогда стадо наших общих предков разделилось, и каждый пошел своим путем. Те, кому предстояло стать моими прародителями, свернули в сторону развития мелкой моторики и использования орудий для труда, твои выбрали другую долю. Вот и вся история. Теперь, когда прошло столько времени, легко упрекать их, говорить, что надо было лучше думать, но в тот момент все было не так

очевидно, к тому же вы, лоси, вполне, как я понимаю, хорошо приспособились к своему положению. Мне кажется, дела у вас идут неплохо, несмотря на фальстарт. Но Бонго наплевать на мои объяснения. Ему кажется скучным, что я целый день пилю, строгаю и мне не до него. Поэтому он запрыгивает на тотемный столб и спрыгивает с него с театральным залихвачеством. Или бодает деревья, пытаясь их повалить. Бонго, веди себя прилично, увещеваю я. Что тебе скучно, это понятно, но я должен увековечить память моего отца, терпи. Кстати, если ты захочешь почтить память отца или матери, я не стану тебе мешать. И учти, что экстремальные номера, которые ты тут откалываешь, всегда заканчиваются слезами, а то и чем похуже. Ты хоть представляешь себе, сколько лосей ежегодно тонут в болотах и ломают шеи в расщелинах из-за своей такой вот бесшабашности? Тебе дана одна-единственная жизнь, говорю я. Не знаю, во что вы, лоси, верите, но заруби себе на носу: если матушка успела заморочить тебе голову сказками о том, будто есть жизнь после этой, то лучше сразу об этом забудь. Вранье это. Ты живешь здесь и сейчас, и больше тебя никогда не будет. И геройства в том, чтобы сдохнуть по дурости, тоже нет. Ты об этом помни.

За три недели трудов цоколь и яйцо обрели такой вид, что стали похожи на цоколь и яйцо. Не побоюсь этих слов — я собой восхищен. Прямо скажем, плотник из меня никакой, и все-таки я справился. Каждый вечер я падаю без сил и тут же проваливаюсь в сон, успев лишь вдоволь налопаться Бонговой мамаши, которая по-прежнему в прекрасной форме.
Бонго дорос до самостоятельных прогулок. После завтрака он несколько часов бродит вокруг лагеря, но потом уходит и редко когда возвращается до темноты. Чем он там занимается, он мне не докладывает, но я надеюсь — тем же, чем все лоси его возраста, так что беспокоиться мне не о чем. Наверняка и ему тоже хочется иной раз побыть одному, мне ли этого не понимать. К тому же, как всякого подростка, его раздирают и изнуряют противоречивые желания, вот он и шарахается из крайности в крайность: то грубит, то сюсюкает, то весь нежный и пушистый, а то вдруг сама вульгарность. Ну и конечно, у него возникают всякие вопросы, на которые я не в силах ему ответить. Что я тут могу? Лишь обеспечить ему надежный тыл, дать уверенность в том, что он любим, но дальше-то он сам должен устраиваться в этом мире. Так безжалостно устроена жизнь. Даже лосиная.

Как-то вечером после работы я беру Бонго, и мы идем проведать Дюссельдорфа. Честно говоря, я слегка тревожусь. Когда я видел его в последний раз, на Рождество, он был до того одержим своим макетом, что у меня невольно возник вопрос, здоров ли старик. И не сказать, чтоб я был уверен в положительном ответе. Но когда он открывает дверь, я вижу, что за это время многое изменилось и меня, вероятно, ждут сюрпризы. Его едва можно узнать. Он тщательно одет, подтянут, в доме чистота. Макет боя 1944 года по-прежнему стоит в углу, но столик с лупой и прочими штучками исчез. Дюссельдорф радушно приглашает нас зайти и в мгновение ока сервирует ужин.

— Хорошо выглядишь, — говорю я.

— Спасибо, спасибо, — отвечает Дюссельдорф.

— Как с отцом, закончил? — спрашиваю я.

— С отцом? — переспрашивает он, явно удивляясь, с чего вдруг я вообще вспомнил его отца.

— Ты раскрашивал лицо, — говорю я.

— А, вот ты о чем, — наконец догадывается Дюссельдорф. — Надо же, ты помнишь. Я давно отошел от этого.

Ответ чуточку настораживает меня. Я не специалист по человеческому сознанию, по его тупикам и омутам, но сдается мне, тут прозвонил звоночек.

— Что случилось? — спрашиваю я.

Дюссельдорф замолкает. Усаживается в антистрессовое кресло и уходит в себя.

— Может, поговорим о чем-нибудь другом? — предлагает он, помолчав. — Знаешь, у меня такое чувство, что это было ужасно давно. Не знаю, насколько интересно сейчас это вспоминать.

— Интересно, — говорю я.

— Ну ладно, — соглашается он. — Раз ты настаиваешь.

Он закрывает глаза и, судя по выражению лица, собирается с мыслями.

— Я все доделал, — начинает он рассказывать. — Нарисовал отцу лицо. Потратил уйму времени, но добился идеального сходства. Можно сказать, это был он сам, один в один. Потом я посадил его в машину и поставил там, на улице. — Дюссельдорф кивает на огромный макет на полу. Я оборачиваюсь и действительно вижу в машине фигурку отца. Фургон въезжает на перекресток, стрелка на часах подходит к двадцати минутам третьего. Свершается то, что свершилось. Сцена, должен сказать, получилась на удивление яркой и выразительной. Я восхищен тем, что Дюссельдорф сумел сделать ради своего отца. Хоть и есть у меня подозрения, что этот подвиг стоил ему рассудка.

— И дальше? — спрашиваю я.

— Ты что имеешь в виду?

— Что ты сделал дальше?

Дюссельдорф мнется, тянет с ответом.

— Я стал прикидывать "за" и "против", — говорит он. — И в конце концов пошел за ружьем. Принес, зарядил, лег на диван, засунул дуло в рот, но не дернул спусковой крючок. Я подумал, что торопиться некуда, взял и включил телевизор, благо пульт лежал так, что я мог переключать каналы, не вынимая дуло изо рта. Так я просмотрел сперва вечерние новости, затем (видно, была пятница) "Всю Норвегию", которую последний раз видел уже не помню сколько лет назад. Ну вот, значит, я лежал, смотрел "Всю Норвегию". Ты ее смотришь?

— Иногда, — ответил я. — Но давно не видел.

— Ее обязательно надо смотреть всем, — заявляет Дюссельдорф.

— Да, славная передача, — соглашаюсь я.

— Она рассказывает о живых людях, — говорит Дюссельдорф. — Таких, как ты, как я.

— И то правда, — поддакиваю я. — Она посвящена жителям Норвегии. А также животным Норвегии. И в первую очередь как раз тому, как гармонично, бок о бок живут в Норвегии люди и животные.

— Главное — в ней есть теплота, — говорит Дюссельдорф. — В передаче. Она душевная.

— Что-то тронуло тебя особенно? — спрашиваю я.

Дюссельдорф молча кивает.

— Две истории, — говорит он. — Одна — о женщине из Финляндии. В молодости она работала там на юге медсестрой. И в первый свой отпуск решила на перекладных добраться куда-то на север — посмотреть церковь, которую в детстве видела в школьном учебнике. Та фотография запала ей в душу. Ну до того церковь ей понравилась, что она загорелась увидеть ее воочию, и вот поехала. Последнюю часть пути ей посоветовали проделать на автобусе, он был пустой, девушка долго ехала совсем одна, но потом вошел парень, норвежец, и попросил разрешения сесть возле нее. Представляешь: автобус совершенно пуст, но он захотел сесть рядом с ней. Слово за слово, короче, до церкви она так и не доехала, а отправилась с этим парнем в Финмарк, они поженились, нарожали детей, в общем, все как полагается. И вот проходит пятьдесят лет, и нам показывают репортаж, как она, на автобусе, едет в ту финскую церковь. И какая это для нее невероятная радость. С ней муж. Они по-прежнему вместе, любят друг друга, а теперь вот она увидела церковь, которой бредила и которая перевернула всю ее жизнь. Не знаю почему, но это потрясло меня, — говорит Дюссельдорф, нарочито не замечая, что по его щеке катятся слезинки.

— Ты перетрудился, — говорю я. — Сильно устал.

— Это понятно, — отвечает Дюссельдорф, — но все равно.

Мне ясно, о чем он. Хорошие репортажи "Всей Норвегии" умиротворяют. Под настроение человек вполне может расчувствоваться, глядя на ее героев, всегда милых и беззащитных чудиков, живущих любимой идеей. Никому, внушает программа, не возбраняется быть чудаком — если только ты норвежец, конечно. Все мы тут загадочные норвежцы. И коль скоро все кругом загадочные, чудачество становится нормой. А вывод из всего этого такой: никого из нас нельзя назвать странным. А нужно называть просто норвежцем.

— А вторая история? — спрашиваю я.

— О пареньке из западной Норвегии, — отвечает Дюссельдорф. — Ты не поверишь, он знает наизусть гимны почти всех стран мира. Видимо, малый немного не в себе, но окружающие не отвергают его, напротив, отдают должное его умению. В передаче его одноклассники по очереди вытягивали из плошки бумажку с названием страны, а он пел ее гимн, да на языке оригинала, и пел, знаешь, каким-то странноватым певческим голоском, прямо сердце рвал. В общем, этот мальчик заставил меня вынуть дуло изо рта и разрядить ружье. С той минуты я больше не гляжу назад, оставил прошлое прошлому. Наши с отцом пути разошлись. Я с ним закончил. Скоро и макет выкину. Довольно. А сам с тех пор все думаю позвонить тому мальчику и предложить ему летом вместе совершить путешествие на рейсовом кораблике Киркенес—Берген. Мы бы поближе узнали нашу столь протяженную страну, я, глядишь, выучил бы пару-тройку гимнов. Я чувствую, что, если упущу такой шанс, потом буду себя казнить.

— Ты понимаешь, что будет, если я позвоню во "Всю Норвегию"? — спрашиваю я.

Дюссельдорф качает головой и смотрит на меня как зачарованный круглыми от предвкушения глазами.

— Они примчатся как на пожар, — говорю я. — С мигалками на крыше. Это же идеальный сюжет для их передачи. Сын немецкого оккупан-

та, немало из-за этого страдавший, тратит год своей жизни на то, чтобы с почти маниакальной точностью, буквально один в один, воссоздать в виде макета картину боя в некоем бельгийском городке, где в сорок четвертом, во время операции в Арденнах, погиб его отец; мало того, в трагическую минуту жизни именно "Вся Норвегия" спасает его от рокового шага; а концовка репортажа будет такой: наш герой в компании звезды предыдущего выпуска программы созерцает с борта рейсового кораблика, национальной туристической достопримечательности, прекрасные норвежские фьорды. Такого нарочно не придумаешь. А если они прознают, что изредка к тебе наведывается друг, живущий в лесу вдвоем с лосенком, в воздухе запахнет гран-при в Монтрё и на прочих телефестивалях. Правда, тут есть серьезное "но": нам с Бонго нельзя светиться на экране, а тебе — отчего бы и нет, — говорю я. — Так что, если хочешь, я позвоню.

— Ты правда можешь позвонить? — спрашивает Дюссельдорф.

— Если ты хочешь, — говорю я.

— Хочу, пожалуй, — отвечает он.

— Тогда звоню, — говорю я, вставая. Нахожу в телефонном справочнике номер, прошу коммутатор телевидения соединить меня со "Всей Норвегией" и оставляю на автоответчике информацию о Дюссельдорфе: кто он такой, чем интересен для них и как они смогут связаться с ним, когда завтра появятся на службе. Я ничего не приукрашиваю, говорю все как есть, поскольку абсолютно уверен, что по-настоящему сильное впечатление производят как раз непритязательность и лапидарность, о чем эти добрые люди из "Всей Норвегии" знают даже лучше меня.

Я продолжаю работу над столбом и уже добрался до отца. От идеи добиться фактического сходства с оригиналом я отказался сразу. Это будет упрощенное и стилизованное изображение, но для меня важнее символика, а не похожесть. Тем более на тотемном столбе отец все равно будет значительно больше своих истинных размеров. Четыре метра сидя соответствуют, я полагаю, метрам восьми стоя, а он в жизни-то был нормального роста, физически ничем не выделялся. Так что я в любом случае, можно сказать, возвеличиваю своего отца. Делаю его крупнее, чем он был.

Как-то утром, когда мы завтракаем, за палаткой возникает возня. Выглянув, я вижу собаку, не совсем мне незнакомую. Это животное давешнего господина правого консерватора, значит, и сам он где-то неподалеку, вмиг догадываюсь я. Схватив лук и крепкую стрелу, я на корточках пристраиваюсь у открытого полога палатки. Вскоре в перелеске внизу очерчивается силуэт господина консерватора. Он на лыжах, в воскресном спортивном костюме, несмотря на будний день, на спине объемистый рюкзак.

— Стой, сторонник "Хёйре"! — кричу я, натягивая тетиву.

Он поднимает руку и произносит нечто, чего я тогда не разобрал, но что означало "я пришел с миром", как я узнал позже. А в ту секунду я истолковал его жест по-своему — как угрозу сообщить Лёвеншёльду, что в его владениях поселился бродяга, чтобы этот чертов Лёвеншёльд послал своих приспешников снести мою палатку и вышвырнуть меня из

лесу. Разве мог я такое допустить? Да для меня тогда конец всей жизни. Ведь у меня в лесу дело, я воздвигаю тотемный столб в память моего отца и должен отстаивать интересы нас обоих. Я туже натягиваю тетиву и второй раз приказываю ему остановиться, господин консерватор не подчиняется. Получай же, черт побери, кричу я и отпускаю стрелу. К несчастью отпускаю, сказал бы я теперь. Потому что выходит нескладно. Стрела вонзается господину собачнику в бедро, он падает. Задним числом легко обвинять меня, говорить, что стрелять не следовало, но он напугал меня, спровоцировал, и я — да, совершил ошибку. Вполне нормальная человеческая реакция. Не я первый так оплошал, не я и последний. Ведь достаточно ему шепнуть Лёвеншёльду полсловечка — и прощай на веки вечные любимый лес, и Бонго, и тотемный столб. Не в силах вынести этой мысли, я выстрелил ему в бедро. Тем более я никогда и не мечтал, что попаду. Но угодил точнехонько. Теперь этот тип корчится там, на снегу в перелеске. Первая мысль: это не моя проблема; но довольно быстро я прихожу к заключению, что и моя тоже, и, увязая в глубоком снегу, подбегаю к нему и заговариваю первым.

— Извини меня, конечно, — говорю я, — никак не думал, что попаду.

Он не в состоянии ни поддерживать беседу, ни кого бы то ни было извинять. Он лежит на снегу совершенно ошарашенный и недовольно стонет. Я снимаю с него рюкзак, перетаскиваю раненого в палатку и кладу у огня. Выдергиваю стрелу, промываю рану водкой, раздираю рубашку на полосы и перевязываю его. Господин консерватор ничего не говорит и вскоре забывается сном, Бонго и пришлая собака быстро находят общий язык, а я ухожу к своему тотему, работать. Мне нравится, что я справился с ситуацией жестко, без сантиментов. По-хорошему надо бы привлечь медицинские службы, но у меня, замечаю я, зреет план — хочу попробовать уговорить этого господина, чтоб все осталось между нами. Потому как стоит мне взгромоздить его на спину Бонго и отвезти в Национальный госпиталь, и всё — хлопот не оберешься. Начнут выпытывать, вынюхивать, и в результате мое тихое скромное лесничанье окажется под угрозой. Слухи о происшествии дойдут до разных кабинетов, и хотя наверняка я не один такой невезучий и не первый в этом мире прострелил бедро гражданину правых убеждений, внутренний голос подсказывает мне, что власти предержащие меня не поймут.

К счастью, мы взрослые люди и всегда можем договориться, надо только дать второй стороне выспаться и прийти в себя.

Поздно вечером он просыпается, протягивает мне руку и представляется как Боссе Мунк. Боссе, повторяю я, смакуя имя. Черт возьми, до чего симпатично звучит. Очередная уловка правых, ясное дело. Эти знатные конспираторы нарочно дают своим отпрыскам очаровательные имена, чтобы их было потом за что любить, несмотря даже на дикие взгляды на жизнь и полные кубышки денег.

Боссе получает воду и кусок лосятины, и я еще раз промываю ему рану. Дела обстоят лучше, чем я полагал. Рана не очень глубокая, нервы и жизненно важные органы, судя по всему, не задеты. Колено сгибается, и пальцы на ноге не потеряли чувствительности и шевелятся. Получается, это был идеальный вразумляющий выстрел. Парень напугался до одури, но неизлечимых увечий не получил.

— Я пришел не затем, чтоб прогнать тебя отсюда, — говорит Боссе, утолив жажду и первый голод. — Я много думал в эти пару месяцев с той нашей встречи.

— Уу, — мычу я.

— Когда ты послал меня к черту, — говорит Боссе, — я несколько дней кипел от злости и пару раз едва не набрал номер Карла-Отто: хотел подначить его вышвырнуть тебя отсюда вместе с палаткой. Но чем больше я думал, тем больше тебя понимал. И у тебя, и у любого человека несомненно должно быть право пожить в лесу, когда надо. А жить три дня или долго — это каждый решает сам.

— Я рад, что ты понимаешь мою проблему, — говорю я.

— А я рад, что ты рад, — отвечает Боссе. — Но это еще не конец истории. Твои слова о моем неуязвимом материальном благополучии и самодовольной улыбочке заставили меня заглянуть в себя, и я понял, что пора менять курс. Дети давно разлетелись из гнезда, а я на своих многочисленных руководящих должностях только и делаю, что руками вожу, фигурально выражаясь. Предложения высшего менеджмента принимаются автоматом, а мы на деловых обедах совета директоров говорим примерно то же, что успели сказать сотни раз за последние десять-пятнадцать лет. Чтобы не утомлять тебя долгим рассказом, скажу коротко, что я попытался склонить жену к тому, чтобы продать дом, раздать часть денег и начать все сначала, иначе, но ей предложение показалось не слишком заманчивым. Она говорит, что вросла корнями. А как же прекрасный сад, говорит она, чудесный вид, и пятое, и десятое, — в общем, она не захотела. Недели шли, а я все не мог успокоиться, пока сегодня утром меня не осенило, что надо мне на время перебраться сюда. К тебе поближе, подумал я. Мы могли бы иногда поболтать, помочь друг другу чем сможем, так я думал. Не знаю, как ты к этому отнесешься.

— Видишь ли, — говорю я, — переселясь в лес, я в первую очередь хотел избежать общения с людьми, так что, боюсь, этот замысел много потеряет, если нас тут соберется толпа. С другой стороны, я не могу запретить тебе жить здесь. Лес такой же твой, как и мой.

— Золотые слова, — бормочет Боссе и сонно откидывается на коврике.

— Лес мой, — бубнит он мечтательно, снова погружаясь в дремоту.

Когда Боссе засыпает, я нацепляю лыжи и совершаю долгую пробежку, чтобы совладать с собой, привыкнуть к новой ситуации. Неужели мне не суждено побыть одному даже в лесу? Обескураженный, ищущий себя сторонник правых в качестве компаньона — это уж ни в какие ворота. Я довольно долго растравляю себе душу подобной риторикой, а в результате, встретив пятого уже человека, прогуливающегося по лесу с фонариком на лбу, вдруг сатанею. Я толкаю его в снег и срываю с него и фонарик, и прилагающийся к нему тяжеленный, ну курам на смех, аккумулятор. Его заряда хватит дойти до мыса Нордкап в сиянии прожектора. Что за безобразие?! — кричу я. Что за страна такая, где несчастный человек не может вечером спокойно погулять, побыть наедине со своими мыслями? Почему ему все время должны светить в глаза какие-то типы, которые шляются по лесу с фонарем на лбу? Вот я, например, отлично вижу и лыжню, и деревья. Ты хоть понимаешь, что это бред — ходить с фонарем? Он тихо кивает. Тогда ты, наверно, понима-

ешь и то, что я вынужден конфисковать твой фонарь? Он снова кивает. Хорошо, говорю я. Иди и больше не попадайся мне здесь с фонарем. Еще меня раздражает, что ты носишься как угорелый. В другой раз ходи медленно. Уговор? Уговор, подтверждает он. Я помогаю ему подняться на ноги. Чуть отряхиваю его от снега и дружеским тычком в плечо предлагаю продолжать прогулку.

Достаточно в доступной манере объяснить людям, почему то, что они делают, глупо, как они без проблем все усваивают. Это, что ни говори, хорошее качество людей. Искусство душевной беседы живо. А в лесу хорошую беседу ценишь еще больше.

Март

В лесу становится что-то многолюдно.

События принимают неудачный, мягко выражаясь, оборот.

Вытерпев несколько дней, я выставил господина консерватора вон и надеялся, что он уберется восвояси, но как бы не так. Вот уже не первую неделю он живет в маленькой альпинистской палатке буквально в паре сотен метров от меня. Он там обосновался, и я мало что могу с этим поделать. Я решил и дальше называть его господином консерватором, а никаким не Боссе. Так проще держать дистанцию и осаживать его. Чем и занимаюсь непрерывно. Рана, к несчастью, уже не мешает ему наведываться ко мне ежедневно. Он изобретает тысячи предлогов, самых смехотворных, лишь бы зайти ко мне. То ему соль, то ему нож, и так без конца. Я ввел квоту, сказал, что он может приходить два или три раза в неделю. А еще чаще – увольте. Общение с ним воодушевляет не до такой все же степени. Но он не слушается. Заявляется несколько раз на дню и жаждет поговорить. Особенно о том, как он вдруг ясно и отчетливо увидел, что потратил значительную часть своей жизни на безделицы. Но теперь он все исправит. Среди прочего господин консерватор носится с идеей "фестиваля примирения", как он его называет. Я не очень вникал в детали, но речь идет, похоже, о том, чтобы пригласить приверженцев разных конфессий и устроить праздник символического братания. Когда он спросил, буду ли я участвовать, я без церемоний ответил, чтоб отстал и не надеялся.

Работать стало труднее, а возможность не работать пропала вовсе. Только человек особого склада способен ничего не делать, когда у него постоянно стоят над душой. Неожиданно я вынужден объясняться. Учитывать желания другого человека. Говорить, что я не хочу, чтобы ко мне приходили гости. Втолковывать, что он мне не нравится и я бы предпочел, чтобы он вернулся домой. Это изматывает. Удивительно, насколько же легче ничего не говорить, не объяснять, не втолковывать, а просто тихо делать свое дело. Я не знаю, как быть. Можно, конечно, передвинуть палатку дальше в лес. В одну прекрасную ночь собрать свои пожитки и раствориться в глубине леса. Это, наверное, разумный выход, но я все еще не оставляю надежды, что господин консерватор сдастся и сам сбежит домой. Я изо всех сил стараюсь подтолкнуть его к такому шагу и обращаюсь с ним более гадко, чем делал бы это при обычных обстоятельствах. Ведь на самом деле я отношусь к нему не хуже, чем к другим людям, которых я терпеть не могу. Моя нелюбовь к нему

пресная и бесстрастная, не лед и не пламень. Он ничем не хуже прочих. Но теперь я последовательно разжигаю в себе отвращение к этому господину в надежде, что и он постепенно заметит мою враждебность, ведь ему, насколько я могу судить, не довелось провести достаточно времени в тех кругах, где люди научены обращать внимание на намеки окружающих. Но как ни скверно я с ним обращаюсь, он неизменно является снова. Он хочет играть в лото. Играть в лото он хочет каждый вечер. В его жизни было недостаточно забав и развлечений, утверждает он. В детстве он мечтал поскорее стать большим, какие тут игры, а когда росли его дети, он был занят другими вещами, делал себе имя, состояние и прочее.

— Теперь жалей об этом, — говорю я.

Он считает, что мы друзья, и доверительно прислушивается ко мне как к близкому человеку. Он хочет видеть во мне чуть ли не учителя, чувствую я.

Вот уж на какую роль я не гожусь совершенно.

Поскольку не могу наставить на путь истинный никого. Начиная с себя. Мой поступок, мое бегство в лес объясняется в большей степени счастливым стечением обстоятельств, а не особой прозорливостью. Просто я упал с велосипеда в нужном месте в нужное время.

Но господин консерватор взирает на меня как на оракула. И не замечает, что я фактически пытаюсь выжить его. Слишком я мягкосердечен, видно.

Стандартная беседа с господином консерватором растягивается на несколько дней и проходит по типовому сценарию:

День 1.

Я занят, к примеру, работой над столбом. Он подходит беззаботной походкой и встает рядом. Я молчу. Продолжаю махать топором. Он некоторое время тихо наблюдает, потом заводит беседу.

— А вот скажи, Допплер, что ты видишь во мне хорошего? Что бы ты перечислил, например, пастору, которому предстоит сказать над моим гробом последнее слово?

Я на секунду прерываю работу и задумываюсь, что бы такое ему ответить и как бы заставить его поскорее убраться.

— Я тебя почти не знаю, — отвечаю я. — А то немногое, что я успел о тебе узнать, не обнадеживает.

— Совсем не обнадеживает? — спрашивает господин консерватор.

— Конечно, ты не стал, — тяну я, — устраивать спектакль из своего ранения, а также сбежал из города в лес, что, вероятно, можно отнести к положительным моментам. Но тот факт, что ты поставил палатку у меня под носом, сводит все твои достоинства на нет, так что общий баланс не в твою пользу.

Постояв некоторое время, он уходит к своей палатке.

День 2.

Сцена та же. Я работаю, он подходит.

— Я обдумал то, что ты сказал вчера, — говорит он. — Что во мне нет ничего хорошего. Ты прав. Я ничто. Ничего хорошего во мне нет. Я попусту растратил свою жизнь.

— Не сгущай краски, — говорю я. — Просто у тебя скверно на душе, вот и все. Наверняка у тебя масса талантов, способностей и уникальных дарований. Но лес, вероятно, не то место, где ты можешь их проявить.

Он уходит к своей палатке.

День 3.

Я еще завтракаю, он появляется раньше обычного, сияя как масляный блин.

– Я обдумал твои вчерашние слова, – говорит он. – Что я самобытная личность и у меня таланты и всякое такое. Но ведь и ты тоже самобытен. Оба мы с тобой неповторимы. Всякий человек уникален.

– Более или менее, – отвечаю я. – Но самобытный означает только не похожий на других. Это не значит хороший.

День 4.

Он приходит, когда я писаю.

– Я обдумал твои слова, что самобытный еще не означает непременно хороший, – говорит он.

Я продолжаю писать.

– Ты прав, – говорит он. – Какая польза в неповторимости, если ты поступаешь плохо?

– Само по себе ничто не бывает ни плохим, ни хорошим, – говорю я. – Все зависит от того, кто и где ты есть.

Он уходит, чтобы вернуться через час.

– Я размышлял над твоими словами, что нет ничего изначально плохого или хорошего, – заявляет он. – Наверно, ты прав. Все зависит от ситуации.

И так дальше в том же духе. Бедняга потерян. Даже не знаю, как ему помочь. Но все это несносно, совершенно выбивает из колеи. А душа за него болит. Этот злополучный сторонник правых, сколько себя помнил, не радел ни о чем, кроме земных благ и незыблемости устоев, и вдруг решил пойти против течения, но никто из его окружения не оценил его поступка и не смог оказать никакой поддержки. Это все равно что взрослому дяде превратиться в подростка. Вдруг раз – и сам больше не понимаешь, кто ты теперь такой. И тело кажется чужим. Ужас. Только человек дослужился до каких-то чинов, нажил имущества – и на тебе: все это в одночасье потеряло в его глазах смысл, но и стать как по мановению другим человеку не дано, потому как из песни слова не выкинешь. Что было, то, черт возьми, было, и этого не отменишь. Я и сам в том же положении, просто не вызываю такой жалости, как наш господин консерватор. Впрочем, как знать?

И не один только он нарушает мой покой. Грегус тоже здесь. Уже пару недель как. Он совершил побег из детского сада, но был замечен на подступах к опушке леса. К этому моменту он преодолел примерно километровую полосу вилл. Полиция настигла его и отвезла домой. Где он устроил форменное светопреставление: требовал во что бы то ни стало отправить его в лес, ко мне и Бонго. Моя жена, уже с торчащим животом, заставила своего брата, моего то есть шурина, встать на лыжи и притащить мне сюда Грегуса на санках, и теперь он тут и радуется жизни. Так хорошо ему еще никогда не было. Трогательно, с каким терпением он помогает мне в работе. Поэтому мы посовещались, подумали и решили, что он тоже станет частью тотема. Он будет венчать его, сидя на спине Бонго. Я уже даже нарисовал контур. Надеюсь, получится хорошо. Грегус станет гармоничным и символическим завершением всей конструкции. Три поколения Допплеров. И Бонго. Воистину величественная композиция. Потомки, проходя мимо, будут с почтением

преклонять голову и думать про себя, что когда-то Допплеры были о-го-го. Особенно если следующие поколения Допплеров измельчают, а я сердцем чую, что измельчают. И я окажусь эдаким эталоном качества всего древа Допплеров. Это я-то. Который даже людей не любит. Я и к присутствию Грегуса отношусь двояко: радуюсь, но и скучаю очень по одиночеству и всерьез страдаю из-за того, что затворничеству моему пришел конец. Как будто мало мне было сложностей с господином консерватором!

Не удержался от участия в общем параде-алле и Дюссельдорф. Он приходит сюда на лыжах несколько раз в неделю и нередко остается на ночь. С тех пор как во "Всей Норвегии" показали репортаж о нем, Дюссельдорфа мучает подозрение, что он продал себя слишком дешево. Он чувствует, что жизнь его более сложна и менее однозначна, чем она предстала в пятиминутном репортаже. "Всей Норвегии" не удалось копнуть глубоко. У них получился рассказ о создателе макета, а не о сыне, выросшем без отца. Такой стандартный, в духе "Всей Норвегии" репортаж скорее про несколько необычное хобби, чем про самого человека.

Бедный Дюссельдорф. Мне искренне его жаль. У меня не хватает духу сказать ему, что мне хочется побыть одному. Я даю ему коврик и шерстяное одеяло и сижу далеко за полночь, слушая его рассказы. Сам я тоже высказываюсь. Можно сказать, мы обмениваемся опытом. Опытом того, каково быть нами. Он для меня — самое близкое подобие друга, хотя лучше б его здесь не видеть.

А если к нам еще присоединяется и господин консерватор, то вечер приобретает особую пикантность. Наш господин взахлеб поет о своем фестивале примирения, мы прозрачно намекаем, что нам это абсолютно безразлично. Поезд ушел, говорю я. И пусть приверженцы разных религий и дальше друг друга гнобят, преследуют и взрывают. Расслабься и подумай о чем-нибудь другом. Но господин консерватор живет идеей братания, его рвение сравнимо разве что с преданностью моей дочери Толкиену. Он одержим мыслью взять реванш. Он жил по-дурацки, скользил по поверхности, а теперь должен впечататься мордой в дно, чтобы все исправить.

Потом мы играем в лото. Грегус засыпает у края саамской палатки, у входа лежат, спутавшись в клубок, Бонго и собака господина консерватора, а мы с ее хозяином и Дюссельдорфом играем при свете костра в лото с животными. Я чувствую себя вожатым скаутов.

К слову говоря, Бонго и эта псина женихаются вовсю. Они неразлучны, всюду ходят парочкой и, есть у меня чувство, хотят завести ребенка. Судя по виду Бонго, он влюблен без памяти и витает где-то на седьмом небе, так что у меня просто язык не поворачивается объяснить ему, что его подружка — собака, а вовсе не лосиной породы.

Среди всей этой кутерьмы работа над тотемным столбом мало-помалу продвигается вперед. Мы дошли до рук отца. Их нужно вырезать и приставить к телу. Я даже в общих чертах незнаком с этой техникой и вынужден несколько раз все переделывать, пока мне удается добиться отдаленного сходства и мой отец обретает коротенькие, смахивающие на крылышки ручки, из-за своей явной бесполезности только для тотемного столба и пригодные. Как и вся его жизнь, думаю я. От отца, как и от

большинства из нас, пользы не было никакой, так что тотемный столб представит его в самом, возможно, выигрышном свете. Здесь я перед его непрактичностью преклоняюсь. Это ей я ставлю монумент.

Дюссельдорфа, и так пребывавшего в расстройстве, окончательно доконал звонок отца исполнителя гимнов. Он пригрозил заявить в полицию, если Дюссельдорф еще хоть раз позвонит мальчику. О поездке на кораблике ему лучше забыть и никогда не вспоминать. Об этом и речи не может быть. Размечтался, старая скотина, кричал возмущенный отец. Ты и мой сын в тесной каюте, вдвоем, а кругом лишь высокие горы да глубокие фьорды. Дюссельдорфу не удается вставить ни слова, к нам после этой беседы он приползает растоптанный и раздавленный.

— Мир дышит злобой, — говорю я, — раз в нем человека искреннего, с благими порывами с ходу объявляют извращенцем и не дают оправдаться, и не верят в невинное дружеское расположение, а отчего-то подозревают всякую гадость. Так быть не должно.

— Не должно, — отвечает Дюссельдорф, — но есть.

— Да уж, — говорю я. — Человек человека съест и не заметит.

— К чему это ты? — спрашивает Дюссельдорф.

— Сам не знаю, — отвечаю я. — А что? Мне кажется, в самую точку.

Дюссельдорф кивает и тихо себе под нос повторяет мои слова.

— Ты прав, — сообщает он. — В точку.

Господин консерватор стремится во всем походить на меня. Он, наверно, не замечает сам, но некая мощная внутренняя сила желает вылепить из него — второго меня. Как это ни смешно, он тоже взялся рубить тотемный столб. Плюс этой затеи в том, что я стал реже его видеть. Слышу только стук топора. Видно, он сходил домой за инструментом. Боюсь, придется мне еще одолжаться у него, это все же не так мучительно, как по ночам с помощью отмычки проникать на виллы других господ консерваторов и обшаривать их гаражи и мастерские. Но что его затея отдает сентиментальщиной — изъян, и непоправимый.

— Что за сопли, — говорю я.

— Лес общий, — отвечает он.

— Об этом мы не спорим, — говорю я. — Но как тебе не совестно, разве можно так обезьянничать? К чему этот жалкий пафос? Ты же не думаешь, будто идея со столбом пришла тебе в голову просто так, сама по себе?

— Ты делаешь тотем в память своего отца, насколько я понимаю, — заявляет он, — а у меня будет столб мира. Что тут общего? Мой столб будет напоминать людям разных вероисповеданий, что давно пора начать слушать и слышать друг друга.

— Пользуйся, не жалко, — говорю я.

Еще господин консерватор стал намекать на то, что ему нужен лось. Желательно лосенок. И желательно такой, как Бонго. Господин даже спрашивал, не может ли он купить его. Ага, держи карман шире! Такие Бонго не покупаются и не продаются. Короче, я посоветовал настырному господину подавиться его вонючими деньгами, но он не унялся, сперва удвоил цену, потом и вовсе утроил, искушал всячески. И доторговался до семидесяти тысяч. Вроде как это цена Бонго. Я, конечно, отказался, и с тех пор он глаз не кажет. Обиделся, похоже. Привык,

что его деньги открывают перед ним все двери, а когда из-за них дверь раз — и захлопнулась перед самым его носом, он решил, что мир неизвестно отчего ополчился против него.

Чем дальше, тем меньше мой лес подходит мне для жизни. Надо уходить. Но я не могу тронуться с места, пока не поставлю столб. Не отказываться же от воздаяния славы отцу потому только, что вокруг снуют прозревшие правые консерваторы и прочие отвлекающие от дела граждане. Стисну зубы, но доведу работу до конца. А там сложу вещички и поминай как звали, никто и охнуть не успеет. Я вкалываю как проклятый. Удлинил рабочий день вдвое. Грегус силится не отстать, но в его возрасте спят вдвое больше, чем в моем. Пока он спит, я и делаю основную работу. Но когда он бодрствует, мы — несмотря ни на что — отлично проводим время. Беседуем о самых разных вещах. Честно говоря, парень хват на всё: и разговор поддержать, и топором помахать. Он на самом деле молодец. Но я его не захваливаю, сдерживаю себя, так, могу иногда потрепать по плечу или волосы взъерошить. Важно, чтоб он чувствовал, что отец им доволен. Тем более тут мне душой кривить не приходится. Он едва ли не лучшее из всего, к созданию чего я был причастен, и если парня минует синдром отличника, у него есть все шансы состояться. По-хорошему, мне бы, конечно, оставить его у себя в лесу, потому как дома с матушкой, сестрицей и прочими гражданами он неминуемо соскользнет на дорожку примерности и идеальности. А тут я бы служил противовесом. Это ему как воздух необходимо. Вот я и решаю эту задачку, постоянно взвешиваю "за" и "против". Душа просит одиночества, но на другой-то чаше — благо Грегуса. Пока ничего не придумал.

А дни идут. Мы стесываем со ствола килограммы древесины. Щепки летят во все стороны, раскинулись ковром по снегу — ковру, накрывшему всю землю. Ого! Ковер на ковре. Пора стихи писать.

Однажды (как я потом сообразил, это было воскресенье) мимо проходит на лыжах мой шурин. Он застает меня, Грегуса и Дюссельдорфа за работой. Я рублю, а помощники мои шлифуют столб напильником и наждачной бумагой. С другой стороны опушки доносится размеренный стук топора господина консерватора. Отличная команда подобралась, говорит шурин, хорошо, что тебе теперь не так одиноко. Потом он рассказывает, что прекрасно прогулялся сегодня, заглянул на несколько дач и может лично засвидетельствовать: все больше горожан стараются выбираться на природу. Кстати, говорит он, чуть не забыл: твоя жена ожидает вас с Грегусом домой к середине мая, к пятнадцатому то есть числу. Тогда ей рожать, и самое время заканчивать эту затянувшуюся шутку, говорит мой разлюбезный шурин. Его сестра не из тех, на ком можно сперва жениться, а потом раз — сбежать когда вздумается. С чьими-то сестрами так, может, и позволительно обращаться, но с его сестрой — нет.

Я киваю.

— Если сам не вернешься, — говорит он, — я приду и приведу тебя силой.

— Договорились, — отвечаю я.

У шурина как камень с плеч упал, вижу я. Он не ожидал, что я так легко сдамся. И готовился, верно, к худшему, а все прошло спокойно, да-

же весело. Это потому что я соврал. Только он об этом не знает. Ложь совершенно потрясающий инструмент, а многие пользуются ей как-то редко. Хотя она дико эффективна. Человек говорит одно, а думает другое. Чудо, просто чудо.

Выпроваживая шурина, я забираюсь на столб и по-родственному машу ему, но едва он поворачивается спиной, я незаметно строю издевательскую гримаску, и Грегус, кто б сомневался, засекает ее.

— Папа, а зачем ты так сделал?

— Как сделал? — спрашиваю я.

— Рожу вот такую скорчил, — говорит он и показывает, какую именно.

Дюссельдорф молча прислушивается к нашему разговору, но я вижу, что ему любопытно, как я буду выворачиваться. Он в курсе, что я, мягко говоря, недолюбливаю шурина: я успел поведать ему о всяких пикантных моментах из истории наших родственных отношений.

— Мушка в глаз попала, — говорю я, но вижу, что Дюссельдорф чуть заметно мотает головой. Такое объяснение не пойдет.

— Здесь нет мушек, — замечает Грегус, как всегда резонно.

— Я поступил так, — сдаюсь я, — потому что считаю дядю Тома слегка, — я на миг задумываюсь, — надоедливым. Мы с ним мало похожи. И говорим как бы на разных языках. Иногда с ним можно иметь дело — помнишь, например, он помогал нам строить гараж, — а иногда он ведет себя глупо, ну прямо как дурак. И как раз сейчас такой момент.

Дюссельдорф незаметно кивает, одобряя мою откровенность.

— Но дача у него хорошая, — говорит Грегус.

— Дача у дяди Тома отличная, — соглашаюсь я, — в этом ему не откажешь.

Апрель и май

Жизнь катится под гору. Дюссельдорф не просыхает. Его стандартный маршрут пролегает от нашей палатки до винного магазина и назад, он ходит по нему с регулярностью рейсового автобуса. Обзавелся снегоступами. Приносит заодно еду, чаще всего пиццу, что скрашивает обстановку. Потому что родительницу Бонго мы почти доели, а убивать еще одного лося я, уважая чувства Бонго, не спешу. С косулей я бы, пожалуй, не стал так церемониться, но они ужас как пугливы. А ни волки, ни медведи тут не водятся. Их власти интернировали на восток, чтобы тамошние аборигены спокойненько истребили их втихаря подчистую.

Зима была снежная, но теперь с каждым днем снега тают все дружнее. Когда совсем сойдут, я сбегу. На траве никто не сумеет меня выследить. И я вырвусь на свободу.

Тотемный столб Грегусу наскучил, и он почти все время торчит в палатке. Воспользовавшись газетами, собранными для растопки, и подсказками пьяного Дюссельдорфа, Грегус научился читать. Бог мой, это ужас какой-то, чтобы образцовопоказательность настолько была у человека в генах. И чтоб ее было не вытравить ничем. Она точно вода размывает все преграды и прокладывает себе путь. И проникает, куда хочет. Эта последняя капля решила мои сомнения. Если он в четыре года уже читает, то я не успею оглянуться, как он начнет щелкать уравнения с производными. Этого потомственного отличника надо немедленно

остановить. Пресечь все подобные поползновения в зародыше. Ну и ясно, что путь назад, в цивилизацию, ему заказан. Он останется со мной в лесу. А я сей же час спалю все газеты и впредь буду разжигать огонь только берестой. Так что если Грегусу неймется читать, пусть сочиняет тексты сам. Ему придется вырезать их на дереве или писать кровью. Надеюсь, это охолодит его страсть к чтению.

Господина консерватора мы почти не видим. Свой тотемный столб он уже доваял. Получилось на редкость уродливо, сеять мир на земле таким орудием, по-моему, невозможно. На днях мы помогали эту штуку устанавливать. Пришлось жечь костер, чтоб смерзшаяся земля немного оттаяла, но все-таки мы столб вкопали. И теперь он маячит посреди леса как надгробный памятник неудавшемуся покаянию господина правого консерватора, тщетно искавшего свое "я". Сам ваятель ушел в город, хочет развесить на досках объявлений около магазинов, вегетарианских ресторанов и на фонарях бумажки с приглашением на фестиваль примирения, который он решил устроить 16 и 17 мая. К счастью, нас с Грегусом здесь тогда уже не будет. Ищи ветра в поле. А они пусть себе братаются. Почему он решил приурочить свой фестиваль ко Дню национальной независимости, ума не приложу. Религиозное примирение в одном флаконе с годовщиной конституции придает акции совсем уж отвратительный вкус, но пусть потешит себя вволю. Одно я знаю твердо — Допплер ни с кем брататься, черт их возьми, не будет.

Дабы внести свою лепту в воцарившийся у нас хаос, появляется Железный Рогер. Его турнули из дому. Подружке наконец надоело, что он прыскает семенем на все без разбору. Он опрометчиво лишил девственной чистоты книгу, присланную "Книжным клубом", которую его спутница жизни только распечатала и как раз собралась почитать. Это последнее семяизвержение оказалось явно лишним, и теперь Рогер на пару с Дюссельдорфом пьют у нашего костра. Они сошлись душа в душу, и Рогер жалуется новому другу на женское вероломство. Ведь у него и самого закрадывались сомнения, что его необычная привычка перестала вызывать у подружки былой восторг, вот бы ей и выразиться ясно, мол, завязывай с этим. Так нет. Всего несколько дней назад он уделал счет из Норвежского автомобильного союза, и они вдвоем хохотали над этим. А чем лучше книга из "Книжного клуба"? Так с бабами всегда, сетует Рогер. Никогда не поймешь, чего им надо. Только что все было нормально, раз — оно уже никуда не годится. Охнуть не успеешь.

Пока остальные спят и пьют, я как приговоренный машу топором и думаю о том, что моего леса не узнать. Как тихо и покойно было здесь! Мы с Бонго проживали день за днем, от зари до зари в мире и гармонии, ни под кого не подлаживались. Напротив, мы жили как хотели. И я медленно, хоть и со срывами, приближался к своей цели, к ничегонеделанью. То было раньше. Теперь от тогдашнего леса остались лишь смутные воспоминания. Наверно, мы ошиблись лесом, говорю я Бонго. Странно здесь как-то.

Люди вообще обладают одним поразительным свойством: как только они заполняют собой пространство, ты начинаешь видеть исключительно их, а не это самое пространство. Бескрайние пустынные просторы перестают быть бескрайними и пустынными, стоит им впустить в

себя хотя бы одного-двух людей. Человек ведь сам выбирает, на чем остановить взгляд. И обыкновенно устремляет его на себе подобных. Что и породило обманчивое представление, будто бы человек превыше всех земных существ. Это миф, заблуждение. В конце концов вполне может выясниться, что венец творения — лоси, говорю я Бонго. И это вы несете свет истины, просто чересчур скромничаете. Лично я в это, не буду врать, конечно не верю, хотя как знать. Но уж люди во всяком случае ничего такого в себе не несут. И тут вы меня не переубедите.

Дни идут своим чередом. Снег тает. Грегус читает. Дюссельдорф с Рогером пьют, господин консерватор в городе, занят расклейкой по ресторанам призывов приходить мириться, я довожу до ума готовый вчерне тотемный столб. Уже ясно, каким он будет, и я вижу, что тружусь не зря. Мне есть чем гордиться. Даже самый недалекий человек поймет, что столб изображает мужчину, который сидит на большом яйце и держит на голове еще одного мужчину, верхом на велосипеде, на голове которого стоит годовалый лосенок, а на нем сидит маленький мальчик. Все похожи на себя, но в меру, и в меру стилизованы, так что опознать никого из нас нельзя. Теперь столб надо отполировать шкуркой и покрасить в яркие цвета. Повторять ошибку индейцев Северной Америки я не намерен. Они вырезали потрясающие тотемные столбы, но с ходу воздвигали их, ничем не обработав. В результате уже через несколько десятилетий матушка-природа получала тотемы назад в свой круговорот. Они рассыхались, обрушивались, истлевали. Это согласовывалось с верой индейцев в единство мира, где все движется по кругу. Из праха в прах и т. д. Но я на этот вопрос смотрю иначе, чем смотрели североамериканские аборигéны. Я все же не индеец, а человек нашего времени. Неудачник нашего времени. Или — человек нашего неудачного времени. Это как считать. Но в любом случае: если уж я что-то делаю, то делаю на века. Поэтому мне предстоит вся эта чертова канитель с несколькими слоями олифы, бейца и наконец с яркой краской, способной выдержать норвежские погоды. Столб простоит тысячу лет. Как минимум. Тысяча — замечательное число. Самое лучшее.

Тихой весенней ночью я спускаюсь в город и высаживаю окно в магазине скобяных изделий у стадиона "Уллеволл". Я мог бы, конечно, добыть денег у Дюссельдорфа, но эта сирота безотецкая не просыхает, к тому же меня тешит мысль, что тотемный столб выйдет даровой. Все, для чего не надо утверждать бюджета, нравится мне вдвойне. Зато все, что требует больших затрат, сразу вызывает у меня подозрение. Такие у меня теперь представления. Я изменился. Скоро год, как я живу в лесу, и я теперь не тот, что был. В какой момент во мне произошли перемены, сказать непросто. Наверно, они свершались исподволь, как все преобразования, но в том, что я изменился, нет никаких сомнений. Лес дает и отбирает. И обтачивает тех, кто стремится в него, по своему образу. Еще немного, и я окончательно облесничаю. Лес — это я и есть, думаю я, под оглушительное завывание сигнализации врываясь в магазин и на бегу бесстрастно высчитывая, что на все про все у меня пять минут. С ходу принимаюсь таскать ведерко за ведерком с олифой, бейцем, краской и прочим. Я не бегаю — летаю, и через пять минут за контейнером, где директор магазина ICA вот уже несколько месяцев оставляет для ме-

ня молоко, скапливается изрядное количество лакокрасочных материалов. Прикинув, что все необходимое я набрал, устраиваюсь на корточках сверху на ведрах и жду, когда появится охранная служба Securitas. Охранник действительно приходит, хоть и заставляет себя ждать куда дольше, чем я рассчитывал. Потом подтягивается полиция, начинаются звонки и переговоры и наконец приезжает хозяин магазина. Его я узнаю, поскольку в связи с бесконечным ремонтом непрестанно у него отоваривался. То кисточка, то монтажная лента, то семечки для птиц. О них я всегда заботился, о птицах-то, им во всяком случае есть за что меня благодарить, правда, это дело такое: сам вот я много лет раскланивался с хозяином магазина, а теперь взял разбил окно и утащил, что мне понадобилось. Но он знал, на что шел. Это часть его бизнеса. Хозяин заделывает окно плексигласом и не сразу, но уходит. Теперь у меня есть пара часов, пока город не проснулся; я привожу ждавшего на опушке Бонго, немилосердно нагружаю его бейцем и краской, и в три ходки мы перетаскиваем все это в палатку.

Первого мая к нам возвращается господин консерватор. Чтобы меня подразнить, он притаскивает из дому мешок прошлогоднего сена и жжет его теперь перед своей палаткой, а еще он принес грабли и ворошит угли в костре. Я делаю вид, что ничего не заметил. На другую реакцию у меня нет времени. Я даже пролетарский праздник не отмечаю. Меня ждут более важные вещи. Да и кого теперь в Норвегии считать пролетариями? Я лично не знаю. Поэтому трудолюбиво крашу столб. Ритмическое яйцо получается ярко-красного цвета, как пожарная машина, а папа теперь двухцветный, от пупка и выше колер меняется. Мне кажется, отец это заслужил. Сам я становлюсь зеленым, как лес, а велосипед реалистично крашу в цвет моего настоящего велосипеда. Бонго получается желтым, а Грегус таким бирюзовым. Для мелких деталей на лицах — глаз, носов, ртов — я выбираю цвета, контрастирующие с фоном. Все остатки извожу на цоколь. Выходит слоев двадцать не пойми какого цвета, так что и тысячу лет влажности столб едва ли заметит.

Крашу я под раздражающий бубнеж: Грегус по складам читает старые газетные репортажи о разной ерунде. Политика, наука, искусство, культура. Причем он не только кропотливо и въедливо продирается сквозь трудные слова, но, повинуясь дурной наследственности, непременно желает проанализировать и обсудить смысл прочитанного. Забудь, говорю я ему. Это просто набор слов. Они ничего не значат. Не-ет, не сдается Грегус, наверняка значат. Не значат, говорю я. Люди просто сидят и высасывают из пальца все это, чтобы показать, какие они молодцы. А миру это не нужно совершенно. Слова, слова, слова. Возможно, среди них изредка вкраплены такие, что означают не просто набор звуков, а нечто большее, но чтобы вычленить их, ты должен быть гораздо сметливее остальных людей, а я решительно запрещаю тебе, в твоем столь нежном возрасте, стремиться к такой незаурядности.

— Нет, значат, — талдычит свое Грегус.

— Вот станешь совершеннолетним и делай что хочешь, это меня уже касаться не будет. Обещаю, тогда я перестану на тебя наседать, — говорю я. — Но до этого еще много лет. А сейчас важен только тотемный столб. Ему предстоит простоять тысячу лет и свидетельствовать, что

ты, и я, и дед, и Бонго были на земле. Жили. Нам был отпущен срок, мы старались как могли, но без толку — пользы никакой не принесли, — говорю я. — А как только мы со столбом разберемся, немедленно уйдем. Но газет с собой не возьмем. Лучше тебе сразу забыть про чтение. Как и про школу. Духу твоего там не будет, пока тебе не сравняется восемнадцать. До тех пор поживешь в лесу. Со мной и Бонго. Так и знай.

— Посмотрим, что еще я выберу, — говорит Грегус.

— Забудь про выбор, — отвечаю я.

— А здесь вот пишут о Лондонской школе, погоди, где-то это, а, вот, Лондонская школа экономики. Это в ней Питер Пэн учился? — продолжает Грегус.

— В ней, — отвечаю я.

— Ой, тогда и мне интересно там поучиться, — говорит Грегус.

— Заруби себе на носу, — говорю я, — что, если ты когда-нибудь поступишь в эту школу, мы с Бонго поселимся в лесу под Лондоном и будем каждый божий день бить тебя за это.

— Почему мне нельзя пожить там? — говорит Грегус.

— Пожить можно. И потусоваться — пожалуйста. Лондон — город увлекательный, возбуждающий интерес. Можешь даже поучиться, но только не в супер-пупер-престижной школе экономики, а где попроще, что-нибудь по художественной части. Где бы тебя учили выходить за рамки, а не разгораживать ими жизнь.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — сообщает Грегус.

— Тем лучше для тебя, — отвечаю я.

В результате этой бессмысленной беседы я начинаю напевать песенку Питера Пэна из одноименного мультика и долго не могу от нее отвязаться. Крася, я бубню мелодию, а потом вставляю рефрен "Я могу летать" и, повторив все это много сотен раз за несколько дней, впадаю в самое настоящее отчаяние, что не могу улететь отсюда.

Тотемный столб готов. На финишной прямой я воспользовался конфискованным налобным фонарем и работал сутки напролет. И вот последний штрих — я рисую моему отцу огромный половой член. Помечаю отца фамильным, так сказать, знаком Допплеров. Потом отступаю на шаг и вижу, что да, столб удался. Подобных мир не видал. Мой тотемный столб исполнен глубокого смысла, в нем отразился я. Он красочный, чтоб не сказать кричаще-яркий. Он фантастически красив. И сотворил его я, Допплер. Вот этими самыми руками. Я увековечил память отца так, как ему и не мечталось. Пока я работал, я близко сошелся с отцом.

Закончив столб, я немедля принимаюсь копать под него яму. Место я выбрал под тем камнем, куда хожу отливать. Оттуда, как я уже упоминал, отличный вид на большую часть Осло, а что мочой иной раз брызнет, не беда. Наоборот, думаю я. Это можно трактовать как аллегорию того, что в последние свои годы отец фотографировал туалеты. Вы правы, конкретно в этом месте он нужду не справлял. Хотя не преминул бы сделать это, окажись он тут. Так что окропление столба мочой можно считать исполнением семейных обетов. Моча Допплеров густа, как кровь, и связывает нас воедино. Следующие поколения Допплеров будут приходить сюда и чтить память праотцов, писая на родовой тотемный столб.

Но, выкопав яму в полметра, я утыкаюсь в горную породу. Мое проклятое отечество так нашпиговано горными породами, что даже злиться по этому поводу сил нет. В Норвегии действительно по горе на каждого жителя, констатирую я, и этот энциклопедического свойства факт хоронит все мои надежды окончить работы в срок. Я мечтал, что к середине мая нас и след давно простынет, так что моему любезному шурину, когда он явится конвоировать меня к жене в роддом, придется возвращаться назад несолоно хлебавши, но теперь я начинаю сомневаться в исходе. Возможно, мне предстоит встретиться с шурином лицом к лицу и принять бой. И подстрелить его, как господина консерватора. Хотя любезному шурину такой урок — вне всякого сомнения — пошел бы на пользу, но он может поставить под угрозу мой план бегства, а я рисковать не хочу.

Две недели я занимаюсь тем, что постоянно жгу в яме костер и время от времени заливаю его холодной водой в надежде, что горная порода треснет от перепада температур. День за днем, костер за костром. Если я не рублю дрова, то таскаю ведра с водой. Мне помогает Грегус, остальные ввиду запоя к делу непригодны. Ну и ладно. Лично я не собираюсь никого силком тащить на путь истинный. Хотят пить — пусть пьют. Я достаточно пожил, чтобы знать, сколько существует на свете причин пить до потери чувств и соображения. В этом деле каждый выбирает по себе. Вот наш господин консерватор не пьет. Что есть, то есть. Напротив, он вкалывает не покладая рук. Для него фестиваль братания действительно много значит. Это правда. Поэтому он делает лавки, столы и даже сооружает небольшой помост вроде сцены, с которого, как я полагаю, он намерен вещать о мире на земле и братстве народов.

Не так легко определить, где догорающий костер, а где уже новый, но костров через сорок или пятьдесят яма углубляется примерно на метр, еще столько же костров — и я добиваюсь глубины метра в два. Достаточно. Вот только назло всем моим расчетам на дворе уже май, хуже того, его середина. Снег сошел, в лесу сухо. Повсюду цветут голубые ветреницы и белые перелески, и новое поколение лосят покоряет бескрайний наш лес. Ты перестал быть самым младшим, говорю я Бонго, но не думай, что теперь ты обязан немедленно повзрослеть. Насладись юношеской свободой. Совершай безумные поступки. Погуляй вволю. Оторвись на всю катушку. Это советую тебе я, Допплер, человек, который в свое время был одним из самых образцово-показательных молодых людей в этой стране. Но теперь я выпрягся из упряжки и работаю, что называется, на вольных хлебах. Своего рода консультантом, сказал бы я. Который помогает себе и тем, кто готов ко мне прислушиваться. Таковых пока набралось не слишком много.

Нам не удается установить столб. Даже с участием нехотя согласившегося помочь господина консерватора у нас нет ни единого шанса. Этот проклятый столбище весит слишком много. По снегу мы с Бонго сумели перетащить его с места на место, но четыре мужика, ребенок и лось бессильны поставить его в яму.

— Как ты думаешь, сколько народу соберется на твой фестиваль? — спрашиваю я господина консерватора.

— Человек тридцать-сорок, — отвечает он.

— Ты не возражаешь, если я возьму их в оборот? — спрашиваю я.

— Да нет, — отвечает он. — Это будет выглядеть вполне по-братски.

— Золотые слова, — отвечаю я. — Ничто так не сплачивает людей, как коллективный тяжелый труд, имеющий к тому же символическое значение.

Наступает и проходит середина мая, то есть пятнадцатое число. Весь день я сижу натянув лук и вслушиваюсь, не раздадутся ли шаги моего быстроногого шурина, но он не приходит, и объяснить это можно единственно тем, что роды заставляют себя ждать. Вот и отлично. Природа на моей стороне. Но я не склонен считать это знаком свыше, просто повезло, только и всего. Сегодня мне случайно подфартило, и я использую полученную передышку, чтобы пропустить стаканчик с Дюссельдорфом и Рогером. Ложась ночью спать, я кладу под подушку лук со стрелами, но любезный шурин, по счастью, не является мне ни во сне, ни в так называемой реальности.

Наутро начинается фестиваль примирения. Господин устроитель нарядился весьма антиконсервативно, в рабочую спецовку. Может, он считает, что так ему легче будет пробиться в иные сферы, подняться на более высокую ступень духовности, не знаю, в любом случае он приготовился встречать доброхотов всех конфессий, жаль они не валят на фестиваль валом. Спустя пять часов с момента, когда фестиваль должен был открыться, господину консерватору приходится признать, что на его призыв откликнулись четыре человека. Один мусульманин, один еврей и один христианин вкупе с корреспондентом вечернего выпуска "Афтенпостен". Теперь они сидят на бревне и ждут, что он им скажет. И господин консерватор, смирившись, выходит на помост и объявляет фестиваль открытым. Скрыть своего разочарования ему не удается, но все же он выдавливает из себя несколько вполне бесспорных фраз о том, что в наше неспокойное время каждый должен заглянуть в себя и проверить, насколько глубока его терпимость. Самое сегодня важное — понимать друг друга, а ключ к пониманию один — знакомиться. Людям следует просто-напросто больше узнавать друг о друге. Что мы думаем, чего боимся, во что верим, а также и совсем простые вещи, вроде того, кто во сколько встает утром и чем обычно ужинает. Здесь важно все. А что уж нам точно не грозит, так это чрезмерное знание друг о друге. За два предстоящих дня мы успеем немного восполнить пробелы в общении и поделиться информацией о вещах важных и не очень. Трое верующих кивают, журналист строчит.

Первое упражнение — упасть назад, то есть и решиться, и поверить, что товарищи тебя поймают. Из-за малого количества участников возникают некоторые проблемы. Рослый турок пару раз шмякается-таки на землю, хотя каждый раз проворно вскакивает со словами, что сам виноват. Все мы остальные мягко приземляемся на вытянутые руки товарищей. Мне это даже радость доставляет, честно говоря. Отдавшись падению, я теряю контроль над ситуацией и какую-то долю секунды лечу между небом и землей, а затем, не дав мне со всей дури хлопнуться оземь, меня нежно и любовно подхватывают руки ближних.

Для следующего задания мы разбиваемся на пары, и одному завязывают глаза, а второй проводит его по окрестностям. Слепой должен научиться полностью полагаться на зрячего.

Это красивое упражнение, и каждого из нас оно чему-то учит, невзирая на то, что Бонго, в паре с которым хожу я, лишний раз демонстрирует миру, что все же отстает от нас, остальных, в умении понять суть четких инструкций. Проходя мимо еврея с журналистом, я замечаю, что из-под повязки на глазах журналиста текут слезы. Бедный, думаю я. Он приучен жонглировать словами, не вставая из-за стола, а здесь упор на тактильность, на физический контакт и другие непривычные ему вещи, и все это обрушилось на парня внезапно. Вот он и сломался. Конечно, ушлые и прожженные ветераны "Афтенпостен" сумели отвертеться от этого задания, а спихнули все на зеленого салагу-практиканта со слабыми нервишками.

Третьим испытанием, под моим нажимом, объявляется установка тотемного столба. Я подготовил все загодя, и, взявшись все вместе, мы играючи ставим его на место. Дело сделано. Мы подтаскиваем тяжеленную штуковину к яме, сталкиваем цоколь вниз и затем осторожно поднимаем столб стоймя с помощью хитроумной системы веревочных блоков. Дальше фестиваль продолжается уже без меня.

Вбивая на пару с Грегусом клинья в землю вокруг столба, я слышу, как наращивает градус праздничное братание. Там, видимо, идет работа в группе. Изредка раздаются раздраженные окрики господина консерватора, но я не ощущаю себя бессовестным дезертиром. Безусловно, проведение примирительного фестиваля – дело как ни погляди похвальное, да и сама идея здравая: чтоб все не накрылось медным тазом, люди разных вер и национальностей должны наконец взяться за руки. Если б это удалось, не было б человека счастливее меня. Но вынужден признаться: я не верю в успех этого благого начинания. На мой взгляд, поезд ушел. На мой взгляд, выход один: ныне живущие люди должны исчезнуть, а им на смену народиться новая порода человека. В нем будет меньше агрессии, он все начнет с чистого листа.

И вот столб стоит. Так, как мне хотелось. Он закреплен на месте клиньями, их я присыпал мелкими камнями, землей и торфом. Тотемный столб вознесся высоко и осеняет лес яркими красками и допплеризмом. Если вам интересно мое мнение, то столб хорош объективно. И мы с отцом выяснили наши отношения, чувствую я. Теперь он может упокоиться с миром, как говорится. А я с миром изыду, ибо знаю, что он спит спокойно. Спокойно, ибо его не забыли. Настолько не забыли, что плоть от плоти его изрядно потрудился чести его ради. Это прольет бальзам на душу старого ёрника, который умудрился прожить жизнь, никому не открывшись. Итак, родителя я помянул, теперь можно в путь, куда глаза глядят. Я собираю свое воинство, то есть Грегуса с Бонго, и сообщаю им, что час настал и мы уходим. Ситуация в лесу более не способствует нашему духовному возрастанию, говорю я. Нам нужен воздух, чтобы вольно дышать, и простор, чтобы мыслить широко. Мир лежит перед нами и ждет нас, говорю я. Мы пускаемся в путешествие, и долгим может оно оказаться. Сам не знаю, что гонит меня прочь, чувствую только, что выбора у нас нет, о чем и говорю остальным двоим. Говорю, хотя мечтал, покончив со столбом, больше никаких новых проектов не затевать, наоборот, делать так мало, как никому до меня не удавалось. Приблизиться к магической границе абсолютного нуля. А теперь вот стою перед своими учениками – я заметил, что начал смотреть на них

как на учеников, — и обиняками заманиваю их в странствие, которое может оказаться долгим. Вы готовы? — спрашиваю я. Грегус кивает, а Бонго смотрит на меня непроницаемо, как всегда, но я знаю этого лося наизусть и понимаю, что, как все тинейджеры, он всегда готов ввязаться во что-нибудь стрёмное.

Не уверен, говорю я, что путешествие окажется приятным. Посмотрим, говорю я. Все на свете не может быть приятным по определению. Нет, ну надо же, я — и произношу эти сентенции, а? Можно подумать, во мне говорит другой человек. Так что иногда приходится делать вещи, зная, что они не доставят нам удовольствия, говорю я. Иной раз стоит набраться духу и доползти до края сука, на котором сидел, рискуя его сломать, а иной раз стоит даже срубить его.

— А иначе ты будешь не человек, а говно на палочке, — говорит Грегус.

— Золотые слова, — говорю я. — Иначе ты будешь говно на палочке.

— А куда мы идем? — спрашивает Грегус.

— Мы будем перемещаться из одного леса в другой, — объясняю я. — Сначала мы углубимся в чащу этого леса, потом выйдем на другой его край, затем перейдем в следующий лес. Так и будем идти, пока не почувствуем, что хватит, находились. Это вряд ли произойдет скоро. Но ведь и лесов много.

Я говорю, что сейчас мы все вместе пописаем на тотемный столб, а потом начнем собираться, с таким расчетом, чтобы ночью незаметно свернуть палатку и к рассвету очутиться уже далеко.

На счет раз-два-три мы дружно пускаем струю, салютуя нашему отцу и деду, которому стоять здесь еще тысячу лет.

Обратный отсчет начался.

Пока мы пакуем вещи, фестиваль превращается в праздничное гулянье. Там кричат, поют, и понятно, что Дюссельдорф с Рогером поддержали мероприятие спиртным. Вряд ли в мечтах господина консерватора фестиваль выглядел именно так, но этот вариант тоже неплох, думаю я, вытаскивая колышки растяжки. Алкоголь уберет скованность, развяжет языки, так они, глядишь, и выложат друг дружке такие про себя подробности, которые по трезвости не рассказывают. По мере того как градус праздника в том лагере повышается, я понимаю, что сниматься с места посреди ночи мне незачем. Они уже дошли до той стадии, когда интерес к окружающему миру значительно ослабевает, так что я могу спокойно заниматься своими делами, не опасаясь их любопытства.

Из двух березок я мастерю волокуши, которые может тащить Бонго. На них я кладу палатку, инструменты и, в общем, почти все, чем владею и располагаю в лесу. Топоры я тоже забираю. Придется их бывшему хозяину купить себе новые. Там, куда мы отправляемся, топоров взять негде. Я пакуюсь всю ночь, пока Грегус с Бонго спят, тесно прижавшись друг к другу. На рассвете я наношу участникам фестиваля короткий прощальный визит. Перебравший последователь Христа спит, раскинувшись в странной позе, представители двух других мировых религий сосредоточенно засовывают ему под крайнюю плоть катышек зубной пасты. Они хохочут как безумные, им хорошо. Господин консерватор сидит у костра и говорит журналисту "Афтенпостен" (я б сказал, более пьяному, чем остальные, буде оно возможно), что ему хотелось бы, чтоб сиськи у его же-

ны были как корабли. Сил журналиста достает только на то, чтобы не выронить ручку. Не понял? — бормочет он. Кораблеобразными чтоб были, объясняет господин консерватор. Похожими на корабли. Рогер и Дюссельдорф, опытные, не пропускающие тренировок мастера возлияний, остались к этому часу самыми свежими. Я жму им руки и говорю, что был счастлив познакомиться с ними, но должен сию секунду отправиться в путешествие, и оно может затянуться. Берегите себя, говорю я. И ты тоже, отвечают они, снова опускаясь на вереск и погружаясь в беседу, тема которой мне неизвестна. Как и большинства прочих бесед на свете. Беседы, в которых участвую я сам, можно пересчитать по пальцам. А о чем ведутся остальные мириады разговоров, я не знаю. К счастью.

Изрядно прокопавшись, мы собираемся в путь, когда празднование 17 мая[1] уже в разгаре. Внизу, в городе, на все лады гремят духовые оркестры. Вот и отлично, так и продолжайте, думаю я, завязывая Бонго на шее веревку от волокуш. Вот тут и появляется разлюбезный шурин. Кто бы сомневался. Ковыляет с ружьем на плече, переваливаясь, как утка, что меня жутко раздражает. Елки зеленые, да он меня пристрелить собрался! Петляя среди деревьев, я впопыхах прилаживаю стрелу на место. Стой! — слышу я окрик шурина и пускаю на голос стрелу. Я петляю, как заяц, но любезный шурин выспался, он свеж, энергичен и догоняет меня в два счета. И не тратя времени зря стреляет мне в ногу капсулой со снотворным. Теперь она торчит в моей лодыжке. И ничем не отличается от тех, какие показывают в передачах о животных, когда зоологи усыпляют слонов в африканской саванне или волков на шведско-норвежской границе. И я действительно сразу чувствую тяжесть в теле и падаю на вереск. А день-то какой прекрасный, успеваю подумать я. Березки стоят в кружеве из свежей зелени, в лесу праздник, День национальной независимости. И все кругом чистое. Чисто норвежское.

Всю дорогу до Национального госпиталя, куда любезный шурин доставляет меня, стиснув в объятиях, как пожарник угоревшего, в моей голове клубится противный вязкий туман. Грегус с Бонго тащатся за нами по пятам. Повсюду сограждане в национальных костюмах. Я ненавижу 17 мая, стучит в моем помраченном снотворным мозгу. Прежде я никогда не формулировал эту мысль — что праздник мне отвратителен — внятно и четко, а теперь сделал это. Меня с души воротит, когда норвежскость славят вот так напоказ. И меня бесит, когда в глазах рябит от народных костюмов[2]. Один другого страшнее. Только подумаешь: всё, приехали, ужаснее быть не может — как пожалуйста, вот вам еще более безвкусный. Шурин затаскивает меня в здание госпиталя. Заносит в лифт. Поднимает наверх. И волочит в комнату, где лежит моя жена с новеньким мальчиком на животе. Моим сыном. Или нашим, как принято теперь говорить. Конечно, конечно — нашим. Славный парень, говорю я. Беру его на руки и, еле ковыляя на ватных ногах, уношу к окну, подальше от всех, а там тихо шепчу ему на ухо, что мы с его братом должны отправиться в путешествие, оно может затянуться, и надолго, но когда-ни-

1. День национальной независимости Норвегии.
2. В Норвегии по праздникам принято надевать народные костюмы, они различны для каждой области и стоят дорого.

будь мы вернемся. Ты тут не горюй, пока нас нет, говорю я. И не становись пай-мальчиком. Можешь делать вид, будто слушаешься мамочку, но поступай всегда наоборот. Достаточно всегда все делать ей наперекор, и жизнь удастся. Обещай мне так и делать. Живи как хочешь, только берегись образцовопоказательности.

Пока жена разговаривает с Грегусом и подошедшей Норой, ко мне возвращаются силы, а также внезапная агрессивность. Я заваливаю разлюбезного шурина на пол и простыней прикручиваю к рукомойнику. Ну что, молодец среди овец, — говорю я. — Теперь и пошевелиться не можешь? Повязали тебя? И как, нравится? Он дергается, словно пес на цепи, которого дразнят. Я не позволю стрелять в себя снотворным ни ради опытов надо мной, ни чтобы усыпить мою волю и делать по-твоему. Я не буду плясать под чужую дудку и не допущу экспериментов над собой. Это тебе понятно?

Он кивает.

— Если ты выстрелишь в меня еще раз — это будет твой последний в жизни поступок, понял?

Он снова кивает.

Я поглаживаю малыша и спрашиваю у жены, хорошо ли прошли роды.

— Отлично, — отвечает она, — самые легкие роды из тех, что у меня были. Пока. Я думаю, его надо назвать Бьёрнстьерне[1], — продолжает она. — Раз он родился в праздник.

Еще бы, думаю я, и сердечно, но напряженно улыбаюсь. Правильность моей жены все же беспредельна. Плохо, конечно, что мы с первого дня жизни грузим мальчишку тем, какой он норвежский норвежец, но ведь и все остальное, что мы в жизни делаем, ничем не лучше, так что ладно, пусть называет его как хочет.

— Да, знаешь, — говорит жена, — я хочу еще детей.

— Не надо волноваться, — отвечаю я. — Возможно, у нас будут и еще дети, но сперва я должен закончить дела в лесу. У меня и в ближайшем, и в дальних лесах много незаконченных дел. Так что я пока немного поскитаюсь, и домой вернусь не скоро. И Грегус со мной.

Жена поворачивается к Грегусу, тот кивает.

— Мы отправляемся в путешествие, — говорю я. — Оно может затянуться.

— А куда? — спрашивает жена.

— Сперва в один лес, потом в другой, — отвечаю я. — Мы некоторым образом призваны. Там свершаются разные события, и нужна наша помощь.

Жена глядит на меня изумленно.

— Мы должны сделать там кое-что, — говорю я. — Нечто важное.

— Ты не мог бы объяснить более подробно? — спрашивает жена.

— Нет, — говорю я, — не мог бы. Менее подробно — пожалуйста, а более — никак. Единственное, что я знаю: мы должны идти, потому что нас позвал лес.

— Позвал вас? — уточняет жена.

1. Бьёрнстьерне — имя писателя Бьёрнсона, автора норвежского гимна.

— Позвал отчетливо, — говорю я. — Потому что, помимо Smart Club, детских дней рождения, ужинов с так называемыми друзьями и всего этого норвежского умения приятно жить, благодаря чему мы одновременно самая зажравшаяся и самая эгоистичная нация в мире, есть и другая жизнь.

— Какая другая? — спрашивает жена.

— Это я и собираюсь узнать, — отвечаю я. — А как только узнаю, расскажу тебе.

— Тебе хочется в лес, Грегус? — спрашивает жена.

Грегус кивает.

— Поступайте как знаете, — говорит жена. — Раз человек призван, значит призван. Это даже я понимаю.

Наверно, причина такой небывалой терпимости и широты взглядов в том, что ее накачали в родах дурманом, и надо пользоваться моментом и быстро уносить ноги.

Напоследок мы коротко прощаемся с женой, Бьёрнстьерне и моим разлюбезным шурином, который даже не пытается самостоятельно отвязаться от рукомойника. Когда наступает черед проститься с Норой, она торжественно берет меня за руку и бормочет что-то, как я понимаю, на эльфийском. Видимо, она так вжилась в мир Толкиена, что непроизвольно переходит на высокий слог, стоит трубе позвать кого-то в дальний поход. В эльфийском я слаб, но понимаю, что она осыпает нас пожеланиями пройти путь живыми и невредимыми и в конце его вышвырнуть-таки коварное кольцо (или с чем мы там маемся?) в какой-нибудь встречный вулкан.

Прихватив Бонго, щиплющего на задах госпиталя травку, мы гуськом переходим вброд Согневаннсбеккен и скрываемся под пологом леса. Первые несколько часов мы идем на север, а затем сворачиваем в сторону восхода. Шагаем молча. И останавливаемся только раз, чтобы подкрепиться кусочком Дюссельдорфова "Тоблерона", которого у нас осталось еще пара-тройка килограммов. Кстати говоря, это наша единственная еда, если так можно сказать. Ближе к вечеру Грегус засыпает, дальше Бонго везет его на волокуше. Чем глубже мы уходим в лес, тем легче мне дышится. Здесь тебе ни праздничных гуляний, ни вакханалии народных костюмов. Только лес. Как не было ничего, помимо леса, в тот день, когда я навернулся с велосипеда, и вплоть до появления в нем господина консерватора, обуреваемого самокопанием и грозящего заложить нас Лёвеншёльду. Чтоб он, кстати, пропал, этот Лёвеншёльд. Еще несколько часов, и мы выйдем из-под его юрисдикции. А он пусть консервирует лес для себя одного, маринует и в банки закручивает. Там, куда мы собрались, ему нас при всем желании не достать. Те леса очень большие, ему не по зубам. А самое чудесное, что я снова один. Двое учеников следуют за мной, это верно, и все же я снова один. Один всегда. Один везде. Как лоси. Как мой отец.

Я иду и думаю о двух вещах.

Во-первых, моя нелюбовь к людям. Она не прошла. Но я начал осознавать, что, если взглянуть на ситуацию беспристрастно, придется признать: неприязнь произросла из общения с людьми, которые меня окружали, то есть с подданными норвежской короны, или норвежцами, как их еще именуют. Я пришел к своим неутешительно драматичным выво-

дам, отталкиваясь от норвежцев. Это, естественно, недостаточная экспериментальная база. Мне следует познакомиться с другими людьми. Настроиться на то, что где-то существует жизнь разумная, и она выглядит иначе. Я буду скитаться, пока не найду ее. Или пока не уверюсь окончательно и бесповоротно, что другой, разумной жизни нет нигде.

Вторая моя дума вот о чем: мы выступаем в дальний поход. Хватит ошиваться в безопасных норвежских лесах. Долг перед отцом я выполнил и теперь обязан двигаться дальше и выше, если хочу дойти до сути своей суетной пустоты. За пределами этой страны лежит весь мир. Я его не знаю, но ему нужна помощь от меня, охотника и собирателя, Допплера по прозвищу Член с ногами, раз уж мы говорим начистоту. И от лося Бонго. И даже, похоже, от мальчика Грегуса. Обитание в Норвегии не дает реальной картины жизни, говорю я себе. У этой страны пухнет в банке тысяча миллиардов крон. Цифра звучит как сказочная. Как число, взятое с потолка и показывающее, что денег куча. А между тем это реальная цифра. У Норвегии в кубышке тысяча миллиардов крон нефтяных денег. Всякий раз, когда из-за конфликтов в мире мировые цены взлетают, Норвегия стрижет купоны. А самих нас, норвежцев, раз-два и обчелся. Как мы можем распоряжаться нефтью на морских шельфах или энергией горных рек? Да и вообще — покупать и продавать что бы то ни было? Кого из нас хоть раз, под настроение, не посетил такой вопрос? Потому как Норвегия живет за околицей реального мира. И все больше и больше обособляется от него. Какие-то у меня слишком правильные мысли, думаю я. Ну и фиг с ними, пусть будут хоть идеальные, раз они на пользу.

Наш маленький караван держит путь из Норвегии в большой мир. На восток. Мы станем охотиться, заниматься собирательством, выменивать нужное нам у других людей. Которых я, возможно, полюблю больше тех, с кем жил бок о бок в Норвегии. Или не полюблю вовсе. Время покажет.

И это крестовый поход. Мы солдаты и будем биться до последнего воина.

Против образцовой правильности. Против глупости.

Потому что там, далеко-далеко, идет война.

Идет война.

To be continued[1].

(Иншалла)

1. Продолжение следует (*англ.*).

Стихи

Перевод Антона Нестерова, Анны Турунтаевой
Вступление Антона Нестерова

Язык — тринадцатый знак Зодиака...
Стейн Мерен

Современную норвежскую поэзию в нашей подборке представляют четыре поэта — четыре голоса, относящиеся к разным поколениям и отражающие каждый свою эпоху.

Самый старший среди них — **Стейн Мерен** — родился в 1935 году. Его первый сборник, "Сквозь тишину ночи", вышел в 1960 году, но уже в этой дебютной книге различимы все черты, свойственные поэтике Мерена, — сознательно ограниченный словарь, в котором присутствует ряд особо нагруженных слов: *свет, тьма, изменение, детство, смерть*; использование синтаксических повторов, создающих своеобразные "грамматические рифмы"; обращение к мифологическим архетипам.

Дебют Мерена приходится на то время, когда норвежские писатели открывали для себя англоязычную литературу высокого модернизма, и Фолкнер, Джойс, Т. С. Элиот были для литераторов той точкой отсчета, от которой они пытались выстраивать собственную систему координат. Скандинавские страны познакомились с этими именами достаточно поздно, поскольку до Второй мировой войны Скандинавия больше тяготела к Германии — сказывалась и близость языка, и давние торговые связи. Еще одним культурным ориентиром была Франция... Война многое изменила в Европе — в том числе и "культурную картографию". Для норвежских писателей знакомство с англоязычной литературой стало своего рода освежающим глотком — эта литература несла с собой неведомую доселе новизну.

И в ранних стихах Мерена явственно ощутимо влияние Т. С. Элиота — влияние столь новое для норвежской поэзии, что первоначально критика обвиняла Мерена в непонятности стихов, усложненности образов, перегруженности культурными аллюзиями. С другой стороны, то, что предлагал Стейн Мерен в своих стихах, очень близко к "Степному волку" и "Игре в бисер" Германа Гессе — такая же насыщенность текста культурными отсылками, такая же утонченная игра с мифом и обостренная рефлексия... Внимательный читатель легко уловит, напри-

© Антон Нестеров. Перевод, вступление, 2005
© Анна Турунтаева. Перевод, 2005

мер, в стихотворении "Небеса" аллюзию на "Апокалипсис": "И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет" (Откр. 21:1), а в "Тристане и Изольде" отсылку не только к средневековой легенде, но и к "Танцу мертвых влюбленных" из одноименной оперы Вагнера и так называемому "тристан-аккорду", ее открывающему, — аккорду, для которого невозможно гармоническое разрешение...

В начале 60-х годов Стейн Мерен был в норвежской поэзии чужаком, потому что выступал как поэт "книжности", а не "реальной жизни", казался слишком "высоколобым". В 70-е годы, когда тон в культуре стали задавать рассерженные молодые бунтари из университетов, объединившиеся вокруг журнала "Профиль", Мерену пеняли на то, что от социальной борьбы и злобы дня он бежит в мифотворчество... В 80-е годы новое поколение стало обвинять Стейна Мерена в многословии, старомодности и "натужной серьезности" — он сохранил верность высокому модернизму и в эпоху, когда в моду стали входить постмодернизм и дух отстраненной игры со всем, чем можно... Но уже сам спектр этих обвинений куда как ярко говорит о том, что "мешать" стольким и стольких "раздражать" может только поэт первой величины, поэт с неповторимым голосом, верный себе вопреки всем и вся...

Собственно, "книжность" и "мифологичность" Стейна Мерена есть лишь способ смотреть на настоящее через призму вечности, стремление сквозь прозрачный (а порой, увы, и мутный) поток времени различить дно... Один из характернейших тому примеров — представленное в нашей подборке стихотворение "Гобелен Европа", давшее название одноименному сборнику 1965 года: своего рода историософское описание судеб всей европейской культуры. Интересно, что Мерен дважды, уже в зрелом возрасте, возвращался к этому тексту и серьезнейшим образом его переделывал: в книгах 1998 года "Машинерия ночи" и 2002 года "Последний из тех, кто несет огонь" поэт дает две совсем иные редакции этого раннего стихотворения, стараясь проговорить те изменения, что произошли за эти годы в европейском самосознании. В поздних сборниках Мерена все чаще можно встретить прямые отклики поэта на происходящее в мире — войну на Балканах, события 11 сентября 2001 года...

В 70-е годы Мерен всерьез пробует себя в прозе. Надо заметить, что это в принципе довольно характерно для Норвегии, где нет жесткого деления на поэтов и прозаиков — скорее, к норвежскому писателю уместнее применить слово "литератор" в том значении, в котором оно бытовало в пушкинскую эпоху. В 1971 году Стейн Мерен включает в книгу "Королевская игра" наравне со стихами небольшие эссе и экспериментальные рассказы. Годом позже он публикует довольно резкий и злободневный роман "Неясность" (1972), отчасти продолженный книгой "Титаны" (1974), в подзаголовке которой стояло "Европейский роман" — что-то вроде норвежского "Ожога" В. Аксенова (правда, в более "интеллектуализированном" варианте): о крахе бунта 60-х. Одновременно с романом выходит книга эссе "Усилия художника и новое пуританство" (1974) — своеобразный ответ поэта ангажированным литераторам, забывшим за политическими перипетиями о том, что такое по-настоящему писать.

С 1993 года Стейн Мерен активно занят не только поэзией, но и живописью — его полотна не раз экспонировались на многочисленных выставках, причем профессиональная художественная среда приняла его на равных, а не как живописца-любителя.

Выбирая для этой публикации стихи Стейна Мерена, мы держали в памяти тот факт, что кое-что из них, преимущественно из сборников второй половины 70 — начала 80-х годов, русскоязычный читатель знает по сборнику "Из совре-

менной норвежской поэзии" (1987), поэтому прежде всего стремились представить "раннюю" и "позднюю" поэзию Мерена[1].

Поль-Хельге Хауген (родился в 1945 году) принадлежит к следующему поэтическому поколению. Как литератор, он дебютировал всего лишь на пять лет позже Стейна Мерена, в 1965 году, изданием сборника вольных переложений хайку "Лист из восточного сада", но уже этот дебют говорит об иных поэтических приоритетах Хаугена и его ровесников. Поколение Хаугена чувствовало явственный разрыв с предвоенной европейской литературой, словно война была неким пределом, за которым опыт прошлого "не работал". Требовалось начать все с нового листа. Отсюда — обращение к восточной культуре — как радикально другой по отношению ко всему, что создано Европой, отсюда же — недоверие к классикам и маститым и ориентация на авторов своего поколения — английских "рассерженных", американских битников... Прибавьте к этому сосуществование двух форм национального языка: консервативного букмола — "книжного языка", на котором писали Ибсен и прочие классики, и *искусственно* синтезированного на основе диалектов "новонорвежского", получившего "прописку" в литературе еще в 20 — 30-е годы, а после войны ставшего знаменем писателей-экспериментаторов. Хауген принадлежал к числу тех писателей, кто выбрал для себя новонорвежский.

С 1965 по 1967 год Хауген был членом редакции журнала "Профиль", объединившего вокруг себя наиболее ярких и радикально настроенных норвежских писателей. Они видели в литературе способ воздействия на общество, требовали от писателя ангажированности. (Именно это поколение спорило с Мереном, обвиняя его в "книжности", — и именно поэтов "Профиля" он чувствовал своими оппонентами). Возможно, не в последнюю очередь поэтому в 60-е годы Хауген предпочитает высказываться не в стихах, а в прозе — в 1967 и 1969 годах у него выходит два сборника "текстов", где новеллы преобладали над стихами, в 1968 году появляется экспериментальный роман "Анне", в одночасье заставивший увидеть в писателе лидера поколения. В 1970 году Хауген издает том переводов из американской поэзии — эта книга была не только попыткой познакомить соотечественников с авторами, представленными под обложкой, в гораздо большей степени это была попытка приучить норвежцев к новой поэтике, восходящей к битникам: Грегори Корсо, Джеку Керуаку — авторам, очень значимым для самого Хаугена. Подготовив таким образом почву, Хауген издает в течение десятилетия несколько книг своих стихов.

При том что в 70-е годы Хауген достаточно сильно ориентирован на американскую поэзию (не только битников, но и поэтов, принадлежащих к так называемой "школе языка", или Джону Эшбери), в нем чувствуется глубочайшая "норвежская специфичность". В норвежской поэзии гораздо выше "удельный вес" пейзажной лирики, чем в поэзии англоязычной или немецкой. Норвежцы естественно (тут важно именно это слово) ощущают свою погруженность в природную среду, исконную связь человека с сезонными ритмами, делением года на темную и светлую половину (совсем иначе переживаемое вблизи Полярного круга) и т. д. Все это точно и тонко передано в стихах Хаугена.

В 80-е Хауген проходит через целый ряд метаморфоз — наряду со стихами он публикует множество книг для детей, реализует несколько совместных проек-

1. Переводя С. Мерена, склонного писать, опуская большинство знаков пунктуации, переводчик в некоторых случаях вводил дополнительные знаки, учитывая разницу между "линейностью" норвежского синтаксиса и требованием "интонационного выделения", характерным для русского языка.

тов с художниками и фотографами, пишет оперные либретто. Ему особенно интересно работать "на стыке искусств", когда слово взаимодействует с изображением или музыкой. Эта синтетичность творчества сохранится у Хаугена и в 90-е годы — хотя он все больше "уходит" в мир музыки: в 1993 году появляются его музыкальная драма "Колос", оратория "Ночь на земле", написанная совместно с композитором Х. Хабестадом, потом несколько оперных либретто, миракль "Пилигрим" (1995), текст для реквиема к годовщине победы во Второй мировой войне: "Псалмы ветра для мертвых" (1995)... При этом Хауген всерьез занимается теологией, принимает участие в дискуссиях о роли церкви в обществе.

При том что для Хаугена и его поколения характерна достаточно аскетичная, очень напряженная манера письма — сродни черно-белой фотографии, — у поэтов, идущих следом за ним, стремление к минимализму еще больше усиливается.

Юн Фоссе (родился в 1959 году) известен в Норвегии прежде всего как прозаик и драматург, причем драматург очень успешный: его пьесы ставят не только в Скандинавии, но и по всей Европе. (В этом номере "ИЛ" мы публикуем его миниатюру "Я не мог тебе сказать" — текст, существующий на грани новеллы и монопьесы). Однако у Фоссе существует и "поэтическая ипостась": он издал несколько поэтических сборников. По ним можно заметить, что у поэта есть излюбленные поэтические формы — так, он явно тяготеет к десятистишью. Поэзия Фоссе — эта поэзия взгляда, когда поэт стремится дать читателю зрительный образ, предельно его "объективизировав" и "убрав" из текста рефлексию и личный комментарий. Стихи эти похожи в чем-то на гравюры, где нет полутонов — только черный и белый цвет, но при этом присутствует сильнейший эмоциональный заряд.

Туне Хёднебё (родилась в 1962 году) — одна из ключевых фигур, определяющих норвежскую поэзию 90-х годов. Ее дебютная книга стихов, "Шум", изданная в 1989 году, была книгой не начинающего поэта, но зрелого автора, знающего свою силу. И показательно, что годом позже Туне Хёднебё становится соредактором журнала "Вагант", во многом задающего тон в современной норвежской поэзии. Следующий сборник поэтессы, "Квадратура тьмы", выходит после довольно большого перерыва — в 1994 году: Хёднебё из тех поэтов, которые умеют "держать паузу", а не стремятся судорожно напоминать о себе читателям, каждый год выдавая очередную книгу — лишь бы имя было на слуху. В 1997 году появляется ее сборник "Маятник", удостоенный премии Норвежского поэтического клуба, а в 2002-м — книга стихов "Восхождение к буре", из которой взяты тексты для данной публикации.

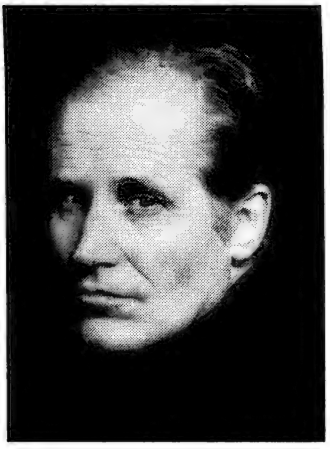
Само название этой книги многое говорит о поэтике Хёднебё. В оригинале книга называется "Stormstigen", что можно перевести и как "Лестница / восхождение к шторму" и как "Штурмовая лестница". С одной стороны, в норвежском это слово используется для обозначения "штурмовой машины", изобретенной Леонардо да Винчи, с другой — напоминает о лестнице, увиденной во сне Иаковом: "Вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней" (Быт. 28:12). Что касается бури — с бурей в Библии нередко сравнивается сам Бог: "И отвечал Иову Господь из бури..." (Иов 40: 1). Такое "мерцание" смыслов очень характерно для Хёднебё.

Книга "Восхождение к буре" развертывается вокруг двух мифов — о Семеле и Тиресии. Семела была возлюбленной Зевса и пожелала увидеть царя богов "как он есть", но не смогла вынести то, что предстало ее глазам, погибла. При

этом от молний Громовержца вспыхнул дворец Семелы. В пламени пожара от мертвой Семелы родился Дионис — и тут же свершил свое первое чудо: оплел плющом горящее здание и тем потушил огонь. Тиресий был ослеплен за то, что увидел обнаженную Афину, но вместе со слепотой получил дар прорицания, который сохранил даже в Аиде. Собственно, вся книга может быть прочитана как некая инверсия античной трагедии, где есть антагонисты, есть хор.

Хёднебё как бы "сворачивает" смыслы: они закрыты пеленами слов, под которыми лишь угадывается "история", данная в стихотворении, — и от читателя требуется серьезное усилие, чтобы "основная тема" стихотворения, подобно Лазарю, вышла на свет и сдернула покровы. Так, читатель стихотворения "Ты из тех, кто сердце..." должен расслышать в нем отсылку к представлениям о загробном суде в египетской мифологии, когда Осирис взвешивает сердце человека, положив на другую чашу весов перо, а в последнем стихотворении нашей подборки, "Ты у мертвых разузнать попробуй...", в подтексте присутствует сюжет о нисхождении Одиссея в Аид во имя того, чтобы вопросить Тиресия, суждено ли возвращение на Итаку, при этом, чтобы вернуть Тиресию память, Одиссей дает ему напиться жертвенной крови.

Стейн Мерен



Из сборника "Сквозь тишину ночи" (1960)

Небеса

Что я знаю о времени вне ясной утренней ноты
когда птицы, будто слепцы,
встрепенутся от солнца и собственной простуженной песни,
фуга света, что сыграна на клавишах листьев,
крылья ветра сметают трепет колибри над камнем
Потревоженная тень замерла в ожиданье

Мне снится время, которому сон неведом, и земля,
где, как здесь, никогда не заходит солнце
Место, где все пути сливаются, будто реки
В самой глубине леса,
где горизонты и шумящие дерева
прорастают навстречу друг другу

Что я знаю о времени
До того, как свет умрет в последнем подлеске
До того, как утонувшие звезды всплывут вновь

Парк I

(Вот и весна наконец)
Смех и крики бегущих мимо детей
кроны деревьев взметнулись зеленью водопада
вверху спешат облака

© H. Aschehoug E. Co (W. Nygaard), 1976, 1982, 1988, 1998, 2002, 2004

старик замирает,
будто от толчка в спину

Здесь когда-то был сад
когда-то, давным давно

Парк II

Снова осень
Кружение листвы, сквозь него — топоток детворы
Старик занят делом:
методично сгребает листву в аккуратные кучки

Голоса детворы на ветру, палые листья
Ветер взметает их вверх
красные листья как языки костра
Старик замирает, опершись на грабли

Осень — разброд, неустройство, вокруг носятся листья
Опадает листва надвигается небо
голоса детворы замирают вдали

Из сборника "Наедине с небом" (1962)

Тристан и Изольда

Сбросив "я", обнажились — и стали друг другу навеки
Будто любовный напиток превратил этот мир
в них самих, их желания стали аккордами прикосновений
вслепую
к телу мира, но все, к чему прикасались они
ими же и становилось. Кожа к коже, мука
жажды друг друга...

И они не радовались
своей любви:
любовь и была радостью им
И они не могли помыслить
об этой любви
ибо эта любовь была мыслью о ней
И они смотрели друг другу в глаза но не сказали
Смотри, вот же наша любовь
ибо эта любовь была взглядом

Так их встреча обернулась
вечно длящейся встречей; разлука —
встречей вновь, чтобы кончиться в смерти
И они не могли бояться любви
ибо их любовь была страхом
И они не могли убежать от любви
ибо их любовь была бегством

Тристан и Изольда, ставшие
небом-землею: они никогда
не взглянули в себя, они так и остались
тянуть руки друг к другу
Чтобы кончики пальцев
коснулись ладоней звезды
чтобы чувствовать кожей,
под кожей — касанье Луны. Сродни
порожденьям пространств
по ту сторону взгляда, они заблудились
друг в друге, тела их лежали
себя обретая лишь
во взгляде другого, в него завернувшись. Рассвет
нёс им смерть: избавленья улыбка,
улыбка, повисшая между

Тристан и Изольда, ослепленные солнцем любви,
они позволяют смерти вечно стоять подле наших жизней на страже
И прислушавшись, мы различим в этом гуле мгновений,
играющих с нами,
пробивается чистая нота Тогда, не оглядываясь, мы до конца проживаем
свою музыкальную тему... Когда-нибудь мы превратимся
в музыку "Тристан и Изольда", фугу двух жизней,
потерявших себя ради вечного чуда

Из сборника "Гобелен Европа" (1965)

Гобелен Европа

Эта Европа, вбирающая лунный свет, Европа
разрушенных статуй изъеденных ветром колонн и арок —
твой пейзаж залитый ночным светом, похож на пыльную паутину, —
паутину, что соткал лунный паук, — твои земли напитаны кровью
и ложатся под ноги, мерцая, будто старые гобелены...
Но сто́ит

войне шевельнуться и древние краски полыхнут вам в лицо
пожаром и кровью —
Европа, из моря и времени вставшее черное солнце, Европа,
гнойник
что прорвался, и вот уже море и небо исходят кровью

это зеркало где застыли бегущие рядом рожденье и смерть,
это
лицо параноика смотрит на вас из-под лака времен
классицизма, это
древний ковер, на котором растут королевские розы, но их
лепестки
отливают мерцающей тьмой: лепестки из чешуек дракона, это
солнце — мучение жертвы
и смертный исход, это призыв в будущее, и это же —
прошлого ад
неизбывный, это — к бездне призыв, заклинанье зеркал,
где клокочет чума, где нас тошнит мороком сна, это — болото
где лилии
пьют чью-то юность, ее бледный свет скорби, ее ядовитый
осадок

Гобелен, я живу твоей ослепительной тьмой, твоим темным
светом
обласкан твоим черным солнцем в твоей ночи белее дня...
твои крылья —
под сенью их — смерть, чем больше пытаюсь я освободиться
от тебя, тем глубже я вязну, повязанный отвращеньем
чем больше тебя обвиняю, тем больше повинен в тебе
твои воины твои могилы стук этих сердец под землею
Кто способен воздвигнуть плотину для страха, что бьется в
крови
и кричит: Инквизиция! Новый крестовый поход! — Наука?!
С ее суеверьем?..

— Я пью преисподние воды из бездн твоей веры
я пью твои скорби, в ловушке времен, бью короткими
тяжкими
взмахами крыльев о грудь, горе неистребимо, но пролитая
кровь
в темноте начинает внезапно светиться, проступая сияньем
собора
по-над зеркалом катакомб, Европа, живая
как будто ты смотришься в смерть чтобы жить, вопреки
этой смерти, вопреки всем руинам, из которых встает
твое будущее, гобелен Европа, сотканный ночью из нитей
цветных,
гобелен, на котором прошлое —
в силе и пламени

Из сборника "Руны ветра" (1967)

Айсберг

Айсберг
Витражное стекло океана
Солнечный свет, пролитый в катакомбы моря:
наши видения стали
раскатом грома под северным небом, — неслышным,
беззвучным,
голубоватым холодным светом,
похожим на религию или культуру,
от которых остались структуры и ритуалы,
а смыслы и мифы — забыты

Айсберг
Пена и косяки рыб, мерцанье комет
в планетарии моря
где двери и окна —
распахнуты настежь и вверх, — в те пространства,
где в зазоре меж звезд и луной цвета крови
отливает зеленым глубоководная рыба
— отражение отраженья
у которого есть лишь оно,
спрессованное давленьем глубин

Айсберг
Парусник намертво вмерз
в эту глыбу искристого света: плывущий в плывущем
Облик и суть смерзлись насмерть, плывут
возвращаясь к истокам своим
затерянные в пустом черепе мирозданья
где земля, как слеза, что стекает с мигнувшего глаза,
наблюдавшего звезды,
в их радужном пламени, — паруса вяло плещут
оледенелыми крыльями. Слышишь? Впереди по курсу
отмель в Северном море; под килем —
Атлантика — зеркало-пламя,
где блуждаем мы в поисках сути

Из сборника "Изначальные пространства" (1976)

***

Я держу в ладонях
твое лицо как ты удерживаешь
сердце мое своею нежностью
как все вещи в мире держат что-то

еще и обретают в чем-то
поддержку Как море поднимает камень
со дна и к берегу выносит как деревья
держат плоды к приходу осени как
шар земной удержан тяготеньем в мирозданье
Так что-то держит нас обоих и наверх
нас поднимает где загадка загадку держит на ладони

Из сборника "Тринадцатое созвездие" (1977)

Тринадцатое созвездие

Язык – тринадцатый знак Зодиака:
слова и их смыслы
год за годом плывут
по эклиптике тысячелетий

Язык – тринадцатый знак Зодиака
каждое стихотворение – это вспышка сверхновой, –
то солнце,
что меняет всю звездную карту

Из книги "Затерянные в мире. Поющие" (1988)

Двое

Только твое дыханье отделяет меня от бездны – тьмы ночной
Я – ветер, я – охотник, что гонит кровь твою по жилам будто
зверя
И голоса садятся, стоит нам назвать по имени друг друга...
Утлые слова, что переправят нас на берег утра...
Чем суждено им стать в том темном зазеркалье,
где вожделенье – палая звезда, игрушка смерти?

Из сборника "Машинерия ночи" (1998)

Картинка

Лета нет и не будет
Есть лишь волна весны
идущая по летним пейзажам
и тянущая за собою осень

Лето так коротко: коротко, как жизнь
Единственное, что от лета уцелеет
застывшее короткое мгновение во времени
Почти как память: отраженье
деревьев в озере лесном

Свидания

Есть люди чьи орбиты
столь сродни твоим
что с ними невозможна встреча

Всякий раз я шел почти след в след
Она была здесь, — говорили мне, —
Уехала... вчера... совсем недавно...

И всякий раз, когда ты приезжала,
ты слышала, что я здесь был,
искал тебя

Мы не встречаясь знали
друг о друге как и о том
что это все — всерьез

Что нам пытались этим объяснить?
Что видеться не значит — обладать,
тем более — любить?

Не знаю. Сколько лет прошло. Не вместе.
Опаздываешь, чтоб в конце концов услышать:
Другой здесь был. Ушел — и не вернется.

Пламя *столетий* (Икона)

Иконы. Собственно — портреты святых. Портреты,
что служили зеркалами тем, кто смирéн и благочестив,
чтоб видеть самое себя
и помнить свое место в мире
и путь свой — путь утрат и испытаний

Созерцание иконы
подобно взгляду в пропасть времени
Столетья тлеют в глубине иконных досок —
лики, год за годом,
пламенеют, постепенно превращаясь в угли

И сами доски, как от жара,
поводит горбылем — черны, как головешки
и только взгляд святых на них живет

расплавлен этим жаром
и переплавлен в плоть живую средь золы

Мы видим, глядя на икону,
пламя, мы видим, глядя вглубь себя,
ответ: лишь пожранное временем
спасется от времени и вспрянет из могилы
Наша тоска. Потеря, что нас жжет

Из сборника "Последний из тех, кто несет огонь" (2002)

Небо

Бесконечное небо на полотнах Констебля
Столь распахнутое, столь необъятное, что
его трудно увидеть. Мы знаем — он доверчиво шел
за своим восприятием мира, взяв в наставники чувства,
он писал свет. Но знаем ли мы, что этот свет облечен звуком?
Он вслушивался и писал бесконечные плоскости звука

Он рисует две церкви на горизонте — и видишь
что они улеглись золотистым звучаньем колоколов по-над
лугом
Он рисует ветер, сильный ветер, гудящий в кронах
журчанье воды, обод колеса, что поет
над камнями дороги... Он рисует все это
как будто бы каждая вещь бытие получает от звука

Он рисует лачугу, речушку, бегущий ручей. Рисует
их ауру звуков, звучание солнца,
когда свет повис в воздухе звоном кузнечика
Он рисует и звезды, которых днем не увидеть,
но которые с нами, над нами — всегда, — эту ноту
звенящую столь высоко, что мы сами и камни видны
на просвет.

Цена

Народ на продажу... Тут, главное, не торопиться. Право
на свободу передвижения, право досуга. Власть
над телом, везде и всегда, покупается, нужно знать цену.
И потом, — им остается то, что нельзя ни отнять, ни купить:
— Как насчет чувства такта, присущего им от рожденья?

За последнее время мы многому научились. Нам удалось наложить на свободу других свою руку, права же их стали чем-то вроде серебряных ложек в нашем семействе. Права мы вчера потеряли, теперь мы торгуем свободой – благо, тому и другому цена – много больше, чем нам.

Из сборника "Империя: закрытие сезона" (2004)

На Балканах

Где еще тени так беспокойны,
как на полях сражений?
Скорбь выживших
Отчаянье матерей
Боль любовников

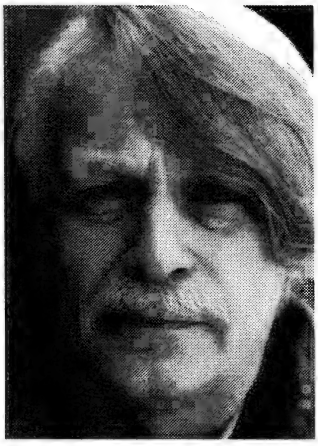
Кто опознает скорбь мертвых?
Ярость – удел тени,
тени, что не находит себе лика
среди павших, Пустота –
удел тех, кто утратил даже тень

Павшие и живые, прижавшиеся
друг к другу: трупы, проблеск
узнавания, вожделенье, утрата
Война – это образ войны, война –
это вечно: война между тенью и тенью.

Лошади

Они не знают, что они – лошади
    Они восходят на холм, на вершину холма
И стоят – силуэты на фоне неба,
    Медленно впитывая его сияние
А потом несутся, несутся как ветер, как пламя
по высокой траве, несутся
в замедленной съемке сквозь кинозал ночи
Они не видят снов. Они сами становятся снами,
снами земли: в них лошади
стелются в скачке, будто огонь по траве.

Поль-Хельге Хауген



Из книги "Новые тексты" (1969)

После

потемнеет от тоски в глазах, когда увидишь
много лет спустя
в том доме среди сосен
и равнин под снегом, понимая
что все дни все улицы все мостовые
сгинули как тает снег в ладонях
тает, тает, — остается только
отблеск вывески какой-то, да автобус
желтый и залитый светом парк, ботинок
что в траве потерян, — солнце уж садится
и идя по лестнице не видишь
в зеркале лицо свое
а может ветер стихнет, и укроет снег
вокруг все белой тишью

Из книги "К предельной ясности света" (1978)

(самый обычный, ясный день)

— ничего почти, разве что это:
как ребенок, нагишом, песок да солнце,
волосы по ветру — будто крылья
"а сейчас, сейчас я..."
шум прибоя

© Paal-Helge Haugen, 1978, 1988

Старая церковь в лесу

мы привыкли играть на заброшенном старом погосте у церкви
предки не возражали: лет двести прошло как они
улеглись в эту землю

вереск да козья ива разрослись и укрыли надгробья
мертвецы в упаковке из досок прошитых гвоздями тихо спали
внизу
могилы становились всего лишь сгущением воздуха: темным
на светлом

иногда мы гоняли здесь мяч, вбив в землю по паре слег
вместо ворот — нехитрое вроде бы дело,
но мы были мальцами и нам это было непросто

нас было немного, играли без правил,
так проще: на ватагу — ватага,
и мяч, ударяясь о землю, катился к воротам: бум-бум-бум

и уже наигравшись: на стену прыжок, подтянуться
и спрыгнуть в просвет — потом мы разбредались.

Путь *открыт*

этот некто спрятался
хочет править временем
подмять своей властью календарь, историю
засел и вот
архивы строятся шеренгами в атаку

будто весна повернула вспять
снег опять валит
ветер замер
как стреноженный

иррациональность наползает будто
тени по углам квартиры
в поле островки сугробов
сантиметров десять высотой: больше, больше

этот некто есть
центр, откуда наступает холод

(в новом городе-спутнике)

всего-то надо было — лишь знак
потому-то и по сей день верю

есть еще жизнь и надежда:
всплеск тепла
у приоткрытой двери
когда входят в дом
или выходят

(в городе с полумиллионным населением)

встречаем друг друга на улицах
из года в год, — годы плывут над асфальтом
сколько их уже: два? или десять? шелестом вторящих ветру
проплывая в пыли или по-над талым весенним снегом

мы проходим — не мимо
а сквозь, сквозь друг друга
сквозь немоту
этой кристально ясной холодной воды

Из книги "Каменная изгородь" (1979)

В *один из таких дней*

поутру просыпаясь в ином времени года

выходя
в обступившее со всех сторон осеннее утро
прозрачно-хрупкое

где холодный и скудный
свет облегает
тела

предметы
застыли
уже не пытаясь
скрываться

листья опали
и ветер
в ветвях колобродит

осыпая нас музыкой
шорохом голых ветвей
покуда стоим под осиной

Юн Фоссе

Из книги "Пес нарезает круги" (1990)

Стихотворение II

I

а бывает сердце как луна
в ночи
и дождик барабанит
слово за слово
и в горле
горы
кряжем
к горизонту протянулись
вдоль-под небом

II

не могу уснуть
усталость
сорняками
оплетает тело

© Jon Fosse, 1990, 1992

Из книги "Пес и ангел" (1992)

***

облака белы́
псина — лает, лает
белые тропинки
псина — цветом рыжа
с белизной на лбу
псина себе лает
небеса синеют
облака плывут белые по небу
есть и посерее, — черные почти
а тропинки бе́лы

***

Буду вслушиваться не слетит ли ангел от друзей умерших
тихо как снег плавно как снег
Буду смотреть как снег тает становясь водою
Буду смотреть как исчезает
как опять идет, будто орлица кружит в небе
Буду следить круженье птицы
все следить покуда не исчезнет
вслушиваться буду в ту музы́ку
медленных движений, что как танец
в темноту уводит плавно-плавно

***

медленно, это
как старая боль
как звук аккордеона, свет этот
который даже не свет
просто ему нет конца
нет конца
и где-то там — там будет все
даже если и не было: будет бабушка, и собака
и тот странный такой золотистый
свет прямо в окно

Перевод Антона Нестерова

Туне Хёднебё

И КОГДА УЖЕ НЕ РАЗЛИЧАЕМ
между явью и тем, что незримо, —
выкололи нам глаза, — заходим
в дом Семелы.
Ибо то, что лучше нам не видеть,
проступает, явлено в поступках,
так что тени стелются за нами,
а сквозь окна прорастают ветви
дерева — и отрывают дом от почвы.

А НА ТО, ЧТО КАЖДОМУ ИЗВЕСТНО, —
на него наложено проклятье,
и слова — те не хотят ложиться
как я жду от них:
слова растут, как грозди,
вырастают больше твоей жизни
а виной всему: я верю в замысел,
как я верю в тайну, что сокрыта,
и в желание, что распрямляет тело
но на самом деле я устала,
ибо нет совести у тела
или эта совесть вечно дремлет

ВСЕ ТЫ ПОМНИШЬ, лишь в одном ошибся:
судьба, а не случайность —
вот что связывает нас с миром,
обещая в будущем расплату.
Ты говоришь, я золотая
как молодая пшеница,
белая, как белый дождь.
Но я изменчива, как свет,
Я ослепшая, как тьма.

© Kolon, 2002

Хор

Лучше пусть душа твоя иссохнет,
ведь вокруг — бушующее море,
демоны дышат в затылок,
выпивают силы по капле.
Мы придумали названия
всему, что можно упомнить —
скорости света, силе притяжения,
расстоянию до звезд,
но в этой книге
с новой строчки начинаешь все по новой;
школьный глобус: страны, океаны
тысячи и тысячи замкнутых
миров, где правит догма.

Я — ТА, кто смолола зерно
я — та, кто испекла хлеб
а ты — мальчик, ты съел его
Колодец полон воды,
легкие полны воздуха,
а я полна удивления,
и проживи я еще одну жизнь,
все равно начала бы все сначала
будто ничего и не случилось;
но птицы могут разболтать:
во сне у них один глаз закрыт,
а другой видит.
я — та, кто смолола зерно
я — та, кто испекла хлеб
а ты — мальчик, ты съел его

ТЫ ИЗ ТЕХ, КТО СЕРДЦЕ
на весы кладет
а на другую чашу — перышко,
живешь и умираешь
для себя придумав расписанье
На одной чаше — перо
на другой — сердце:
ждешь того, что не случилось
так, как это обещали в книгах:
будет, только пожелай, и будет,
в прошлом или будущем.
Но мудрость или косность
ни при чем тут:
ведь ответ ниспосылается с небес,
на часы глядеть бессмысленно — не скажут.

РАЗУМ греет, чувство леденит
А весна переходит в лето
ровно в миг когда, открыв глаза,
гадаем: дома мы, в чужой квартире, или...

Мы лежим, спина к спине
Нас не найти
Мы для них как сквозь землю провалились

ТЫ У МЕРТВЫХ РАЗУЗНАТЬ ПОПРОБУЙ, как течет река
как светит солнце
по другую сторону солнца,

как поет во снах соловей,
как на улицу манит тебя буря,
что стучит в окно: пусти, пусти же...

У живых ты узнавай,
что самый близкий
человек — который в твоих мыслях,

и что ветер — он не просто ветер:
тот, кто сеет ветер, встретит бурю,
и сквозь бурю не увидит солнца.

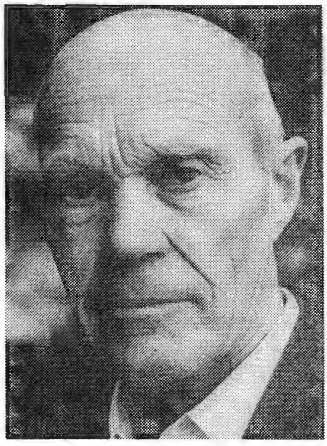
В настоящей жизни,
а не книжной, рядом — тени:
в той бурлящей крови, что животворит тебя покуда.

Перевод Анны Турунтаевой

Этой небольшой подборке норвежской короткой прозы хотелось бы предпослать несколько слов. Здесь представлены лишь тринадцать имен норвежских прозаиков, так что она, естественно, не дает ни исчерпывающего, ни даже сколько-нибудь полного представления об особенностях национального характера или менталитета — о чем мы, как и все составители подобного рода номеров "национальной литературы", конечно же, втайне мечтали. И всё же, и всё же: от нее веет норвежским духом стоического отношения к жизни и ее, понятно, тяготам, духом сдержанности, несентиментальности — и удивительным чувством достоинства, глубокого самоуважения, накладывающего и на человека, и на нацию в целом высокие и часто обременительные обязательства. Это делается еще заметнее потому, что мы выстроили антологию "Игра света" по хронологическому принципу, взяв за отправную точку год литературного дебюта. Тарьей Весос, оспаривавший в 1958 году Нобелевскую премию у Бориса Пастернака, вступил в литературу в 1923 году, а Бьярте Брейтейг — всего семь лет назад, но его новелла "Стокгольм" уже вошла в антологию "Новелла-Шедевр". (Это очень норвежский по духу проект: пятьдесят самых крупных писателей страны назвали новеллу, написанную, на их взгляд, непревзойденно, из фаворитов и составился том "Шедевров"). Весос и Борген, начинавшие еще до войны, хорошо знакомы русскому читателю по томикам "Мастеров зарубежной прозы" и книжечкам "ИЛ". Им наследуют писатели пятидесятых-шестидесятых, с характерным для той эпохи темпераментом активистов: Бьёрнебу, Аскильдсен, Вик, Флёгстад. Имена эти отчасти знакомы русскому читателю. Затем в нашей подборке идут те, кто начинал в восьмидесятые годы. И в конце — два представителя нового литературного поколения, ориентированного на live journals и всемирную паутину: Гримсрюд, заявившая о себе в 1990, и Брейтейг. Разные голоса, разные темпераменты, разная рука — и один все же язык, и одна национальная принадлежность, и гордость.

Ольга Дробот

Тарьей Весос



Недотепа

Перевод Л. Горлиной

НЕЗНАКОМЫЙ человек остановил местного дурачка по прозвищу Недотепа на проселочной дороге и спросил, не возьмется ли тот заготовить ему в лесу дров. Высокий, широкоплечий, он стоял перед Недотепой и заглядывал ему в глаза.

— Чего тебе? — растерялся Недотепа. Он решил, что ослышался. Иногда у него шумело в ушах. Но, кажется, этот человек даже назвал его по имени?

Незнакомец повторил:

— Я только спросил, Маттис, не заготовишь ли ты мне дров?

Он сказал: Маттис. Как будто так и надо. Словно Недотепа был самый обычный человек.

От радости его обдало жаром. Но он спрятал ее поглубже, чтобы незнакомец ничего не заметил. Ни один работник не задрожит от радости из-за того, что ему предложили работу, это Недотепа хорошо знал. Он просто ответит "да" или "нет", в зависимости от обстоятельств. Но ведь этот рослый незнакомец назвал его *Маттисом*. А на всех, кто называл его *Маттисом*, в ту же минуту словно загоралась звезда. К нему редко обращались по имени. Он хорошо знал, что между собой люди зовут его не иначе как Недотепа.

— Да, — ответил он, когда все эти мысли уже улеглись у него в голове.

— Возьмешься за такую работу?

— Возьмусь.

Незнакомец повторил свой вопрос три раза. К чему бы это?

© Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1952
© Л. Горлина. Перевод, 2005

— Вот и славно, — сказал незнакомец.

Вот и славно, повторило эхо в голове разволновавшегося дурачка.

— Понимаешь, у меня нет выхода, — объяснил незнакомец. Потом кашлянул и смутился.

— Где это? — спросил Недотепа, он даже не слышал того, что ему только что сказали.

— Да на Западных Склонах. Там много высоких берез.

— Верно, много, — согласился Недотепа, хотя никогда там не был.

— Я слышал, ты знаешь те места?

От оказанной ему чести душа Недотепы заликовала. Незнакомец еще не ушел. Он стоял посреди дороги и разговаривал с Недотепой, как с самым обычным работником. А ведь этот могучий человек владел и лесами и склонами. Вот бы сейчас кто-нибудь появился на дороге и увидел, как они тут разговаривают! Например, прихожане, идущие в церковь. Им бы это было невредно. Но день был будний. И на дороге не было ни души.

Незнакомец не уходил. Видно, он еще не все сказал. Недотепа был в его власти.

Он замер в ожидании.

Май был на исходе. Озеро в долине давно освободилось ото льда, оно снова дышало и жило. Вода была высокая. Небо — дымчато-голубое. Пахло свежей листвой и землей. Люди воспринимали все как чудо. Жизнь на земле была чудом.

Жизнь и страда. Люди работали в поте лица своего. Все нуждались в хлебе насущном. Изредка кое-что перепадало и Недотепе, вот же остановил его на дороге этот незнакомец и попросил заготовить ему немного дров.

Незнакомец был доволен. Он заготавливал дрова для продажи на Западных Склонах. Последний, к кому он обратился, был Недотепа, все остальные отказались, но этого он Недотепе не сказал. Правда, у Недотепы мелькнуло в голове такое предположение, кое-какой жизненный опыт у него все же имелся, но он тут же прогнал эту мысль прочь. Ведь могло же на этот раз все быть иначе.

Незнакомец вытащил из кармана ржавый ключ. Протянул его Недотепе:

— Вот ключ от избушки.

Недотепа спокойно принял ключ.

— Все будет хорошо, — тихо сказал он.

Точно это был ключ от сокровищницы. Или от какого-то необычного дома. Вместе с ключом Недотепа принимал на себя частицу власти и ответственности.

Незнакомец между тем продолжал:

— Плавать туда и обратно каждый день слишком далеко. Будет лучше, если ты поживешь там это время.

— Ладно.

— Ты ведь не побоишься ночевать в лесу один?

Недотепа покраснел, и незнакомец немного смутился. Он допустил оплошность: такой вопрос могли задать только *Недотепе*. У обычных работников не спрашивают, не страшно ли им ночевать в домишке за озером. Звезда незнакомца померкла — она была слишком хрупка и уязвима, ничего более уязвимого и быть не могло.

— Ну ладно, — быстро сказал незнакомец, чтобы замять неловкость. — Может, завтра же и начнешь, если ты свободен. Вали только самые большие березы. Они все помечены, тебе будет легко их найти. Длина кряжей обычная, как на продажу, и складывай штабелями по полсажени. Я их буду продавать.

Слова так и льются у него изо рта, подумал Недотепа. И, кажется, он даже понимал почему. Стоя с ключом в руке, он внимательно смотрел на хозяина леса.

— Ну так пока, что ли, — сказал тот.

— Будь здоров, — отозвался Недотепа.

И он снова остался на дороге один.

Недотепа шел домой. И радовался каждому встречному. Обычно он опасался таких встреч, но сегодня было иначе. А все из-за ржавого ключа, который он сжимал в кармане брюк. Ему доверили ключ от дома. Он будет там распоряжаться, отпирать и запирать дверь по своему усмотрению. От радости Недотепа смело смотрел в глаза всем встречным, и они останавливались в изумлении. О нем все будут говорить, он заработает деньги, и у него есть ключ от дома. Столько всего за один день! В памяти всплыла череда серых прошедших дней, но он отмахнулся от нее, оставляя ее в прошлом. Где ей и было место. Словно старой пыльной паутине с останками мух. Сквозь эту паутину звезд не увидишь. То, что согревало его сердце, было здесь, он это чувствовал.

Проселочная дорога проходила через болото. Большое, гнилое болото с редкими чахлыми елочками среди мха. Этим елочкам никогда не вырасти, они с трудом удерживали в себе жизнь среди темного мха и сухого валежника.

Вон идут...

Недотепа со страхом уставился на них.

К нему приближалась толпа больших мальчишек. Под мышкой у них были книги. Верно, возвращались из школы. Или после занятий с пастором, по возрасту им в самый раз было конфирмоваться.

На сегодня они уже освободились. Глаза у них весело горели. Их так и тянуло поозорничать. Недотепа это понял и хотел пуститься наутек, потому что больше всего боялся таких весельчаков. Но прошмыгнуть мимо мальчишек было уже невозможно. Тут даже ключ был бессилен.

Он заметил, как оживились их лица, — на бегу они пытались придумать, как бы поддеть Недотепу. Встреча оказалась для них неожиданной, и за такое короткое время они не могли придумать ничего стоящего...

Наверное, Недотепу спасла яркая звезда, сверкавшая ему в тот день, во всяком случае, опомнился он, лишь когда неожиданно для себя вдруг показал мальчишкам на болото и крикнул:

— Смотрите!

Мальчишки с удивлением уставились на болото. Но через мгновение компания умников с книжками уже собралась идти дальше. На болоте не было ничего интересного.

— Видите эти елки? — показал он.

Мальчишки онемели. Недотепа стоял перед ними, сжимая в кармане ключ. Маленький, щуплый, с чахлой бородкой, торчавшей как клочок темного мха. Он никогда не сбривал свою жалкую бороденку, разве что она спутается в сплошной колтун.

Изумленные мальчишки быстро зашагали дальше. А Недотепа пошел домой, дивясь самому себе, но совершенно счастливый. Он уже давно не одерживал такой победы. И теперь снова и снова переживал случившееся.

Я протянул руку и показал им на деревья. Такое им и в голову прийти не могло. Видите эти елки? — смело спросил я у них. Такое им и в голову прийти не могло.

Он сжал ключ в кармане.

А дрова, которые ему доверили заготовить! Как самому обычному работнику. Несколько саженей дров.

Сегодня мне есть что рассказать сестре, думал он, шагая по проселку к своему дому.

Недотепа жил со старшей сестрой в ветхом домишке возле небольшого лесочка. Он с важным видом вошел в дом.

— Что случилось? — быстро спросила сестра. Она сразу поняла, что он пришел с хорошей вестью.

Недотепа достал ключ.

— Вот, глянь!

— Вижу, ну и что?

— Как что, это же ключ от двери.

— Где ты его нашел? — строго спросила сестра, как у неразумного ребенка.

Недотепа добродушно засмеялся.

— Я его не нашел, мне его дали. Это ключ от лесной избушки. Я еду на Западные Склоны рубить дрова. Дрова на продажу.

Он положил ключ на стол. Сдвинув все, что там лежало. Большой ключ выглядел одиноким.

Сестра оправилась от изумления. Лицо у нее прояснилось.

— Ты подрядился рубить дрова? И надолго?

— Да, на много дней.

Сестра подобрела. Плата за много дней — это важно. Вещи, которые им так были нужны, вдруг приблизились, их можно было чуть ли не потрогать руками. Наконец-то Недотепа принесет домой настоящие деньги.

— Вон оно что. Я всегда это знала, — сказала сестра.

— Что ты знала?

— Что все зависит от тебя. Надо только постараться. А ты, я вижу, постарался.

— Ты права, — сказал Недотепа.

Это была неправда, но к чему портить сестре радость.

— Дрова на продажу, — сказал он, не обращаясь к ней.

Она не могла не слышать этих значительных слов. Хотя и не подала виду.

Такого вечера у них не было уже давно. Недотепа наточил топор и пилу. Сестра крутила точило. Когда он точил и разводил пилу, резкий пронзительный звук пробирал до самых костей. Недотепе казалось, что вечер выдался особенно светлый, точить топор и пилу можно было до самой ночи. Но они этого не сделали.

— Сегодня тебе лучше лечь пораньше, — сказала сестра. — Завтра придется встать с рассветом.

— Ты говоришь со мной как с ребенком, — ответил он. — Думаешь, я все еще ребенок?

Сестра хмыкнула. Она всегда была старшей. И ушла в свою горницу.

Перед тем как лечь, Недотепа долго стоял на крыльце и смотрел на Западные Склоны. Было светло, но там уже сгустились сумерки. Он вспоминал слова, которые так гордо произнес сегодня: дрова на продажу. Это звучало солидно. Ему редко выпадал случай произнести такие слова.

На юге сгущались тучи. Неужели завтра будет дождь?

В доме, в своей горнице, спала сестра. До сих пор она рукодельем зарабатывала на все, в чем они нуждались. Да, так было *раньше*, сказал себе Недотепа, стоя на крыльце. Раньше... Он лег на свой топчан, но еще долго не мог уснуть.

В доме было достаточно светло, и он хорошо видел лежавший на столе ключ. Недотепа не двигался, и в конце концов его сморил сон.

Утром, конечно, лил дождь. Небо низко нависло над селением. Дождь был теплый. Поверхность земли разбухла от воды и оживших побегов, с деревьев вокруг дома бежали струи воды.

Недотепа приготовился в путь, взял еду и куртку-ветровку.

— Ты сегодня вымокнешь, как ворона, — сказала сестра, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь.

Этим она вовсе не хотела сказать, что ему следует остаться дома. А ему самому такое и в голову не могло бы прийти. Он рвался поскорее приняться за работу. У него просто руки чесались, он ел меньше обычного — сегодня все было не так, как всегда.

— Ты ничего не забыл? — спросила сестра, как и полагается заботливой сестре. Она не привыкла собирать брата на работу.

— Я взял все, что ты мне дала, — ответил он.

Этими словами он хотел поблагодарить ее за кусок свинины, который она положила ему с собой. Единственный и последний кусок мяса у них в доме.

— У тебя еды на четыре дня, — сказала она и словно подвела черту. — Когда кончится, приедешь домой за новой порцией.

— Хорошо, — послушно сказал он и подергал себя за бородку. — Счастливо оставаться. Четыре дня — долгий срок, но...

— Тот, кто работает в лесу, иногда отсутствует и по восемь дней, — заметила сестра.

Недотепа молча склонил голову. Взяв часть вещей, он отнес их к лодке, на которой ему предстояло плыть. Вещей было много — еда, инструменты, постельные принадлежности. Ему пришлось сходить два раза. Все это время сестра стояла на галерее дома и смотрела на него, словно боялась, что в последнюю минуту он передумает и никуда не поедет. Но он, хоть и волновался, с невозмутимым видом ходил под дождем. Зря она беспокоится.

Она крикнула, когда он уходил:

— Смотри не поранься!

— Не бойся за меня! — ответил он и зашагал между мокрыми кочками.

Недотепа столкнул лодку в воду и взялся за весла. Он часто плавал по озеру и даже ловил рыбу, но уловы у него всегда были никудышные. Не то что у других. Зато на этот раз сестра пьет дома кофе, а он храбро

плывет под дождем, чтобы заработать на пропитание им обоим. Вот о чем он думал, и ему было приятно.

Так бывает, когда все правильно, размышлял он, отныне и у нас так будет. Если получится, прибавил он в глубине души.

Он греб долго и без передышки. Грести он умел. Вода вскипала под каплями дождя. Они были большие и теплые. Поверхность воды затянуло дымкой, она казалась серой и мягкой. Тут и там плавали желтые бревна, сбиваясь к устью реки. На светло-серой глади воды оставались темные дорожки — они на глазах меняли форму, потому что были живые.

Недотепа радостно смотрел на эти дорожки. И старался понять, для чего они нужны и куда ведут.

Дождь барабанил по его выцветшей куртке. Глаза у него были серые и словно подернутые пленкой, как и вода вокруг. Он ощущал, как весь наполняется смутными ощущениями, которые вот-вот воплотятся в четкие мысли. Он промок, разогрелся и чувствовал себя чистым и свежим. А эти таинственные дорожки в воде! Я иду по таинственным дорожкам, думал он. Потом вспомнил, что его все считают придурком, и притих. Только ритмично опускал весла в мягкое озеро.

Он плыл уже долго и давно промок насквозь. Потертая куртка не могла уберечь его от дождя. Но в первую очередь у него промокли колени — так всегда бывает, когда гребешь.

Недотепе хотелось кого-нибудь встретить. Рыбака, проверявшего сети, или какого-нибудь сплавщика, хотелось, чтобы хоть один человек увидел, что он направляется в лес, как настоящий мужчина. Но на озере никого не было. Бревна плавали сами по себе, сплавщики еще не начали собирать их.

Странно, думал Недотепа, когда хочешь кого-нибудь встретить, никого нет. А когда не хочешь, непременно кого-нибудь встретишь. Лучше, чтобы было наоборот.

Бах! — грохнуло что-то, и Недотепа подпрыгнул на скамье. Лодка налетела на бревно. Он смущенно огляделся. Еще немного, и не миновать беды. Может, это потому, что я думал о запретных вещах?

В лодке меня от смерти отделяют только гнилые доски, вдруг осознал он. Нынешним летом я непременно научусь плавать.

Западные Склоны наконец приблизились, они были высокие. Окутанные туманом, они казались еще выше, очертания их были размыты. Недотепа почувствовал себя маленьким: на склоне я буду не больше точки...

В нем что-то всколыхнулось, едва не заставив его повернуть назад.

Что тебе там делать? Возвращайся домой.

— Нет! — громким голосом сказал он. — Как-никак я мужчина.

Ты никогда не вернешься оттуда.

— Доберусь туда и вернусь обратно, — упрямо сказал он, будто кто-то сидел в лодке у него за спиной и мог его слышать.

Недотепа налег на весла. Он уже видел избенку, которой предстояло стать его домом. Она притулилась к холмику рядом с берегом. Дом, от которого ему доверен ключ. Это была низкая, серая избенка лесоруба, такая же, как и все остальные на этих пустынных склонах.

Недотепа направил лодку к берегу. Дождь барабанил по воде и по его шапке. Он привязал лодку и вынес вещи на берег. Постель сестра завернула в распоротый мешок из-под искусственного удобрения, так что она не намокла. Недотепа перетащил все к запертому дому.

Лицо его сияло. Он порылся в кармане и вытащил ключ. Счастливая улыбка играла у него на губах, это случалось так редко. Он произнес про себя то, чего ни один живой человек, кроме него, не знал.

Ржавый замок громко скрипнул. И Недотепа оказался в доме. Внутри было грязно. Здесь уже давно царили мыши. Тот, кто жил в доме последним, не потрудился убрать за собой остатки пищи, и мыши всласть попировали. Ими в доме не единожды было перепробовано все, что могло сгодиться в пищу. Взглянув на это, Недотепа подумал: поворачивайся и уходи, поворачивайся и уходи.

— Вы еще хуже свиней, — сказал он, обращаясь к мышиным норам. Потом смахнул со стола мышиный помет, освободив место, чтобы поставить свои вещи.

— Так убираются мужчины, — сказал он себе. — Женщины убираются иначе.

Женщины... подумал он вдруг, но тут же прогнал прочь эту мысль.

После долгой зимней дремы помещение словно молило о живом огне и дыме. Об этом Недотепе поведал черный холодный очаг. Но Недотепа сказал, что сейчас ему некогда. Его так и подмывало поскорее начать работу. Не съем ни кусочка, пока не начну рубить деревья...

Он достал наточенный топор и взвесил его на руке. Топор был тяжелый. С топором в руках или с каким другим орудием человек чувствует себя живым.

Недотепа шагал по густому, шелестящему и благоуханному березовому лесу. Моросил дождь. Кроны деревьев были огромны. Из крон доносился тихий шорох. В том году листва распустилась рано и была уже большая.

Недотепе пришлось остановиться и постоять. От сильного волнения ему было почти больно. Имени этому чувству он не знал. Просто сердечная мышца ныла от непревзойденного совершенства природы.

Ты только взгляни окрест.

И я тоже здесь, сказал он себе, как будто между этими двумя мыслями была какая-то связь. Была. Пусть они зовут меня Недотепой. А вот я здесь.

Он вдыхал пряный запах влажной листвы. Мокрый насквозь, он этого не чувствовал. Как только его одежда намокла, от нее пошел кисловатый затхлый запах, но Недотепа замечал только пряный аромат, плывущий ему навстречу.

Наконец он строго сказал себе:

— Если ты весь день будешь тут стоять, то не заготовишь ни одного полена.

И приступил к работе.

Хозяин леса действительно побывал здесь и пометил деревья. На коре самых больших деревьев были видны коричневые царапины. Недотепа, словно слепой, подошел вплотную к березе, чтобы посмотреть на знак, но слепым он в эту минуту не был. Он был внимателен и насторожен. Став на колени, он приладил на место острое полотно пилы.

А дождь все лил.

И шумела вода.

Пила вонзилась в древесину, полную соков. Между корой и сердцевиной скрывался сладкий сок. От него на пиле остался синеватый след. Пила вонзилась в плоть березы.

Дерево упало, мягко прошуршав широкой кроной. При этом звуке Недотепа поднял глаза. И вспомнил слова, которые где-то слышал: Дыхание Господне. Они прошелестели в воздухе, когда береза рухнула на землю. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Недотепа достал топор и пополз по белой упавшей березе. Маленький, с редкой бороденкой, впалыми щеками и прилипшими ко лбу волосами. Дрова на продажу, думал он. И тут же сразу — Дыхание Господне... Потом он снова вспомнил о своей убогости, и мысли его спутались.

Он переходил от дерева к дереву, валил их, обрубал ветки и складывал стволы штабелями там, где собирался распилить их на кряжи нужной для продажи длины.

Нужной для продажи длины, думал он, это мне тоже следовало сказать сестре.

Вот только жаль рубить такие деревья, подумал он. Как, интересно, устроен человек, который владеет березовым лесом? Он метит самые красивые деревья. Зря я на это согласился.

Но ведь иначе не заработаешь. Вот и пойми, что лучше.

Словно для того, чтобы успокоить совесть, Недотепа начал перечислять в уме все, что ему нужно купить в первую очередь. Оказалось, гораздо больше, чем он думал. Это была опасная затея. И еще мне нужна жена и дети! — подумал он, словно подводя черту своим желаниям.

Как ни крути, а мне пора самому начать зарабатывать деньги.

Дождь продолжался. Недотепа рубил, таскал, трудился как проклятый. Несколько берез стояли на краю болота. Его внимание привлекли чахлые, малорослые ели, росшие и на этом болоте, они ему не мешали, просто стояли там, сухие, темные, маленькие.

Он вздрогнул.

Странная, безымянная мысль пронеслась у него в голове. Промокшая спина вдруг замерзла, и он принялся с остервенением рубить и пилить. Однако сил у него осталось уже немного. Он оказался куда слабее, чем думал. Его тщедушное, отяжелевшее тело было не готово к такому труду.

И тут же Недотепе открылась горькая правда: добром это не кончится. Сегодня он нарубит совсем мало дров. Гораздо меньше, чем обычный сильный мужик.

В нем всколыхнулось что-то темное. Темное и бессмысленное, словно ель, вывернутая с корнем в сумерках. У него вырвался рык. Горловой, ни на что не похожий звук.

Ничего из его затеи не выйдет.

Он вернется домой с пустыми руками. И ему не с чем будет прийти к какой-нибудь женщине. Решительно не с чем.

С этими мыслями Недотепа, словно в забытьи, подошел по мху к чахлым елям, взмахнул топором и срубил одно из тонких старых деревьев. Он понимал, что совершил что-то подлое, но дело было сделано. Всего три-четыре удара. Ствол был не толще худой костлявой руки. Недотепа стоял и смотрел на годовые кольца. На пне оказалось столько годовых колец, что ему стало страшно, они, как тонкие нити, были прижаты друг к другу, теперь по ним уже никогда не поднимется весенний сок. Сок, необходимый для жизни, для того, чтобы дерево могло расти.

Недотепа с испугом смотрел на дело своих рук. Он быстро огляделся, нет ли кого поблизости. И потащил чахлое деревце в лес.

Замерзнув, он пошел прямо в избушку. Нужно было развести огонь.

Во всяком случае, следовало что-то предпринять. Случай с деревцем выбил его из колеи, он больше не мог срубить ни одной ветки.

Нет, скоро ты это бросишь, послышался ему голос сестры.

Опять она за свое? Она столько раз повторяла ему эти слова, что он отчетливо слышал их, хотя его отделяло от сестры целое озеро.

Недотепа поддал ногой полено.

У стены было сложено немного сухих дров, и огонь быстро разгорелся. Дождь проникал через трубу и брызгал на пламя.

На столе лежал мешок с едой, но Недотепа сидел и смотрел на огонь. Хмуро подложил в очаг еще дров. Это помогло. Он был подавлен, однако тепло помогло и вернуло ему силы.

Пылающий огонь утешил его. Блики от пламени плясали по стенам. Недотепа наконец-то согрелся. От его мокрой одежды шел пар.

Хочешь не хочешь, а есть охота, сказал он себе и развязал свой мешок.

Теперь он почувствовал себя сильнее. Тепло проникло в тело, еда ублажила желудок. Ничего, как-нибудь я справлюсь с этой работой, сказал он.

Человеку бывает то лучше, то хуже, и от этого он может наделать глупостей, сказал кто-то на том берегу озера.

Я тебе покажу, подумал Недотепа и снова пошел работать. Он тщательно запер дверь. Чтобы, вернувшись, еще раз открыть ее ключом. В избушке у него за спиной трещал огонь. Он положил в очаг можжевеловый комель.

Смелее! — сказал он себе.

Смелее за дело!

На пороге его разгоряченное от огня лицо окутала паутина дождя. Дождь изменился, стал гуще и мельче. На кустах и стеблях травы висела паутина. Склоны были затянуты сизым туманцем. Приползла улитка и забралась на топорище. Чудные эти улитки. Они почти не двигаются, но стоит во время дождя положить на землю кусок дерева, глазом не успеешь моргнуть, как на нем уже будет сидеть улитка.

Недотепа осторожно снял улитку с топорища и положил ее среди щепок. Проследил, чтобы с ней ничего не случилось. Теперь оставалось только снова приняться за работу.

Топор потемнел от дождя. Стояла тишина, не слышалось ни звука. Это был сонный дождь.

И Недотепа сразу почувствовал себя счастливым.

Он трудился над высокой белой березой, на которой почти не было веток и древесина которой была отменная. Неожиданно у него прибавилось сил. Его штабель стал расти немного быстрее. Несмотря на мокрую одежду, он, разогревшись, двигался более ловко.

Но дело было не в этом. Нет, он необъяснимо остро ощущал все, что его окружало. Пряно благоухали блестящие зеленые кроны и новая трава. Ветреница под деревьями уже потеряла юную свежесть. От березовых дров шел слабый запах, и Недотепа был как бы его частью. Своей свежестью этот запах напоминал запах весенней влаги. На поленья приползла улитка и оглядывалась вокруг добрыми выпуклыми глазами. На вершине ели закричал дрозд. Все вместе это и было счастьем, Недотепа упивался им, понимал его и был причастен ему.

В этаком счастливом состоянии духа он повалил большую березу. Когда дерево дрогнуло перед тем как упасть, ему в спину, словно заряд дроби, забарабанил дождь. Наконец оно рухнуло, и листва еще долго шуршала в дожде. Она будет так же шуршать, когда ко мне придет смерть, подумал он вдруг. Это шуршит мое сердце.

Недотепа оглянулся: не слышал ли кто его последней мысли. Ведь он думал вслух. Он начинал дрожать от радости, когда ему в голову приходили такие мысли. И хотелось, чтобы их услышали умные люди. Он повторил еще раз: это шуршит мое сердце.

Когда идет дождь, прибавил он.

Когда улитки ползут на поленья, снова прибавил он.

Так всегда — одно тянется за другим. Он до того разволновался, что больше не мог работать, мог только сидеть и бормотать про себя эти слова.

Слышали бы они его сейчас... эти... Ему казалось, что еще чуть-чуть, и он поймет все на свете.

Пределы исчезли.

Здесь светились белые стволы берез. Вот он, березовый лес, думал Недотепа. Здесь мне хотелось бы жить, здесь хорошее место для дома.

Он вздрогнул: вот он сидит и не сводит глаз с чахлых елок. Как он попал сюда? Посмотрев на елки, он принялся рубить их что было силы.

Но сил у него было немного. И рубить ему было трудно. Счастливый час миновал. Новые слова улетучились из головы.

Тень от чахлых елок упала на его священный березовый лес. Возбуждение сменилось слабостью и пустотой, и эту пустоту заполнил страх. Недотепа был не в силах оторвать глаза от чахлых елей, а когда захотел снова приняться за работу, едва смог поднять топор. И тогда он твердо решил, что, стоит ему трижды сказать, что он больше не может работать, наступит вечер, и он тут же трижды произнес эти слова. Вот и славно, подумал он, вот уж и вечер наступил. Он взял палку и воткнул ее в землю:

— Один день прошел. Стой здесь, чтобы я не сбился со счета.

Он отложил топор и пилу и хотел открыть дверь. Но все вышло по-другому, не так, как ему хотелось. Только он собрался идти, как услыхал плеск весел на озере. И тут же из-за мыса показалась лодка.

Странно! Кто же это мог приплыть сюда в такое время? Недотепа стоял и ждал. Он не сомневался, что кто-то явился по его душу. Мокрая одежда холодила спину больше, чем раньше. Ничего хорошего эта лодка ему не сулила, в этом он был уверен.

Когда лодка подошла достаточно близко, он с неприятным чувством узнал в приплывшем человеке хозяина леса. Понять это можно было только так: хозяин не поверил, что работа в лесу идет как надо, и не поленился проделать этот долгий путь, чтобы проверить, все ли в порядке. Другого объяснения этому быть не могло.

Это-то и было самое обидное.

Но люди часто обижают ближнего не моргнув глазом. Удивляться не приходилось, Недотепа давно привык к этому.

Хозяин привязал лодку и поднялся на берег. Он был ужасно огромным в своем длинном, до пят черном блестящем плаще. Необоримая сила. Ум и сила. От его глаз не могла укрыться ни одна малость, ни одна оп-

лошность. Здесь все березы принадлежали ему, помеченные им деревья были обречены.

Вот он пометит меня, и я тоже упаду, подумал Недотепа. Сила этого человека притягивала к себе как магнит, и Недотепа сделал несколько шагов навстречу хозяину.

Высокий и блестящий не стал тянуть и сразу пожелал Недотепе доброго вечера.

– Добрый вечер, – откликнулся Недотепа.

– Вишь, какой дождь сегодня.

– Да, но ты-то приехал не для того, чтобы сказать мне об этом, – нечаянно вырвалось у Недотепы.

Хозяин не рассердился и не обиделся. Он спокойно продолжал:

– Как идет работа?

– Неплохо, – ответил Недотепа.

Хозяин медленно обвел взглядом нарубленные дрова. Его умные глаза сразу оценили работу. Недотепе он должен был платить с сажени, с этим все было в порядке, но хозяин хотел, чтобы работа была выполнена в определенный срок. Разве он не сказал, что время не терпит или что-то в этом роде?

Они стояли перед жалким штабелем дров – результатом работы целого дня. Недотепа знал, что здоровяки вроде хозяина, возьмись они за дело, нарубили бы в три раза больше.

Хозяин смотрел на штабель.

– Н-да, – буркнул он.

И больше ни слова. И даже не нахмурился.

Но Недотепа рассердился, услышав это "Н-да". Он почувствовал, как внутри пронесся гнев – возник в голове и ушел в землю. Недотепа открыл рот, чтобы сказать что-нибудь обидное, но ничего не придумал и только что-то пробубнил. Да и что он мог бы сказать этому человеку? Ничего плохого этот человек ему не сделал, напротив, нанял рубить дрова. Недотепа сжался, как выкрученная тряпка.

– Н-да, – повторил хозяин, глядя на смешной результат Недотепиных усилий.

– Чем ты недоволен? – спросил наконец Недотепа и гневно завращал глазами. Сейчас у меня страшный вид, подумал он.

Хозяин не испугался.

– Я только хотел взглянуть, как идут дела, – сказал он так же спокойно, как раньше.

– Это ясно!

– Не стоит в первый день принимать все так близко к сердцу.

Что это, презрение или что-то еще? Хозяин продолжал:

– Но если тебе трудно, лучше сразу оставь это дело.

Недотепа не спускал с него глаз.

– Нет, не оставлю!

– Ну что ж, тогда продолжай.

– Но уже вечер, – заметил Недотепа.

Они заспорили. Хозяин не собирался разводить долгие разговоры, и Недотепа прекрасно понимал это, однако он уперся и не хотел уступать. Ему хотелось рассердить хозяина. Он искал следов гнева на лице стоявшего перед ним человека. Но их не было. Недотепа окончательно вышел из себя.

Хозяин повернулся, чтобы идти.

— Н-да, — сказал он, — не нравится мне это...

Он хотел сказать что-то разумное, но тоже не нашел нужных слов.

Недотепа мгновенно почувствовал его неуверенность. И его гнев сразу утих.

— Поеду-ка я с тобой домой, — вдруг сказал он. Первое, что пришло ему в голову.

— Поедешь со мной домой?

— Да, я думаю... Мне хочется проводить тебя до лодки, — замялся Недотепа.

Лицо у хозяина снова стало спокойным.

— Ну проводи, коли хочешь. Но сначала тебе лучше зайти в дом и переодеться в сухое. У тебя ведь есть с собой сухая одежда?

— И тогда ты позволишь мне проводить тебя к лодке? Странно все это, — сказал Недотепа.

— Да, давай.

Они пошли вместе. Бок о бок. Теплый дождь перестал. В голове у Недотепы роились мысли, но у него не было слов, чтобы высказать их вслух. Он просто шел рядом с этим большим сильным человеком.

— Посмотри! — сказал он и показал на улитку, сидевшую на щепке.

— Я вижу, улитка.

Недотепа спросил:

— Почему улитка заползает на что-нибудь деревянное, как только начинается дождь?

Хозяин покачал головой.

— А кто ее знает.

Недотепа немного удивился.

— Ага, — сказал он. — Я давно это заметил и кого только не спрашивал, почему так, — добавил он не без гордости.

Хозяин кивнул.

Они шли мимо болота, на котором росли чахлые ели. Они опять стояли на своем месте! Недотепа оторопел.

— Тут есть о чем поразмыслить! — вырвалось у него.

— О чем же это?

— Да обо всем, всего и не перечислить...

Он внимательно смотрел на чахлые ели.

— Взять хотя бы эти ели на болоте, — растерянно сказал он.

Хозяину стало не по себе, он даже не смог этого скрыть. Недотепа словно напал на него. Хозяин попытался переменить тему разговора:

— Я вижу, одну елочку тут недавно срубили.

— Правда? — испугался Недотепа.

— Это пустяки, пользы от нее все равно никакой, — сказал хозяин леса.

Он хотел успокоить Недотепу, но все вышло наоборот. Недотепе показалось, что этот большой человек в черном плаще стал еще больше. При вечернем свете он выглядел чужим и суровым. Недотепа онемел от ужаса. Они спустились к берегу, и он смотрел, как хозяин леса столкнул лодку в воду и взялся за весла. Чужой и суровый, за спиной у него раскинулась широкая водная гладь. Хозяин кивнул Недотепе:

— Покойной ночи.

— Покойной ночи, — вежливо отозвался Недотепа.

Хозяин оттолкнулся от берега. Его движения свидетельствовали о силе. Из-под носа лодки летели брызги. По воде за лодкой бежала дорожка, таинственная, как и все дорожки на воде. Теперь хозяин уплывал прочь от этого берега.

Недотепе было холодно. Хозяин скрылся за мысом. Недотепа попытался вспомнить все, о чем они говорили. Все-таки он удивил хозяина этой улиткой, а потом даже проводил его до лодки.

И ключ по-прежнему был у него. Хозяин не потребовал, чтобы Недотепа его вернул. Это был залог. Лучик, в котором он сейчас так нуждался. Ему разрешили и дальше рубить деревья.

Он вытащил волшебный ключ.

— Этим ключом я еще раз открою сегодня тот дом, — громко и значительно сказал он. — Как бы страшно ни скрипел замок, — прибавил он.

Внутри пахло дымом от прошлой топки, скоро пламя разгорится снова.

Сейчас надо поскорей согреться и поесть, подумал Недотепа. И у меня все есть. Сестра дала мне с собой даже свинину! И сковородку...

При мысли о жареной свинине у него потекли слюнки. Она отдала мне все, что у нас было, подумал он, а сама сидит сейчас дома и пьет пустой кофе.

— Но велика будет ее награда, — громко сказал он. — Да будет так...

Он привел все в доме в порядок. Они думают, что у меня ничего не получится, а вот гляди, получилось.

Принес в дом сухие еловые лапы, которые нашел под большими елями, от них в очаге запылали белые огненные языки. Иногда ветки трещали и рассыпали множество искр. Поток тепла водопадом лился в комнату и на Недотепу. Он разделся, снимая одну вещь за другой, и в конце концов остался голым.

Хорошо, что отсюда так далеко до людей, думал он и блаженно потягивался на табурете.

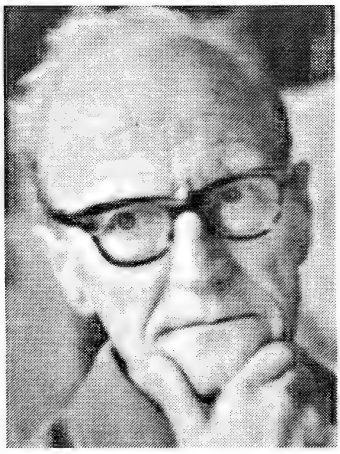
Мокрую одежду он развесил на деревьях, чтобы она высохла. А сам сел так близко к огню, как только мог вытерпеть. На краю большого очага скворчала сковорода со свининой. От аромата свинины широко раздутые ноздри Недотепы трепетали, и блаженное тепло струилось по его телу.

Да, думал он.

У него появилось чувство, будто у него начинается новая жизнь. Так бывает на небесах, думал он. Там тоже никто не посмеет звать меня иначе как Маттис. А если я вдруг проголодаюсь, надо всего лишь пойти и поесть манны. Только не зимой, когда холодно. Зато все лето я буду есть манну.

Он разомлел, ему было приятно, он моргал, глядя на огонь. И все мысли были гладкие и круглые.

Юхан Борген



Три притчи и рассказ

Перевод Норы Киямовой

Притчи

Три времени

ОДНАЖДЫ паслись бок о бок лев и ягненок. И вот ягненок спрашивает у льва: "Как ты думаешь, лев, в какое, собственно, время мы живем?" – "Время? – переспросил лев. – Мы живем, разве этого недостаточно? А кроме того, время, в которое мы живем, это наше время; иначе бы мы не жили", – заключил он.

Ягненок поразмыслил над этим, пощипывая сочную траву в долинке, под сенью тенистых дерев. И сказал: "Лев, ты мудр. И конечно же ты прав, время, в которое мы живем, это наше время – по крайней мере, для нас. Только я имел в виду другое, я не раз слышал, что существуют три времени: прошлое, прекрасное, но жестокое; настоящее, которое просто жестокое. И будущее, которое отличает такой дух терпимости, что лев и ягненок пасутся бок о бок. Я слышал это от одного умного старого козла, вот я и подумал, что сейчас – будущее".

Тут лев откусил ягненку голову и сказал: "Теперь, когда ты мне об этом напомнил, это больше похоже на прошлое".

Роза и шипы

1

РЕБЕНОК подошел к розовому кусту и сказал: "Подаришь мне розу?" – "Сорви сам, – ответил розовый куст, – хоть две или три, мне не жалко!"

© Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1977
© Нора Киямова. Перевод, 2005

Ребенок обрадовался и просунул руку между ветками. "Ай-й! – закричал он, отдернув руку. – Ты весь колешься! У меня ничего не получится!"

"Да нет, – ответил розовый куст, – получится, только в этой жизни роз без шипов не бывает".

"Ну и не надо", – сказал ребенок и пошел рвать колокольчики.

2

Ребенок нарвал целую охапку всевозможных цветов, а потом подошел к розовому кусту и сказал: "Гляди, что у меня, разве они не чудесные?" – "Но это не розы", – ответил розовый куст.

Тогда ребенок нарвал еще больше цветов; день за днем, неделя за неделей ходил он и рвал подряд все цветы, которые распускались. Под конец он опять подошел к розовому кусту, чтобы похвастаться собранными цветами, пускай даже они и не розы. И тут он увидел, что розовый куст остался без роз. Они опали. А сам куст был усажен шипами. "У тебя же нету роз", – сказал ребенок. "Да, – ответил куст, – у меня одни шипы".

Тут ребенок швырнул свои цветы наземь и заплакал.

Хороший человек

ПЯТЕРО скворцов сидели на вишне и завтракали. "Вот черт, человек идет!" – сказал самый младший. "Сколько раз тебе было говорено: не чертыхайся!" – сказал самый старший, очевидно отец, а впрочем, кто его знает. "Но ведь это же человек?" – сказал младший и клюнул красную ягоду. Старший ответил: "Неважно. Нам пора летать!"

И пятеро скворцов улетели. Человек в саду глянул вверх и сказал: "Чертовы скворцы, вишен опять не будет!" Он пошел в дом и сколотил крест и повесил на него обтерханное пальто, а сверху напялил шляпу.

"Пальто безобразное, – сказали, вернувшись, скворцы, – но сидеть на нем удобно". Птицы расселись на плечах и на шляпе, и ветер подносил им ветви с ягодами к самому клюву. "Все-таки люди не такие уж и плохие", – сказал молодой скворец. Тут раздался выстрел. Скворец упал. "Может, они тоже любят вишни", – сказала скворчиха, наверное, мать. "А по-моему, они любят скворцов", – отозвался отец. И капнул на человека, который подобрал упавшего скворца.

Человек стрелял скворцов целый день. "Что толку, – сказал он, отшвыривая ружье, – их тут миллионы!" Скворцы сказали: "От того, что он стреляет, нам никакого проку. Сад слишком мал, а нас слишком много. Он желает нам добра, но он глуп".

На следующий день деревья были увешаны маленькими зеркальцами, в которых отражались слетевшиеся скворцы. "Все равно это не поможет! – мрачно заметил старший скворец. – Жизнь – это не сплошное удовольствие, скоро здесь не останется ни одной целой ягоды, приходится есть надклюнутые".

"В старые времена, — заметил другой скворец, — здесь были огромные сады и очень мало скворцов". Человек сказал: "Ума не приложу, почему скворцов сейчас намного больше, чем раньше". Он развесил на деревьях рыбацкие сети. Скворцы сказали: "Для дроздов это в самый раз. Им не протиснуться сквозь ячейки. Но как он не понимает, что это нас, скворцов, слишком много! Он должен посадить больше вишен!"

Человек насадил множество новых деревьев. "Чтобы от этого сада была польза, — сказал он, — вишен тут должно быть в десять раз больше". Волосы у него от всех этих горестей поседели, а лицо покрылось морщинами. Тут налетели пять миллионов скворцов и мигом опустошили сад. Они склевали на новых деревьях все ягоды. Человек вышел с ружьем в сад и застрелился.

"Что ж, — сказали скворцы, — по крайней мере, глаза у него съедобные".

Из дневника прирожденного преступника

ДЕДУШКА — это палка.

Он живет на чердаке и стучит в пол, когда я просыпаюсь мокрый, потому что описался, а еще когда меня нужно укладывать спать и я сухой, потому что мне сменили пеленки. Однажды дедушка сошел вниз; его привел папа. Он сказал, что знать его больше не хочет, ему до смерти надоела эта стукотня. У дедушки на одном конце — блестящий шар и по всему телу шишечки. Мама заругалась и сказала, чтобы папа отвел бедного дедушку обратно, иначе тот не сможет стучать — как же он будет стучать внизу! И папа отвел дедушку наверх, и в следующий раз, когда я описался, снова раздался стук.

Папа — высоко-высоко.

Когда он ко мне спускается, я немножко пугаюсь, потому что на лице у него много рыжих колючек. Когда я стою в коляске, папа показывает на небо и говорит: "Смотри — самолет", а больше всего ему нравится, когда я тяну вверх руки и говорю: "Э-э!" Мама говорит: "Это всего лишь самолет на Копенгаген, тебе не приходит в голову, что ребенок лежит тут день-деньской и только и видит, что самолеты?" Папа гудит и исчезает. Тот, кто гудит и исчезает и у кого волосы, рыжие на солнце, тот называется шмель. Папа — шмель.

Мама — рядом. Ее нос мягко тычется в мою шею. Она говорит добрым голосом.

Внизу — кто-то, кого зовут Сестренка и кого мне не видно, но кто вечно норовит опрокинуть коляску, пытаясь ко мне залезть. Наверно, это что-то совсем крошечное. Оно — в самом низу, подо мной. Хорошо быть самым большим и лежать и хвататься за небо.

Теперь я стал маленький. Теперь я тоже внизу и стал даже меньше того, кто зовется Сестренкой. Они говорят, я расту.

С неба под чердаком, где живет дедушка, свешивалась белая простыня. Я за эту простыню потянул, и внизу оказалось много вещей, которые много чего наговорили, пока спускались. Прибежал папа и навис надо мной и заговорил таким же голосом, как тогда, когда привел дедушку с чердака. Я сказал: "Э-э самолет!", чтоб лицо у него сделалось как было, а

он крепко сжал мою руку, и тогда я обкакался. Пришла мама и мягко ткнулась носом, а папа сказал: "Чертов ребенок", и я тоже сказал: "Чертов ребенок", тогда мама перестала мягко тыкаться, зато у папы лицо сделалось как было, и он повторил: "Чертов ребенок". "Чертов ребенок", — ответил я. Сестренка заорала, потому что самая большая теперь — она.

Теперь мне лежать больше уже нельзя: они говорят, я могу ходить. Я становлюсь все меньше и меньше. Когда я хожу, я лежу на полу, а не в коляске, и гляжу на коляску снизу. Я думаю, каким же маленьким мне надо стать, чтобы вырасти. Сестренка дотягивается до неба, где много чего стоит, и спускает все на пол. Сестренка говорит "релка" про штуку, с которой мы кушаем, одну такую релку она спустила к нам вниз — и из нее получилось сразу несколько релок. Сестренка молодец.

Когда я во дворе, то ходить интересно. Раньше я лежал, глядел вверх, а там были только самолеты на Копенгаген, а сейчас мне видно пальцы на ногах, они подо мной, а не на одеяле. Я подошел к чему-то блестящему и лег туда и стал мокрый — хотя не описался. Когда я лежал в кровати около мамы, папа сказал: "Надо это корыто убрать". — "Ты это говоришь уже пятый год", — ответила мама. Папа сказал, если я еще раз пойду и лягу туда, меня выпорют. Сестренка сказала, что мы должны пойти и лечь туда вместе. Я хочу, чтобы меня выпороли.

Я забрался на самый чердак. Я забирался долго. Дедушки я не увидел, а увидел какого-то человека, который лежал глядел вверх и говорил: "Э-э!" Он лежал в кровати совсем как я, когда я был большой, он лежал глядел на круглый шар, который был весь на нитках и ходил туда-сюда в углу над его головой. Должно быть, над ним есть еще один чердак, еще с одним дедушкой, и там, наверно, тоже есть старик, который за дедушкой этим присматривает. Я лег под бок к старику, тогда-то я и увидел дедушку, он лежал в кровати рядом со стариком, и тут старик постучал дедушкой в пол, и тогда пришла мама и унесла меня вниз, и не тыкалась мягко носом и сказала, что меня нужно выпороть.

Вот я весь описаюсь и поведу на чердак Сестренку. Я хочу, чтобы меня выпороли. А то они все обещают и обещают.

Теперь я стал страшно маленький. Я стал большой. Под моей кроватью стоит горшок. Писать в штаны было не в пример лучше.

Я был мертвый. Было жарко-прежарко. Никто не разговаривал, все только шептались, а высоко-высоко был человек — совсем как та круглая штуковина в углу у старика, который присматривал в кровати за дедушкой. Несколько раз они сказали "Умрет" до того тихо, что мне было слышно. И все мягко тыкались носом, и лица у них были добрые. Я хочу быть мертвым.

Ну а потом мне снова пришлось ходить и опять стать маленьким. И теперь я уже не мертвый. И все громко разговаривают. Только меня все никак не выпорют, хотя мы с Сестренкой пошли и легли в блестящее корыто, и все закричали, а еще я был на чердаке у старика с дедушкой и скатился с лестницы, до самого низу. Папа сказал: "Чертов ребенок", и я так сказал тоже. Папа сказал, что я умею говорить. Только когда я был большой, я говорил куда лучше. Теперь я много чего не могу сказать, не то что Сестренка.

На небе, за которое я однажды дернул, стоял большой торт с тремя свечками. Все говорили: "Три свечки", значит, так оно и было. У меня заболел живот.

Пока я спал, я думал про свечки. Сперва была черная нитка, потом они взяли тоненькие палочки со светом, и тогда черная нитка превратилась в огонь.

Я взял два коробка с этими палочками и положил под подушку, а еще три коробка подложил в кровать Сестренке. Когда дедушка постучит стариком в пол и мама понесет наверх кофе, я этими палочками сделаю свет.

Я засветил ту штуку, которая свешивалась оттуда, где стоял торт, а еще то, во что торт был завернут, оно лежало на стуле, и еще я засветил даргины, которые висят на окне, — я просто взял и потер палочки о коробок. Но тут пришла мама, и пришел папа, и пришли все, и кто-то стал брызгать водой. Это было здорово, вот только весь свет испортили.

Папа сказал, что уж теперь-то меня непременно выпорют. Но меня не выпороли. У меня еще остались в запасе коробки, которые я подложил Сестренке в кровать. Завтра я сделаю свет.

Сестренка не хочет. Сестренка — дрянь. Рядом живет один мальчик. Он говорит, что она просто девчонка. Он говорит, чтоб я принес спички, это те самые палочки, тогда мы подожжем целый дом и вообще все дома, главное, чтобы хватило палочек.

Папа припрятал палочки, поэтому найти их ничего не стоит. Раньше они лежали на самом верху на камине, и мне надо было чуть ли не все оттуда сбросить, чтобы до них добраться, а теперь они лежат в кухонном шкафу за бутылками, откуда берут сок для мытья посуды. Мы с Сестренкой выпили этого соку, и я опять стал мертвый, но никто уже не шептался. Папа велел маме спрятать бутылки. Все спички, которые папа прятал за бутылками, мы с тем мальчиком взяли и спрятали за ящиком позади сортира.

Сперва мы подожгли корыто, только оно гореть не хотело. Потом мы подожгли сортир. Он горел здорово. Но тут опять пришел папа, а с ним еще один дяденька, папа этого мальчика, и тогда мы немножко подожгли дом, откуда папа мальчика вышел. Мальчика зовут Йон, его папа разозлился на моего, а мой — на него и сказал, что это Йон все придумал, но ведь это же я нашел спички, которые папа прятал за бутылками, от которых Сестренка разболелась больше, чем я. Она чуть было не умерла. Сестренке всегда везет.

Йон — плохой.

Мне не разрешают играть с Йоном. Мы с ним неразлейвода. Теперь папа больше не прячет спички, поэтому их не найдешь. Папа и сам много чего поджигает. Он поджигает все, что лежит в камине. А потом сует коробок со спичками в брючный карман. Я взял в швейном столике мамины ножницы и тоже вырезал себе брючный карман. Потом я нашел коробок за ящиком позади того места, где раньше стоял сортир, пока не сгорел. Но когда я сунул коробок в брючный карман, то он провалился. Поэтому я хожу придерживаю штанину, чтоб он не падал.

Папа сказал: "Какого черта малый ходит и держит себя за ляжку?"

И они нашли спички. Мама заплакала. Папа вышел и хлопнул дверью. Я тоже хочу научиться так хлопать. Дедушка стал стучать. Тогда я наделал в штаны, чтоб обрадовать маму и чтоб она больше не плакала. Но тут Сестренка отрезала себе кончик пальца, это она шила из маминого платья наряд для куклы, и опять пришел доктор. Сестренке всегда везет.

Йон — плохой. Вот с кем лучше всего играть. Если я буду с ним играть, папа обещал меня выпороть, хорошо бы. Старик, что лежал в кровати вместе с дедушкой, уехал в то место, которое называется Кладбище. Его везли всю дорогу. Папа с мамой переехали на чердак, а дедушка стоит в углу, и на одном конце у него блестящая шишка. Сестренка надела мамино платье, а я — папину шляпу, а потом я взял в руку дедушку, и мы пошли на прогулку и зашли за макушку Большого холма, куда нам не разрешают ходить, потому что там каменный карьер, куда Сестренка свалилась, в мамином платье, и опять чуть было не умерла, и ее отвезли прямо в больницу в город, а меня выпороли, так что повезло всем, кроме папы, который расстроился из-за того, что ему пришлось меня выпороть, ведь это же больно, хотя расстроиться должен был я, но я обрадовался, что наконец-то меня тоже выпороли, ведь Йона порют каждый день, такой он плохой, поэтому с ним так здорово играть.

Мама говорит, что дедушка умер, но это потому, что он стоял в углу в коридоре, а я взял его с собой в карьер и забыл там, когда Сестренка свалилась, но как-нибудь я за ним схожу, и мама тогда перестанет плакать. Папа с тем другим дяденькой отстроили сортир, теперь Йону нужно разыскать спички, чтобы и у них тоже был новый сортир.

Папа говорит, что я уже большой мальчик и через три года пойду в школу. Три года — это такой торт, который можно поджечь, и тогда тебя выпорют. Школа, говорит папа, это большой дом, в котором полно детей. Но когда я сказал маме, что он говорит, что я пойду в большой дом, где полно детей, через поджигательный торт, она привела даму, у которой был голос из детской передачи, и дама спросила меня, есть ли разница между птицей и чем-то навроде палки, которую она принесла, потому что шел дождь, и тогда я сказал, что дедушка никакая не птица. Тогда она спросила, при чем тут дедушка. Вот ненормальная!

А вечером я услышал, как мама говорит папе, что дама сказала, что, когда дедушка умер, я заполучил травму. Наверно, это она про палку: теперь она моя. Тогда, говорю, это неважно, что дедушка лежит в карьере и я его там забыл. Тут мама посмотрела на папу, а папа потряс головой и хлебнул из рюмки, которая стояла в шкафу.

Завтра я буду трясти головой и хлебну из шкафа.

Я наловчился хлопать дверьми и трясти головой. Я тряс головой целый день, но когда я пошел и взял из буфета рюмку и хлопнул дверцей буфета, они примчались и отобрали рюмку, хотя я тряс головой, не жалея сил. Потом пришел доктор и сказал, что, когда Сестренка упала в карьер, у меня была травма, а я сказал, что не травма, а палка, и что это дедушка. Вот и та дама, сказала мама, говорит то же самое. Палка, сказал я и затряс головой. Травма, сказал доктор. Ну ладно, сказал я, пускай будет травма. Вид у него был очень сердитый. А на следующий день снова

пришла эта самая из детской передачи, и тогда я сказал ей, что это просто-напросто палка. А она мне: это называется травма. Все-таки она ненормальная.

Сестренка вернулась из больницы домой, и теперь мы целый день играем в больницу. А однажды, когда мама ушла и оставила Сестренку за мной присматривать, она принесла из кухни и вставила мне в попу газовый шланг, а потом сломала мне ногу, потому что она плохо срослась. Ужас как больно было, но она сказала, что так и должно быть, а потом воткнула мне в руку штопальную иглу, чтобы не так болело, а я заорал и сказал, что она чертов ребенок. А когда мама пришла домой вместе с той самой дамой, у меня в попе сидел газовый шланг, а в руке — штопальная игла, а у Сестренки лицо было замотано наволочкой, чтобы не заразиться, и она орала, потому что я стукнул ее, когда она ткнула меня иглой. А дама из детской передачи сказала, это у Сестренки муки ревности, а Сестренка сказала, что это у нее наволочка, ну да, мы ведь и близко не подходили к кухонному шкафу и никакую муку не трогали, нам и без того было весело.

Сестренка обещала, что завтра мы будем делать рентген, но для этого нам нужно будет спуститься в подвал, где темно, и мы никому про это не скажем...

Йенс Бьёрнебу

Как мы с профессором Арне Нэссом напали на НАТО.

История одной мирной акции в Норвегии

Перевод Т. Шенявской

Несколько лет назад мы с профессором Нэссом вторглись на территорию натовской базы. Если раньше я умалчивал об этом отважном предприятии, то лишь потому, что опасался неблагоприятных последствий, которые мой рассказ будет иметь для военных. Но сегодня, по прошествии многих лет, можно думать, что никто не пострадает.

Началось все вполне безобидно. Мы с Арне Нэссом решили провести выходные в его домике в Колсосе. Продуктами запаслись, не сговариваясь, а когда встретились на станции, выяснилось, что один из нас купил банку русских крабов и банку икры из этой замечательной страны.

– Сейчас мы с тобой перекусим! – объявил Нэсс.

Потом задумчиво поинтересовался.

– А белое вино у тебя есть?

О вине я не подумал; может, рассчитывал, что выпивку возьмет он. В общем, мы оба понадеялись друг на друга. Я упоминаю об этом, чтобы

© Pax Forlag, 2002
© Т. Шенявская. Перевод, 2005

показать, насколько во всем происшедшем не было нашей вины или злого умысла. Нам просто хотелось по стакану вина к икре — и в этом причина всех дальнейших событий.

— У натовцев наверняка есть вино, — заявил Нэсс. — Зайдем к ним и попросим бутылку. Где американцы, там всегда крепкие спиртные напитки.

Сойдя с поезда в Колсосе, мы прошли широкой дорогой, ведущей к базе. Въезд на территорию базы произвел на нас сильное впечатление: сталь, каски, штыки, сверкающие на солнце. Автоматы. Колючая проволока. Мощные прожекторы.

Решетка ворот была закрыта. За воротами стоял караул.

— Похоже, мы им не нравимся, — сказал я. — Нам не пройти.

— Человек всегда может то, что хочет! — не сдавался Нэсс. — Сначала с ними поговоришь ты.

Сглотнув слюну, я пошел к сторожевой будке. Ну чем не офицер, на лице мужество в сочетании с приветливостью и любезностью. Выбрал первую пришедшую на ум английскую фамилию. Банановая фирма "Файфс".

— Прррривет, паррни! — зычно пробасил я. — Мне нужно поговорить с мистером Файфсом.

Одновременно я махнул рукой в сторону закрытых ворот. Ворота отползли в сторону, и мы с Арне Нэссом торжественно вошли на территорию базы. Караульные отдали нам честь. В ответ мы ограничились дружеским (исполненным достоинства!) кивком и поднесли указательный палец к виску.

— Телефон в караулке, — сказал один из часовых, и мы направились туда.

В караулке сидела бóльшая часть вооруженного личного состава. Нэсс похлопал нескольких рядовых по плечу с видом отца-командира. Дружески-заботливо осведомился:

— Ну, парни, как кормят? Как служится?

С дотошностью основательного исследователя он принялся обсуждать с ними техническую сторону штыковой атаки. Они были просто обвешаны оружием.

Я пошел к телефону и попросил соединить меня с мистером Файфсом. На коммутаторе не знали, где в настоящее время находится старина Файфс. Я настойчиво попросил его разыскать: речь идет о деле крайне важном. Увы, мистера Файфса не нашли. Я громко сказал, что, боюсь, мне придется искать его самому, — и положил трубку.

Распрощавшись с солдатами, мы пошли дальше — к следующему бастиону. Там за дело взялся Нэсс. Это был новый пост с новыми, внушающими ужас караульными. Нэсс снял рюкзак и протянул его солдатам:

— Сколько берете за хранение, парни? — Он подал им рюкзак, улыбаясь, но сохраняя достоинство. Меня поразило, насколько при этом Нэсс походил на офицера в штатском.

Караульные улыбались, довольные тем, что мы ведем себя так просто, так демократично. Полное братание. Я тоже внес свою лепту, скинув рюкзак с плеча. Стальные ворота открылись. Блеснули штыки. Часовые уважительно застыли по стойке "смирно", пока мы вразвалочку проходили между ними. Оказавшись с той стороны, мы сдали рюкзаки на хранение.

– Присматривайте за ними! – продолжил Нэсс. – А то... Мало ли кто здесь шляется!

Караульные улыбнулись и еще больше распрямили плечи. Вокруг было темно, лишь отдельные участки освещались яркими прожекторами. Мы пошли дальше. Всего-то и нужно было идти по дороге не сворачивая. Наконец, мы достигли третьего и последнего поста. Он был уже не столь внушителен, как первые два..

Я действовал наобум, но выбрал повод, который, как мне казалось, соответствовал ситуации.

– Извините, ребята, я забыл наши пропуска. Вы сможете проверить их потом.

Я широко, но учтиво улыбался, на тот случай, если вдруг окажется, что пропуска на базе вообще не в ходу. Тогда моя выдумка могла бы сойти за солдатский юмор. Проблем не возникло. Караульные были сама любезность: впустив нас, они вежливо поздоровались. Нужно заметить, что на недостаток обходительности со стороны молодых представителей НАТО в Норвегии грех жаловаться. Недоверие и подозрительность мы встретили на базе лишь у гостиничных работников.

Мы стояли у главного корпуса базы. Было темно и уютно. Хочешь – подложи дюжину бомб под стены здания, не спеша запали фитили и исчезни во тьме. Но мы ни о чем таком и не помышляли. Мы просто подошли к главному входу, открыли дверь и вошли в вестибюль. В вестибюле стоял портье, принимавший шинели и другие вещи. Штатский. Он смотрел на нас, и у него внутри что-то происходило. Он думал.

– Простите, – спросил он. – А *вы* что здесь делаете?

– Имеем место *быть*, – ответил я. Мы улыбались. Но портье оставался серьезным и холодно смотрел на нас. Сомнений не было: нас разоблачили. Мы преодолели массу КПП, вооруженных до зубов караульных, обошли разветвленную систему охраны и сигнализации и вот теперь стояли перед портье в штатском. То, что было не под силу винтовкам и проволочным заграждениям, удалось этому унылому гражданскому лицу из гостиничной службы. Он подумал.

– Нам бы только бутылку вина, – пояснил профессор Нэсс. – Извольте сходить за главнокомандующим! Коменданта! Il commandante!

За комендантом сходили удивительно быстро. Il commandante стремглав спустился с лестницы, как будто шел в штыковую атаку.

– Как вы сюда попали?! – рыкнул он.

– Per pedes, – ответил Нэсс. – Пешком.

Не знаю, в каком именно звании был il commandante, но точно выше сержанта. Замечательная форма, на груди и на рукаве красивый значок с кораблем викингов. Возможно, генерал или что-то в этом духе.

– Как вы сюда прошли?! – повторил он довольно громко.

– Просто вошли, – начал было я. Но профессор Нэсс меня перебил.

– Извините, – сказал он, показывая пальцем на корабль викингов. – Мы, вероятно, ошиблись. Нам нужно на базу, а это, кажется, флот. Я, конечно, имею в виду военно-морской флот, а не торговый.

Некоторое время эти два господина стояли, внимательно рассматривая друг друга. Неповторимое зрелище: военная мощь лицом к лицу с профессорским авторитетом.

– То есть вы хотите сказать, что вот так вот взяли и просто вошли в ворота? – с сомнением спросил генерал.

— Конечно, — ответил Нэсс. — А как же еще мы бы смогли сюда проникнуть? Разве вы не видели колючей проволоки? Не говоря уже об автоматах и штыках.

— Как ваше имя? — спросил генерал-майор.

— Арне Нэсс, профессор философии в Университете Осло.

Генералиссимус обратился ко мне:

— А ваше?

— Йенс Бьёрнебу. Я время от времени пишу в газетах.

Наш il generalisimo переменился в лице. Он улыбался, но его улыбка была слабой и неуверенной.

— А зачем вы сюда проникли? Что за этим стоит?

— У нас с собой атомная бомба, — сказал я. — Но ее не нужно бояться. Она небольшая, скорее, вид тактического оружия. Особого вреда не нанесет.

Нэсс снова меня перебил:

— Не слушайте его! Он шутит. Мы зашли за бутылкой вина. Вот и все.

— Вина? — переспросил генерал. — Вина?

— Да, — продолжил Нэсс. — Мы купили икру, а вина у нас нет. Жаль есть такой деликатес без вина. Вы так не считаете, господин генерал?

— Как вам пришло в голову, что здесь можно достать вино? В штабе НАТО? Вино?

— Мы можем, конечно, взять и водку, — сказал Нэсс. — Но мы подумали, что это было бы чересчур. А русской водки ведь у вас тут нет? В крайнем случае подошло бы и виски, но только шотландское.

На этом наш разговор прервался. Вероятно, дали сигнал тревоги, и комнату заполнили представители союзной армии. Потом нас выпроводили прочь в сопровождении пары дюжин людей, вооруженных автоматами и бог весть чем еще.

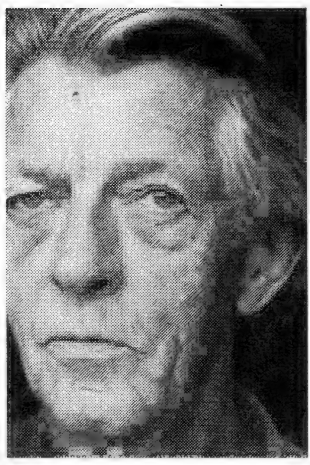
Через несколько минут мы стояли за колючей проволокой, а тем же вечером ели икру, запивая крепким ароматным чаем. Чай, кстати, мы пили из стаканов, чтобы придать происходящему русский колорит.

Потом Нэсс поймал руками живую мышь. Никогда прежде мне не доводилось видеть подобного зрелища. Профессор сделал это с ловкостью, которую можно выработать лишь в результате многолетних занятий логическим эмпиризмом и альпинизмом в Гималаях. Но это совсем другая история.

Все вышеизложенное — истинная правда о том, как мы с профессором Арне Нэссом вторглись на территорию НАТО. Время, может быть, стерло из моей памяти некоторые детали, но в целом наша операция проходила именно так, как здесь описано. Впоследствии я иногда с ужасом думал о том, что могло бы произойти, будь непрошеные гости базы не такими мирными и безвредными, как мы. Озлобленный анархист-одиночка спрятал бы целый букет бомб, например, в клумбах. И первый же офицер, срывая утренний тюльпан, мог дотронуться до пусковой кнопки.

Какой замечательный сюжет для прессы!

Хьелль Аскильдсен



Соломенная шляпа

Перевод Л. Горлиной

ОНИ долго сидели молча, она читала. Неожиданно она сказала:

— Когда мы снова поедем в Югославию, я куплю себе соломенную шляпу, которую не купила в прошлом году.

— На какой странице ты сейчас читаешь? — спросил он.

— На тридцать третьей. А что?

— Да так.

Она промолчала и снова углубилась в чтение. По непонятной причине он вдруг вспомнил разговор, который случайно услышал однажды вечером через открытое окно. Сперва мужской голос внизу на дороге сказал: "Больше я тебя обхаживать не стану". Женский из окна (так ему показалось) спросил: "Почему?" — "Все равно это ничего не дает". И все. Больше ни слова.

Она продолжала читать. Он сидел с раскрытой книгой, но не читал, он смотрел на жену и думал: почему, интересно, она заговорила о соломенной шляпе?

Вскоре она отложила книгу.

— Пойду приготовлю себе яичницу, — сказала она. — На твою долю готовить?

— Нет, спасибо. — Он не любил яичницу.

Она ушла на кухню, а он взял ее книгу и раскрыл на тридцать третьей странице. Там он не нашел ничего, что могло бы навести ее на мысль о соломенной шляпе или о Югославии. Он подумал: я ее не понимаю, раньше я был уверен, что знаю ее, но теперь все меньше и меньше ее понимаю. Он решил прочитать несколько страниц до тридцать третьей, может, разгадка кроется там, но она зашла в комнату за сигаретами, и он

© Forlaget Oktober A/S 1987
© Л. Горлина. Перевод, 2005

быстро отодвинул книгу. Почувствовав себя чуть ли не шпионом и испугавшись, что она видела, как он листал ее книгу, он спросил:

— Занятная книга?

— Занятная? Интересная.

— О чем она?

— О женщине, которой чего-то хочется... даже не знаю, как сказать... она понимает, что ей живется хорошо, но все равно ей хочется чего-то другого. Она не понимает, что с ней творится, хотя в глубине души, конечно, понимает. Знаешь, у некоторых людей так бывает.

— У некоторых?

— Да.

— У меня не бывает.

— Ну это у тебя.

— А я что, не человек?

— Что ты хочешь этим сказать? Ой, моя яичница!

Она пошла на кухню, но вдруг вернулась и взяла книгу с собой.

А ему больше не читалось. Он теперь гадал, что она имела в виду, когда сказала: "Ну это у тебя"? И что означает тон, каким она произнесла эти слова. Надо будет прочитать эту книгу, решил он.

Жена вернулась, яичницу она съела на кухне, хотя обычно ужинала в гостиной.

Он не удержался и спросил:

— Почему ты ела на кухне?

— Что? — не поняла она.

— Ты поела на кухне.

— Ну и что?

— Обычно ты ешь здесь.

— Правда? Нет, я часто ем на кухне. Что с тобой? Я не всегда ужинаю в гостиной.

Он промолчал. Задумался, но понимал: здесь что-то не так. *Я не всегда ужинаю в гостиной.* Нет, это неправда.

— Знаешь, я, пожалуй, лягу, — сказала она.

Он посмотрел на нее и промолчал. Она встретила его взгляд, а потом произнесла очень спокойно, почти без всякого выражения:

— По-моему, я схожу с ума.

— Что?

— Я сказала, что, по-моему, я схожу с ума.

— Все может быть.

Взгляд у нее стал жестким, но только на мгновение.

— Все может быть, — согласилась она.

Он холодно взглянул на нее, хотя сердце его сжалось от горячей тревоги.

— Все может быть, — повторил он. — И в чем же выражается твое безумие?

Она пожала плечами. Потом ее плечи опустились.

— Покойной ночи, — сказала она и, постояв немного, ушла.

У него было такое чувство, что она обвела его вокруг пальца; да, она отступила, но одержала победу. Почувствовав себя побежденным, он разозлился. Чертова баба, что она себе воображает! Хочет казаться интересной, придумала вдруг какое-то безумие!

Постепенно он успокоился, но не до конца. Он пошел на кухню и достал из холодильника бутылку пива. Было без четверти десять. Он вернул-

ся в гостиную, сел, потом вскочил и начал ходить взад-вперед по зеленому ковру, иногда останавливаясь, чтобы глотнуть пива, мысли его метались, спорили друг с другом. Как будто ей есть на что жаловаться! Но в то же время ей хочется чего-то нового. *Она понимает, что ей живется хорошо, но все равно ей хочется чего-то нового. Знаешь, у некоторых людей так бывает.*

Так и не поняв, откуда у нее взялась мысль о шляпе, он вдруг подумал, что столкнулся с чем-то далеко не безобидным. Все было очень сложно и очень серьезно. *По-моему, я схожу с ума.* В какой-то степени она в это верила, но в какой?

Он принес вторую бутылку, гоня от себя мысль, что, может быть, она прознала о его подружках — Анне или Люси. Но это вряд ли, у нее нет знакомых в той компании, и он всегда вел себя очень осторожно.

Так ничего и не надумав, он допил пиво и погасил свет.

Она читала, лежа в кровати. Мельком взглянув на него, она снова уткнулась в свою книгу. Он держался как ни в чем не бывало. Пожалуйста, пусть делает вид, будто никакого разговора не было, решил он, как хочет, не стану же я ее допрашивать.

Он лег, повернулся к ней спиной и, погасив свою лампу, пожелал ей "покойной ночи".

— Покойной ночи, — отозвалась она.

Но заснуть он не мог. Полежав какое-то время, он вдруг заметил, что она ни разу не перевернула страницу. Теперь он стал специально прислушиваться. Да, она не шелестела страницами! Он решил, что она заснула, и хотел, перегнувшись через нее, погасить лампу на ее тумбочке, но оказалось, что она лежит с открытыми глазами. Их взгляды встретились над книгой. Она спокойно смотрела на него, и все-таки что-то в ее взгляде встревожило его, некая отчужденность и настороженность.

— Тебя раздражает, что я читаю? — спросила она. — Хочешь, я погашу свет?

— Нет, не надо... Просто я думал... Ведь ты не читаешь.

— Конечно, читаю. Ты разве не видишь?

Он выдернул книгу у нее из рук и посмотрел на номер страницы. Тридцать восьмая. Он молча вернул ей книгу.

— Чего ты добиваешься? — спросила она.

— С того момента, как ты ушла жарить себе яичницу, ты прочитала всего пять страниц, — сказал он.

— Ну и что? Я ведь еще и думаю.

— Представляю себе!

— Ты похож на своего отца, — заметила она.

— А я думал, что мой отец тебе нравился, — сказал он, немного помолчав.

— Думал? Я его любила.

Ничего себе разговорчик, что она хочет этим сказать?

— Ха-ха! — Он повернулся к ней спиной.

— Твой отец любил изображать из себя Бога, — сказала она. — Если ты понимаешь, что я имею в виду.

— Нет, — сказал он. — Не понимаю, и меня это не интересует! А сейчас, извини, мне хочется спать!

— Да, конечно. Спи на здоровье.

В нем клокотало бешенство, неожиданно он встал, схватил в охапку перину, подушку, простыню и ушел в гостиную, хлопнув дверью. Там он швырнул все на диван, зажег верхний свет, решительным шагом напра-

вился на кухню и принес очередную бутылку пива. *Ты похож на своего отца. Твой отец любил изображать из себя Бога.*

Потом он принес еще одну бутылку и подумал: пожалуй, я не пойду завтра на работу, пусть она полюбуется, что натворила.

В конце концов он лег и уснул.

Проснулся он от того, что в лицо ему било солнце. Секунду или две он лежал в растерянности, потом все вспомнил.

Он встал, тихо прошел в спальню и взял свою одежду, жена не проснулась. Он приготовил себе легкий завтрак, потом завел машину и поехал в центр. Электрическая фирма, в которой он работал, имела свою автостоянку для начальства, этот пустырь был в двух минутах ходьбы от офиса, что было большим преимуществом.

Дел у него в этот день было много, и он почти не думал о вчерашнем, но по дороге домой все вечерние переживания навалились на него с такой силой, что ему захотелось наказать жену и пообедать в городе. Однако он понимал, что подобная выходка была бы ей только на руку. А такой радости он ей доставить не мог.

Он отпер дверь и вошел — все, против его ожидания, было как всегда. Она была приветлива, и обед был готов — отбивные с тушеной капустой. Он вздохнул с облегчением и даже растрогался. Сначала он отвечал на ее обычные реплики, потом насупился и замолчал.

— Что-нибудь случилось? — спросила она без всякой тревоги, будто поинтересовалась, не хочет ли он еще картошки.

Он решил не отвечать. Потом все-таки сказал:

— Нет. А что такого могло случиться?

— Да ничего, я просто спросила.

Теперь замолчали оба. После обеда он по привычке прилег отдохнуть. Что со мной творится? Ведь я ее люблю, думал он.

Он не заснул, но пролежал дольше обычного, не зная, чем бы ему заняться.

Обычно через полчаса она заходила в спальню и будила его, чтобы этот послеобеденный сон не помешал ему заснуть ночью. Сегодня она не пришла.

Через час он встал. В гостиной ее не было. На журнальном столике лежала записка: "Пошла пройтись. Эва".

Ага, подумал он, пошла пройтись. С чего бы это?

После сна он привык пить кофе. Он пошел на кухню и включил кофеварку.

Неожиданно он вспомнил про книгу. И ему захотелось посмотреть, что же такое она там вычитала. Он стал искать книгу, сначала в гостиной, потом в спальне, потом на кухне. Книги нигде не было. Он порылся в ящиках, посмотрел за книгами на полках, в кухонных шкафах, безрезультатно.

Выпил две чашки кофе. Эвы все еще не было.

Он перевернул бумажку на журнальном столике и написал: "Пошел пройтись. Харри".

И отправился гулять. Сперва он хотел пойти в парк, но передумал, потому что Эва тоже могла пойти в парк, — еще решит, что он следит за ней.

И он двинулся вверх по соседней улице. Вскоре он уже шел наугад, куда глаза глядят, и думал о всякой чепухе. В конце концов он решил, что зря не остался дома — так было бы лучше: она входит, а он спокойно сидит на диване.

Он поспешил домой.

Она спокойно сидела на диване с книгой. Подняв глаза, она улыбнулась, потом стала читать дальше. Но это была другая книга, гораздо толще той, которую она читала вчера. Он решил, что просто обязан взять реванш, должен овладеть ситуацией. Открыв кран с холодной водой, он изучал в зеркале свое лицо, при этом он думал: ей грех жаловаться, какого же черта она недовольна! Он завернул кран и пошел в гостиную. Сказал:

— Если тебе со мной так плохо, ты можешь в любую минуту уйти от меня.

Она посмотрела на него, сперва вопросительно, потом тем самым холодным взглядом, каким смотрела на него вчера.

— Мне, уйти? — удивилась она. — Что ты хочешь этим сказать?

— Если тебе со мной плохо, ты можешь просто уйти.

— Положим. И куда же?

— Куда хочешь.

Она отложила книгу не закрыв, переплетом вверх, именно так, как его учили не делать. Потом сказала:

— Сядь, пожалуйста.

— Спасибо, я постою.

— Пожалуйста, Харри, сядь.

Он сел, поглядел на свои руки и начал скрести ноготь на большом пальце.

— Нам надо поговорить, — сказала она.

Он молчал.

— Неужели мы не можем поговорить? — спросила она.

— Говори.

— Поговорить по душам, Харри.

Он продолжал скрести ноготь.

— Я чувствую себя отрезанной от жизни. Я помню, о чем мы когда-то договорились, но... тогда я не представляла себе, что такое целый день сидеть дома одной. Пойми меня правильно, я вовсе не жалуюсь на то, что мне приходится заниматься домом, просто мне этого мало... Я тут торчу взаперти и чувствую себя... Поэтому сегодня днем я отправилась искать работу, мне предложили одно место, и я согласилась, могу и отказаться, хотя сказала, что первого приступлю к работе.

Наступило долгое молчание.

— Вон оно что, — сказал он наконец.

— Я думаю, мне не стоит отказываться от этого места, Харри.

— Ах, ты думаешь?.. Иными словами, мое мнение ничего для тебя не значит?

— Ты не понимаешь. Вот увидишь, тебе так тоже будет лучше.

— Ты хочешь сказать, будто я не знаю, что для меня лучше?

— Ты не знаешь, каково мне.

— Ты думаешь, что сходишь с ума.

Теперь ее голос звучал уже не мягко, в нем слышались жесткие, холодные нотки, которые испугали его.

— Только посмей сказать, что все это несерьезно, Харри! Только посмей!

Он понял, что зашел слишком далеко, однако был не в состоянии честно это признать. Поэтому он промолчал. Но его вдруг охватила неуверенность и тревога.

Долго стояла тишина. Он глянул на Эву; ее последние слова прозвучали агрессивно и отчужденно.

– Что это за работа? – спросил он наконец.

– В универсальном магазине, – холодно, непримиримо ответила она. – В отделе "Все для кухни".

Там хотя бы покупатели, главным образом женщины, подумал он.

– Это все так неожиданно, – произнес он вслух. – И ведь мы с тобой договорились.

– Я знаю. Но это было давно. Кроме того, ты сказал тогда, что весь мой заработок съедят налоги.

– А тебе казалось, что нет ничего лучше, чем сидеть дома и вести домашнее хозяйство.

– Да. Я так думала. Мы оба ошиблись.

– Богаче мы от твоей работы не станем, если ты на это рассчитываешь.

– Но и беднее тоже.

Она как будто все знала заранее, и он больше не настаивал. Она вообще говорила теперь по-другому, робкие, вопросительные нотки, которые всегда слышались в ее тоне и которые ему так нравились, вдруг исчезли.

Неожиданно он понял, что потерпел поражение. Он не мог помешать ей поступить так, как она считает нужным. Ему оставалось либо возражать ей, либо пойти навстречу, сделав вид, что ни о каком поражении речь не идет.

Подумав, он встал и спросил:

– Хочешь пива?

– Что? Нет, спасибо.

Он вернулся из кухни, поставил бутылку с пивом и стакан на журнальный столик, но так и не сел.

– Теперь я понимаю, что для тебя это очень важно, а ты знаешь, что я всегда заботился о твоем благе, хотя мне не всегда хватало ума понять, в чем именно оно заключалось, это твое благо.

Она прервала его:

– Мне тоже.

Он не понял, что она имеет в виду, но нетерпеливый тон, каким она это сказала, задел его. Он готов пойти ей навстречу, а она даже не хочет его выслушать!

Пожав плечами, он налил себе пива, но продолжал стоять.

– Прости, – сказала она. – Я тебя перебила.

Он выпил пива.

– Ничего. Я, собственно, хотел сказать, что, по-моему, ты должна согласиться, впрочем, ты и так согласишься, независимо от моего мнения.

Он встретился с нею глазами, это был странный взгляд, понять его было трудно. Он отвернулся и сделал очередной глоток. Немного подождал, но она молчала. Он продолжал ждать, отхлебывая пиво, допил весь стакан и налил новый.

Не поднимая глаз, она наконец сказала незнакомым голосом, который звучал так бесцветно, будто слова приходили откуда-то издалека, неизвестно откуда:

– Ты ведь знаешь, я не сделала бы этого без твоего согласия.

Бьёрг Вик

Сквозь лед

Перевод О. Вронской

СТОЯЛО долгое сухое лето. С первой минуты мы все поняли, что эти люди ни на кого не похожи. Казалось, они никак не могут решить, въезжать им в этот дом или нет. Они перевозили все постепенно и явно не спешили. Матрасы, кастрюли, одежду. Потом они вообще исчезли и вернулись лишь спустя неделю-другую. Он — в шляпе в мелкую клетку, она — в длинной юбке, с толстой черной косой, перекинутой через плечо. Обычный фургон для перевозки мебели так здесь и не появился, только маленький желтый грузовичок. Они сняли с него мебель и картонные коробки, некоторые коробки выглядели тяжелыми — должно быть, в них были книги. Однажды они привезли небольшой орган, старый, серый домашний орган. Соседи диву давались: неужели теперь у нас в селении будут совершаться домашние богослужения? Но это было заблуждение.

Последними прибыли горшки с домашними растениями и множество картин. И сразу стало ясно, что за люди поселились в этом доме. Они протравили дом морилкой (в то время все так делали), и мы поняли, что с малярной кистью они раньше не общались, зато эти два бледных городских создания, уже шагнувших в солидный возраст, стойко выдержали тропическую жару. Она двигалась легко, как молодая, словно годы вообще ее не коснулись. Время от времени они устраивали перерыв и, сидя каждый на своем ящике, потягивали белое вино из бутылки, стоявшей в ведерке, он давал ей прикурить, потом закуривал сам. Она перекидывала через плечо косу, очень длинную и толстую, жестикулировала и смеялась.

© J. W. Cappelens Forlag a. s.. 2002
© О. Вронская. Перевод, 2005

Тогда они несомненно были счастливы.

Сарая они не тронули, он так и стоял, как стоял все эти годы, — ветхий, готовый рухнуть в любую минуту.

Новоселы оказались людьми довольно общительными и охотно вступали в беседу с местными жителями. Но как же они были непохожи на нас! Никто из них не ходил на службу, как все люди, они почти не покидали дома, иногда он что-то мастерил в сарае или они уезжали куда-то на своем грузовичке. Сначала он открывал дверцу ей, а уж потом, обойдя грузовичок, садился сам. Однажды они надумали привести в порядок сад вокруг дома. Но из этого ничего не получилось.

Соседи приносили им отростки и саженцы. Она беспомощно брала растения в руки, словно ей было больно смотреть на них. Особенно щедра на подарки была Мариель, для которой собственный сад был главной отрадой в жизни. Добрая толстушка Мариель вечно возилась с овощами, цветами, ягодными кустами — земля у нее под ногтями не исчезала круглый год. А еще Гутторм из садоводства, этот симпатичный чудак, привозил на велосипеде ящики лобелии и маргариток, рассаду свою он больше раздаривал, чем продавал. Возможно, они и пытались кое-что посадить, но без видимых результатов. Разве что у южной стены дома выросли ромашки.

Она совершала утренние прогулки. В длинной черной юбке, с прыгающей по спине косой, она была похожа на цыганку, и казалось, что ей ни до кого нет дела, абсолютно ни до кого.

Однако она разговаривала с Мариель и с людьми в лавке и останавливалась, если ей на дороге встречалась кошка, — она подманивала кошку к себе, опускалась на колени и долго ее гладила. Случалось, кошки какое-то время шли за ней следом.

В селении появились люди искусства, это нам стало ясно еще по привезенным ими книгам и картинам. Она так и сказала Мариель: мой Самюэль — живописец, а я — поэт. Прямо так и сказала. Не "мой муж", нет, "мой Самюэль". А слово *поэт*, даром что оно мужского рода, относилось к даме, Сёльви Сёренсен. Разумеется, в селении никто никогда о такой не слышал, здесь у людей было чем заняться и кроме чтения стихов.

— Мы бежали, — доверительно сказала она Мариель. — Мы просто были вынуждены уехать из города. Были вынуждены найти *спокойную жизнь*...

Это выражение потом часто повторялось за чашкой кофе или кружкой холодного пива на вечернем солнце. И люди посмеивались над "спокойной жизнью", которую эта странная пара надеялась найти в их высушенном зноем селении на дне долины. А вот о чем Мариель никому не сказала, так это о хриплом сухом смешке, с каким были сказаны эти слова. Будто произнесшей их женщине хотелось заплакать.

Некоторые считали, что этих творческих личностей следует вовлечь в общественную жизнь селения. Но сделать это было не так-то просто, они были бездетны. А сейчас, в разгар лета, не устраивалось ни базаров, ни лекций, остались только церковные службы и лесные прогулки ближе к августу. В церкви новоселы никогда не показывались, а вот по лесу живописец иногда прогуливался своим пружинистым шагом. Странное это было, вообще-то, зрелище: хорошо одетый, почти изысканный господин в золотистом вельветовом костюме и в неболь-

шой клетчатой шляпе, ни дать ни взять английский лорд, но с рюкзаком, старым потертым рюкзаком, который на спине лорда выглядел несколько неуместным.

Тогда уже все пожилые мужчины носили джинсы, кольцо в ухе и завязывали седые волосы "конским хвостиком", как, например, органист из соседнего селения, дурачок. Живописец был не такой. Он почти всегда был в костюме с рубашкой и при галстуке. И волос у него уже почти не осталось, только седой венчик вокруг голой макушки.

Почему они вообще решили поселиться в этом месте, так и осталось загадкой. Ни город, ни деревня, да и поселком назвать его было трудно. Селение с редко стоящими домами, словно свалившимися с неба, как листья с дерева — горстка упала рядом со стволом, остальные разлетелись вокруг по полям и вдоль опушки, как бог на душу положил. Правда, у нас была запруда, большая запруда в лесу с тритонами и водяными лилиями. Наше селение ничем не прославилось, даже такими пустяками, как удар молнии или зверское убийство. В соседнем селении была, к примеру, церковь и несколько курганов. А здесь царило необъяснимое спокойствие, вялость — патока, склеившая в людях все чувства. Если бы кто-нибудь лишил нас ее, наверняка случилось бы что-нибудь непоправимое.

Всем было интересно следить за ритуалом, повторявшимся каждый раз, когда художники входили в свой протравленный морилкой дом: он долго шарил под порогом в поисках ключей — все селение уже давно знало, где они прячут ключи, — потом он отпирал дверь и распахивал ее перед женой, словно собирался показать ей господские хоромы. И она впархивала внутрь, стройная и легкая, настоящая графиня.

По вечерам, в сумерках, она часто сидела на крыльце одна и смотрела на закат, долго, почти не двигаясь. Иногда он тоже выходил, накидывал ей на плечи куртку или приносил бокал вина. Однажды она особенно долго засиделась на крыльце, а когда он вышел, вскочила и с истерическим криком заколотила его кулаками в грудь. Он схватил ее за запястья, обнял, словно хотел утешить, а потом вернулся в дом. Видно, он привык к подобным вспышкам с ее стороны. Вскоре она тоже ушла в дом. Потом послышались звуки органа, быстрые, тяжелые, похожие на стон.

Со временем мы поняли, что его лесные прогулки это не просто прогулки. Мариель, которая была помешана на ягодах, видела его однажды далеко в лесу, художник писал на холсте ель, одну ель за другой. Очевидно, краски, холст и складной мольберт были у него в рюкзаке. И еще бутылка вина, добавила Мариель.

В конце лета у них появилась первая кошка, разумеется, ее звали не Муся или Киса, как обычно зовут кошек, ее звали Колетт. Зеленоглазая бестия с желтыми полосками, наловчившаяся со временем ловить маленьких птичек. Когда она кралась с полузадушенной птичкой в зубах и победоносно поднятым вверх хвостом, хозяйка громко бранила ее, разумеется, безрезультатно.

К художникам приезжали гости, в машинах и на такси, они веселились до утра, музыка и пение не умолкали, гости совершали прогулки на опушку леса и к запруде. И смех Сёльви Сёренсен слышался через открытые двери и окна всю ночь. Машины нередко ждали своих хозяев почти весь следующий день; веселые, празднично одетые гости покида-

ли гостеприимный дом немного более растрепанными, чем в день приезда. Некоторые дамы с их яркими украшениями и взбитыми волосами были похожи на мокрых куриц, когда, потрепанные и побледневшие, махали из окон автомобилей. Один из гостей, силач с окладистой бородой, похожий на подрывника, долго и сердечно обнимал поэта, перед тем как укатить на своем допотопном "мерседесе". Тогда как другой гость, длинный и тощий, этот наверняка был скульптором, почтительно целовал ей руки, то одну, то другую, и не мог остановиться. И Сёльви смеялась низким грудным смехом.

Художник поворачивался к ним спиной.

Мариель, которая с утра до вечера проводила время в саду и редко упускала возможность поболтать с кем-нибудь через садовую ограду, узнала, что ее новые соседи продали квартиру в городе и хотят теперь осесть здесь. Это ей рассказала сама Сёльви Сёренсен. "Мы сожгли мосты, — сказала Сёльви. — Правда, здорово при этом обожглись", — добавила она.

— Значит, вы перестроите сарай? — спросила Мариель. Ведь все знали, что в доме нет настоящей уборной, кроме старого нужника на участке.

Да, конечно, они приведут сарай в порядок. Нет, об уборной речь не идет, они предпочитают "естественную уборную", как она выразилась. Мариель пригласила Сёльви к себе в сад и предложила нарвать ноготков и осенних астр, сколько душа пожелает. От благодарности у Сёльви Сёренсен на глаза навернулись слезы.

— Эта дама была когда-то необыкновенно красива, — сказала Мариель.

Осенью Сёльви начала рассыпать для птиц хлебные крошки и семечки, к большой радости кошки Колетт. Колетт один раз уже окотилась, и, естественно, никому не пришло в голову утопить или раздать котят, художники оставили себе всех. Вскоре в доме бегали четыре кошки и с крыльца слышались странные имена: Эмили, Малиновский, Мандельштам, Эдит и Кис-кис-кис. И повсюду, в доме и на улице, стояли миски с молоком, водой и едой.

В октябре в соседнем селении устроили вечер. Бродячий проповедник в восточном черно-белом клетчатом платке и с библейской бородой прочитал лекцию о культурной революции в Китае и показал много впечатляющих слайдов. После перерыва, когда все пили кофе, была музыка и чтение стихов, Сёльви Сёренсен первый раз читала свои стихи перед публикой. Она вышла на сцену в длинном темном платье с глубоким вырезом, волосы у нее были распущены — ни дать ни взять цыганская мадонна. Сёльви полистала две тоненькие книжицы, но оказалось, что она знает свои стихи наизусть. Понять их было трудно, в них говорилось о жемчужных облаках, лунных лучах, ладонях и медузах. И о водяных лилиях. Во время чтения глаза у Сёльви лихорадочно блестели, в низком голосе звучали теплые интимные нотки, как будто этими стихами она оказывала нам всем особое доверие.

— Очень возвышенно, — объявил органист, носивший серьгу в ухе и "конский хвостик". — Это великая поэзия, — с благоговением сказал он.

— Какое благородство! — пробормотал садовод Гутторм, надевший в честь такого события выходной костюм, и гордо расправил плечи, ему

хотелось быть хоть немного повыше. Он был на удивление мал ростом, но голова и руки у него были большие, даже слишком большие.

Солнечным ноябрьским днем, когда земля уже замерзла, но снег еще не выпал, а опавшие листья лежали холодные и неподвижные, художник вышел со своим рюкзаком на прохладный прозрачный воздух. Ничего странного в этом не было, на нем — коричневое пальто из верблюжьей шерсти и шерстяной шарф на шее, ну и, конечно, его обычная шляпа.

Однако не успел он скрыться между деревьями, как к дому подкатил "мерседес", и "подрывник" потопал в дом. Как это прикажете понимать? Наверное, самое лучшее было задернуть занавески и сделать вид, что никто ничего не заметил. Но ведь и задергивать занавески среди бела дня тоже было не совсем обычно.

Время шло.

Потом мы опять услыхали орган. И низкий мужской голос, который пел непостижимо печально и тягуче. Постепенно музыка повеселела, опера это или оперетта, понять было трудно. Ведь в ноябре, когда листва уже убрана, не так-то просто найти себе занятие на улице. Конечно, можно сгрести оставшиеся листья и ветки, можно принести домой охапку дров, пару раз заглянуть в почтовый ящик и погладить по спине кошку. А больше на улице делать решительно нечего, оставалось только откровенно предаваться своему любопытству. Потом уже мы узнали, что человек, которого мы приняли за "подрывника", был оперным певцом.

Художник вернулся домой поздно вечером, "мерседес" все еще стоял на обочине. Но уже через полчаса он уехал.

Вечером у Сёльви с мужем состоялся громкий разговор, одно окно было открыто, слышались крики и хлопанье дверью. Кошки в страхе разбежались кто куда. Наконец художник вышел и мелким сердитым шагом пошел по дорожке. Но, видимо, идти он собирался недалеко, потому что был без пальто.

Теперь по утрам выпадал иней, крыши светились светло-серым и туман между деревьями напоминал легкую вуаль. К вечеру на лес и поля опускалась тяжелая зимняя темнота, окутывая дома и сады, и только несколько редких окон бледно и сонно светились в сумерках да кое-где горели фонарики на домах и желтые фонари на столбах вдоль дороги. Над вершинами елей висел щербатый полумесяц.

Это было самое тихое время года, и сонливость была подобна параличу. Может, она одолела и художников — их было не видно и не слышно, если не считать тех редких моментов, когда они выпускали или впускали кошек. Или уезжали на грузовике в магазин.

Мариель общалась с ними чаще других.

Она пригласила Сёльви на чашечку кофе, которое они пили по-домашнему, на кухне, потом Сёльви пригласила ее, то ли на кофе, то ли на бокал вина. У них в доме так красиво, рассказывала потом Мариель, порядок, правда, не ахти какой, но очень красиво. Старинные вещи, все очень живописно и настоящие джунгли из домашних растений. И повсюду искусство: картины, скульптуры, керамика, всякие редкости, которые они привезли с собой из-за границы, ведь они много путешествовали. И еще Сёльви подарила ей янтарные серьги из России и сере-

бряный браслет из Греции, а Мариель принесла ей домашний хлеб и маринованные помидоры.

— Ничего-то я не умею, — вздыхала Сёльви, — только писать стихи. Не могу даже ребенка родить, — сказала она. — Теперь, впрочем, рожать уже поздно. Слишком поздно.

"Мариель, моей доброй соседке-мастерице, — написала она шариковой ручкой на сборнике стихов, — от Сёльви С.".

Время от времени эта самая Сёльви С. куда-то уезжала, значит, нельзя сказать, чтобы она обрела у нас полный покой. Она ездит повсюду и читает свои стихи, говорила Мариель. Вместе с одним человеком, который поет. И, верно, случалось, Сёльви возвращалась домой в старом красном "мерседесе". Певец высаживал ее без всяких церемоний, даже не выключая мотора, и ехал дальше.

В декабре, как обычно, в клубе состоялся рождественский базар. Сёльви пожертвовала несколько сборников стихов со своим автографом, а художник — свои акварели, красивые картины, изображавшие деревья и туманные виды их запруды; картины как раз, не в пример стихам, понять было нетрудно. Гутторм купил несколько сборников стихов. Он гладил и потирал их, словно у него в руках оказалась лампа Аладдина.

После базара органист пошел домой к художникам, он играл на маленьком органе так, что крыша, казалось, вот-вот взлетит на воздух, и все кошки сбежали из дому. Потом он, похожий на седого индейца, со счастливым лицом, брел по дороге домой — к своей больной жене. В конусах света, окружавших фонарные столбы, плясали крупные снежинки. Следы на свежевыпавшем снегу были похожи на длинные разбросанные буквы "s".

В начале весны сарай отремонтировали и выкрасили охрой, теперь в нем была мастерская художника. Это было их второе лето в нашем селении, и Сёльви увлеклась подсолнухами: они поднялись вокруг дома и кивали всем своими желтыми головками с большим коричневым глазом посередине. Посадил их, конечно, Гутторм, а Сёльви только поливала, если вспоминала, что это нужно сделать, и, разумеется, разговаривала с ними.

В конце лета они устроили "праздник подсолнухов". По всему дому и на улице в больших вазах стояли подсолнухи и семечки в мисках, и Сёльви прочитала несколько стихотворений о подсолнухах. Среди ночи все общество отправилось в лес, прямо к запруде, непонятно, зачем им это понадобилось. Несколько молодых гостей остались ночевать на улице, они улеглись в траве под одной из старых яблонь.

Но красный "мерседес" не появился.

Самюэль Сёренсен ходил в лес в своей клетчатой шляпе и с рюкзаком, теперь на холсте и бумаге следовало запечатлеть великолепие осени. Он похудел за лето, золотистый вельветовый костюм свободно болтался на нем, и походка перестала пружинить. Вообще же он большую часть времени проводил в сарае.

В этом году Сёльви опять читала стихи на рождественском базаре. Жители селения даже начали немного гордиться ею, раньше на базар никогда не приходило столько народу. Самюэль сидел в последнем ряду и внимательно слушал; читая, Сёльви не спускала с него глаз. Между ними что-то происходило, какой-то невидимый, но ощутимый поток энер-

гии шел от одного к другому. Люди чувствовали, как художник и поэт близки друг другу. В этом было даже что-то страшное.

Они живут вместе с ранней юности, сообщила всем Мариель. И вместе объехали весь мир.

Но их поездки на этом не кончились, только теперь они стали короткими, зато более частыми. Сёльви и ее муж ездили в больницу. Самюэля прооперировали, врачи сделали все что могли, но время было упущено. Дома они жили спокойно — никаких гостей, никакого ночного веселья. Это было непривычно и грустно, лето вдруг стало слишком тихим.

Осенью Самюэль умер.

Газеты писали о нем. Смерть Самюэля Сёренсена — это уход значительного живописца, говорилось в газетах. Точный и тонко чувствующий колорист, выдающийся мастер акварели, лирик цвета — было также написано в газетах. И приводился длинный список галерей и музеев, которые приобрели его работы. Мы были поражены, что среди нас, в нашем сонном селении жил, оказывается, такой выдающийся художник.

Ко всеобщему удивлению, Сёльви осталась жить в доме одна. Вернее, с кошками, теперь уже никто не мог их сосчитать. Вокруг нее все рушилось, она натыкалась на кошачьи миски и экскременты и перестала следить за собой. Мариель считала, что Сёльви целыми днями пьет, редко готовит обед, живет на бананах, сухарях, может быть, ест кошачий корм, спит там, где ее застанет сон. И бледная, опустившаяся, со спутанными волосами таскается по морозу в уборную на дворе. Волосы у нее вдруг стали седыми. И оказалось, что она старая.

Мариэль приносила ей еду, органист тоже заглядывал иногда и уходил, огорченно качая головой. Она гибнет, рассказывала Мариель. И не хочет принимать помощь. Говорит, что должна пройти через это, пробиться сквозь лед.

Осень была мягкая и темная. Туман грязной пеленой висел над гребнями холмов и крышами, к вечеру он густел и окутывал селение, словно влажная шерсть. Сёльви почти не зажигала вечером огня. К Новому году ветеринар занялся ее кошками, двух он стерилизовал и оставил ей. Она отнеслась к этому равнодушно. Как обычно, она совершала свои одинокие прогулки, но теперь часто ходила к запруде в лесу. Ведь никто не мог помешать ей ходить туда.

Однажды вечером Мариель нашла ее в темном доме, она сидела в кромешной тьме с кошками на коленях перед электрическим обогревателем.

— Он здесь, — прошептала она

— Кто?

— Самюэль.

Вид у нее был нездоровый.

— Все это тебе не на пользу, — сказала Мариель.

Сёльви шикнула на нее.

— И в лесу тоже, — прошептала она. — Возле запруды.

— Пойдем ко мне, — предложила ей Мариель. — А завтра вернемся и все здесь уберем.

Дома Мариель набрала в ванну воды, достала чистые полотенца, кое-какую одежду и велела Сёльви сесть в ванну. Потом она устроила для

гостьи постель в гостиной и приготовила горячую еду. И горячий глинтвейн с черной смородиной.

Несколько раз ночью Мариель просыпалась и прислушивалась к рыданиям, доносившимся из гостиной.

Плакала Сёльви, очевидно, во сне.

На следующее утро они сидели за столом со свежим домашним хлебом, яйцами, сыром и свежезаваренным кофе, и Сёльви съела несколько кусочков до того, как закурила первую сигарету.

— Как мне отблагодарить тебя? — спросила она.

— А вот как, — сказала Мариель и протянула ей гребень. — Приведи в порядок свои великолепные волосы.

Сёльви улыбнулась, это была первая улыбка за долгое время, взяла гребень, сигарету и надолго удалилась в ванную. Вернулась она с толстой седой косой, перекинутой через плечо. Сёльви по-прежнему была очень бледна, но спокойна, почти нежна.

Она посмотрела на пляшущие за окном снежинки.

— Теперь я справлюсь, — сказала она, — я это чувствую. Я снова буду писать. Писать, чтобы пробиться сквозь лед.

— Ладно, — сказала Мариель. — Но ты не сможешь писать посреди свалки, что у тебя дома.

Сёльви опять улыбнулась:

— Ты ангел, Мариель.

Понадобилось несколько дней, чтобы привести дом Сёльви в порядок.

Мариель взяла руководство на себя, она давала Сёльви простые поручения вроде таких, как полить цветы, собрать разбросанные вещи, вытереть пыль, а сама основательно занялась стиркой, уборкой мусора и объедков, орудуя щеткой, тряпкой и зеленым мылом. Она все пропылесосила, проветрила, вымыла окна и выстирала постельное белье. В конце концов они начистили медь и старинные серебряные подсвечники. Сёльви вставила в них новые свечи и зажгла их. Вскоре к ним зашел Гутторм с белым молочаем, который он не распродал на Рождество.

Они говорили о том о сем, о депрессии, вызванной зимней темнотой, об этом вечном зимнем тумане. Гутторм считал, что Сёльви следует что-то сделать с грузовиком: или продать его, или укрыть брезентом, чтобы спасти от ржавчины. Сёльви временами как будто выпадала из разговора, она наверняка думала о чем-то другом, может быть, о стихах.

После этого Мариель напекла вафель, вот этого ей делать не следовало.

Не успели вафли появиться на столе, как Сёльви схватила корзиночку с вафлями и швырнула ее на колени Мариель.

— Оставьте меня в покое! Никакой партизанщины с вафлями, черт бы вас побрал! — кричала она. — Убирайтесь к чертовой матери!

После этого она выставила гостей за дверь.

В следующие дни ее никто не видел, но по вечерам у нее горел свет. И она топила печку, тонкая струйка дыма вилась над трубой.

И грузовик был заботливо укрыт. Она накрыла его старыми пледами и пальто, в том числе пальто из верблюжьей шерсти. Грузовик стоял на обочине, и его потихоньку заносило снегом.

Снова появился старый "мерседес". Значит, оперный певец снова вернулся. И остался на несколько дней. Мариель считала, что его общество пойдет Сёльви на пользу, но Гутторм почему-то встревожился. Через три-четыре дня певец счистил снег со своего автомобиля и уехал. Сёльви стояла в открытых дверях и махала ему.

Через неделю певец снова явился, на этот раз со множеством чемоданов. Неожиданно волосы у Сёльви опять стали черными, точно вороново крыло, совсем как в прежние времена. Она надела серьги, подкрасилась, и когда они пошли на прогулку, на шее у нее красовался длинный шафрановый шарф.

Так наступила весна. Снег растаял, и грузовик снова стал виден, пальто и пледы были убраны, но на грузовике никто не ездил. Подсолнухи больше не росли вокруг дома, только ромашки. Сёльви называла их большими белыми стаями. Маленькие птички вернулись к старым фруктовым деревьям, на опушку леса, к запруде.

— Ты знаешь, что у птиц поют только самцы? — спросила Сёльви у Мариель, остановившись у садовой изгороди, она была одна. — Поют только самцы, чтобы добиться внимания самок!

Она безудержно и долго смеялась. Но Мариель, которой уже много лет никто не добивался, не нашла в этом ничего смешного. К тому же она еще не забыла историю с вафлями.

Вечером из дома доносилась музыка органа, иногда певец пел гаммы и какие-то арии. Человек может быть похож на "подрывника" и не вызывать особых симпатий, но голос у него был красивый, сильный, глубокий, что твой контрабас. Хрупкая идиллия длилась не очень долго, летом ночью в доме слышались громкие голоса, гораздо громче, чем во времена Самюэля. Сердитые крики, стук, хлопанье дверьми, падающая мебель.

Самым непонятным было то, что на следующий день идиллия восстанавливалась, рука об руку они гуляли по дороге и в лесу, как будто ничего не случилось. Но Сёльви часто ходила в темных очках, раньше такого не бывало, теперь же она носила темные очки даже в пасмурную погоду.

Зима оказалась тяжелой, тяжелее, чем предыдущая, когда умер Самюэль. Подолгу держался сильный мороз, дров у Сёльви уже не осталось, и дыма над трубой не было. По вечерам она и певец, скользя и спотыкаясь, шли по очереди в холодное отхожее место. Счастье, что никто из них не сломал ни рук, ни ног.

— Они пьют наперегонки, — мрачно констатировала Мариель.

Однажды Сёльви появилась в магазине с шишкой на лбу и в темных очках, по ее словам, она упала с лестницы.

Тогда-то Гутторм и начал совершать свои вечерние прогулки. Услыхав в доме Сёльви шум, он стучал в дверь и не сдавался, пока ему не открывали. Он хлопал по столу своей медвежьей лапой.

— Учтите, что мой брат работает в конторе у ленсмана, — говорил он.

Это заявление явно успокаивало Сёльви и певца, по крайней мере на некоторое время. Полагая, что они пьют, чтобы согреться, Гутторм принес им несколько вязанок сухих березовых дров.

Этим питьем они угробят друг друга, считала Мариель.

Сёльви больше никого не впускала в дом, особенно после того, как Мариель увидела ее с разбитой губой и сказала, что она должна выгнать

к черту этого негодяя. Тогда Сёльви велела ей исчезнуть и захлопнула перед нею дверь.

В конце зимы оперный певец исчез сам.

— Надеюсь, он провалился сквозь лед, — сказал Гутторм. — На самое дно.

И Сёльви снова осталась одна.

В доме воцарилась тишина. Гутторм продолжал совершать свои вечерние прогулки — чем ближе к весне, тем чаще. Он бродил часа два, потом уходил домой. Случалось, они гуляли вместе. Странная пара: Сёльви стройная и высокая, Гутторм низкий, на целую голову ниже ее. Но с крупными, сильными руками. Красить волосы она перестала.

Гутторм за небольшие деньги купил у Сёльви ее грузовичок, он чинил его и приводил в порядок прямо перед ее домом, машина на удивление хорошо сохранилась под пальто и пледами. Иногда Сёльви выходила из дома и смотрела на него. После ремонта они совершили на грузовичке небольшую поездку. Гутторм распахнул перед Сёльви дверцы, прежде чем сам сел за руль.

Мариель вернули былое расположение, ей даже разрешили пропылесосить дом и вымыть окна. Сделать что-нибудь для Сёльви считалось особой привилегией. Сёльви то одаривала Мариель цветами и растениями из садоводства Гутторма, а то проходила мимо ее дома, игнорируя обращения и призывы Мариель. Она пребывала в ином мире. И умела выразительно захлопнуть за собой дверь, если ей не хотелось ни с кем разговаривать.

Гутторма она впускала всегда.

Дело не только в его руках, думала Мариель.

Это лето оказалось последним для Сёльви.

Все началось с кошек, тех двух, что еще жили в доме, это было как предупреждение. Вскоре после Иванова дня одна из них исчезла — старый, полосатый кот, толстый, неповоротливый, давно уставший от жизни. Сёльви искала его, но безрезультатно. Никому не под силу найти старого кота, который спрятался, чтобы умереть. Через несколько недель пропала и вторая кошка, тоже бесследно.

Несколько вечеров Сёльви простояла на крыльце, зовя ее.

Лето шло к концу, в лесу уже пахло осенью. Сёльви и Гутторм совершали послеобеденные прогулки, они проходили мимо садоводства, шли в лес к запруде. Лилии уже закрылись, их листья вывернулись, как всегда осенью, словно устав от солнца и лета. Уже появились грибы, однажды Сёльви нагнулась, чтобы сорвать гриб, но вдруг схватилась за голову и прислонилась к ели. Гутторм спросил, что с ней.

— Голова закружилась, — ответила Сёльви.

Словно свеча погасла, говорил потом Гутторм.

Сёльви опустилась на землю под елью, может быть, под одной из тех, что писал Самюэль, свернулась клубочком и тихо скончалась в объятьях Гутторма.

Многие боялись, что после Сёльви ее имущественные дела не в порядке, но они ошиблись.

Дом не был заложен, все счета были оплачены, на счете в банке лежала немалая сумма. С обратной стороны каждой картины была прикреплена бумажка с именем и адресом того, кому она предназначалась. Было найдено и завещание, оно было составлено совершенно правильно, в присутствии свидетелей — все как полагается.

Образцовый порядок среди хаоса.

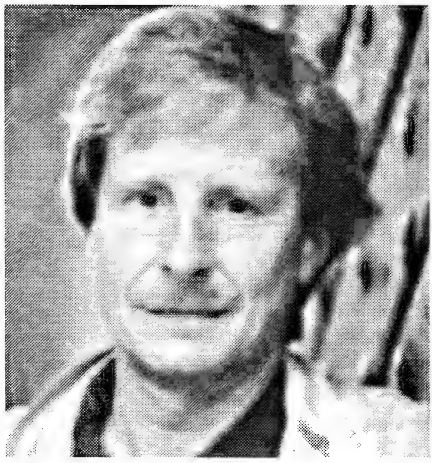
Без Сёльви стало удивительно тихо. Несколько месяцев дом простоял пустой, пока в него не переехало небольшое семейство, которое тут же заразилось нашей сонливостью и вообще ничем от нас не отличалось. Оно почти растворилось в тумане.

Загадочным образом художник и Сёльви как будто продолжают жить среди нас, объяснить это трудно, это просто такое чувство. Их нет уже много лет, но мы продолжаем их видеть, мы слышим, как они проходят мимо. Дом, между прочим, уже не коричневый, теперь он стал красным. Но что нам до того.

Красный так красный.

Шум летних праздников, смех, звуки органа, кошки. В лесу мы теперь иначе смотрим на ели, они как будто принадлежат художнику. Мы видим его деревья или видим их его глазами. Так же как запруда с лилиями принадлежит Сёльви. И сумерки. И песнь пернатых самцов.

Хьяртан Флёгстад



Дорога на запад

Перевод Т. Шенявской

ТЕЛЕФОН зазвонил в середине первой главы, там, где Морган Кейн скачет через лес и впервые видит Томбстоун.

Было так тепло, что я сидел с открытым окном и читал, высунув локоть и подперев голову левой рукой. Я положил книгу на сиденье, вылез из машины, подошел к желто-зеленой телефонной будке и взял трубку.

В "Викинге" срочно хотели такси к главному входу. Я повесил трубку, вернулся в машину и поехал по улице Розенкранца и по Карл Юхан в гостиницу.

Едва я притормозил у входа, выскочил портье и попросил меня припарковаться на стоянке, потому что клиент сидел в ресторане и хотел договориться со мной о дальней поездке. Я переставил машину и включил счетчик.

Он пил кофе в полном одиночестве. Увидев меня, закричал через весь зал, спросил, не хочу ли я присоединиться. Я тут же решил, что он, должно быть, моряк и демократ, и согласился.

Когда он объяснил, куда ему нужно, я ответил, что это встанет ему в тысячу триста крон.

— Не имеет значения, — сказал он, — мне нужно быть там сегодня вечером, до половины одиннадцатого, и если ты справишься, то получишь 500 гудбраннсдалеров сверху.

— Если вы имеете в виду 500 крон, то водила наверняка справится, — ответил я, — но тогда мы должны поторопиться и выбраться из города до пробок.

© Kjartan Fløgstad, 1972
© Т. Шенявская. Перевод, 2005

— Иди в машину и жди, я схожу за чемоданом, — сказал он, оставляя на столе сотню крон чаевых.

Я выключил счетчик и ждал. Он вынес чемодан, а в правой руке держал коричневую кожаную папку. Он был с непокрытой головой, в темном костюме, с распущенным галстуком. Морган Кейн как раз поставил свою лошадь в конюшню, когда я отложил книгу и завел машину.

Останавливаясь у очередного светофора на Драмменсвейен, я видел в зеркало, как он спокойно сидит сзади и расслабленно смотрит в небо. Вещи он поставил в багажник и поэтому вальяжно расположился посреди сиденья, расставив ноги и скрестив большие руки.

В Сандвике он сказал:

— Черт, мне нужно купить пива.

Я припарковался у супермаркета. Он попросил меня подождать в машине, а сам пошел в магазин.

Он притащил два ящика пива — по ящику в каждой руке.

— Тебе нравится Луи Мастерсон? — спросил я, когда он поставил ящики на сиденье.

— Что? — переспросил он.

— Тебе нравится Луи Мастерсон? Морган Кейн?

— Никогда о таких не слышал. Нет.

Первую пустую бутылку он выбросил из окна машины в Лиербаккане. Ящики стояли на сиденье рядом с ним, и он поочередно доставал по бутылке из каждого.

Я проехал через Драммен и направлялся по E 76 в Недре Эйкер, когда ему в первый раз понадобилось отлить. Он уже выпил две или три бутылки и на несколько минут снова отлучился за склад, что стоял у дороги. Вернулся, на ходу застегивая ширинку, ему в спину светило большое закатно-красное солнце.

Он непременно хотел ехать через Конгсберг, поскольку служил там в армии, но я отказался ехать по Хейстадской пустоши. У нас нет времени, пояснил я, и, когда мы ехали дальше через Мехей, он захмелел и стал распевать норвежские шлягеры двухлетней давности.

— Два года на Востоке, подумать только, — сказал он, кончив петь.

Между Нутоддеиом и Сельюр он три раза выходил по нужде. В последний раз он заснул в траве прямо у Флатдальского моста, и мне пришлось тащить его в машину.

Первые мили после этого он спал между ящиками на заднем сиденье. Я уже миновал Сельюр и ехал по направлению к Моргедалю, когда он проснулся и сказал, что проголодался.

В Хейдалсму мы зашли в кафе при недорогой гостинице. Его разочаровало меню: в нем не было ничего дороже 12 крон. Мы взяли по шницелю и сели за столик. Он поглощал свой шницель и при этом болтал не умолкая, да так громко, что все в зале и на кухне были обречены слушать его речи.

— Я был в похожем баре в Сингапуре, сидел и трепался с одной из девиц, которые там работают. За границей я прибегаю к английскому лишь в самом крайнем случае. Поэтому сначала я спросил, говорит ли она по-французски. Она не говорила, и я по очереди перебрал все языки, которые знаю, но девица не поняла ни слова. Наконец, я обратился к ней по-английски:

— Do you speak English?

– Yes, a little, – ответила дама.

– But how much? – спросил я.

– Five dollars[1], – ответила она.

– Ты когда-нибудь слышал подобную глупость? Подумать только. Five dollars.

В кафе установилась мертвая тишина, потом он засмеялся своей же истории. Пока он смеялся, я доел свой шницель. И тогда он спросил, что́ я буду на десерт. Но я ответил, что должен кое-что найти в машине, и вышел на улицу.

Уже смеркалось и Морган Кейн направлялся из отеля "Бенсон" в бар "Золотое кольцо" в поисках Караджо Адамса, когда он появился на ступеньках кафе. Я отложил книгу на сиденье и открыл дверцу машины, он уселся между ящиками. Чуть позже мы выехали из Хейдалсму на запад.

В ящиках еще оставалось немало пива. Через три часа Анита узнает своего парня, который два года провел на Востоке у китайцев. Это он повторял всякий раз, открывая бутылку. Он пил и пил и выходил по нужде на каждом повороте. Я ехал как бешеный – ради каких-то пятисот крон, – а он, казалось, саботировал наши договоренности и во время остановок уходил все дальше от машины.

Я уже почти потерял всякую надежду справиться со своей задачей, как вдруг где-то между Вогслид и Хаукелисетером он заснул. Был поздний вечер, совсем темно, встречных машин мало, и я смог развить хорошую скорость на этом новом шоссе через горы.

Пиво ли было причиной или виражи, или все вместе, не знаю, только у старой сыроварни в Рёльдале он высунул голову из окна с правой стороны машины и начал блевать.

Часы на щитке показывали ровно девять. Я спросил его через плечо, ехать ли мне дальше, чтобы он попал на место к половине одиннадцатого, или мы сделаем остановку в Рёльдале.

В ответ он хрюкнул что-то в том духе, что я должен продолжать ехать, потому что ему непременно нужно добраться до половины одиннадцатого. Когда мы ехали через Рёльдал и дальше в Хордаланн, я слышал, как его несколько раз сильно рвало. Но на бесконечных хордаланнских подъемах мне пришлось сбавить скорость, и он успокоился, хотя время от времени и постанывал.

Дорога на последнем перевале была скверной, но я видел огни встречных машин на расстоянии мили, так что мог держать скорость и думать только о том, как бы не съехать на обочину.

Все это время он в тяжелом похмелье сидел на заднем сиденье и тупо смотрел в темноту перед собой.

Мы приехали в десять минут одиннадцатого. Ночь над городом была совсем белой от дыма, поднимавшегося из труб больших фабрик. Когда мы подъезжали к центру, ночное небо вдруг озарило пламя.

– Шлак заливают, – сказал он. – Третья смена заливает шлак в больших канавах за доменным цехом.

Я спросил, куда мне везти его теперь.

1. – Вы говорите по-английски?..
– Немного...
– Немного это как?..
– Пять долларов... (*англ.*)

— Поезжай к кафе, черт возьми, — ответил он. — Мне нужно заправиться, пока еще не прикрыли продажу пива. Кафе закрывается в одиннадцать, но в последние полчаса пиво продавать нельзя. Тогда Анита перестает обслуживать и начинает мыть пол в кухне. Теперь понимаешь, почему мне нужно было быть здесь в половине одиннадцатого?

Я поднялся с ним, чтобы выпить чашечку кофе. Кафе находилось на втором этаже, прямо с улицы в него вела винтовая лестница.

— Ба, черт меня побери, да неужто Освальд! — раздался крик, как только мы поднялись в кафе.

— Привет, — ответил Освальд. — А где Анита?

Мы пошли и сели за столик к кричавшему парню.

— Что это за типа ты с собой привез?

— Это? Ужасно хороший парень. Мой шофер. Он, черт возьми, привез меня из Осло и получит... Сколько я там тебе должен?

Анита шла от стойки, держа по большому стакану пива в каждой руке. Она что-то сказала на своем диалекте, поставила стаканы на стол и скользнула в объятья Освальда.

— Всего тысячу восемьсот, — ответил я.

Освальд с целующей его Анитой на коленях пытался найти деньги в заднем кармане.

— Вот, возьми, — сказал он и отсчитал две тысячные бумажки. — Сдачи не надо. У кого еще пустые стаканы? Пиво для всех! Чертовски классный парень этот шофер. Хорош кореш.

Анита пошла назад к стойке и вернулась к нашему столику с подносом, уставленным стаканами.

— Но ведь уже больше половины одиннадцатого, — произнес я.

— Вы только послушайте этого из Осло, — сказала Анита.

Когда забегаловку закрыли, вышла Анита и спросила, не хотел бы я встретиться с ней в четверть двенадцатого. Освальд сидел на стуле, запрокинув голову, и храпел.

На улице было пусто и тихо. В подворотню падал свет от колбасной лавки. Я слишком устал, чтобы ехать в Осло в ночь. И был не прочь переспать с официанткой. От машины пахло блевотиной.

Я подождал, пока Анита появится под белой неоновой вывеской "Кафе", потом завел машину и подкатил к ступенькам. Гостиница находилась на той же улице, в трех кварталах.

Машину пришлось оставить немытой до утра. Нам отвели комнату на самом верху. Из большого окна я мог видеть крыши домов на другой стороне улицы, прямо до того места, где две реки встречались и, прежде чем влиться во фьорд, делили гавань на две. В устье я видел огни, дымящиеся трубы и голубые газовые факелы на крышах больших заводских зданий.

Анита была что надо, но шум ночной смены на фабрике мешал спать. "Это ковш портального крана, там добывают известняк", — протянула Анита, засыпая. Я встал с постели, сел в кресло и читал при слабом свете торшера, но незнакомые металлические звуки постоянно прерывали чтение. Прежде чем я заснул, комнату трижды осветил желтый свет, исходивший, по словам Освальда, от самосвалов, сбрасывающих шлак за доменным цехом.

— Кейн!

Он обернулся. Черт возьми — она бежала за ним.

Кейн резко остановился. Но стоя в мягкой темноте, он чувствовал горький запах пороха от револьвера и правой руки.

— Вы... Вы не можете вот так взять и уйти! — кричала Анита. — Никогда не уходите от меня так, слышите?

Кейн с силой схватил ее за плечи.

— Держись от меня подальше, — тихо и холодно сказал он. — Слышишь? Не подходи ко мне!

— Заткнись! — вспылила она. — Не смей так со мной разговаривать. Я тебе не какая-то уличная девка!

— Но ведешь себя точно как шлюха. Я должен идти. Прощай!

— Ты бежишь, — кричала она ему вслед, — сбегаешь. Ну, беги же! Но мы еще встретимся. Слышишь, что я говорю? *Мы обязательно встретимся!*

Жажда мести кипела в его черной душе.

Ханс Хербьёрнсрюд

Юханнес Хёуге, 63 года, крестьянин

Перевод Екатерины Чевкиной

5 января 1948 года

Ты вот хоть видишь меня. Ты хоть слышишь меня. Понимаешь меня, что я говорю.

Сама-то сказать не можешь.

Дак толку-то — глядеть на меня.

Не был бы взор твой солнцем, что на меня подымаешь и мир даруешь.

Не смог бы тогда я с тобой говорить, ровно с Исусом в молитве.

Я ведь с Исусом одним и могу говорить.

Да с тобой вот.

Надежно с тобой.

Чую в себе — сдюжу, расскажу тебе все, что ведаю, во что верую.

Глядишь на меня, а не истребляешь.

А не то не сияла бы ликом вот так надо мной.

Знать, понимаешь меня.

И от меня не прячешь, что понимаешь.

И в меня не врываешься, не сокрушаешь.

Я это я, я сам — когда я с тобою.

Потому-то и хочу от тебя участья.

Так-то вот и Исус глядит на меня.

Он с лаской, Исус, глядит на меня.

Но его любовь не страшит меня.

© Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1979
© Екатерина Чевкина. Перевод, 2005.

Христова любовь — надежная.
А промеж людей вражда надежней любови.
Не то, коли ты со мною.
Оттого что с лаской глядишь на меня.
Хорошо, что зашла ко мне, навестила.
А уж я-то назад тебя провожу в богадельню, пока не смерклось.
Будь благонадежна.
Тут нынче у нас надежно.
Я же нынче тебя и позвал, покуда Сюнневе в Шиене у нашей Кари.
Да ну ее, Сюнневе.
Я про дочку должен тебе сказать.
Ведь она у нас единственная.
Кари.
Да как расскажешь.
Задрожишь, как пуганый конь, едва помыслишь.
Знаешь, Кари у нас отобрали.
Забрали девочку прямо из рук из моих.
Кари-то в Шиене.
Туда увезли ее, в Шиен.
А правду сказать — дак выкрали.
Отняли у меня.
Говорить теперь не с кем, разве только с Исусом.
Раньше-то с Кари.
А нынче с Исусом одним.
Да с тобой вот.
Ты тоже ясное солнце.
Дак не знаю вот, как расскажу тебе.
Пусто стало в избе без Кари.
С нею бывал я полон и сам собой и Исусом.
А тут ворвались — ее отобрали.
Опустело во мне и в дому опустело.
Теперь они и в меня ворвутся.
А что с меня взять?
Разве меня самого возьмут тогда, сокрушат.
Вся притча вышла в прошлом апреле.
Собираемся, стало быть, к Сиону к воскресной.
Кари-то вышла заране.
Она в хоре поет.
Глядим — во дворе стоит Карин учитель.
Да не то чудно́.
Ну зашел во двор Карин учитель, мало ль.
Он ведь сосед нам.
Живет вон в доме зеленом в логу за бугром, где кузня.
Нет, отселе не видно.
Видишь осину?
Там за сосной, что за гривкой, ага.
Дак осина — она уже на его подворье.
А штырь вон тот не его уже, с горшком с цветами-то, не его он.
А начальника скотобойни.
Дак вот он самый и есть учитель.
Встал у нас во дворе и молчит.

Встал и смотрит на клумбу.

Он как пришел, так у клумбы и встал и глядит.

А кроме крокусов, что там глядеть-то?

Остальное пока в земле сидит, дожидается часа.

А чудно́ другое — что учитель стоит.

Как пришел, так и встал.

Как пришел, так встал и стоит, и без легавой своей — вот тоже чудно́.

А что учитель у нас на дворе — дак ладно.

Я ж говорю.

Он почитай что в неделю раз идет через нас да по выгону в сосняки со своей легавой.

А тут вот явился и прямо к крыльцу — я и думаю, мол, чудно́.

Он ведь пишет в газетах, учитель.

Стихи.

Чего ему в сосняках-то?

Подумай, хорошо ли, коли всякий станет шататься без дела да шастать туда-сюда, а чего шастает, сам не знает.

Тут у нас не всем понравилось.

Потуда у нас тут не поняли, что он за штука, этот учитель, покуда он бородищу не сбрил и не растолковал нам, что, мол, ходит туда свою легавую для охоты натаскивать.

Мы одно и поняли: не наше дело эта охота.

Нам времени нету.

Да нету денег таких.

Легавая, она же сто́ит как новый плуг, не меньше.

Да и зачем она нам, легавая-то собака?

На птицу мы тут не охотимся.

Да как на нее охотиться?

Тут у нас вокруг ни у кого и собаки-то нету легавой.

Ну коль уж из дому выйдешь, дак поздороваешься и с учителем, пока он проходит.

Да еще потолкуешь по осени, как зайдет за дорожным сбором.

Он, учитель, у нас сколько лет как уполномоченный насчет этого дела.

Ну да и правильно.

Дак вот, говорю, чудно́, что он остановился и стоит, и как стоит, чудно́, и что стоит без собаки.

Новое дело, глядим, и странное, и не очень нам это нравится.

А он стоит — не уходит, видно, дальше собрался стоять, так и быть, думаю, выйду.

Выходи к нему! чей-то голос грозно так говорит во мне, или сам я сказал себе самому.

Потому я тут в усадьбе хозяин и все решаю.

Мое это дело, а Сюнневе только скажет мне, как да что.

Просто мысли мои у нее в голове, а от ней переходят ко мне, и я сам их думаю.

Да ну ее, Сюнневе.

Дак вот, выхожу к нему, поздоровался, подошел, разговариваем.

Только с ним разговаривать, вишь, дело нелегкое.

Как под бурей стоять.

Перво-наперво — он рабочий партеец, в коммуне у нас заседает.

А то кабы не социалист.

Нас с Торкелом Хёуге прямо обсели эти рабочие.

Боязно, когда кругом такой народ.

А хуже, что я как окажусь среди них, так и сам обращусь в рабочего.

А там, глядишь, сам себя и прикончу.

Ведь рабочие вон засели и тут и наверху заседают, при власти они.

А чего заседают, знаешь.

Заседают, чтобы землю у нас отобрать.

Экспроприировать называется.

Наш председатель союза крестьян меня вразумил:

Мол, держите, крестьяне, ухо востро, не то эти быстро с вами управятся.

Так и сказал.

Вишь как вышло у Торкела-то с Северянкой.

Так все и начинается.

Ненадежно все, и нету у нас надежды.

Вон погляди, что в газетах пишут.

Радио послушай.

Вишь, город растет и растет — скоро всех нас пожрет.

Вишь, дымищем-то солнце застит.

Это всё социалисты норовят отобрать у нас свет и небо и Бога.

А мы истаем, что твой дым из фабричной трубы.

Только что нам, крестьянам, бояться.

Мы как повозки — не сами собой правим.

Когда их явятся — тогда и явятся, зароют нас в землю к чертям собачьим и пущай себе ходят на головах, и пашут, и пажити наизнанку переворачивают.

Мы же дети Божьи и наследуем землю.

Ты вот хоть видишь меня. Ты хоть слышишь меня. Понимаешь, что я говорю.

Только сказать не можешь.

Дак и ладно, что глядишь на меня и видишь, что видишь.

Ты же не вор, что вламывается и крадет.

Ты сама даруешь.

Дак я про того учителя.

Я, как он режет мне все напрямки, весь полый делаюсь и пустой.

Так у него все коротко-ясно — будто ветром тебе голову просквозит, все мысли полопаются.

А уж голос его как песком продерет, мясо с костей оборвет, голый скелет стоит-свищет под ветром.

Потому толковать с ним — разве о ветре, да погоде, да о всяком разном.

Так я речь и повел.

Постояли мы, потоптались, побалакали маленько о ветре да погоде.

Под конец ничего я лучше не выдумал, как заходи, что ли, в избу, кофейку попить.

Последнее сказал, что осталось в загашнике.

Вот и тебе говорю.

Знать бы, что он меня на слове словит.

У него же страсть как всё напрямую.

Дак вот и пришлось зайти с ним, зашли и сели в избе, и понесло меня снова-здорово рот разинуть и заново про погоду да ветер да урожай, пока Сюнневе кофе варит, на стол накрывает.

Я же сам при людях не стану.

Хорошо с тобой говорить.

Расскажешь тебе и наполнишься.

Все равно как Исусу все рассказать за молитвой.

Насытился я, наполнился мной и тобой.

Так вот точно и с Кари.

Дак учитель-то недолго думая и завел насчет Кари.

Кари-то, знаешь, ходит в старшую школу.

Хоть ей скоро семнадцать.

В летошний год Кари все болела.

Так что в школу мы ее не пускали неделями, а то месяцами.

Да с ней возиться нам только в радость.

До того она кроткая, да ласковая, да смирная, да покорная, будто никогда иной и не бывала, все такая, как мы просили.

И в школе она успевает — что ты.

Вот учитель ее и нахваливал.

Уж так, говорил, все предметы знает.

А сочинения сочиняет, говорил, ну прямо у вас она поэтесса.

И старается, говорил, интересуется.

Только, мол, слишком уж тихонькая да скромная.

Так, будто что с ней неладно!

Но этой весной, говорит, словно все у Кари пошло поперек.

Учитель сказал — со словесностью прямо беда, молчит как язык проглотила, не успевши сказать, замкнулась, говорит, заперлась изнутри.

Сочинения теперь у нее — что закрытые двери.

Слышишь, дескать, внутри там что-то тычется-мычется, а что деется — никому не видать.

И никак ему к ней, говорит, не подобраться.

Идет девочка, как по тонкому льду.

И вдруг ледок тот под ней и тресни, и она будто в промоину провалилась, и как закричит-заругается черными словами, бьется-дерется, будто жизнь свою спасает.

И ровно от воды ледяной, свело ее.

Сжалась, окоченела.

И утопла, канула камнем на дно.

Так учитель сказал и еще много чего.

Так у него выходило, будто кротость ее и скромность еще хуже, чем буйство.

И рассказал мне учитель случай.

Я запомнил — слово в слово.

Сочиняли ученики сочиненье.

Тема такая *Уютный вечер дома.*

В классе тихо.

Как положено.

Только бумага шуршит, да перо скрипит, да ноги перетаптываются под партами.

А еще капли из крана кап да кап в раковину — минутка к минутке считают.

От этого звука тишина еще тише.

Так точно, помню, и у нас было в школе-то.

Дай-ка мне свою руку.

Нужно мне.

Вот так.

Дрожит рука-то.

Как поток бежит из тебя в меня.

Наполняет меня.

Сухое русло свежей водицей потекло.

Да твой поток меня не потопит.

Так Исус меня наполняет своею лаской.

Так вот и Кари тоже, покуда с ней худа не приключилось.

И вот стоит, значит, тишина у них в классе мертвая.

И слышит тут учитель, словно кто лопочет-бормочет, и скоро понимает, что это Кари.

Она не пишет.

А сидит пялится в пустоту закаменелыми глазами и жужжит тихонечко себе под нос.

И личико беленько, будто скорлупка.

Учитель класс кругом обошел, к Кари сзади подходит и встал и стоит.

А Кари ухом не ведет.

Знай бормочет как зарядила:

Исус разразил Кари Коряжку. Исус разразил Кари Коряжку. Исус разразил Кари Коряжку. Во как сказала.

Понимаешь, мне хоть кому бы поведать как было.

Ты одна у меня.

Вот струишься в меня.

Учитель нагнулся над ней потихоньку и спрашивает ласково, что, мол, с тобой.

Тут она как вздрогнет, как вскинется, вскочила из-за парты и стоит.

И поднялась-то, мол, как не сама.

Словно кто в ней поднялся внутри и поднял ее — искал пробиться наружу.

Это из Кари-то, что всегда была такая кроткая, такая умница.

А тут как сама себя разорвать наладилась.

Дескать, будто другой человек пророс сквозь нее и рвется на волю из девочки этой кроткой и тихой, что вечно сидит за партой бледная-квёлая, как осенняя вялая травка — так и сказал.

Рванулась, сказал, сама из себя изо всех своих сил, поднялась и восстала, будто на битву не на жизнь, а на смерть.

И такая веселая, что даже, мол, засмеялась.

Хохотом так и заходится.

Такая стоит счастливая — пальцы распялила, руки раскинула, будто бы крылья — сейчас улетит.

Видите, есть место в жизни и для меня тоже! — хохочет.

Тут оно и случись.

Застыла она.

Руки застыли и тело застыло и упала на грудь голова, точно спелое яблоко.

Так стояла она, раскинув застылые руки, распятая, словно мерзлый труп, говорил учитель.

И вышел тут вопль у нее изо рта — длинный, изгибистый, переливчатый, будто бы змей.

О, этот вой ее, змеевой сатанинский!

Криком крик выходил у нее изо рта.

Она не пускает, а вой этот сам так и рвется из горла, рот разрывает и лезет наружу.

И покуда стояла и выла, сама пошатнулась и грянулась навзничь — руки крестом — и телом застылым об пол.

Грянулась на пол, учитель сказал, будто рухнуло дерево.

И тело сделалось как деревянное.

А вопль у ней в зубах зажат.

И вот лежит на полу, как стояла за партой, раскинув руки, раскрыв ладоши.

Другие ребята с мест повскакали, подлетели, вокруг нее сгрудились.

А она лежит, как пригвожденная.

Ученики столпились вокруг и головы тянут, поглазеть.

Учитель рассказывал, будто стоишь на закраине льда и видишь Кари на дне в глубине в омуте.

Тут он хлопнул в ладоши, мол, всем разойтись, всех повыгнал на переменку.

Остался один подле Кари, склонился над ней и стал говорить с ней душевно и ласково.

Так он, по крайности, сам мне рассказывал.

Называл, говорит, ее всяко по-доброму, по-хорошему и гладил по лбу тихонечко и по плечам — по рукам ее каменным.

От слов его да от ласки она оттаяла.

Глазами его нашла, подобралась и опомнилась.

Тут учитель с уроков ее отпустил, ранец надел, пальтецо, мол, ступай-ка домой.

И в окошко смотрел, как она прошла мимо ребят, шмыг за калитку и домой поспешает.

Вышел тут он на крыльцо, хлопнул в ладоши — школьники в класс опять побежали сочинение дописывать.

Дак и правильно.

Кари-то вещи свои забрала.

А на парте листочек остался.

Тот листок учитель принес и прочел мне, что она написала.

Вот чего:

Я кукла из дерева.

Всю мою жизнь я вдохнула в Кари Коряжку.

Она жизнь мою зажила.

Давеча Исус разразил Кари Коряжку.

Ныне должно мне, кукле из дерева, родить дитя.

Но как родить мне, кукле из дерева?

Для того небо должно распахнуться.

Для того чудо должно совершиться.

Учитель сказал, ничего-то он не поймет, что Кари понаписала.

Одно только понял — захворала Кари и надобно ей помочь.

Наше, мол, дело родительское, вернуть ей покой и веру в себя, чтобы могла развиться в нормальную женщину, — так и сказал.

И так и всяко дальше.

Его послушать — это с нами самими что ненормально.

Сам говорит, а из глаз так и пышет злоба рабочая к нам, крестьянам.

Кари-то заболела, твердит, ей помощь нужна — не раз повторил.

Я аж обрадовался, как услышал.

Что, Кари не злая, не скверная.

Она умница, заболела только.

Как услышал я — заболела, то смог я к ней духом смягчиться.

Смог я ей помощь подать.

Кари и помогло.

Назавтра все это зло от ней отлетело и стала со мной она такая смиренная, такая кроткая, как она одна и умела.

И было так много месяцев.

Всю весну и лето и осень такая ходила.

А к Рождеству взбесилась и злом одержалась.

Теперь-то она не хворая.

Теперь она — злом одержимая.

Ее у нас и отняли потому, что хотели мы выгнать прочь из нее это зло.

Учитель сказывал, это зло у нее от болезни.

А я-то видел, болезнь ее ото зла.

А ведь Кари-то было до́лжно стать человеком добрым.

Внутри у ней было Древо жизни.

Она росла, и деревцо ее в ней подрастало.

Знаешь, Кари ведь тридцать первого года.

Нынче будет семнадцать.

Той весной как она народилась, посадил я у дома другое дерево.

Старый-то дуб, что у дома рос, морозом побило.

Видим весной почки на дубе — ледышки голимые, играют-тают на солнышке и каплют наземь.

Все лето стоял он, дуб, черным-черный.

А как Кари явилась, я срубил его, а на место вон яблоньку посадил.

У других во дворе, вишь, у кого дубок, у кого кленок, у кого ясень, у кого и березка.

А мы во дворе посадили яблоньку.

Чтобы стала Кариным Древом жизни.

Чтобы жизни их росли-срастались.

Яблоня долгие корни пустит, до подземной воды дотянется, а ветвями обнимет небо.

Кари станет расти-подрастать — с деревцом своим посередь двора красоваться.

А как взрослая вырастет, взлезет на яблоньку на свою за спелыми яблочками.

Вот как, я мыслил, жизнь ее ляжет.

Слышишь меня.

Нам уж было по сорок, когда Кари у нас появилась.

Много лет тут одни промыкались, ждали ее, когда припожалует.

Все те годы один Исус мне был собеседник.

Я жил бессловесно, безответней скалы на чужое слово.

А в немотстве мучиться нет хуже муки.

Ты-то знаешь.

Слово-то камень.

От слова мне нынче тяжко.

Ты хоть не видишь меня, а словом своим меня полнишь.

Слова твои — грузные камни: самому без подмоги наверх не поднять, не вынуть наружу.

А ежели эдак вот поглядишь — так, может, и сдюжу.

Ведь если сейчас же не выговорюсь, лопну, как тролль, у тебя на глазах.

Слова твои камни.

А слова у Кари были пламень огненный.

Первый-то год Сюнневе все стояла ее берегла-стерегла.

Сюнневе — она большущая, высокая да светлая.

Станешь большой, она ведь сосет в себя весь свет окрест, а назад испускает темную свою волю.

А воля ее простерлась на всякое дело, что ни есть на подворье.

И мою силу тоже берет в оборот.

Я ее чуть завижу — враз и устану.

Стану усталый, пустой и черный.

Воля ее свет поглощает, тьму излучает.

Домом да хлевом она небрежет, а все на подворье да поле норовит, будто мужик.

И пашет и сеет и жнет.

Да ты знаешь, какая она.

Хорошо, дозволяешь про это поведать.

А она и слова мои умаляет.

Велика она для подворья.

Обиходит усадьбу вдоль-поперек, и все ей неймется.

Голые руки у ней загорелые — идет, мышцы играют, что у вояки.

Все на солнце стоит.

Солнечный свет собирает, в себя сосет.

А обратно свет не пускает.

Всюду потом темно да черно, где она ни пройдет, будто столп огненный.

Живу я под черным солнцем.

Но Кари у нас появилась.

Сюнневе все ходила с младенцем.

Никто, мол, не разлучит их.

Обе две — лоб в лоб и глаза в глаза и телом к телу прильнули.

Тень от матери упала на Кари.

Темень к ней под кожу прокралась.

Тело сделалось черной тенью в этой темени.

Тут ведь всяко бывает — место дикое, бесы рядом.

Никому и не видно, что приключилось.

Меня же кружила навья жизнь вокруг по полям, по борам, по болотам.

Я слышал шелест ее и шорох.

Я слышал шепот ее и бормот.

Тысячи голосов у пустыни.

Там всякая вещь через меня говорить норовила.

А Кари выучилась ползать, поднялась на ножки.
Скоро сама заковыляла.
И дальше пошла, и дальше, сама, без подмоги.
А однажды как побежит.
Тут в глазах у ней загорелось, она засмеялась.
Но меня не видала.
Бежит сама по себе между мною и Сюнневе.
Глазки светятся.
Голос ее я слышал в дальних лесах и полях, куда сам спасался.
Смех ее мешался с шорохом леса.
Устрашился я.
Не человек она покуда.
Но все в себе носила.
Ничем была.
Но все в ней искало жизни.
Вот ведь что опасно.
Ветер ли налетит, обнимет ее.
На ветру закружится.
Крича, была она криком.
Смеясь, становилась смехом.
Была птицами, была рыбами и всякими тварями.
Была деревами, цветами и травами.
Сто тысяч тварей держала в себе, что прут наружу, желая ожить ее жизнью.
Всем была, чего видела.
И глаза ее в темноте светились.
Выгибалась, как кошка.
Извивалась, как змейка.
Из-под рук ускользала у Сюнневе, будто тела и не имела, а была как вода или воздух или огонь.
Сюнневе все тянулась ухватить ее, упрятать в черную свою темень.
Не дитя будто воспитывала, но боролась с тыщей непокорных тварей, у всякой свой норов.
Кто ластится, кто когтит, кто вьется, а кто и жжется.
Кари была целый лес.
А могла обернуться лесным пожаром.
Или бурей.
Я хаживал лесом-то.
Лес — ведь он не таков, как глазам себя кажет.
Закрой глаза.
Да послушай.
Лес — он такой, как сон, когда снится лес.
Сны ведь ночами идут к нам лесом-болотом.
Лес — он такой, как мысль, когда мыслишь о лесе.
Теперь я сильный.
Теперь у меня твоя крепь.
Ты слышишь меня.
Ты не видишь меня.
Все равно говорю.
А ты не смотри.
Лес мне снится всякую ночь.

А в лесу том дерево полое.
Кора что скорлупка, а внутри ничего.
Ветер дохнет — повалит.
Коли вспомнишь, вспомнишь не стволья берез по мшарам.
А будто руки костяные тянутся к небу.
Трупы!
Где они, трупы?
Только костлявые руки, воздетые в небо, и слезы в глазах мочажин и рыжий упрямый волос осоки на мшарах.
Погляди на ручье на бобровую перепруду.
Погляди, а на меня не гляди.
Видишь, ветки навалены ворохом друг на дружку.
Кора до хряща обгрызена.
Это ворох костей лежит на костях поперек ручья.
Что там он делает со своими детьми?
Бросает в общую яму.
Лес мясо ест.
Лес мозг сосет из костей.
И водица сочится по косточкам.
И ветер свищет в пустую кость.
А вокруг стоят дерева.
Корни лучатся, как черное солнце, и тянутся-ищут мертвых, чтобы жить себе дальше в подземном мраке.
Лес — это место такое, где все проживает во всем.
Все встречается там, перепутывается.
Кари была огромный лес.
А до́лжно ей было стать человеком.
Нельзя было сделаться лесом.
А до́лжно — древом.
Бог ее сотворил.
По образу своему подобью.
По естеству своему.
А она обращалась из пламени в воду и в пламя обратно быстрей, чем одно сновиденье скользнет в другое.
Текла и пылала.
В ней жизнь бесновалась.
В ней все шуршало-шептало, урча-бормоча, единым лесом.
Она была бурей и деревьями в бурю.
С этим мне до́лжно было покончить.
Жизнь распирала ее, разрывала.
Но я же отец.
Мне же до́лжно перетворить ее в человека.
По образу моему подобью.
Она была лес.
А должно ей стать древом у дома.
Как-то в пятницу отправилась Сюнневе сестру повидать.
На несколько дней уехала.
Кари осталась дома со мною.
Возвеселились мы, свидевшись.
В ту пятницу я о ней-то и позаботился.

Она сразу сделалась смирная и кроткая и все глядела на меня и ходила следом.

И вот пошли мы с ней рука об руку.

Кари да я.

Перво-наперво мы в сарайку зашли, топор забрали.

Ножны-то с ножиком завсегда у меня на поясе.

И пошли мы заросшей дорожкой в кузню.

День был погожий, майский.

Присмирела Кари.

Ручкой крепко в меня вцепилась.

Идет тихонько, ждет — что-то будет.

Завел я ее за кузню.

А там в малиннике лежал, растопырив корни, комель дуба, что прежде рос посередь двора.

Я пошел, кусты утоптал вокруг, вот он выворотень, показался навстречу, лучась всеми своими корнями.

Мы же сколько дней ковырялись с корчевщиком, искореняли тот комель — тою весной, как посадить мне яблоньку.

На лошади оттащили корчевину за кузню.

И вот лежит она, солнце подземное, середь зелени, светит оттудова черными лучами.

А Кари уселась на сизый камень, на порожек кузни, — глядит на меня.

Когда же комель заголился под солнцем, я вернулся к ней и сказал:

Быть тебе Кари.

Кари-пятилеточкой, малым человечишком.

Сама покуда не знаешь, как им станешь.

Дай я тебе покажу.

Тут она глянула на меня в перепуге.

Словно примчалась вприпрыжку лешуха из чащи-пущи и уставилась на меня, а в глазищах весь ужас дебрей.

Теперь уже не только я ее забоялся.

Теперь и сама она забоялась.

Съежилась в страхе.

Тут достал я топор и шагнул к тому выворотню и срубил ему корень — самый толстый от самого комля.

Толще моей ляжки.

Так рубанул по нему, что корьё-кореньё брызнуло в разны стороны.

И встал — в руке коряга длиннее моей ноги.

И пошел к порогу и тоже сел.

И топор положил, а взял я ножик.

Кари сидит тихонечко, смотрит.

Молчим оба двое.

Перво-наперво ободрал я черное земляное окорье.

Стала коряга белая.

Да и не белая, верней сказать — избела-сивая.

И пахла она не дубом.

Прелым хрящом несло от сивой той деревяги.

Не то мочажиной во мху, не то плодными водами, не то лоном, не то порченым мясом.

Все равно я принялся ее резать.

Бывало, мальцом пас я летом коров на сэтере.
И все вырезывал.
День-деньской сидел-вырезывал всяку живность из коряг да из сучьев.
Режу и все вокруг забываю.
Резать — оно наука.
Вот и тот раз режу сижу, а сам вспоминаю, как был пастушонком.
Режу.
Вспоминаю и режу.
Режу и дую.
Сдуваю стружку и режу.
Режу и дую.
Вот вырезал два деревянных башмачка.
После две щиколки над башмачками.
Потом обе ножки.
И тулово.
И стан.
И поясок на стане.
И грудь.
И на груди застежку.
И два плеча, и два локотка, и руки.
И в руках псалтырик.
И шею.
И голову.
Голову я вырезал.
Губы, и нос, и глаза, и уши, и щеки, и лоб, и подбородок, и избела-сивые волосы в две косы по спине до самого пояса.
Всю ту пятницу сидел я и резал.
Стружку сдувал и резал.
Дул и вырезывал девочку из того корня.
Жизнь вдувал в мертвую деревяшку.
А Кари рядышком сидит-смотрит.
Ждет, чего будет.
И назавтра я тоже резал.
И вырезал девочку.
В субботу сдул я последнюю стружечку.
Поднял я девочку, Кари показываю, так говорю:
Вот сделал я тебе девочку.
Такую, какой стать тебе надобно.
Она — маленькая Кари.
Не видишь — у ней твое личико, твое тело.
И положил ее Кари на руки.
А она сидит — не смеет притронуться.
Сидит молчком, на куклу таращится.
Словно в зеркало посмотрелась.
И застыла.
Совсем укротилась.
И тогда сумел я заговорить.
Кари сидит с куклой на руках и словам моим внимает.
Я сижу перед ней, говорю.
А Кари слушает.

Такая была послушная.
Наконец опустел я.
А Кари все смотрит.
И тут пришло мне слово мое обратно.
Она через меня взговорила.
Я говорил.
Слово пламенело, как уголь.
И вот обхватила куклу руками.
Никто, мол, не разлучит их.
Кукла ей стала всего дороже.
Она назвала ее Кари Коряжка.
Вместе обе стали единым.
Отныне прилепилась Кари ко мне.
Вмести с Кари Коряжкой.
Вместе мы трое стали единым.
Годы спустя вспоминаю:
Глаза.
Слово, как уголь.
И кукла эта у ней в охапке.
Жизнь свою положил я в Кари.
Жизнь получил обратно.
Я положил в нее уголья пламенных слов ее.
И она молчала.
Но внутри нее уголь пылал-разгорался.
Глаза у нее искрились.
А сама ничего не сказала.
Не могла.
Словом своим меня наполнила.
И я его высказал.
Вот стукнуло Кари двенадцать, стала у ней наверху своя комнатка.
Заболеет — лежит у себя, а Кари Коряжка рядышком на подушке.
Поглядишь на обеих, и сердце радуется.
Я приносил ей наверх поесть.
Утром, в обед и вечером кормил я ее в постели.
Сяду на край кровати, говорю ей.
А Кари слушает.
И нет кроме нас никого в целом свете.
Да между нас пылающий пламень.
Его-то я крепче всего запомнил.
А после оно и случилось.
Весной случилось.
Как стукнуло Кари шестнадцать.
Бугор, где кузня, внутри-то он — полый.
В нем полость глубокая, круглая, сверху до самой подошвы.
Когда я мальцом был, думали, это курган от викингов.
Думали выроют корабль конунга.
Вот и пробили бугор насквозь сверху донизу.
Рыли все лето.
Ничего не нашли — камни одни да песок сыпучий.
Сами уехали, полый бугор оставили.
Книзу сужается полость, будто воронка.

Дно затянуло зеленым мохом.
Стенки расходятся вширь — крутые, отвесные.
Замшели, травой поросли да вереском.
А по краю той ямы стеной крапива.
Мальцом улягусь бывало у самого края — гляжу туда вниз.
А раз решился туда скатиться.
Скатился на самое дно.
И лежу — наверх гляжу, голова-то кружится.
А только и вижу, что яму да крапиву да небо.
Пало небо на самую на крапиву.
И меня прихлопнуло.
Небо крышкой накрыло ямищу.
А я лежу на спине во мху под крышкой неба.
Хорошо там на дне, надежно.
Только я, да яма, да небо.

Вот лежу я, лежу — и сделалось небо огромным, круглым синим оком и глядит на меня.

С лаской глядит.
Мы одни — я да небо.
Это Исус поглядел на меня и словом меня наполнил.
И я смог говорить.
Я лежал там внизу и все говорил-говорил.
А так-то не говорю я вовсе.

Вот однажды в конце апреля Кари пропала, будто сквозь землю провалилась.

Ищем — доискаться не можем.

Уж и каждую дверь на подворье проверили и стоим растерялись середь двора и кличем ее по имени.

Нет ответа.
Тут, гляжу, Сюнневе машет мне.
Стоит возле кузни, большим своим белым платком размахивает.
Подхожу.
На бугор подымаемся вместе.
Дошли до крапивы, остановились.
Слышим — в ямище будто кто говорит.
Голоса такого мы прежде не слышали.
Хриплый голос и грубый.
Видно, кто-то чужой там в яме.
Сюнневе мне шепчет.
Голос у того, как у дикого зверя.
Слова лупят, и бьют, и дерут, и корежат.
Вроде кто на дитё ругается-лается, Сюнневе мне толкует.
А я ей: это чужой мужик там в яме нашу Кари сквернавит.
Слышь, мол, слова-то какие!
Сюнневе припустила в крапиву.
Я за ней.
Глядим — а там на дне наша Кари.
На коленках стоит.
Перед нею во мху та кукла лежит.
А на Кари и глядеть-то страшно.
Белее мела, а личико отвердело, заострело, будто из дерева резано.

Прямо вся трясется от ярости.
На куклу ругается.
Я те жизнь отдала! кричит.
Дак спаси меня!
И такие слова сказала, каких и услышать тут негде.
Голос у ней скрипит и скрежещет.
Я же мертвая, а ты вон живешь за меня! кричит.
Ты должна спасти меня, слышишь!
Жизнь мою заполучила!
Теперь ты должна спасти меня!
Кари! крикнула Сюнневе.
Тут она опомнилась, смотрит на нас.
Сюнневе мигом слетела в яму, хвать куклу и полезла обратно.
Кари выбралась следом.
Сюнневе прет через пашню с куклой под мышкой.
Я за нею.
А Кари за мной плетется.
Сюнневе прет в сарайку.
Куклу кинула на колоду.
Хвать топор и в щепу порубила.
А Кари да я стоим в дверях и глядим.
Сюнневе щепки сгребла в передник, шасть на кухню — и швырнула их в печку, в самое полымя.
Тут Кари совсем взбесилась.
Как заревет тем чужим мужиком.
А после как завизжит младенцем.
И пошла с себя рвать одёжу.
Всё посрывала.
И стоит голышом середь кухни, ровно жердинка.
А мы стоим, опустили руки — глядим.
Смотрим, Кари-то совсем еще девочка.
И стоит — застыла столбом перед нами.
Тело белое, точно из дерева.
Тут Сюнневе как взовьется.
Как залепит Кари пощечину.
Два раза вмазала.
Кари стоит шатается.
А после кинулась к себе в комнатку, заперлась наверху.
Только ворох одёжи остался.
И слышим опять, будто мужик тот чужой рычит из-за двери.
А после вой, точно что на нее налетело и шваркнуло об пол.
Весь день до вечера так бесновалась.
А к ночи затихла.
Уж как мы молили для ней у Исуса покойного сна.
Дак она успокоилась.
Наутро и в школу смогла пойти.
А там опять на нее накатило.
Учитель-то, помнишь, рассказывал.
А домой как пришла, так все и пошло тем же ходом.
Убежала наверх, закрылась и давай то реветь мужиком, то верещать младенцем.

Уж как мы молили Исуса-то.

Исус один нам подмога.

Сюнневе села на стул у нее под дверью, из Библии стала вычитывать.

Я-то молюсь.

А к вечеру разразилась грозища.

Сперва эдак глухо за горой погромыхивало.

А после небо как пустит в долину пылающий корень.

Да как грянет промежду горами.

Между раскатами слышим — Кари дикует-бесится.

Тут небо расселось.

Зарница горящим копьем жахнула в самую кузню.

Лампочка пыхнула голубым и погасла.

Тьма подземельная.

И тихо-тихо.

Тут слышим шорох по лесенке.

Будто ножки босые прошелестели сквозь темные сени мимо нас и шасть в дверь и наружу.

Мы к окну.

Слышим — заплескало будто снаружи через двор, через лужи.

Тут как сверкнет.

Видим, Кари бежит белая-голая мимо древа дворового и дальше пашней, что перед кузней.

И опять ее темень накрыла.

Тут как громыхнет, что твой камнепад, через всю долину.

Мы прямо как у окошка были бух на колени.

Исусе, Исусе, молимся, приди, помоги же Кари.

Исусе, худо совсем, коли отвратишься от Кари.

Тут новая молния все как вызарит.

Видим Кари.

Пала на пахоту перед кузней.

Светит белым телом на черной пашне.

Не шелохнется, только сияет.

Исусе! вопим.

Исусе!

Вот молния — огненное копье — прянула с неба и застыла-дрожит над самым тем местом, где Кари лежит.

И тут словно чья рука отвела копье и воткнула в землю.

Снова сделалась темень.

И хлынул ливень.

Слышим, капли хлещут и плещут по каменным плитам под окнами рядом.

Исусе, молимся, ты единый можешь Кари помочь.

Сами-то мы не можем.

Кари теперь у тебя в руках.

Исусе!

На коленках воем со страха.

Тут слышим, заплескало по лужам через двор обратно, отворяется дверь, ножки заходят в избу.

Что-то теперь, думаю, увидим.

Да что тут увидишь.

В доме-то темень.
Только слышим — Кари стоит в дверях.
Не шелохнется.
Будто стоит — набирается духу.
И говорит спокойно и внятно:
Мать и отец, теперь все у нас будет ладно.
Теперь я Кари.
Теперь я всегда буду Кари.
Потому несу в себе свет великий.
И скоро свет сей вам и всем воссияет.
Пока мы во мраке.
Мы не можем видеть друг друга.
Но настанет день и свет мой вам воссияет.
Да увидим друг друга.
Не сомневайтесь.
Стоит во тьме и говорит нам оттудова.
Ласково так говорит и кротко.
Я и возрадовался.
Тут вспыхнула молния.
Мы увидели Кари.
Как стоит в дверях.
Голая, мокрая, блистает в отсветах.
Светится.
Смотрим.
Стоит и сияет счастьем.
Снова сделалась темень.
Слышим — Кари пошла по лесенке вверх в свою комнатку.
Сюнневе шарит спички, я свечки.
Только свечку зажгли и на стол поставили — спускается Кари по лесенке вниз и садится.
На ней красное платье воскресное.
Косы расчесаны.
Ничего она не сказала.
А лицом сияет.
Да и мы ничего не сказали.
Слов не вместили.
Теплится свечка.
Вокруг себя светит.
Сидим у стола вокруг того круга света.
Сюнневе, я и Кари.
Вот ведь какая мне радость в жизни! вдруг молвила Кари.
И встала и пошла к себе наверх.
И слышим, она засмеялась, потом разделась и спать легла.
Тут слышим ливень.
И как свищет ветер в ветках яблони.
Гроза-то ушла.
А мы не заметили, покуда Кари с нами сидела.
Теперь только ветер шумел да дождь да темень снаружи.
Тут свет опять включился.
Свечка сразу померкла под лампой.
Устал я, надорвался.

Стал пустой, но Кари меня наполнила счастьем.
Сказала — все станет ладно.
Все так и стало, и было.
Было долго.
Всю весну, и лето, и осень все было ладно.
Сорок седьмого-то лета засуху как забудешь?
Месяцами на небе ни облачка.
Солнце шпарит с ясного неба.
Ручьи повысохли.
Травы ржавые трещат под ногами.
Трещины по земле пошли.
А Кари ходит довольная.
Сияет радостью.
Выправляется, сделалась большая, пышная, крепкая — на щеках прямо розаны, а в голосе пламень.
Говорила с нами.
Голосом сильным и гордым.
Я ношу в себе, говорит, свет великий.
И верит в себя и растет сама себя больше.
В землю закоренилась и жизнь сосет, так что кругом все вянет и блекнет.
Стала большая, кроткая и довольная.
Теперь уже Кари все стояла под солнцем.
Но свет и сила через нее и на нас нисходили.
Сюнневе померкла, будто сделалась меньше.
Травы-листья сохли.
Кари росла.
Ношу в себе, говорила, небесный пламень.
Скоро вам принесу этот свет, вот так говорила.
Станем все трое тогда ходить в этом свете вечно.
Свет в себе ношу, говорит, что со всякой вещи сорвет покров и нутро покажет.
Верьте же мне, говорит, и веруйте в свет.
И так и всяко дальше.
Мы-то с Сюнневе что.
Кари стала такая большая и светлая — я поневоле уверовал.
Стою в сиянии Кари.
И ничего-то не понимаю.
Вижу только: с нею Исус.
Длань свою над ней простирает.
Мы стали молиться трое.
Каждый вечер все вместе молились.
Кари о нас молилась.
А потом оно и случилось.
Под вечер сочельный случилось.
Случилось, когда все ликует.
В полдень вывесил я венок на дворовое древо.
В четыре часа пополудни елочку нарядили.
Кари пела от счастья.
А как сесть нам за стол — тут оно и случилось.
Кари аж согнулась от боли.

Стонет-плачется жалостно.
Отвели мы ее наверх.
Легла на постелю.
Ноги задранные выпростала, согнула.
Тут я увидел ее утробу.
Пузырем раздулась.
Мы с Сюнневе сели рядышком у постели.
Лицо у Кари блистает от пота.
Голова мотается туда-сюда по подушке, глаза закатились, зубы зажаты, стонет тихонечко — мучится.
А рукой вцепилась в мой локоть.
Выйди-ка! говорит мне Сюнневе.
Вышел я нехотя, дверь прикрыл за собой и сел на стуле у двери.
Тщусь понять и не понимаю.
Сижу под дверью.
Тут ударили в церкви колокола — Рождество наступило.
Кари пыхтит и стонет.
Торкел встал на дворе — палит из ружья.
Сколько я просидел — не знаю.
Вдруг слышу — Кари как закричит.
Криком диким, протяжным.
Тут как треснет.
Как что-то хлопнет.
Я вскочил и кинулся в комнату.
Жду.
Как же долго я ждал.
Должно же, что до́лжно, наконец совершиться, не то худо нам будет.
Жить во тьме нам боле невозможно.
Кари нам свет посулила.
Кто же он, что нам воссияет?
Исус.
Он же свет и жизнь.
Исус.
А Сюнневе сверлит меня взглядом.
Это был, говорит, только воздух.
Вот теперь помогла бы ты мне — во тьме не вижу.
Лежала Кари пластом на постели, пустой кошелкой.
Слышишь.
В Шиене Кари.
Пришли, забрали ее из рук из моих.
Помоги мне.
Поутру в Рождество как взлезет она на яблоню на свою и ну кричать петухом.
Ты взгляни на меня.
Увидь меня.
Вот глядишь на меня.
А вот эдак не нужно глядеть на меня.
Не гляди, не надо.
Глядишь вот эдак, значит, он один у меня и остался.
Исус.

Фруде Грюттен

Принцесса Бурунди

Перевод А. Афиногеновой

Ее называли принцессой Бурунди, потому что она не знала меры в еде. Она поглощала любую еду и любое лакомство, попадавшее ей на глаза. А еды было немало, ибо она работала в ресторане "Hamburger Heaven"[1] в Одде. Утроба у нее была бездонная, и кое-кто в шутку говорил, что, в конце концов, она стала поперек себя шире.

Прозвище это происходило, вообще-то, от названия золотых рыбок, которые водились когда-то у ее соседей по дому Мюрбулигенов. Это семейство рыбок именуется "принцессой Бурунди", и их особенность состоит в том, что, сколько их ни корми, они сжирают все без остатка. Они никак не могут насытиться, но, возможно, это свойство всех золотых рыбок — они плещутся себе в аквариуме, не имея ни малейшего представления о внешнем мире, никто не ставит им ограничений, поэтому они не знают, когда следует остановиться.

Как бы то ни было, но однажды эти рыбки сдохли, потому что кто-то из ребятишек, взяв коробку с кормом, высыпал все ее содержимое в аквариум. Когда родители вернулись вечером после работы, рыбки плавали в воде брюхом вверх — они наконец-то наелись досыта, но сами-то об этом не ведали и наверняка были страшно голодны, пока не объелись до смерти.

Люди шутили, что, мол, когда-нибудь и принцессу Бурунди найдут в таком же состоянии в "Гамбургер хевен", плавающую пузом вверх в море гамбургеров, сосисок и чипсов. Те, кто хорошо ее знал, утверждали, что она вовсе не больна, просто она ест и ест, и не может остановиться,

© Samlaget, 1999
© А. Афиногенова. Перевод, 2005
1. Небеса гамбургеров (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

в еде она ищет утешения, говорили они, она — несчастный человек. Она знать не знает о том, хочется ли ей есть или ее гложет тоска, сыта ли она или устала, поэтому и ест, чтобы ощутить, что еще живет. Очень жалко, что она столько ест, потому как принцесса Бурунди была, в общем, роскошной дамой.

В ней скрывается роскошная женщина, говорили люди, только это трудно разглядеть за горой жира. Она испробовала все известные способы для похудения — диеты, тренажеры, акупунктуру, зерновые смеси, порошки, помогающие сбросить вес, "кембриджское" лечение. Пару раз ей удавалось, путем неимоверных усидий и мучений, сбросить семь-восемь килограммов, и это ее так радовало, что она разрешала себе в качестве вознаграждения поесть побольше, поэтому килограммы быстро возвращались на место.

В ноябре журнал "КК"[1] посвятил принцессе Бурунди три страницы — она написала в еженедельник, приложила свою фотографию и указала номер телефона, желая попасть в серию "Обновись". Девиз гласил: "Май-Бритт (29 лет) — Big is beautiful[2]". На маленькой фотографии до того, как ее одели, причесали и накрасили, принцесса Бурунди стояла, опустив руки, с таким унылым видом, словно на нее свалились все мировые проблемы, с которыми ей предстояло справиться до обеда.

На других снимках была изображена обновленная женщина, посвежевшая, полная жизни и красок. Киоскерам в Одде пришлось звонить и заказывать дополнительные экземпляры этого номера журнала. Всем хотелось посмотреть фотографии и прочитать материал о принцессе Бурунди. "Жизнь большая, — писал журнал. — Жизнь в наши дни должна отличаться большими размерами. Май-Бритт — большая и роскошная женщина с гармонично расположенными килограммами".

Принцесса Бурунди поведала журналу, что излишний вес она часто воспринимает как стену, отделяющую ее от окружающих. Случалось, она не решалась выйти из дома, зная, что люди будут судачить о ней и обсуждать ее внешность. Она смотрела на себя в зеркало и не понимала, кто перед ней. Теперь она хочет стать другой, дабы продемонстрировать, что даже при излишнем весе можно быть элегантной.

И все согласились, что на фотографиях в "КК" она действительно выглядит стильной, "чертовски стильной", как гласила одна из подписей. Люди в Осло потрудились на славу. Принцессу Бурунди одели в блузки, пальто, костюмы и юбки, которые были ей к лицу. Ей уложили волосы, подобрали новый макияж, подчеркивавший глаза, и использовали нужную помаду, чтобы показать, какой у нее чувственный рот.

Публикация о принцессе Бурунди вызвала улыбки, но в том, что она проявила смелость, выставив себя таким вот образом на страницах журнала, никто не сомневался. Когда она вернулась домой, никто не сказал о ней ни одного худого слова, на нее больше не смотрели как на комическую фигуру, ее уже не воспринимали как шута поневоле, который каждый вечер выходит на сцену в "Гамбургер хевен".

Принцесса Бурунди расцвела. Она начала покупать одежду в том стиле, какой, по мнению сотрудников серии "Обновись", подходил ей лучше всего, и стала в свободные от работы вечера ходить в кафе.

1. Сокращенное название норвежского журнала "Женщины и мода".
2. Слоган "Красивая женщина — большая женщина" (*англ.*).

Однажды она встретила Адама Бодора, боснийца, эмигрировавшего в Норвегию и недавно ставшего владельцем кафе "Павлин", которое он намеревался привести в порядок и расширить. Адам Бодор влюбился в принцессу Бурунди с первого взгляда.

Ему легче, говорили люди позднее, он видел лишь ее обновленный облик. Он не видел, как она выглядела до поездки в Осло. Он не видел, какая она на самом деле толстая.

Они разговорились как-то вечером в "Плавильщике", и Адам Бодор пригласил ее в свое кафе – к тому времени он успел его переоборудовать. Прошло несколько недель, прежде чем она решилась заглянуть туда. Он много раз ей звонил и приглашал прийти. В тот вечер они много говорили, пока он на кухне готовил для нее ужин и угощал особым боснийским блюдом.

Адам Бодор уже довольно хорошо владел норвежским, и они говорили обо всем. И смеялись, и беседовали на серьезные темы. Принцесса Бурунди влюбилась. Она встретила человека, которому могла доверять на все сто. Но она не хотела себе в этом признаться. Кроме того, неизвестно, говорили люди, так уж ли страстно он ее любит, может, ему просто нужны опора и надежная гавань в этой стране. Не исключено, что дома в Боснии у него есть жена и семья, кто знает, говорили они.

По мнению знакомых принцессы Бурунди, больше всего она боялась, что Адам Бодор влюбился в ее внешний вид, приобретенный ею после того, как она побывала в "КК". Влюбился в ее облик, созданный умелыми стилистами из Осло, а не в ту, какая она есть на самом деле. Поэтому она порвала с Адамом Бодором еще до того, как между ними завязались какие-то отношения.

Она вновь влезла в свою старую одежду, принялась утешать себя обильной едой и прибавила не один килограмм. Она заперлась дома, никуда больше не ходила и стала опять такой, какой ее помнили до появления на страницах журнала. Принцесса Бурунди вернулась в свой родной аквариум, говорили люди. Адам Бодор ничего не понимал.

Он много раз приходил к ней в "Гамбургер хевен", пытался поговорить, но она отказывалась, ссылаясь на то, что должна работать. Адам Бодор был человек вежливый и не хотел устраивать сцен, он ретировался, как ретируется побитая хозяином собака.

Но он писал ей длинные любовные письма, наговаривал романтические сообщения на автоответчик, посылал маленькие подарки. Ничего не помогало. Она не обращала на него внимания. Не желала разговаривать с ним, когда он поджидал ее возле "Гамбургер хевен" или около Мюрбулигена.

Но чем больше она им пренебрегала, тем сильнее разгоралась его страсть. Однажды он усыпал цветами лестницу Мюрбулигена. Целая река роз текла от ее двери до машины, в которой он поджидал ее. Принцесса Бурунди была в солнечных очках, когда она вышла из дома и обнаружила этот розовый поток. Она сдвинула очки на лоб и увидела сидящего в машине Адама.

И тут принцесса Бурунди растаяла. Улыбаясь про себя, она подошла к нему и пригласила в дом. Она сварила кофе, разогрела французские булочки и включила музыку. Он спросил, почему она его избегает, почему не хочет общаться с ним.

– У тебя кто-то есть? – спросил он.

— Ах, ничего-то ты не понимаешь, — ответила она.

— Я люблю тебя, — сказал он. — Это я понимаю, это единственное, что мне нужно понимать.

Она опустила глаза, промолчала.

Адам не знал, что сказать или сделать.

— Ты меня любишь? — спросил он.

Она не ответила, продолжая разглядывать стол.

— Ну что ж, тогда спасибо, — проговорил он. — Было очень приятно.

Но остался сидеть. Они засмеялись.

Из динамиков полилась новая мелодия.

— О, какая чудесная! — воскликнула принцесса Бурунди.

— Давай?

Обнявшись, они начали танцевать. Своим телом он ощущал ее мягкую плоть. Тесно прижавшись друг к другу, они кружились по комнате тем летним вечером.

Она остановилась и уткнулась лицом ему в грудь. И тихонько заплакала. Он погладил ее по голове, развязал узел на затылке, так что волосы рассыпались по плечам. Она высвободилась и, не глядя на него, принялась расстегивать блузку.

Адам Бодор не отрывал взгляда от белого могучего тела, от мягких грудей, вздымавшихся как два облака. Она посмотрела на него.

— Я красивая?

Он кивнул.

— Страшно красивая.

— Ты врешь! — крикнула она. — Я красивая?

— Красивее никого не видел, — ответил он.

Она набросилась на него с кулаками.

— Ты же видишь, какая я толстая.

— Ты красивая, — сказал он.

— НЕТ! Я УРОДИНА!

Она кулаками колотила Адама Бодора.

— СКАЖИ! СКАЖИ, ЧТО Я УРОДИНА! СКАЖИ! СКАЖИ!

Он попытался угомонить ее, а она все колотила его и колотила.

— СКАЖИ! СКАЖИ, ЧТО Я УРОДИНА!

— Ты красивая, — прошептал он.

Наконец она успокоилась и снова прильнула к нему.

— Уродина... уродина... уродина... — шептала она.

Адам Бодор погладил ее по голове, отвел в спальню, бережно уложил на кровать и накрыл одеялом.

— Уходи, — сказала принцесса Бурунди.

— Я люблю тебя, — ответил он. — Ты увидишь, как я тебя люблю.

— Уходи же!

Странная пара. Так говорили все. Могучая принцесса Бурунди и худенький Адам Бодор. Просто Пат и Паташон, говорили люди.

Но она больше не желала иметь с ним дела, избегала его, отвергала его, вешала трубку, когда он звонил. Она не была уверена, что он ее любит, она не была уверена, что он любит ее достаточно крепко. При ее внешности он должен любить ее с невероятной силой, если такое вообще возможно.

Адам Бодор, маленький и худенький человечек, понятия не имел, что ему предпринять, чтобы доказать свою любовь к принцессе Бурун-

ди. Он перепробовал все известные приемы с письмами и цветами. Он практически исчерпал все способы, которыми пользуются, чтобы покорить сердце женщины.

Как-то осенью ему в голову пришла идея. На него будто снизошло озарение, и он сразу понял, что ему следует делать. Он начал есть. Не так, как едят обычные люди. И не потому, что был голоден. Он начал есть, как ненормальный. Ел все время. Столько, сколько мог. Он набивал себе брюхо, заставлял себя есть, пока больше уже не влезало.

Поначалу это было чуть ли не забавно, совершенно абсурдно, как последние дни Элвиса Пресли. Он ел все, что придется, — мороженое и шоколад, картошку и разное другое. Это стало чем-то вроде спорта, открытого чемпионата по поглощению пищи. Он готовил обильные обеды в своем кафе, которое по-прежнему содержал. Готовил жирные соусы и выбирал только высококалорийные продукты.

Первые недели были лишь тяжкой работой. Он вынуждал себя вставать рано утром, чтобы съесть завтрак поплотнее — сосиски, бекон и белый хлеб. Потом передышка, перед тем, как приняться за обильный обед, и после еще одной передышки поздно вечером поглощал гигантский ужин из пяти блюд.

Каждый день представлял собой сплошное пиршество. Адаму приходилось нелегко, он стал болеть, мучился от постоянной тошноты, у него начались проблемы с желудком, сердцебиения и потливость. За исключением тех, кого он обслуживал в кафе, никто не догадывался, что происходит с Адамом Бодором. Казалось, он ничуть не изменился, всегда был в хорошем настроении, всегда готов был вставить меткое словцо.

Но спустя какое-то время люди начали судачить о том, что Адам Бодор толстеет: он, который был худышкой, он, который больше напоминал выпрямившуюся на пригорке травинку, здорово располнел. И к Новому году все увидели, что Адам Бодор преобразился. Прилично прибавил в весе. Заметили так же, что он то и дело лакомится мороженым и сластями. Без плитки шоколада или рожка мороженого в руках его никто не встречал.

Адам Бодор тяжело дышал. Последствия его обжорства проявлялись все заметнее. Он с трудом поднимался по лестнице, уже не мог нагнуться и даже разглядеть свои ботинки. Из-за избыточного веса стали болеть ноги. На церемонии открытия кафе "Новый павлин" все обратили внимание, что Адам Бодор отрастил солидный живот. За стойкой стоял, как говорится, настоящий толстяк. Пошли слухи о его пиршествах, и люди уразумели, что Адам Бодор ест без передышки потому, что *хочет* растолстеть.

Его образ жизни претерпел значительные изменения, что в данном случае шло ему явно не на пользу. Он поглощал пищу так, как это делал Роберт Де Ниро в фильме "Raging Bull"[1], знаменитом фильме, во время съемок которого Де Ниро специально разжирел, чтобы походить на боксера Джейка Ла Мотта, когда тот закончил спортивную карьеру. Адам Бодор тоже превратился в своего рода бешеного быка, он разжирел, чтобы превратиться в другого человека; он набрал вес, чтобы доказать что-то принцессе Бурунди.

1. "Бешеный бык" (*англ.*).

Люди говорили, что это одно из самых прекрасных объяснений в любви, которое им когда-либо доводилось видеть. Адам Бодор губил себя только из-за любви к принцессе Бурунди. Он был на пути к инфаркту и вступил на этот дурацкий путь ожирения лишь из-за слепой любви к женщине.

Сама принцесса не заметила изменений, потому что не видела Адама Бодора несколько месяцев. Но кто-то рассказал ей о склонности боснийца к обжорству. И как-то вечером она пришла к нему в кафе после закрытия, чтобы уговорить его прекратить это дело.

К тому времени, когда Адам Бодор сильно растолстел, принцесса Бурунди впервые в жизни сильно похудела. Она открыла методику похудения, прежде неведомую и оказавшуюся намного эффективней, чем все прочие. Методика называется "любовная кручина". Несложившиеся отношения с Адамом Бодором съели ее килограммы.

Когда принцесса Бурунди вошла в кафе в этом новом похудевшем виде, ожиревший Адам Бодор в одной майке уплетал роскошный обед. Под подбородком у него красовалась белая салфетка, а из уголков рта стекал беконный жир.

— Не надо этого делать, — сказала ему принцесса Бурунди. — Не надо этого делать, Адам.

— Не надо? — отозвался он. — Не надо?

Она покачала головой.

Он принялся есть еще энергичнее. Он запихивал в себя яства как ненормальный, он совал куски себе в рот и глотал, ел и чавкал, он поглощал еду как бешеный бык, как какой-нибудь Роберт Де Ниро, полностью потеряв над собой контроль.

— Прекрати, Адам! — крикнула принцесса Бурунди. — Перестань!

Но он все продолжал, и она в отчаянии закрыла лицо руками. Она не хотела видеть его таким, не хотела видеть, как он жрет, словно ненормальный.

— Знаешь, что я делаю? — сказал Адам Бодор с набитым ртом. — Знаешь, чем я, собственно, здесь занимаюсь?

Он ткнул в ее сторону вилкой, будто шпагой.

— Я делаю точно то же, что ты!

Он ненадолго замолчал.

— Я поглощаю еду, чтобы замкнуться в себе!

Принцесса Бурунди заплакала. Она рыдала так, что ее начало трясти. И все время слышала чавканье и причмокивание Адама Бодора, не переставшего есть.

В конце концов, она встала и выбежала прямо под снег, поваливший с серого зимнего неба.

Кое-кто утверждал, что изменившийся, набивающий себе брюхо Адам Бодор явно не в себе. Это в нем проявляется Босния, говорили они, он до сих пор носит в себе войну. Так бывает с людьми из бывшей Югославии, они живут лишь по одному правилу, которое состоит в том, что никаких правил не существует. Не может человек отбросить прочь все пережитые кошмары. И вот теперь они вылезли наружу, потому что принцесса Бурунди отвергла Адама.

Возможно, изменившийся толстяк Адам был жертвой того, что принцессе Бурунди не раз пришлось испытать самой: если ты толстый,

к тебе почти никто не питает симпатии. Если ты, к примеру, слеп, люди охотно будут тебе помогать, а если ты толстый, то не поможет никто.

И все же большинство жителей Одды питали симпатию к Адаму и переживали из-за его болезненной прибавки в весе. Один из знакомых Адама Бодора сказал, что после того, как тот разжирел, его трудно узнать. Он набрал много килограммов, но утратил свое доброе расположение духа. Он уже не прежний Адам; несмотря на огромный объем, он превратился в собственную тень. И тем, кто с ним работал, он признавался: "Меня больше нет, при звуке своих шагов я слышу лишь, как кто-то проходит мимо".

Одним мартовским днем вся Одда пришла в ужас, узнав, что Адама Бодора отправили на санитарном вертолете в Берген. У него возникли проблемы с дыханием, сильно поднялось давление, появилась аритмия. Врачи сочли его состояние серьезным, но стабильным. Он пролежал в "Хёкеланде" несколько недель и постепенно оправился. Принцесса Бурунди посылала ему в больницу цветы и письма. Он должен ее навестить, когда выздоровеет. Пусть пообещает.

За лето он восстановился. Практически обрел прежний облик худышки Адама Бодора. Правда, немного съежился, ходил чуть медленнее, реже смеялся, но в общем стал почти самим собой.

Позвонила принцесса Бурунди и выразила свою радость по поводу того, что он опять на ногах. Она пригласила его в гости, на "шведский стол". Он поблагодарил за приглашение, но не был уверен, что придет.

Как-то вечером он пришел к Мюрбулигену. И принялся заглядывать в окна. Он увидел, как принцесса Бурунди прошла из гостиной в спальню. Увидел, как женщина этажом выше машет рукой кому-то на улице. Увидел, как с шумом въехал в ворота парнишка на мотороллере. Адам улыбнулся.

На следующий день он позвонил и сказал, что придет.

Тем осенним вечером она украсила вход розами. Красными розами — от тротуара до двери.

— Розы! — сказал Адам Бодор с улыбкой, стоя в дверях. — Я люблю розы.

— Я знаю, — ответила она.

Они сели за стол, не зная, что сказать. За едой они лихорадочно говорили обо всем на свете.

— Видишь, как я похудел? — спросил Адам Бодор чуть позже.

Они засмеялись.

— Думаю, мне не имело смысла толстеть, — сказал он.

— А вот мне имеет смысл, — ответила она.

Он взял ее за руки.

— Пока я болел, у меня было время поразмышлять, — проговорил Адам Бодор. — И вот что я надумал: ты и твой вес — это две разные вещи. Совершенно разные. Понимаешь? Ты и твой вес — две разные вещи.

Принцесса Бурунди заплакала. Адам Бодор подошел к ней и обнял за плечи.

— Неужели тебя стоило бы любить крепче, если бы ты была худее? — спросил он.

Плача, она прижалась к нему. Стоя за ее спиной, он тихонько баюкал ее.

— Я не хочу, чтобы ты менялась, — сказал он.

Она повернулась и поцеловала его.

– Хочу танцевать! – воскликнул он и включил музыку.

Обнявшись, она начали танцевать. И снова он ощутил ее мягкое, прильнувшее к нему тело. Закрыв глаза, он кружился по комнате.

Внезапно принцесса Бурунди остановилась, уткнулась лицом ему в грудь и застыла. Он распустил ее волосы. Она высвободилась и расстегнула блузку. Он глядел на ее тело, обнаженные плечи и груди, похожие на две полные луны.

– Я красивая? – спросила она.

– Ты толстая, – ответил он.

Она улыбнулась.

– Я красивая? – спросила она.

– Ты толстая, – ответил он. – Такая же уродина, как Мюрбулиген.

Она засмеялась.

– Господи, до чего же ты жирная! – Адам направился к ней.

Хихикая, она отбежала.

– Ты похожа на шар для боулинга, – сказал он. – На аэростат противовоздушной обороны. Придется тебя крепить на растяжках.

Вскрикнув, она попыталась ускользнуть от Адама.

– Ты такая толстая, что понадобятся сутки, чтобы обежать вокруг тебя.

Она на бегу обернулась к нему.

– Ты уродлива, как бульдозер, – крикнул он.

– А ты просто овечий хвостик, – отозвалась она.

Он схватил ее за руки, но она продолжала бегать вокруг стола, таща за собой Адама. Он сгреб ее в охапку, поцеловал и выпустил.

Они ходили кругами вокруг стола, снимая друг с друга один предмет туалета за другим.

– Я не смогу стать твоим любовником, – сказал он. – Тебе это известно?

– Почему это? – спросила она.

– Не помещусь в твоей кровати, – ответил он.

– А это мы посмотрим! – воскликнула она и сорвала с него рубашку, так, что пуговицы разлетелись во все стороны.

– Наплюем на твою кровать, – сказал он, укладывая ее на стол с едой.

Стаскивая с себя брюки, Адам сдвинул в сторону еду и тарелки.

– Как же у тебя это получится, малыш? – поинтересовалась она, когда он навалился на нее.

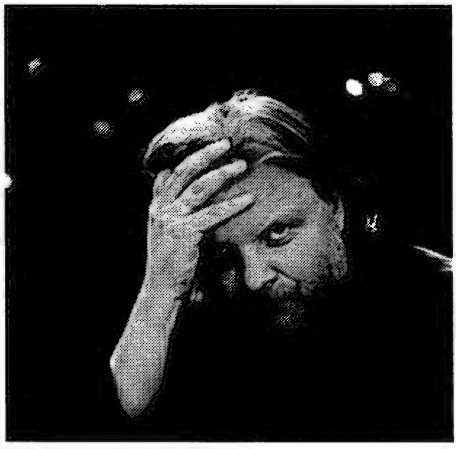
– Ой, – сказал он. – Это все равно, что спать со статуей Свободы.

Она ударила его по голове тарелкой. Адам Бодор поцеловал ее груди.

– Я люблю тебя, Май-Бритт, – произнес он.

– Съешь меня, – ответила она и зашлась в счастливом крике, когда он вошел в нее.

Юн Фоссе



Я не мог тебе сказать

Перевод В. Дьяконовой

ЕСТЬ что-то в жизни, мимо чего не пройти, во всяком случае, в моей жизни, жизни уже стареющего человека, есть что-то в жизни, что я буду видеть всегда, отблеск некогда случившегося, светлый отблеск, как я говорю, светлый отблеск, запавший мне в душу, который, возможно, так запал в душу оттого, что полон непонятных значений, значений, возможно, вовсе не являющихся таковыми, возможно, светлый отблеск этот не имеет никакого смысла для всех, кроме меня. Перед глазами у меня несколько таких светлых отблесков. И когда я уже довольно скоро умру, эти отблески исчезнут со мной, отблески исчезнут, но это не страшно, потому что они уже исчезли, это было так давно, эти отблески случившегося некогда во времени, в пространстве, в точке, где пересекаются время и пространство, слишком давно были эти отблески, отблески давно исчезли. И ты тоже давно исчезла. И ты, запавшая в мою душу, в каких-то светлых отблесках, там, где я тебя вижу, где я вижу, ты что-то делаешь, ты тоже давно исчезла. Все исчезло. Ты исчезла. Время, когда все случилось, исчезло. И я тоже вскоре исчезну. Такова жизнь. Но я вижу тебя впервые, я вижу, ты идешь через школьный двор, и потом всю жизнь я видел, как ты идешь через школьный двор, что-то было в твоих движениях, в том, как ты шла, в твоем несколько высокомерном взгляде, какой-то гордости, но в то же время казалось, ты стесняешься и хочешь спрятаться, я видел, как ты идешь через школьный двор, твои движения, твои черные волосы, свободно болтающаяся куртка. Когда я увидел, как ты идешь через школьный двор, со мной что-то случилось. Я не знал, что это, не знаю и теперь. Это ничего не означает, не имеет никакого смысла, но именно такие светлые отблески, как отблеск твоих движений, когда ты шла через школьный

© Jon Fosse, 1992
© В. Дьяконова. Перевод, 2005

двор, именно в этой гимназии, именно в этот год, именно в это утро, в твой первый день в новой школе, однажды посреди осени, именно то, что я увидел в твоих движениях, запало мне в душу, осело не только в памяти, но и на моих собственных движениях, в том, как я двигаюсь. Я видел, как ты шла через школьный двор, в сумерках. Смешно. Просто смешно. Это ничего не значит, но я приближаюсь к концу своих видений, а там — ты идешь через школьный двор ранним осенним утром, я ясно вижу, для меня это очень значимо, и другой отблеск — ты сидишь в школьной столовой с кем-то еще, но в то же время ты одна, ты с другими, но ты — сама по себе, одна, ты сидишь одна с другими, ты сидишь, у тебя черные волосы, ты сидишь на дальнем конце стола, где ты обычно сидела, я часто видел, как ты там сидишь, но я помню именно тот раз, когда ты там сидела, и что-то есть в твоих глазах, в том, как ты поднимаешь взгляд, что-то в твоем взгляде, что-то, чего я никогда не понимал, что-то в нем было, в твоем взгляде, который запал мне в душу, я не понимаю, что это, но ты сидела там, ты сидела и подняла взгляд, ты просто сидела, подняла взгляд, и все мои слова о твоем взгляде будут неверными, невозможно сказать, как ты посмотрела, в твоем взгляде было слишком много всего, в тот день в школьной столовой, где *ты* сидела за дальним концом стола, сидела одна вместе в другими, что-то было непостижимое в твоем взгляде, мелькнуло и исчезло, именно там, именно тогда. Мне не забыть то, что было в твоем взгляде. Это запало мне в душу. Твой взгляд во мне во всем. Я не понимаю, почему мне никогда не забыть твой взгляд. Он во мне, глубоко во мне, он стал частью моего собственного взгляда, потому что, когда я смотрю, в моем взгляде есть что-то от твоего. Этого не понять, в этом нет никакого смысла, это ничего не значит. Но теперь, когда моя жизнь подходит к концу, а так оно и есть, то, что было тогда в твоем взгляде, я помню яснее всего в жизни. Это звучит странно, неправдоподобно, потому что из всех людей, кого я любил, из всего, что было, что-то в твоих движениях, в том, как двигалось твое тело ранним утром посреди осени, когда ты пришла в гимназию, где я учился, останется самым отчетливым воспоминанием моей жизни. Как же все странно. Странный этот твой взгляд утром в школьной столовой, где ты сидела на дальнем конце стола, одна вместе с другими, и твои глаза, и то, как ты посмотрела, странно, что этот твой взгляд стал самым важным в моей жизни, будучи, в сущности, совершенно лишенным какого-то особого значения. Я уверен, знай ты об этом, ты бы смутилась и больше бы со мной не разговаривала, это было бы слишком больно, слишком трудно, ведь что я мог увидеть в самых банальных твоих движениях, в самом банальном твоем взгляде, как бы ты чувствовала себя в моем присутствии, как нечто затаившееся, нечто такое, что должно исчезнуть, так бы ты себя и чувствовала, скажи я тебе, что будут значить для меня движения твоего тела в то утро, твое первое утро в гимназии, осеннее утро, в холодном свете, с легким дождем и легким ветром. Ты бы не смогла понять, ты бы не смогла со мной жить. А скажи я тебе, что для меня будет значить твой взгляд в школьной столовой, где ты сидела одна с другими, когда ты его подняла, ты бы не смогла смотреть так свободно все годы, что мы прожили вместе. В этом я уверен. Поэтому я тебе ничего не говорил. А может быть, мне только кажется, что тебя бы это задело. Может быть, стоило тебе сказать. Я держал тебя за руку, когда ты умирала, и я тебе ничего не сказал, даже тог-

да. Я слышал, как замедляется твое дыхание, прерывается, останавливается, исчезает надолго, видел уходящую жизнь в твоих глазах, потом дыхание возвращалось, потом снова исчезало, потом пропало, и тогда, именно тогда, я увидел, как твой взгляд перемещается по комнате, а в нем — все то, что было в твоих движениях, я увидел, как превратились твой взгляд и твои движения в один момент в нечто неясное и потом исчезли. Я увидел, как твой взгляд опустел. Я видел твои глаза в последний раз. Я опустил твои веки. И я услышал твой голос, голос, который я слышал много раз, я услышал твой голос таким, каким буду слышать его всегда, до конца жизни, пока я не уйду и твой голос тоже не уйдет вместе со мной, я услышал твой голос, это было днем, какое-то собрание в актовом зале в гимназии, на которое мы пришли, кто-то тебя о чем-то спросил, ты встала, ты что-то сказала, ты снова села, не помню, что это было за собрание, не помню, что ты сказала, но что-то было в твоем голосе, в том, как соединялись голос и тело, когда ты встала, что-то было в твоем голосе, что-то, что я с тех пор всегда слышал внутри, не знаю, что ты сказала, не помню, это не имеет значения, это ничего не значит, но что-то в твоем голосе тогда, в тот день, в актовом зале нашей гимназии, что-то в твоем голосе, когда ты встала, черноволосая, что-то в твоем голосе я с тех пор всегда слышал, где-то внутри себя. Я никогда тебе не говорил. Я не мог сказать. Я не мог сказать, что все, что ты говорила позже, имело для меня такое же значение, как то, что звучало в твоем голосе именно в тот день в актовом зале нашей гимназии, когда ты сказала что-то, не помню что. Я увидел, как ты идешь через школьный двор ранним осенним утром в холодных сумерках, увидел что-то в твоей манере двигаться, что я запомню навсегда. И я увидел, как ты сидишь на дальнем конце стола в школьной столовой, ты подняла глаза, и я увидел что-то в твоем взгляде, что я буду помнить всегда. И я увидел, как ты встаешь однажды днем, в актовом зале нашей гимназии, и я услышал что-то в твоем голосе, от чего я никогда не избавлюсь. А теперь тебя нет. Когда ты умирала, было что-то в твоих движениях, в твоем взгляде, в твоем голосе, что пронзило меня, и наполнило комнату, и распространилось по темнеющему небу за окном больничной палаты. Не знаю, что это было, не знаю, что это. Я бы не сказал тебе, останься ты в живых, тебе стало бы труднее, потому что я хотел, чтобы твое тело двигалось именно так, как когда ты просыпалась, усталая и раздраженная, когда ты злилась, когда ты радовалась, когда ты ругала меня и называла чудовищем, я хотел, чтобы твое тело было именно таким, я не хотел тебе говорить, что во мне есть светлый отблеск, так сказать, внутри меня, во мне есть то, что двигалось в твоем теле или двигало твое тело, когда ты шла через школьный двор в то утро, оно внутри меня. Я не хотел тебе говорить о том, что я видел в твоем взгляде. Ты должна была смотреть так, как тебе хотелось, не задумываясь о том, что твой взгляд внутри меня, твой взгляд в моем взгляде. Я не могу тебе сказать. И я не мог тебе сказать, насколько сильно твой голос запал мне в душу, тогда бы твой голос не мог быть таким злым, не настолько злым, как когда ты меня бранила, изо дня в день, говоря, что я чудовище, что я ужасен. Твой голос должен был принадлежать тебе. Я никогда тебе не говорил, что твой голос был глубоко внутри меня. А теперь ты умерла. Теперь тебя больше нет. Теперь больше нет твоих движений, твоего взгляда, твоего голоса. Все же во мне, пока еще. И я не боюсь умереть.

Рой Якобсен

Правая рука

Перевод Екатерины Чевкиной

1

Едва поднимался мятеж, как великий визирь слал отряды своих конников от селенья к селенью. И сгоняли жителей всех вместе, словно кур, и у всех на глазах отсекали правую руку их старостам. Но прежде давали выбрать:

— Или тебе — или твоему старшему сыну.

Оттого страх удваивался, а боевой дух убывал вполовину. Так удавалось подавлять мятежи и ослабить непокорных подданных.

На краю селения Добрин жил крестьянин Горадз. Слыл он храбрым воином и верным христианином и, будучи спрошен в свой черед, попросил пощадить его четырехлетнего сына, Милана, а покарать его самого.

Начальник турок, Белидж, дал знак палачу по имени Альса, и у всех на виду Горадза привязали к двум столбам; двое турок положили его правую руку на плаху и держали ее. Когда Альса взмахнул саблей, все отвели взгляды. Единственными, кто не сводил глаз с бледной кожи на могучем предплечье пленника, были сам Горадз, его жена, богобоязненная Дуба, и палач Альса.

Едва сабля отсекла руку от тела, Дуба с воплем кинулась вперед и перерезала веревки. Она оттащила мужа в кузницу, прижгла ему раны и уняла кровь.

Когда Горадз открыл глаза, была уже ночь. Его мучил жар и боли в руке: болели пальцы, запястье, предплечье, каждая пядь отсеченной руки горела будто от раскаленного железа. Дни напролет лежал он, кусая губы, и говорил сам с собой, и кричал, чтобы ему отняли наконец руку:

— Да отрубите же ее наконец! Отрубите!

© J. W. Cappelens Forlag a. s., 2002
© Екатерина Чевкина. Перевод, 2005

Через три недели ему полегчало. Веки его гноились, два зуба сломались, мышцы шеи отчаянно болели. Но рука болеть перестала.

Тут сын его Милан, что все это время спал с соседскими близнецами, вернулся домой и сел у отцовой постели. Казалось, мальчик винит себя, слыша невыносимые стоны отца и видя его изувеченное тело — Горазд сразу заметил, как Милан переменился: он стал серьезным, послушным, то и дело приносил отцу попить и не отходил, как тот его ни прогонял. Пришлось Дубе вновь отвести его к соседям. Но Милан удрал и опять прибежал домой.

С той поры стал Горадз в нем узнавать себя.

А как начал староста подыматься — сперва по дому ходить, потом по двору, сын ходил рядом и ему помогал. Малейшую просьбу сын исполнял безропотно. В кузнице он с радостью брался за клещи и ворочал раскаленное железо, чтобы отцу было сподручнее ковать. Так и стал Милан не только правой рукой отца — заговорили вокруг, будто он и растет и учится быстрей других ребятишек.

Как осень пришла, Горадз с сыном отправлялись в лес по дрова; когда заметала метель и мальчик зябнул, отец обнимал его и видел, что единственной ладони ему хватает, чтобы согреть в ней обе ладошки сына.

— Ха-хо-лу-лу-лу, — пели они.

Отец выучил сына править лошадью. Научил его обрезать сливовые деревья и делать запруду от паводков...

Так и жили они, в страхе и в мире.

Покуда не прошел по долине слух, что снова явились турки; теперь они пришли за живой данью — чтобы забрать десять крепких мальчиков в Стамбул и обратить в свою веру.

Горадз отозвал Милана в сторонку.

— Я не в силах тебя защитить. И в лесу тебя спрятать нельзя, не то они убьют и Дубу и меня и остаток дней ты проживешь жалким побирушкой. Не в силах я ни изувечить тебя, ни выгнать на мороз, чтобы ты замерз и слег в лихорадке. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?

— Отпусти меня в Стамбул, — сказал мальчик. — И дозволь мне принять новую веру.

Отец опустил голову.

Вновь отряд возглавлял Белидж, и снова в свите его был палач Альса. От дома к дому они прошли и выволокли десять самых крепких мальчиков, каких только смогли найти. Дойдя до края селения, забрали они и Милана, и одного из соседских близнецов. Детей запихнули в большие корзины, притороченные на вьючных лошадях, и, когда караван снова продолжил путь, Дуба бежала рядом вместе с другими матерями, умоляя вернуть ей сына. Но Горадз остался сидеть на пороге дома, прикованный к невидимой руке.

2

Едва разгорался мятеж, великий визирь отправлял отряды конников от селенья к селенью. Те сгоняли жителей вместе, словно кур, и у всех на глазах отсекали правую руку их старостам. Но прежде давали выбрать:

— Или тебе — или твоему старшему сыну.

Оттого страх удваивался, а боевой дух убывал вполовину. Так подавлялись мятежи и подрывались силы повстанцев. Но на краю селения Добрин жил хитрый крестьянин Горадз. И когда турки предложили ему выбор, ответил он, что пусть рубят руку его сыну, маленькому Милану, которому было-то всего четыре года.

Белидж решил поначалу, что Горадз не понял вопроса, и велел толмачу переспросить.

— Он говорит, вы можете наказать его сына, — сказал толмач. — Зато потом, говорит, уедете с пустыми руками, когда явитесь сюда за живою данью.

Но Белидж заподозрил тут лукавость и отошел прочь вместе с толмачом и палачом Альсой. Эти боялись Белиджа больше, чем султана, и в ответ говорили лишь то, что тому угодно было слышать. Белидж это знал и, когда Альса заявил, будто Милан Горадзу не сын, а подменыш, сказал, что, видно, палач просто не хочет рубить руку жалкому пащенку.

— А ты что думаешь, толмач?

Толмач отвечал улыбаясь, что уже разузнал по округе и выяснил, что Милан Горадзу родной сын. И доказать это можно — у обоих половинка левого глаза синяя.

Белидж вернулся в сливовый сад и заглянул в глаза Горадзу и Милану и увидел, что, точно, у обоих полглаза синие, — обоим досталось по половинке печати греха от боснийских псов.

— Я спрашиваю тебя в последний раз, Горадз. Жертвуешь ли ты рукой своего сына, чтобы спасти свою собственную?

— Да.

Богобоязненная Дуба до того обезумела, что воинам пришлось запереть ее в клеть.

— Как скажешь, — отвечал Белидж.

Солдаты схватили перепуганного мальчонку, положили его руку на плаху, и Альса отрубил ее выше локтя. И все смотрели в другую сторону; только Альса да Горадз, словно желавший себя наказать, не сводили с мальчика глаз.

К изумлению всех, Милан лишь сел на землю и уставился на кровоточащий обрубок. Альса знал, это потому, что он ребенок, и еще потому, что, когда руку отрубают вот так, проходит не одно мгновение, прежде чем наступает боль. Оттого Альса и не хотел справлять свою работу; нелегко снести молчание ребенка.

Горадз рванулся к мальчику, схватил его и помчался в кузницу. Там прижег он ему рану и унял кровь.

Турки уехали из селенья, и тем же вечером Горадз собрал совет.

— Нет зрелища страшнее, чем то, что видели сегодня мои глаза. Однако выбора у меня не было. Ибо однорукому как мне вас защитить? Хорошенько подумав, вы поймете, до чего коварен замысел турок. Повсюду, где прошли они, остались изувеченные старосты и вожаки. И они либо погибнут в стычках с разбойниками, либо утратят уважение своих. Оттого ползут по нашей земле страх и тревога, которые губительней разбойничьих шаек и турок, вместе взятых.

Мужчины решили, что это сказано справедливо, и поблагодарили Горадза за его жертву. Единственной, кто не простил ему, была Дуба. Когда он выпустил ее из клети и велел позаботиться о лежавшем в беспамятстве сыне, она прокляла его такими страшными словами, что слышавшие запомнили их до скончания дней.

Но Горадз был умен. Все последующие месяцы он ночевал в овине; ел он у друга и первого своего помощника Иво Палицы, а с Дубой не заговаривал, покуда Милан опять не пошел играть с ребятишками.

— Холодно в овине, — сказал Горадз жене.

— Сюда тебе хода нет, — отвечала она, ибо гнев ее не стал меньше.

Горадз снова пошел прочь и проспал еще несколько ночей на сеновале. Но когда опять воротился, то протиснулся в дверь дома и поел за своим столом. И стал теперь спать на полу у очага. Когда же настали морозы и снежной крупой задуло во все закоулки и люди покончили со всякой работой, тогда он получил позволенье снова спать с Дубой. Но тут принесли цыгане смутные слухи о грабежах и пожаре. Горадз поскакал со своими людьми от селенья к селенью, но ни разбойников, ни поджигателей не обнаружилось. Так повторялось снова и снова, и факелы полыхали ночи напролет.

Прежде люди ходили с оружием лишь в отдаленные земли. А теперь ни нож, ни сабля не спасали их от каждодневного страха. И поняли люди, что сам Господь проклял Добрин.

Горадз опустил голову, собрал совет, признал свой ужасный грех и торжественно передал свою власть и право Иво Палице.

На другой день перебрался он в халупу на пустыре. Там спал он и прожил как зверь всю зиму. Когда птицы опять воротились в долину на сливовые деревья со щебетом, что отдается смутным шумом в крови человека, сел он словно чужой на пригорок у реки и увидел, как дым подымается над Добрином. Никогда еще от земли до неба не вздымалось столпа прямее; никогда еще не бывал Добрин такой крепкой опорой Господня дома. А Горадз был его тайным защитником.

Только в защите не стало надобности.

И летним утром на четвертый год батраки нашли его в петле на самом большом тополе у реки. Они перерезали веревку и сложили его земные останки в прохладном ларе водяной мельницы. Дуба встретила известие вскриком, но слышавшие клялись, что было в нем облегчения столько же, сколько и горя. Она обмыла и обрядила тело, купила землю у кладбищенской стены и отдала последние динары резчику, чтобы тот высек на каменной плите буквы имени Горадза и строку из Писания.

После чего передала Иво свою землю — и ближние угодья, и на окрестных склонах — и посвятила оставшуюся жизнь одинокому взрослению Милана и горестной памяти Горадза. Каждый год на Успеньев день приносила она цветы на могилу мужа и ставила на каменную плиту чашу с медом.

Когда Милану исполнилось десять лет, вернулись турки за живою данью. Впереди них летели слухи, за ними пылью стелилось отчаяние. Кто прятал сына в клети или в сеннике, кто отрубал ему палец, кто выгонял на мороз или морил голодом.

Дубе все это было незачем.

3

Не успел начаться мятеж, как послал великий визирь конные отряды от селенья к селенью, чтобы рубили правую руку христианским старостам. Но прежде давали им выбрать:

— Тебе или твоему старшему сыну?

Так гасили турки огонь мятежа, и повстанцы делались слабыми и покорными.

Но на краю селения Добрин жил крестьянин Горадз. В бою он себя не щадил и, когда турки предложили ему выбор, сказал, чтобы помиловали сына.

Белидж подал знак Альсе-палачу, и у всех на виду привязали Горадза к двум столбам и руку его положили на плаху. Едва ударил палач, Дуба рванулась вперед и перерезала веревки; она оттащила Горадза в кузницу и прижгла его рану.

Когда он открыл глаза, была уже ночь.

Его мучил жар и нестерпимые боли — в руке. Болели пальцы, запястье, предплечье, каждая пядь отсеченной руки горела будто от раскаленного железа. Дни напролет лежал он, кусая губы, и говорил сам с собой и кричал, чтобы отняли наконец ему руку:

— Да отрубите же ее! Отрубите!

Лишь через три недели мука его утихла.

Сын его Милан, что все это время ночевал с близнецами Иво, воротился домой и сел у отцовой постели. Мальчик словно понимал, что изувеченное тело отца стало и его участью. Горадз заметил, что сын переменился еще больше, нежели он сам. Как только начал он подниматься и ходить по двору, сын шел рядом и всячески помогал ему. Что бы отец ни попросил принести, сын приносил безропотно. В кузнице он с великим усердием брался за клещи и ворочал раскаленное железо, чтобы отцу было сподручнее ковать. Так сделался Милан не только правой рукой отца — заговорили вокруг, будто он и растет и учится быстрей других ребятишек.

Но и отец переменился. Он старался принудить свою единственную, левую руку нести все то бремя, что Господом предназначено для обеих. Лишь теперь он вполне понял старинное присловье — что двум смертям не бывать, но без руки умираешь всякий раз, за что ни возьмешься.

Когда зима миновала, смирился он с судьбой и собрал совет. С горечью передал он свое право и главенство тому, кому подобает по справедливости, Иво Палице, что был Горадзу другом и советчиком еще сызмальства.

— Ныне я не только лишен руки, — сказал он Дубе. — Ныне лишился я всей власти моей и чести.

— У нас родятся еще сыновья, — утешала его Дуба. — Они о нас позаботятся.

— Нет, — сказал Горадз. — Я не сумею их защитить.

Он жил в клети, будто скотина. Дуба приносила ему еду и пыталась уговорить его вернуться к ней. Но он только бормотал, что теперь он лишь полчеловека и негоже ему лежать в постели на месте целого мужчины.

И сына стал он гнать от себя:

— Шел бы играл с ребятишками.

Он работал в лесу, пахал пашню, обрезал сливовые деревья и чинил запруды — и управлялся со всем так хорошо, как это только возможно одной рукой. Еще он рубил деревья, а Милан все время сидел в сторонке, готовый броситься на подмогу по первому зову. Но зова все не было.

Зимней ночью спустился Горадз с гор с возом дров. Лошадь под ним упала, он в ярости добил ее и сам впрягся в оглобли. Дуба почуяла неладное и, хотя время было за полночь, выслала Милана с факелом. Маль-

чик нашел отца внизу на краю заснеженного сливового сада, убедился, что тот жив, и привел мать. Вдвоем принесли они обеспамятевшего Горадза в дом и уложили наконец в постель. Очнувшись, понял он, что они спасли ему жизнь. И больше с той поры не работал.

По весне он уходил в горы, потом возвращался и снова пропадал; все больше и больше делался он похожим на нищего и бродягу, под конец люди, увидев его из окон, не знали, сон то или явь: всегда он проходил, закутанный в черный плащ, и шел всегда от реки к рыночной площади — и там исчезал.

Когда пополз слух, что турки снова на подходе, отвела Дуба Милана в сторонку и сказала:

— Что станем делать? Ты можешь скрыться в горах, но тогда пожгут наш сад и убьют меня, и придется тебе остаток дней побираться. Я могу дать тебе пепла с маслом, чтоб у тебя сделалась хворь, могу...

— Пусть увозят меня в Стамбул, — отвечал Милан. — Я теперь взрослый.

— Никогда. Никогда.

Но когда явились турки, Милан стоял на пороге и ждал. Его схватили вместе с одним из близнецов Иво и сунули в корзины, навьюченные на последнюю лошадь. Караван шел сквозь вой и крики, несущиеся со всех сторон. Последний раз взглянув на мать, Милан увидел искаженное, словно чужое лицо, покрытое пылью, и взметнувшиеся плети рассвирепевших стражников. Он съежился на дне своей корзины и лежал не шевелясь, покуда один из турок не опустил ему туда хлеба. Тут Милан выглянул наружу и увидел, что они уже спустились в лог и впереди простираются равнины. А над взмыленной спиной лошади он увидел сына Иво с лицом, сморщенным не от плача и страха, но от боли — одна рука у него была в повязке, и, поймав взгляд товарища, Милан прочел в нем торжество. И понял, что турки в суматохе схватили того из близнецов, которому родители отрубили палец, чтобы спасти от неволи.

4

Не успел разразиться мятеж, как послал великий визирь конные отряды от селенья к селенью — отрубать правую руку у вожаков. Но прежде турки давали им выбрать:

— Или тебе — или твоему старшему сыну.

Так сеяли они страх и делали подданных слабыми и покорными.

Но на краю Добрина жил хитрый крестьянин Горадз. Когда турки предложили ему выбор, он отвечал, что пусть отрубят правую руку его сыну, маленькому Милану.

— Как скажешь, — изрек Белидж.

Солдаты схватили перепуганного мальчика, положили его руку на плаху, и палач Альса отсек ее точно по локоть.

Тотчас же Горадз бросился к сыну и отнес его в кузницу. Там прижег он его рану и в тот же вечер собрал совет:

— Нет зрелища страшнее, чем то, что видели сегодня мои глаза. Но как бы я однорукий смог защитить вас от разбойников и всякого сброда?..

На это никто не сказал ни слова. Все опустили глаза и лишь смущенно посасывали свои трубки. Горадз велел говорить старейшине.

— Не знай мы тебя, — сказал старик, — то решили бы, что ты поступил так от страха. — И надолго замолчал.

— А вы все что думаете?

— Что нам думать, мы не знаем. Знаем только, что подумают другие; что для вождя это гибель. Однако нет у нас выбора, кроме как предать твою и нашу судьбу в руки Господа.

Горадз решил, что это сказано справедливо; был он уверен и в том, что не много пройдет недель, прежде чем представится случай доказать, что он не трус.

Но тою же ночью было ему ужасное видение. Ему снилась отрубленная ручонка Милана, как она падает и падает... Он услышал крик. Но проснулся от тишины. В окне стояло родное селение в голубом лунном свете, нагое, словно вопрос без ответа; и вдруг появился человек в черном, он приближался, хромая, от речного брода, и в отблеске мельничного факела стало видно, что у него только одна рука.

Так повторялось каждую ночь.

Тогда он вновь собрал совет, признал свой ужасный грех и передал власть Иво Палице — Иво, названному брату и дольщику его наследства.

Иво принял назначение с почтительным поклоном. А Горадз перебрался из дома в клеть. И жил там, как скотина. Дуба носила ему еду, как теленку, но говорить с ним не говорила. И Горадз с нею не заговаривал. Но когда Милан снова стал играть на улице, Горадз подозвал его, обнял, взял его единственную руку в обе свои и стал раскачивать туда-сюда.

— Ха-хо-лу-лу-лу, — запел мальчик.

Горадз учил его ставить ульи, рассказывал о половодье, что случается каждую весну и разоряет земли, о том, как обрезать сливовые деревья; он учил его браться левой рукой за все, что Господь предопределил для правой, и, когда лето подошло к своему медово-золотому концу, отец с сыном сделались неразлучны.

Но когда Милану исполнилось десять, сказал он, что слышал немало историй о зверствах турок у них в долине. Истории эти смущают своей несхожестью; и вот он хочет, чтобы отец открыл ему истину. Горадз взял пять камней, выложил их по кругу и сказал, что все они были селеньями, но так давно, что случившееся в одном месте точно так же могло случиться и в другом.

Мальчик не понял.

Горадз объяснил, что все истории переплетаются и получается плотная ткань — человеку сквозь нее ничего не видно. И оттого не знает он, как ему быть.

Милан опять не понял.

Тогда отец пробормотал, что когда сынок вырастет, то придется ему самому однажды принимать решение — одному ради многих. Ему откроется путь, никем не изведанный. И он отправится этим путем. И тем самым этот путь закроет.

— Но ведь у меня только одна рука, — сказал мальчик.

5

Едва разгорелся мятеж, как отправил великий визирь отряды конников от селенья к селенью.

Юнни Берг

Игра света

Перевод Н. Федоровой

ВСТАЛ я рано. Мамаша уже сидит на веранде. Скоро придумает себе какое-нибудь пустяковое занятие, а этак через час решит, что вполне заслужила бокальчик пива. Ногти у нее грязноватые, волосы нечесаные.

Я наливаю чашку кофе, сажусь, смотрю на долину. На дальнем лесистом склоне, что поднимается к Сульхёй, виднеются овцы — крохотными неподвижными облачками стоят на прогалине. Зеленый трактор "Джон Дир" ползет по огороженному участку. Весенняя страда в разгаре, работа кипит. Там, где долина выравнивается, впадает в озеро неторопливая речка. Под высокими горами облаков искрится вода. Интересно, как бы я все это воспринял, если б очутился здесь впервые? Что бы думал о тех, кто живет в этом поселке?

— Нынче я его выведу.

— Сядешь за баранку?

— Ага, надо же его опробовать. Вот и прокачусь.

Художники начинают с белого холста. Писатели заправляют в пишущую машинку чистый лист бумаги. А у меня был "вольво", модели "амазон". Довольно-таки обшарпанный, но без ржавчины. Ни американские бандуры, ни новый "форд" или "опель" мне не нравились. Я хотел иметь демократичный автомобиль. Теперь на "амазонах" мало кто ездит, а для меня они все равно демократичные. Целая осень, зима и весна ушли на переделку, по выходным помогали братья, но большей частью я вкалывал в одиночку.

Мамаша зябко поеживается.

© Forlaget Oktober, 1992
© Н. Федорова. Перевод, 2005

— Утро — лучшее время дня, — говорит она.

Я глажу кошку, скольжу пальцами по длинной серой шерстке. Потом надеваю комбинезон и рабочие башмаки, иду к сараю. Прежде чем открыть дверь, секунду-другую медлю, смотрю на крокусы, которые мамаша много лет назад посадила у ограды, на исхлестанную непогодой стену дома, когда-то совершенно белую. Ночью я выходил на улицу. Деревья и береговой склон пахли живицей и свежей травой. Дом, сарай, раскуроченные старые колымаги тонули во мраке. Я ничего не видел, но запахи были сильные, густые, насыщали воздух пряной остротой.

За деревьями тарахтит автомобиль. Здоровенная тачка, громыхая, заруливает во двор, тормозит возле сарая. Хлопает дверца. Это Патлатый и Ким. Патлатый одолевал меня с тех самых пор, как я начал возиться с "амазоном". Предлагал даровую помощь, просто потому, что обожает автомобили. Он заявлялся сюда снова и снова, но я не впустил в сарай ни его, ни кого другого из поселковых. Мы с Патлатым здорово похожи. И отлично ладим. Только он слишком уж шебутной, вечно нарывается на неприятности. И взломы за ним числятся, и наркоту он толкает. Но меня это не колышет, ведь он пока ничего у нас не увел и гашиш моей мамаше не продает.

— Здоро́во! — кричит он. — Готова тачка? Пора выводить?

Не пойму, как он пронюхал.

— Да нет еще, — говорю я. — Осталось последний глянец навести.

Вечно они порют спешку. Ким — кореянка, хотя уже много лет живет в Эневарге. Прошлой осенью она регулярно бывала здесь. Смуглая, темноволосая, высокая, все поселковые парни один за другим сохли по ней. Вдвоем мы совершали долгие прогулки, удили рыбу, играли в бадминтон, и я все время диву давался, как же это она, которая могла подцепить любого, выбрала меня. Только вот Ким не мой тип. И когда влюбился, я попросил ее больше не приходить; она такая же неугомонная, как Патлатый, и тут у нас наверняка бы сошла с ума от скуки.

— Знаю, сегодня ты поедешь кататься, — говорит Патлатый.

Он собирает в горсть свои длинные космы и стягивает их шнурком, сооружая хвост. Снимает темные очки, криво ухмыляется, снова надевает очки, цокает языком.

— Откуда ты знаешь? — спрашиваю я.

— Знаю, и всё.

— Ошибочка вышла.

— Без дураков?

— Без дураков.

— Вот черт! — Патлатый крепко сжимает губы.

— Отпадная кожанка, — говорю я Ким.

— Значит, выполз все ж таки из норы, — отзывается она.

Есть в Ким этакая изюминка, отличающая ее от других молодых женщин в нашей округе. Деликатная такая изюминка, едва уловимая, она сквозит в каждом движении Ким, в каждом звуке ее голоса. Только женщина может обладать этой музыкой, этой гармонией, которую иные мужчины так мечтают отыскать.

По-моему, Патлатый это чувствует.

— Фуфло, — говорит он.

— У меня дела. Не теряй зря время.

Патлатый идет к сараю. Знает, что там темно и что заглядывать туда ему нельзя. Поэтому он припадает ухом к дощатой двери и *прислушивается.*

Получается вроде как крещение солнечным светом. Машина красная. Десять слоев цветного лака и двадцать — прозрачного. Крышу я опустил пониже, рессоры подрезал, уменьшив тем самым дорожный просвет. Крылья сделал пошире. Поставил хромированные бамперы и решетку радиатора. Снабдил тачку низкопрофильной резиной, датчиком давления масла и рулем фирмы "Нарди". Движок тоже новый — "ровер", V-образная восьмерка. В остальном все детали обычные, "родные", купленные на авторынке в Эребру. Я не любитель всяких-разных примочек, какими народ увешивает свои машины. Обойдемся без всех этих задних спойлеров, молдингов, анатомических сидений и уж тем более без лисьих хвостов, обивки из искусственного меха и елочки на заднем стекле. Оно останется чистым.

Ключ мягко входит в замок зажигания, и, выждав секунду-другую, я поворачиваю его. Движок отвечает рокотом. Мощный звук, густой, хриплый, в нем чувствуется сила, сдержанный рык, который в любую минуту готов вырваться на волю. Да, вот это сила. Задним ходом медленно подъезжаю к крыльцу. Мамаша машет рукой с веранды, а когда я вылезаю из машины, говорит, что тачка — зверь, но вообще-то она в таких делах не петрит.

— Молодца, мать, врубаешься! — говорю я.

Она хрипло смеется и исчезает в доме, чтобы втихую тяпнуть рюмашку. Мамаша у меня боязливая. Всю жизнь всего боится.

Словно огромный гудящий жук, "амазон" взбирается в гору, но не быстро, движок еле слышен. Клиренс у меня так мал, что практически я почти скольжу брюхом по асфальту. В повороты вхожу плавно, без крена, не как какой-нибудь паршивый "француз", которого швыряет из стороны в сторону. Скоро самый длинный прямой участок, и я мягко жму на педаль. Ладони взмокли. Всё, я на дистанции. Сто десять. Сто двадцать. "Ровер" мурлычет. Сто тридцать. Сто сорок. Как я об этом мечтал! Стрелка спидометра минует отметку сто семьдесят, баранка вибрирует, но не сильно, чуть-чуть. Вереск, скалы, обочины грязно-бурой полосой летят мимо. Ну, когда же? Иду на ста восьмидесяти, а кажется, будто стою на месте. Я сделал, что хотел, мечта сбылась.

Закончив дистанцию, останавливаюсь возле болота, выхожу из машины, курю. Удовлетворенно думаю: что ж, дело сделано. Потом еду дальше, в город.

На площади базарный день, да и вообще машинам въезд заказан. И все равно каждую субботу одна компашка умудряется заехать туда и припарковаться где-нибудь в углу. Сегодня они тоже здесь — несколько тяжелых колымаг и парочка "харлеев". Подрулить к ним не так-то просто. Ну да ладно, попробую. Народ всех возрастов снует между тачками. Самая страховидная американская бандура — Мортенсенова розовая "импала" — занимает лучшее место. Собственно говоря, импала — вид антилопы. Но эта широченная розовая каркатица вся из железа и весит не одну тонну — в жаркий летний день чуть что сквозь асфальт не проваливается. Меня лично тошнит от всех этих "импал". По шоссе прут внаглую,

другим машинам дорогу не уступают. Мортенсен ведет себя таким же манером, но стоит ему вылезти из тачки, и он мигом теряет уверенность, боится подвоха. Ненормально это. В нем как бы два разных человека — один с машиной, другой без, и они совершенно между собой не стыкуются.

Я паркуюсь метрах в десяти от ближайшего "харлея".

Компашка замолкает. Проходит две-три минуты. И вот один направляется ко мне. Мальчишка. За ним еще несколько, а в конце концов и все остальные.

Обступают мой "амазон", садятся на корточки, рассматривают хром и лак, но руками не трогают. Переговариваются, кивают. Знакомый парень заглядывает в опущенное боковое окно, тихо бросает:

— Стало быть, это и есть чудо.

— Ага, — отвечаю я, затягиваясь сигаретой.

— Я думал, покруче будет. Малость понавороченней.

— Хрена.

Я ожидал совсем другого. Таких машин в нашей округе нету. В порядке исключения моя будет единственной. Но сейчас деревянный руль почему-то выглядит дешевкой, дурацким прибамбасом. От сидений пахнет пылью. Мне хочется вылезти вон, уйти, побыть одному.

Мортенсен расхаживает туда-сюда, тщательно оценивает работу. Опирается на левое заднее крыло, толкает, проверяя рессоры.

— Вот ведь чертов "швед", — говорит он мне.

— Мой "швед", — уточняю я.

— Клёво сработано. Клёво.

Мортенсен кивает на "харлеи" и тачки.

— Поговорить хочешь?

Я как бы вижу со стороны свой "амазон", запаркованный передком к боку "импалы". Поднимаю стекло прямо перед круглой физиономией Мортенсена и еду прочь, измотанный куда больше, чем после самых долгих зимних тренировок.

Мамаша сидит на камне у откоса, спускающегося к озеру. Небо нахмурилось. Облака высокие, горят медью. Я сажусь рядом с мамашей. Она чуток навеселе, но не слишком.

В разрывы облаков на черную воду озера веером падает солнечный свет.

— Чего ты боишься? — спрашиваю я.

— Дня. Проснуться боюсь.

— И о чем ты думаешь?

— О том, что земной шарик в любую минуту может перестать вращаться. Что я вдруг потеряю вес и меня швырнет прочь от земли.

— Да не бери ты в голову эту чепуху.

Свет волнами пробивается сквозь плотную завесу облаков, словно длинные колышущиеся полоски золоченой бумаги. Большие сверкающие пятна играют на воде. Будет гроза, рановато она в этом году. Никогда не видал, чтобы ненастье собиралось таким манером. Я покачнулся, будто налетевший шквал толкнул меня назад.

— Мужик тебе нужен, нормальный мужик, — говорю я мамаше. Рассказываю про город, придумываю байку, что-де встретил давнюю по-

дружку по реальному училищу, которая ей нравится. Надо только снять трубку да позвонить.

Во дворе перед домом ждет Патлатый.

— В первую поездку без меня рванул! — Он нервно вышагивает по кругу, хрустит гравием, машет руками, шипит: — Я должен был сидеть там, рядом с тобой!

— Мне пришлось соврать. В одиночку хотел прокатиться.

Пускай выпустит пар. Мало-помалу он переключается на "амазон". Злость утихает, лицо меняется, делается открытым, мальчишеским. Прикусив губу, он любуется обводами красного блестящего металла.

— Вот это да, — говорит он мягко, как старушка какая-нибудь. Кладет руку на капот. — А еще поедешь? Сегодня?

— Хочешь купить? — спрашиваю я.

— Ха-ха.

— Я серьезно. Сколько дашь?

— Нет у меня денег. Кончай.

Он не сводит глаз с машины.

— Если я что говорю, то всерьез. Без дураков. Отдам за тридцать кусков.

— За тридцать кусков? За тридцать? — Патлатый наверняка думает, что я спятил. — Такие машины за тридцать кусков не продают.

— Давай составим купчую. Заплатишь в рассрочку.

Я достаю авторучку и бумагу.

— Ну так как? Пишем или нет? Смотри, вдруг передумаю!

Патлатый проводит пятерней по волосам, задевает очки, но не замечает, что они упали на землю. Кивает и хрипло говорит:

— Пиши.

Я пишу, потом передаю ему бумагу и ручку, он ставит свою подпись.

— Ну вот, все записано черным по белому. Не отопрешься теперь! — торжествует он, размахивая листком.

— Твоя правда, — говорю я.

Патлатый размахивает бумагой, будто демонстрируя ее целой толпе народу, тычет в нее пальцем, улыбается сараю, и дому, и деревьям, и гравию под ногами.

Включает зажигание, мотор рокочет, и Патлатый катит прочь, не кивнув, не сказав больше ни слова. Вот и хорошо. Я прямо воочию вижу Патлатого и Ким в красном "амазоне" через год-два, по дороге в Швецию. Они занимаются любовью, до полного изнеможения, хлещут дешевое вино, а бутылки швыряют на заднее сиденье, "родная" обивка вся в грязных потеках. Снаружи корпус "амазона" сплошь в царапинах и шрамах после бешеных гонок по загородным дорогам и городским улицам, крылья в буграх и вмятинах, решетка радиатора поломана, хромовое покрытие облезает. За спиной у них во всю мощь громыхают сорокаваттные колонки, перекрывая пронзительный вой движка. Они устраивают потасовки, врут друг другу и трахаются на придорожных стоянках в осенней темноте, а в конце концов превращают "амазон" в кучу металлолома. Да, вот так оно и будет.

Беата Гримсрюд

День рождения

Перевод Елены Рачинской

ОДНА моя знакомая... Она позвала меня на день рождения. Накрыла стол: орешки, шарлотка с ванильным кремом. И вино. Белое и красное — на выбор. Потом пили кофе со свежими сливками. Я разоделась в пух и прах. В прихожей — там полутьма — взглянула в зеркало и подумала: "А ведь хороша!" Но зайдя в ванную помыть руки, как-то не рискнула разглядывать себя в зеркале: уж очень светло, и ее вещи — все так на виду. Вдруг кто выглянет — вокруг шкафы, горшки с цветами, халаты висят... и пятна на занавеске в душе — может, за ней кто-то стоит.

Я пришла в гости с большим мягким свертком. Бумагу выбрала светло-коричневую — казалось, купили ее давным-давно. Люблю бумагу такого цвета — я поначалу и бечевку ей в тон подобрала, сделала ручку, чтобы нести легче было. Но перед самым выходом из дома бечевку сняла и вместо нее повязала розовую ленту, сделала бант. Сверток, конечно, всю дорогу пришлось нести, прижав к груди, — до самого ее дома.

Ей принесли много подарков. Больших мягких свертков. Она была так рада. Сложила их горкой на полу. Мы пели ей, а она выбирала, с кем танцевать.

Я оделась заранее, а потом передумала: сняла туфли, колготки и надела все другого цвета. Слегка побрызгалась из флакона, которым брат пользуется, — какой-то дорогой парфюм. И все думала, подходит ли светло-коричневая бумага. Красивая, выглядит по-старинному, но подходит ли она? До выхода время еще оставалось. Я хотела знать наверня-

© J. W. Cappelens Forlag a. s., 1990
© Елена Рачинская. Перевод, 2005

ка. Сначала положила сверток на стол и долго смотрела на него. Потом на пол — и отошла к двери. А что, если попробовать на подоконник? Он такой широкий, белый... Я на нем частенько сижу. В конце концов там я сверток и оставила. На него струился мягкий свет... Пора было идти.

Она все танцевала и вдруг подошла к горе подарков. Мы сразу перестали петь, обступили ее. Много ей надарили. Больших мягких свертков. А я стою, облизываю пальцы: на них еще остался вкус ванильного крема. Даже не заметила, как она ко мне подошла. И как сверток мой из кучи вытащила, не заметила. Но когда она развернула подарок, и я увидела ее глаза, мне захотелось в ладоши хлопать. Каждая клеточка в моем теле задрожала от радости. Я закрыла лицо руками. Пусть этот миг продлится. Хочу сполна ощутить радость, как она поднимается во мне, заливает — плечи, грудь. Я все угадала! И с подарком, и с бумагой, и с цветом... Все угадала! Хотела к ней подойти... Мне даже показалось, будто я — в центре круга, и все на меня смотрят. Ждут, что я скажу. Например, где купила подарок. Или сказать: вообще-то, мне это по наследству досталось, но теперь — пусть будет у тебя. Я уже подалась ей навстречу, убрала руки с лица, была готова захлопать в ладоши... А она уже вытаскивает очередной сверток.

Поздно. Все поздно... Подарки сложили на столе. Бумагу, бечевки, ленты побросали в мешок и вынесли на задний двор. На полу остались только ореховые скорлупки. Кое-кто из гостей уже попрощался и ушел. А до этого был же разговор. Что можно остаться у нее ночевать. Я еще когда пришла, решила остаться...

— Мне, чур, розовое одеяло, — говорю ей.

— Просто нельзя сказать: мне — самое большое?! — хмыкнула она. Громко так.

А я в ответ, еще громче — и ей, и остальным:

— Розовый — мой цвет!

Но никто ничего не сказал. Тогда я встала прямо перед ней. Она сидела на полу и пыталась найти среди скорлупок целый орешек.

— Ты мне розовое одеяло дашь?

— Одеяло все равно одно. Хочешь, бери, — пожала она плечами.

Но оно мне так и не досталось. Когда я стала укладываться, его уже кто-то забрал.

— Послушай, а цвет... он так важен для тебя? — спросила она утром, выходя из душа, когда я сидела в туалете.

— Да нет, только розовый. В нем что-то есть...

— И что же? — спросила она, развязывая розовую ленту, которую я обмотала вокруг шеи. Мою ленту — я отыскала ее на заднем дворе в мешке, среди кучи оберточной бумаги. Отыскала и повязала на шею, а она сняла — и крутила теперь в руках.

— Откуда такая лента? — спросила она.

— С куклы моей сестренки. Лента была вроде одежки. Кукла из Бирмы. Знаешь, там жарко — и все дети так одеваются: обматывают ленты вокруг тела и ходят.

Она обернула ленту вокруг талии, завязала бантом.

— Красиво! Тебе идет, — улыбнулась я.

— А розовый... он ведь что-то значит? — она посмотрела на меня.

— Ну-у, дело не в цвете.

– А в чем?..

– Ну... во мне, наверное...

"Да нет, ерунда, – подумала я. – Не знаю я, в чем тут дело..."

Она развязала ленту и протянула мне ее.

– Не надо, оставь себе, – сказала я.

– Я замерзла. Тут, знаешь, не Бирма, – пробурчала она и надела халат. Красивый. Потом повернулась спиной и стала причесываться. Подкрасила губы, подвела глаза, а я смотрела на ее лицо в зеркале.

Она заметила мой взгляд и спросила:

– Грустишь о чем?

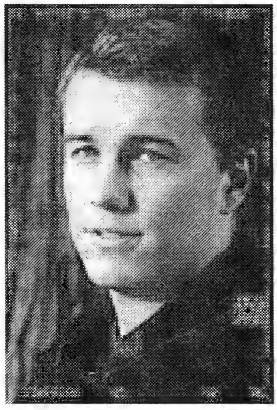
И когда она снова принялась расчесывать волосы, я ответила:

– Так... Иногда бывает...

Она вышла из ванной, а я пошла следом, бросив розовую ленту на полу.

Она так и не спросила, о чем же я иногда грущу.

Бьярте Брейтейг



Стокгольм

Перевод Екатерины Чевкиной

ТУТ холодно и тихо. Вообще эта квартира мне великовата. Вдоль стен штабелями громоздятся коробки, я распаковал только самое необходимое — постельное белье, кое-какую посуду и туалетные принадлежности, все это кучей навалено на кровати. Думаю, пора бы уже начать что-то делать. Я все время это думаю — надо взять и начать. Бреду к окну, опираюсь на подоконник. Внизу, на заднем дворе, велосипед с погнутым передним колесом прислонен к сетке забора. Замигав, включился фонарь на стене. Смотрю на часы. Кристина уже часа четыре как едет в поезде. Мысленно пытаюсь услышать ее голос — но его уже нет.

Компьютер я пристроил на кухонном столе и сижу общаюсь с народом в Интернете — в нескольких чатах одновременно. В доме тихо, как бывает только ночью. Ни звука шагов в подъезде, ни шороха воды в стояке канализации. Насколько я знаю, кроме меня жильцов тут пока что нет. В норвежском чате попалась девчонка, зовут Элизабет, местная, из Осло. Впрочем, я могу звать ее Бетти, как все. Я вру в ответ, что я из Швеции, работаю в кинотеатре и коротаю в "нете" часы ночного дежурства. Я пишу, что Стокгольм красивый город, но что мне тут одиноко. *Так у тебя никого нет,* спрашивает Бетти. *Сейчас нет,* отвечаю я. От собственного вранья приходит даже что-то вроде вдохновения. Так и подмывает дальше сочинять про мою жизнь в Стокгольме, — чем я занимаюсь, о чем думаю, проходя по этим улицам, которых никогда не видел. *Квартира у меня в Старом городе,* пишу я. *Сейчас тут идет снег.* И сам так и вижу старые нахохлившиеся домики и свет окошек в решетчатом переплете. И белые хлопья, опускающиеся на угловатые шпицы, и клубы па-

©H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2000
© Екатерина Чевкина. Перевод, 2005

ра вокруг уличного фонаря от тающего снега — все так явственно. *Каждый вечер я иду в свое кино по старинным улочкам. Я думаю о всех тех людях, что проходили по ним давным-давно. Обо всех, кого уже нет. Прохожу мимо вереницы такси – они стоят в очередь друг за другом и уходят порожняком. Одинокие таксисты сидят в пустых салонах. Мне видно, как они курят и слушают радио. Снег приглушает все звуки. Кажется, что живешь в городе, где время остановилось.* Гляжу, как эти шведские слова возникают на экране, и внутри щекотно делается, до того все натурально. Я представляю себе девушку, как она сидит и читает все это с другого экрана где-то на другом конце города. *Ты прямо поэт,* пишет она. *Прямо захотелось самой переехать в Стокгольм. Но у меня маленькая дочка. С малышкой не разъездишься.* Спрашиваю насчет мужа. *Нету,* пишет. *Только мы с малышкой.*

Трубка холодит щеку. Опускаю монетки в щель и набираю мамин номер. Мутные пластиковые окошки телефонной будки исписаны фломастером — некая девица признается, что любит некоего Рона. Мимо проезжает автобус, и свет фонаря последовательно отражается в каждом из его окон. Мама берет трубку, и монетки со звоном падают внутрь.

Привет, мам, говорю. Это я.

Правда, говорит она.

Несколько недель назад я сказал ей, что на Рождество домой не приеду, что на праздники буду с Кристиной у ее родителей.

Когда едете-то? спрашивает мама.

Через пару дней.

Поездом?

Да, говорю. По всей видимости.

Вы бы заказали билеты заранее, говорит, а то потом с ними будет трудно.

Чем ближе к праздникам, говорит, тем хуже.

Кристина, говорю, все уже устроила.

Ну да, говорит она. Вот и хорошо. Ты уж поздравь ее родителей от меня.

При том что сама их в жизни не видела.

Столбик старенького термометра за кухонным окном с каждым днем опускается все ниже и все дальше от нуля. Несколько светлых дневных часов небо мутное и мертвое, а ночами в нем нет облаков, отражающих свет города, — один сплошной мрак. *У нас в Норвегии так холодно,* пишет Бетти. *Из-за мороза никак не выпадет снег. Дочка все время плачет. Боюсь, она мерзнет. По-моему, заболевает. Вид у нее совсем больной. Хорошо, что есть ты. Расскажи еще про Стокгольм.* Синюшный свет монитора падает на клавиатуру и на мои руки. Тут так тихо. Только тихонько гудит системный блок и стрекочут клавиши под пальцами. *Здесь так тихо и пустынно. Час за часом сижу в будке киномеханика и без конца смотрю одни и те же фильмы. А потом жду, пока усталые зрители спускаются вниз по лестницам. Я запираю за ними двери, и наступает тишина. Сквозь стеклянные двери мне видно, как они удаляются, растворяясь в глубине улицы. Иногда возникает чувство, что это мертвецы. Что я – единственный живой человек во всем городе.*

Я поднимаюсь и встаю у окна. Пытаюсь представить себе Бетти. Ее облик все время меняется, как облик персонажа из книги меняется от страницы к странице. Иногда она белокурая и веселая, с ясными голу-

быми глазами. А потом вдруг — темноволосая, серьезная, а глаза — почти что черные.

Несколько дней ничего не пишу. Пытаюсь представить себе Стокгольм, но вижу только то, что уже описал. На связь с Бетти не выхожу, вместо этого сижу качаю из сети порнокартинки и видеоролики. Часами сижу и гляжу. Картинки все время новые, ролики тоже. Молоденькие девочки отдаются пожилым мужикам или прижимают огромные фаллоимитаторы к безволосому лобку. Жирные тетки с кляпом во рту, связанные по рукам и ногам, веревки глубоко врезаются в белую плоть. От вида их полных ужаса глаз меня колотит. В темном оконном стекле я вижу собственное отражение, словно тот, другой сидит и подглядывает за мной, видит то, что я вижу, и знает, о чем я думаю. Он видит мой очередной улов — женщины с ампутированными руками и ногами и огромными ненатуральными грудями. Видит вместе со мной ролик о гинекологической операции — скальпель, входящий в бескровную плоть вагины.

Вода журча бежит по телу, горячими ручьями стекает с затылка по спине и по ногам. Душевая кабина наполняется паром. Я сажусь, обхватив руками колени, подставляю струям затылок и плечи. Дышать тяжело. Смотрю на грязные потеки внизу на пластиковых стенках. Следы людей, живших тут прежде, стоявших голышом в этой крохотной кабинке, вымывая соль из пор — и расплачиваясь перхотью и выпадением волос. Я откидываюсь назад и сижу, уставившись в пар наверху. Вода из горячей делается чуть теплой.

Наконец-то, пишет Бетти. *Я уж боялась, твой кинотеатр на праздники закрылся. Тут по-прежнему ужасно холодно. Так хочется, чтобы кто-то согрел своим теплом.*

Не отворачиваясь от экрана, зажмуриваю глаза — они слезятся от усталости. Снова смотрю на ее слова. *Тепла у меня хватает,* пишу. *Было бы с кем его разделить.*

Ron. Love you 4-ever. M. H. И дата трехлетней давности. По тротуару мимо будки шествуют нарядные люди — в церковь, к рождественской службе. Рассказываю маме, что мы уже там, у Кристининых родителей, что все отлично.

Вот и хорошо, говорит она.

А у тебя? спрашиваю.

Да нет... говорит. У меня тоже все в порядке.

И спрашивает, что у нас сегодня на ужин.

Не знаю, говорю, но наверняка что-то вкусненькое.

Да, говорит мама. Уж это точно.

Я слышу в трубке ее дыхание и вижу ее рот — тонкие губы, от уголков две почти незаметные морщинки к носу.

Да, а посылку мою получили? спрашивает она.

Да, говорю. Спасибо большущее.

Может, мне надо было что-то послать и родителям, как по-твоему?

Да зачем, говорю.

Точно?

Ну мам, говорю.

Она тихонько смеется. Спрашиваю, получила ли она наш подарок.

Да, отвечает. Но до вечера распаковывать не буду.

Правильно, говорю. И не нужно.

Мимо будки проходит мужчина с двумя девочками. Они скачут вокруг, дергают его за полы пальто и радостно визжат. Мама спрашивает, что это за малыши.

Племянницы Кристины, говорю.

Ух ты, говорит мама.

Я сегодня поддала немножко, пишет Бетти. *Сочельник все-таки.* По ее словам, закрыв глаза, она почти что видит меня. *Раньше была просто такая темнота, а теперь я тебя вижу.* Она уверена, что я симпатичный, что у меня теплый, уверенный взгляд. *Глаза – это главное. Иногда так хочется тебя поцеловать.* Отвечаю: *Это было бы весьма кстати.* Через целых две минуты приходит ответ: *Хочется, чтобы ты обнял меня крепко-крепко и целовал долго-долго. Да,* отвечаю. *Хочу прижаться губами к твоим губам. К глазам и к губам. Хочу ощущать тебя рядом. Чувствовать твое тело.* Она: *А дальше?* Кровь стучит в ушах, трясущиеся пальцы набирают дальше: *Хочу раздеть тебя. Хочу увидеть твое тело. Ты красивая. Хочу, чтобы твоя грудь прижалась к моей груди. Ты будешь меня целовать, а я притисну ладони к твоей спине и затылку. Дальше,* просит Бетти. *Мы вместе пойдем под душ,* пишу я. *Твои нежные руки будут гладить мою мокрую грудь, пока у меня не встанет, но я не буду входить в тебя. Еще рано. Сперва мы будем мыть друг друга. Нежно и бережно. И вот уже ты ведешь меня к кровати, и я больше не в силах себя сдерживать. Я падаю на тебя, прижимаюсь крепко-крепко и чувствую, как мягко вхожу в твое тело. Это потрясающе. Ты такая тепленькая! Я вхожу и выхожу и слышу, как тебе приятно. Ты лежишь в постели подо мной и смотришь на меня снизу. Какая красивая! Прямо мурашки бегут по затылку, по спине, по ногам.* У меня дыхание перехватывает, когда я бормочу это себе под нос. *Еще,* пишет Бетти. *Дальше.* И я пишу дальше. Я пишу, как мы кувыркаемся в просторной мягкой постели и прижимаемся друг к дружке, покуда я ее беру. И слышу, как она стонет, и вхожу все глубже, все сильнее. *Я не в силах тебе противиться,* пишу я. *Теперь ты сидишь сверху. Вот ты чуть нагибаешься поцеловать меня. Твои груди мягко покачиваются, тычутся в меня. Какие чудесные! О-о, я больше не выдержу...*

На крутых холмах западного предместья новенький асфальт отполирован морозом. Иду, сунув руки в карманы куртки, чувствуя, как лицо деревенеет от ветра. Машин почти нет. В заледенелых следах играет солнце. Перейдя площадку позади закрытого торгового центра, иду к ней – по адресу, предоставленному справочной. Искомый номер висит на стене маленького почтового отделения с забранными решеткой окнами и расписанием работы почты в праздничные дни. Второй этаж жилой, в среднем окошке тускло мерцает Рождественская звезда. Открываю кованую калитку и, оказавшись в пустом дворе, иду к двери и жму на звонок. Никто не открывает, и жать приходится снова и снова. Сбоку от крыльца стоит ржавая бетономешалка, до половины наполненная замерзшей грязью. Колеса глубоко увязли в щебне. Я уже начал сомневаться, тот ли мне дали адрес, когда заскрипела калитка. Из-за угла появилась женщина с детской коляской. И едва завидев меня, остановилась. Узкая мордочка, бесцветные волосы уныло свисают на уши.

Здрассьте, говорю.

Здравствуйте.

Это вы Бетти? Я заранее придумал, с чего начну разговор, но все не то, все не годится. Вместо этого говорю наудачу, что мне бы письмо отправить.

Письмо? переспрашивает она. Это с той стороны. Там щель такая в стенке — для писем.

Голос у нее монотонный, веки красноватые. Вид усталый. Щебенка хрустит под колесиками — она толкает коляску дальше, мимо меня. В какое-то мгновение я улавливаю ее запах — чистый и безликий.

Не поможете занести? спрашивает она. Одной тяжеловато.

Я киваю.

Вдвоем затаскиваем коляску на крыльцо и дальше, в полутемный подъезд. Тут она наклоняется отстегнуть люльку, и мне приходится прижаться к стенке, чтобы не мешать. И тут я снова ощущаю ее запах. Вроде бы ничем вообще не пахнет, однако я знаю, что этот запах — ее.

А знаешь, кто я? спрашиваю.

Она чуть поворачивается и мотает головой, продолжая возиться с коляской.

Это же я, говорю.

И вижу по ней, что она не понимает, о чем я, — и больше не говорю ни слова.

Она поднимает тяжелую люльку. Несколько мгновений мы стоим и смотрим друг на друга, а потом она спрашивает — может, я хочу выпить колы или там еще чего-нибудь.

Я киваю.

Было бы неплохо, говорю.

От этой улыбки вид у нее делается совсем несчастный. Она тащит люльку вверх по лестнице, я иду следом. Ноги у нее кривые. Словно тонкие коленки ищут опоры одна у другой.

Квартирка чистенькая, мебель на вид новая. Бетти уносит люльку коляски в комнату, что в торце короткого коридора. Пока она там, снимаю куртку и ботинки. Из окна вид на центр, высотки желтеют в лучах послеполуденного зимнего солнца. Сажусь на диван, откидываюсь на мягкие подушки. На угловом столике — простенько украшенная елочка. Как запах Бетти, приходит мне в голову. Все чисто и просто.

Уснула, вернувшись, сообщает Бетти. Она почти все время спит. Она совсем маленькая.

Так это девочка, говорю.

Она кивает.

А зовут как?

Элизабет, отвечает она. Но я зову ее Бетти.

Она принесла из кухни колу и лед, разлила в бокалы. Сидим молча, надо, думаю, что-то сказать, но не знаю что, и чем дольше думаю, тем сильней колотится сердце. Когда наконец вымучиваю из себя слова, голос слегка дрожит.

И давно ты тут живешь? спрашиваю.

Она кивает, уставившись в пространство и пальцем царапая кожу на подлокотнике кресла.

Удобно — не нужно далеко ходить, чтобы отправить письмо, говорю я и улыбаюсь.

Да, говорит она.

И вид отсюда хороший, добавляю я.

Да, говорит. Очень красиво. Видел бы ты тут небо в новогоднюю ночь.

Наверняка здорово, говорю.

Она кивает, скребя ногтями подлокотник. Суставы тонких пальцев красноватые, припухшие, мне виден продолговатый добела вытертый участок обивки под ее ногтями. Стараюсь туда не смотреть.

Ты так всегда и жила одна? спрашиваю.

Да, отвечает она. Девочка и я.

А-а, говорю. Девочка.

Отпиваю глоток колы. Тепловатая, пузырьки щекочут нёбо. Во рту становится липко.

Новый год, говорю. Уже совсем скоро.

Она не слышит. Сидит, уставясь в окно своими усталыми глазами. А пальцы скребут и скребут подлокотник — видимо, безо всякого участия с ее стороны. Вдруг она говорит:

Плачет.

Прислушиваюсь, но ничего не слышу.

Я ничего не слышу, говорю.

Нет, говорит. Плачет, плачет.

Она встает и уходит в детскую. Ее долго нет, и вокруг полная тишина. Через некоторое время встаю и иду за ней. В полуоткрытую дверь вижу: она стоит возле зеленой деревянной кроватки с решетчатыми бортиками. До чего тощая, только теперь замечаю — из блузки, что болтается на плоской груди, торчит неестественно тонкая шея. Позади — пустая люлька от коляски. На меня Бетти не обращает ни малейшего внимания, она вообще ничего не видит. В маленькой комнатке жарковато, и все равно в кроватке горой громоздятся пуховые одеяла. На шнурке между бортиками покачивается пластмассовая черепаха.

Уснула? спрашиваю шепотом.

Она не отвечает.

Я наклоняюсь над кроваткой и осторожно отвожу в сторону верхнее одеяльце. Подушка пуста. В кроватке никого нет.

Она болеет, произносит Бетти у меня за спиной. Ей тут слишком холодно.

Это — все, что она говорит. И выходит из детской. Я слышу, как легкие шаги удаляются по коридору, потом щелкает замок. А я все стою не шевелясь и не могу оторвать глаз от кроватки. Сдвинувшись наконец с места, ощущаю тяжесть во всем теле. Тут невыносимо жарко. С глубоким вздохом выхожу в коридор. Останавливаюсь перед запертой дверью ванной с латунной фигуркой — гномик, писающий в горшок.

Элизабет, говорю.

Она не отвечает.

Эй, говорю.

Она по-прежнему не отвечает, но слышно, что она там. Я осторожно стучусь.

Эй?

Иду через парк — ноги глубоко вязнут в свежевыпавшем снегу. Снег, видимо, шел всю ночь. На тротуарах сугробы, и пешеходы вынуждены брести по проезжей части. Машины, урча, трогаются с перекрестка у светофора. Вокруг телефонной будки намело большой сугроб, так что дверь подается не сразу.

Ну что, вернулись? спрашивает мама.

Да, говорю.

И замолкаю. А потом рассказываю все. Что никуда не уезжал, что проторчал тут все праздники, в том числе и Рождество.

Один. Без Кристины.

О-о? переспрашивает мама.

Ага, говорю.

Оба молчим.

Мы решили расстаться, говорю.

Да что ты, говорит. Что ты, сынок, милый.

И тут я начинаю плакать. Стою в этой тесной будке, гляжу на машины в утренней пробке и чувствую, как слезы стынут на щеках. Прикрыв трубку, всхлипываю.

Сыночек, говорит мама.

Да ничего, говорю. Пробьемся.

Точно?

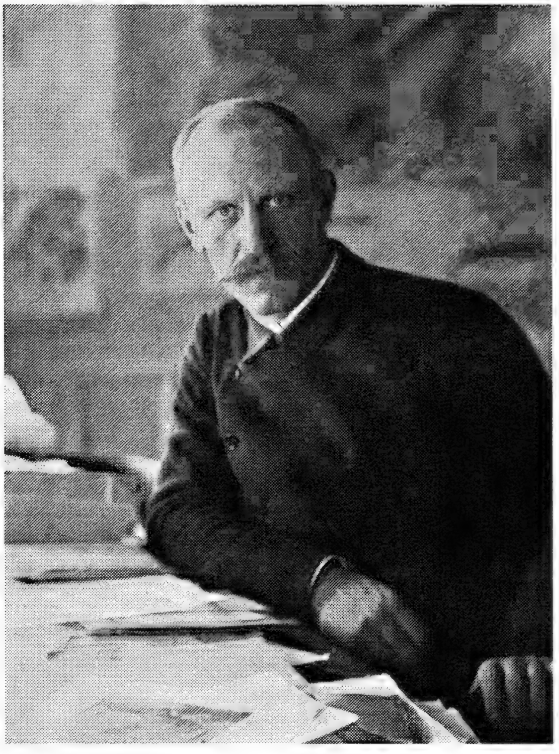
Старик с палкой переходит улицу и приближается к телефонной будке. Красные пальцы барабанят в окошко.

Может, заглянешь домой как-нибудь? спрашивает мама.

Делаю вдох — и киваю.

Фритьоф Нансен
Беженцы

Перевод Т. Шенявской



Неужели чувства людей притупились? Неужели люди и слышать не хотят о нужде и несчастиях? Раньше, стоило случиться пожару, землетрясению или нападению разбойников, люди сразу приходили на помощь друг другу, а если в Атлантике тонул корабль, на борту которого было несколько сотен пассажиров, об этом ужасе писали газеты по всему миру.

Тысячи и тысячи бездомных беженцев, страдающих и умирающих, подают нам сигналы бедствия из самых разных стран. Люди их слышат, но остаются сидеть сложа руки.

Вот телеграммы из Мосула: тысячи изгнанных христиан, ограбленные и изнасилованные женщины и дети, беженцы, обреченные на страшные тяготы, болезни, на зимние холода и нищету; оставшимся в горах грозит голодная смерть. Из Марокко приходят похожие сообщения о тысячах беженцев, терпящих нечеловеческую нужду. Из Малой

© J. W. Cappelens Forlag a. s., 1995
© Т. Шенявская. Перевод, 2005

Азии мы слышим о тысячах и тысячах несчастных, отправленных на рудники; большинство из них пропали без вести, погибли – но никто не обратил на это внимания. По многим странам Европы разбросаны тысячи бездомных беженцев: русские, армяне...

Умершие от голода. Самара, декабрь 1921 (см. Пер Эгиль Хегге. Бедствие в России.)

Сегодня в мире так много горя и нищеты, что воли отдельных людей к самопожертвованию не хватает. Руку помощи должны протянуть правительства, особенно те, из-за которых люди оказались в беде. Но это так сложно! Сначала нужно проверить, в порядке ли бумаги, не приведет ли помощь к неблагоприятным последствиям, не помогал ли человек случайно советскому правительству, следует ли признать берберских рифов[1] воинственной группировкой. И лишь после этого можно оказать помощь умирающим беженцам, однако тут встают и другие вопросы, разумеется, большой дипломатической важности. Тем временем страдающие умирают, а тех, кто помогает, остается все меньше.

Нам, живущим в спокойном буржуазном обществе, конечно, трудно осознать удел беженцев. Лишенные дома и родины, гражданских прав и защиты правительства, они в любой момент могут быть высланы из страны пребывания, даже если никакая другая страна не захочет их принять. Приведу несколько примеров.

Когда в Польше скопилось слишком много беженцев, был издан указ: тот, кто незаконно пересек границу с Россией и не имеет доказательств, что он политический беженец, должен до истечения установленного срока покинуть страну. Жертвами указа стали тысячи российских евреев. Они не могли вернуться в Россию, где их ожидала смерть, или попросить убежище в какой-нибудь другой стране. Их перевезли в Данциг, но там их нельзя было оставить. Тогда их отправили назад, перебрасывая этих несчастных людей через границу, как теннисный мячик. Лишь по просьбе комиссара Лиги Наций, до тех пор пока не было достигнуто соответствующее соглашение, их содержание через свою организацию в Париже взяли на себя европейские евреи. Несколько тысяч людей были собраны и отправлены в лагерь беженцев под Данцигом, откуда они в конце концов смогли уехать в Америку.

Еще пример. Большая часть разбитой армии Врангеля (а с ней тысячи женщин и детей) бежала из Крыма в Константинополь. По соглашению с болгарским правительством около десяти тысяч человек переправили в Болгарию, где многие из них смогли найти работу. По соглашению с советским правительством в Москве почти семь тысяч ожидали возвращения в Россию. Нынешние болгарские власти испугались, что среди оказавшихся в стране беженцев есть коммунисты, и во избежание распространения этой опасной заразы предпочли от них из-

1. Рифы – народ, живущий на севере Марокко и говорящий на берберском языке. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

бавиться. Прошлой весной 250 беженцев погрузили на маленькую жалкую шхуну "Тритон", едва вмещавшую 50 человек, дали им провизии на несколько дней и отправили из Варны в Одессу. Когда они туда прибыли, советское правительство не разрешило им сойти на берег, так как не получило никакого уведомления из Болгарии. "Тритон" снова вышел в Черное море. Но ни Болгария, ни Россия его не принимали. Оставалась Турция. Что претерпели эти люди, лишенные воды и пищи, на маленьком суденышке, перегруженном настолько, что оно с трудом держалось на плаву, представить невозможно. Наконец "Тритон" достиг Константинополя; на борту царило ликование, ведь впереди было освобождение! Но нет, и турецкие власти не захотели пустить в страну этих несчастных людей — беженцы должны были оставаться на корабле.

Чтобы отбуксировать "Тритон" через Босфорский пролив в Черное море, был вызван пароход; но когда буксировка началась, отчаяние на борту переросло в ярость. "Тритон" стал тонуть, вода почти накрыла его, и русские выпрыгивали за борт с криками о помощи. К счастью, неподалеку стоял на якоре английский пароход; капитан услышал крики и, увидев, что происходит, обвинил турецкую полицию в бесчеловечности и гибели людей. После этого турки не решились продолжить буксировку; они разрешили русским покинуть тонущий "Тритон" и отвели им небольшой огороженный участок на берегу, но еды не дали.

На телеграфное обращение автора этих строк с просьбой разрешить беженцам вернуться в Россию советское правительство ответило, что оно было вынуждено им отказать, поскольку ничего о них не знало, и считает, что виновато болгарское правительство, вовремя не уведомившее Москву.

Тем временем беженцы влачили жалкое существование под открытым небом, и многим из них суждено было умереть, если бы не мисс Анна Митчел, которой удалось получить деньги от добрых людей из американо-европейской колонии в Константинополе, а также от различных организаций; собранной суммы хватило на то, чтобы некоторое время поддерживать жизнь несчастных.

9 июня туда прибыл автор этих строк. Часть небольшого участка, по которому беженцы могли передвигаться, накрыли старой крышей, под ней прямо на земле лежали мужчины и женщины. У каждого из них был отмеченный кирпичами четырехугольник шириной в два фута и длиной в шесть футов, чтобы спать, кучка земли или камень служили подушкой, а расстеленные на земле тряпки — своего рода подстилкой. И все. Здесь родилось несколько детей, несколько человек умерло. Под крышей места хватило не всем, поэтому некоторые лежали на земле под открытым небом. Суточный паек состоял из маленького куска хлеба и миски жидкого супа. Но теперь последние собранные средства были истрачены.

Что можно было сделать? Болгарское правительство твердо отказало беженцам в возвращении. Турецкое правительство не разрешило им остаться в Константинополе, другие страны также их не принимали, ссылаясь на то, что хотеть вернуться в Россию могли только большевики.

Получив деньги от копенгагенского книготорговца Кристиана Эриксена, я смог некоторое время оплачивать содержание беженцев. Позже расходы на несколько месяцев взяла на себя большая американская организация "Near East Relief"[1] при условии, что будет достигнуто

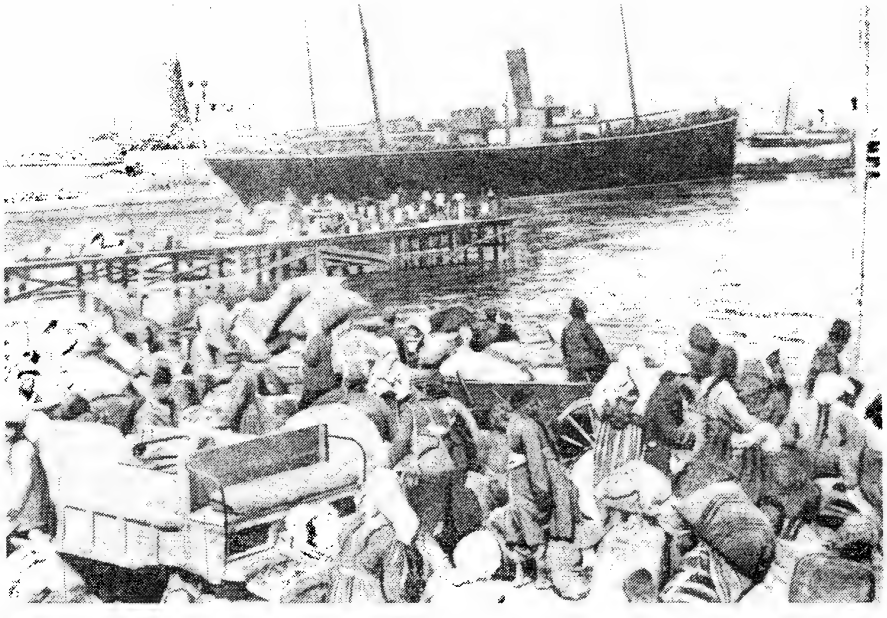
1. "Помощь Ближнему Востоку" (*англ.*).

окончательное соглашение, — эту гарантию автор взял на себя. Небольшое количество беженцев согласилась принять Франция, а остальных — в ответ на обращение автора — российское правительство.

Вот такие испытания выпадают иногда на долю беженцев. Раньше перед многими из них вставала и еще одна проблема. Добравшись до какого-либо места, они уже не могли уехать из него законным образом, поскольку для этого требовался паспорт, а если его не было, то соответственно не было и гражданства. По предложению комиссариата Лиги Наций правительства почти всех стран, в которых находились беженцы, согласились выдавать им удостоверения личности, приравненные к обычным паспортам. Тем самым беженцы получили возможность переезжать в места с благоприятными условиями жизни и перспективами найти работу.

Сегодня в Европе более миллиона русских беженцев. Сотни тысяч из них не имеют работы и в связи с этим представляют проблему для принявших их стран. В качестве выхода из создавшегося положения обсуждается возможность их переселения в Южную Америку, где, если возделать земли, места хватит для многих миллионов. Для подготовки этого переселения Международное рабочее агентство и автор этих строк направили туда комиссию. Условия были признаны благоприятными, и было выдвинуто предложение создать особый фонд, чтобы перевезти как можно больше беженцев и выплатить каждому, кто захочет уехать, небольшую ссуду.

Для обсуждения различных вопросов, связанных с реализацией этого плана и с паспортами для беженцев, а также многих других проблем, по инициативе Лиги Наций созвана встреча представителей правительств; трое их них приедут в следующем месяце в Женеву. Остается надеяться, что будут приняты важные решения, которые изменят к лучшему тяжелое положение беженцев.



Греческие беженцы в порту Смирны

Пер Эгиль Хегге
Бедствие в России

Из книги "Фритьоф Нансен – только одно желание"[1]

Перевод Светланы Карпушиной

Мы не знаем, сколько человеческих жизней удалось спасти во время голода в России в 1921–1923 годах, так же как не знаем точно общего числа жертв. Считается, что на Украине и в Поволжье голодало 15–20 миллионов человек и 5–7 миллионов погибло от голода. Крупнейшей и самой эффективной из многих иностранных организаций, оказывавших помощь, была Американская администрация помощи (АРА): она занималась сбором и распределением продовольствия и медикаментов, устройством больниц и детских домов. Обобщенные в заключительных отчетах статистические данные этой организации, гораздо более детальные и систематические, нежели у Нансеновской миссии, свидетельствуют о том, что летом 1922 года, когда ее деятельность достигла наивысшего подъема, продовольствие получили около 11 миллионов пострадавших. Пугающая цифра, и прежде всего потому, что неизвестно, скольких удалось спасти, а сколько погибло, несмотря на помощь. В различных отделениях АРА в регионах трудились сообща 200 американцев и 125 тысяч советских граждан. Согласно статистическим обзорам, вклад Нансеновской миссии составил 5–7 % от американской помощи. Статистические данные по Украине верно отражают это соотношение: 1 722 624 человека получили продовольствие на раздаточных пунктах АРА и 90 180 человек – от Нансеновской миссии.

В декабре 1922 года в речи в связи с присуждением ему Нобелевской премии мира Фритьоф Нансен подчеркивал огромный вклад американцев, оказывавших помощь охваченной голодом России. Герберт Гувер[2], бывший в то время министром торговли в правительстве Уоррена Хардингса, возглавлял АРА в начале ее деятельности, еще во время войны, а получив министерский портфель, не утратил интереса к этой организации. Уже 11 ноября 1918 года, в день окончания Первой мировой войны, президент Вудро Вильсон поручил ему оценить размеры помощи, необходимой Центральной Европе, и спустя неделю Гувер отправился в Европу, чтобы начать реализацию нового плана по оказанию поддержки. В августе 1919 года АРА из правительственной организации стала независимым фондом и продолжила работу организации "Помощь Бельгии", проводившуюся еще в годы войны в сильно пострадавших районах Бельгии. Эта работа по-прежнему шла полным ходом в марте 1921 года, когда Гувер занял пост министра торговли.

© J. M. Stenersens Forlag A. S., 2002
© Светлана Карпушина. Перевод, 2005

1. Книга Пера Эгиля Хегге "Фритьоф Нансен – только одно желание" печатается с любезного разрешения издательства "Текст" и "Рудомино", которые готовят книгу к изданию.
2. Герберт Гувер (1874–1964) – 31-й президент США (1929–1933). В 1919–1923 гг. – руководитель АРА; в 1921–1928 гг. – министр торговли США. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Отрывок Нобелевской речи Нансена, посвященный американцам, следует привести полностью, чтобы мы поняли, что Нансен прекрасно отдавал себе отчет в количественном соотношении вклада ARA и своей миссии. Высказывание Нансена может также служить отправной точкой для размышлений о том, почему вплоть до сегодняшнего дня мы так мало слышали о помощи американцев и так много — о помощи Нансена. Говоря "мы", я имею в виду не только норвежцев. Норвежцы не из тех, кто проглатывает язык, когда речь идет о них самих. За исключением специалистов, это касается всей мировой общественности, проявившей интерес к трагедии в России и к помощи голодающим в начале 20-х годов.

Произнеся две трети Нобелевской речи, Нансен сказал следующее:

Прежде всего я должен упомянуть об огромной работе, проделанной американцами под руководством Гувера. Эту работу начала во время войны организация "Помощь Бельгии", поставлявшая продовольствие многим тысячам людей в этой стране, включая детей. После войны американцы продолжали работать в Центральной Европе, где сотни тысяч детей смогли выжить благодаря их щедрой помощи, а затем работа проводилась не менее широко и в России. Когда-нибудь их великий труд будет полностью описан, и эта светлая страница в истории человечества и человеколюбия засияет как яркая звезда в долгой и темной ночи. Одновременно через другие организации, такие, как американский Красный Крест и "Ближневосточная помощь", американцы проделали невероятную по масштабам работу на Балканах, в Малой Азии и совсем недавно в Греции. Очень много как во время войны, так и после нее сделали также европейские организации, особенно отделения Красного Креста в различных странах, в том числе и в нашей стране.

Статистические обзоры Института Гувера показывают, что в конце войны и в первые послевоенные годы через "Ближневосточную помощь" была оказана поддержка нуждающимся в размере 40 миллионов долларов, и большую часть этих денег составили частные пожертвования.

В конце своей речи Нансен вновь возвращается к американцам, ибо они наряду с норвежцами представляют собой исключение среди остальных народов в том, что касается доброй воли и стремления оказать поддержку:

...Если бы другие крупные страны выделили примерно столько же средств, сколько Норвегия, голод в России был бы побежден. Есть одно исключение, но эта страна находится не в Европе. Я имею в виду американский народ, который помогает больше, чем кто-либо. Сначала помощь шла через организацию Гувера, а затем правительство предоставило 20 миллионов долларов для борьбы с голодом — при условии, что советское правительство выделит 10 миллионов на закупку зерна. В общей сложности американцы затратили, наверное, около 50—60 миллионов долларов на борьбу с голодом в России и спасли таким образом жизнь многим миллионам людей.

Готовность американцев помогать голодающим Нансен противопоставляет равнодушию европейских правительств, а также отрицательной реакции у части норвежской общественности. Да, он потерпел поражение в Лиге Наций. Помощь России с самого начала имела идео-

логическую подоплеку. Возникал целый ряд вопросов. Если мы оказываем помощь России, разве мы тем самым не помогаем новой власти удержаться? Не следует ли вместо оказания помощи этой стране свергнуть советскую власть? И разве новый жестокий режим не сам виноват в страшной нищете, поразившей страну? Не лучше ли будет, если большевики пожнут плоды своей политики?

Очень многие недолго думая отвечали утвердительно на эти четыре вопроса. Речь Нансена и вся его работа в 20-е годы были прежде всего направлены против сторонников такой точки зрения.

Тот факт, что вклад Нансена получил более широкую известность, чем поддержка американцев, можно объяснить несколькими обстоятельствами. Организация АРА имела свой аппарат, который она и использовала, а также недавно приобретенный богатый опыт международной деятельности совершенно нового типа — опыт помощи огромному количеству людей, пострадавших от катастрофы. У Нансена же не было ничего, кроме силы воли и идеализма, и эти два качества принесли ему нечто гораздо большее, чем почет и славу. В связи со сложившейся политической обстановкой правительства западных стран не хотели помогать России, и Нансен пустил в ход весь свой талант оратора и агитатора для того, чтобы склонить к этому общественное мнение. Голос Нансена был услышан — благодаря его высокому авторитету и не в последнюю очередь благодаря успешно проведенному им обмену военнопленными. И точно так же, как в Лондоне в 1905 году — но теперь уже в Москве, — помогли его контакты на правительственном уровне. Для либерально настроенной части общественности большое значение имели его положительные высказывания о новом режиме в Советской России, по крайней мере до 1929 года. У тех же, кто ненавидел советскую власть и боролся против нее, его выступления, естественно, вызывали негативную реакцию.

В более либеральных и дружественно настроенных к социализму кругах — позднее я приведу примеры — просто-напросто не допускали возможности того, что американцы готовы помогать без всякой задней мысли и подспудной цели, а именно подорвать и свергнуть новый коммунистический режим. И поскольку пропаганда имела такое большое значение для советских политиков и тех, кто им симпатизировал, поскольку она служила для них своего рода путеводной нитью и средством объяснения действительности, то сам факт оказания помощи американцами никак не укладывался в установленные идеологические рамки. Вся акция проходила по инициативе и под руководством крупного капиталиста и политика консервативного толка Герберта Гувера, а значит, речь заведомо не могла идти только лишь о гуманитарной помощи. Такая позиция была характерна для советской прессы, которая, впрочем, очень мало писала об этой программе.

Подобный взгляд преобладал и в последующее время. Именно такая точка зрения стала определяющей для советской исторической науки. История революции и нового государства была повествованием героическим. И поэтому трудно было признаться в том, что в первые годы советская власть нуждалась в помощи извне. Впрочем, частично это признавалось советской исторической наукой. (Однако тот факт, что страну десять лет спустя (в 30-е годы. — *С. К.*) поразил голод, бывший прямым следствием сталинской коллективизации, всегда упорно замал-

чивался. Даже в 1987 году генеральный секретарь Михаил Горбачев в своей юбилейной речи превозносил сельскохозяйственную политику партии, в том числе коллективизацию). Признать же, что миллионы людей получили американскую помощь, или просто напомнить об этом, никто не желал. И это далеко не единственный пример искажения истины в советской исторической науке и советской политике. Так, в советских источниках нет упоминания о доставке американской военной техники в советские порты в годы Второй мировой войны. Замалчивался и быстрый экономический рост в царской России в последние 20 лет перед Первой мировой войной. "Тот, кто владеет прошлым, владеет и будущим", — справедливо напишет Джордж Оруэлл в романе "1984 год".

Впервые Фритьоф Нансен узнал от американцев о том, что Россия нуждается в продовольствии, еще в апреле 1919 года, будучи в Париже; тогда с ним лично связался Гувер. Как известно, Гувер познакомился с Нансеном во время переговоров в Вашингтоне и, учитывая политическую ситуацию в России, счел целесообразным, чтобы акцией помощи руководил представитель нейтральной страны. На протяжении всей своей долгой жизни Гувер оставался капиталистом и человеком консервативных взглядов, однако он гораздо лучше, чем многие его единомышленники, понимал социальные причины краха царского режима в России.

"Никак нельзя отрицать, что если маятник общественного развития качнулся от тирании крайне правого к тирании крайне левого толка, то это обосновано реальными отношениями в обществе... Подобная ситуация имела место во время войны и краха царского режима... Меры, принимаемые большевиками, — это вполне естественное насилие со стороны невежественной массы людей, народа, который на протяжении жизни многих поколений страдал от тирании и того же насилия. Наш народ, наслаждающийся большой свободой и благополучием, не может в какой-то степени не сочувствовать этому блужданию впотьмах в поисках лучшего социального строя", — рассуждал Гувер в письме, адресованном президенту Вудро Вильсону в конце марта 1919 года. Из воспоминаний Гувера можно сделать вывод, что он пытался несколько сдержать инициативу Уинстона Черчилля, призывавшего к интервенции в Россию с целью свержения большевистского режима. Вильсон отнюдь не питал симпатии к большевикам, однако, так же как и Гувер, был против применения военной силы.

В цитируемом письме Гувер говорил, что он "потратил несколько дней" на то, чтобы убедить Нансена возглавить акцию по оказанию помощи. "У Нансена эта просьба сначала вызвала только испуг. Он повторял, что никогда не имел дела с таким большим количеством продовольствия, что у него нет опыта ведения такого рода переговоров и что он вовсе не любит большевиков. В каждом абзаце документов ему мерещились зловещие ловушки. Я не упрекал его, так как мой собственный опыт канцелярской работы подсказывал мне, что эти опасения вполне оправданны", — писал Гувер.

Нансен согласился наконец взять на себя эту задачу, только когда американцы заверили его в том, что они предоставят судно, купят продо-

вольствие и найдут ему персонал, а Гуннар Кнудсен[1] еще раз поднажал на него по просьбе Гувера. Вот тогда Нансен написал письмо президенту Вильсону или, вернее, подписал это письмо; не прошло и недели, как он получил ответ. Автором текста обоих писем был Гувер. Сразу же выдвигалось условие, что большевики должны прекратить военные действия, чтобы продовольствие могло прийти по назначению. Большевики охотно согласились принять помощь, но решительно отклонили требование о прекращении военных действий.

Была также предпринята попытка отправить в Россию норвежские продукты, в том числе рыбу и рыбий жир, однако бюрократические проволочки помешали своевременной поставке, а два года спустя рыба пришла протухшей. В 1919 году Гуверу удалось оказать помощь голодающим в Петроградской губернии[2]. По его собственной оценке, около 400 тысяч человек получили достаточно продовольствия, чтобы дожить до следующего урожая.

Если положение в большинстве районов европейской части России уже начиная с 1919 года было трудным, то весной и летом 1921 года оно стало катастрофическим. Первая мировая война за четыре года унесла миллионы человеческих жизней, две революции в 1917 году усилили в стране хаос и деморализовали население, затем последовали три года жесточайшей гражданской войны. Ленинская экономическая политика 1920—1921 годов была столь беспощадна к крестьянам, что привела к восстаниям и на селе, и в бывшей столице, Санкт-Петербурге (Петрограде). В марте 1921 года был жестоко подавлен Кронштадтский мятеж. Политика новых хозяев страны официально называлась военным коммунизмом; и если различные политические круги в опустошенной и расколотой России были в чем-то согласны, так это лишь в том, что название очень точно отражало суть проводимой линии.

Подобная ситуация уже сама по себе неизбежно должна была вызвать нужду среди широких масс. Сильнейшая засуха 1921 года усугубила положение. Однако в крупных сельскохозяйственных районах нижней Волги засуха началась уже в августе 1920 года, и озимая рожь не взошла. Ужесточалась политика конфискации сельскохозяйственной продукции, так называемая продразверстка, проводимая в ущерб крестьянам и для обеспечения продовольствием городского населения, армии и огромного аппарата госбезопасности. В одном из отчетов организации АРА по Симбирску описывается, как у крестьян, которых подозревали в том, что они что-то утаили, забирали все зерно, включая семенное. Никакие протесты не помогали.

В отчете, датированном 18 августа 1922 года, указывается следующее: "Примечательно, что голод охватил сначала те местности, где урожай 1920 года был относительно неплохим... Пострадал Николаевск, который находится теперь в Пугачевской губернии[3]. Именно здесь мы столкнулись с первыми случаями каннибализма, а ведь в 1920 году уро-

1. Гуннар Кнудсен (1848—1928) — норвежский политик; премьер-министр в 1908—1910 и 1913—1920 гг.; впоследствии президент стортинга, до 1927 г. председатель партии "Венстре".
2. В 1918 г. Петроградская губерния вошла в состав Северной области (Союз коммун Северной области).
3. Имеется в виду Николаевск, в 1918 г. переименованный в Пугачев.

жай пшеницы был превосходным и население жило хорошо. Это один из примеров, свидетельствующий о том, что голод 1921 года возник по причине обременительной для населения продовольственной разверстки, проводившейся в 1920 году".

"Правда" впервые поместила заметку о нехватке продовольствия 26 июня 1921 года, а такого рода издания нельзя было заподозрить в тяге к нагнетению обстановки. Спустя 17 дней, 13 июля, Максим Горький обратился ко всему миру с призывом о помощи. Он говорил о трагедии, которая пришла в страну Толстого, Достоевского, Менделеева, Павлова, Мусоргского, Глинки и других знаменитых людей. Просьба о помощи продовольствием и лекарствами была адресована также ряду церковных деятелей в Западной Европе и США. Ранее Горький дважды обращался лично к Нансену — в 1914 и 1920 годах он посылал известному полярному исследователю телеграммы с просьбой организовать поисковые экспедиции для спасения пропавших русских полярников в Арктике. Горький стал членом вновь созданного комитета по оказанию помощи голодающим.

Первый положительный ответ пришел от министра торговли США Гувера. Подобная работа уже проводилась в странах Центральной Европы, и у него имелся соответствующий аппарат. АРА также располагала значительными складами зерна в Германии. Теперь надо было заключить договор с русскими. И такой договор был подписан в Риге 20 августа на встрече между заместителем наркома иностранных дел, а позже наркомом Максимом Литвиновым[1], который в то время вел торговые переговоры со странами Северной Европы, включая Норвегию, и Уолтером Лиманом Брауном, возглавлявшим европейское отделение АРА. В договоре значилось, что первые партии продовольствия и лекарств должны быть отправлены по железной дороге, в основном из балтийских портов.

Гувер передал свои полномочия АРА, так как в то время находился в Вашингтоне, однако он внимательно следил за ходом дела. Так, уже 23 августа в европейское отделение АРА пришла телеграмма: "Шеф не понимает, почему до юга России нельзя добраться от Черного моря, и попрежнему убежден, что мы должны послать туда корабль. Пожалуйста, объясните, почему помощь голодающим на юге России надо посылать с севера". Гувер хорошо знал географию и до того, как стал политиком, много ездил, поэтому его вопрос был сам по себе достаточно разумным. Но тут дело было не только в географии. Порты во многих черноморских городах пришли в упадок и почти не функционировали. <...>

Уже 6 сентября 1921 года АРА организовала первую бесплатную раздачу супа детям в Петрограде, 21 сентября — в Москве, а в период с 26 сентября по 12 октября были отправлены поезда с продовольствием в Самару, Казань, Симбирск и Саратов. 1 декабря АРА имела своих представителей во всех этих городах, а также в Уфе, Оренбурге и Царицыне (впоследствии Сталинград и Волгоград). 22 декабря Конгресс выделил 20 миллионов долларов на продовольственную помощь России, и в рож-

1. Максим Максимович Литвинов (1876—1951) — советский государственный деятель и дипломат; в 1921—1930 гг. — заместитель наркома по иностранным делам РСФСР/СССР; в 1930—1939 гг. — народный комиссар иностранных дел СССР.

дественский вечер президент Гардинг утвердил эти ассигнования. Как следует из серии статей в "Нью-Йорк геральд" за апрель 1922 года, АРА располагала 53,6 миллионами долларов для спасения голодающих в России. 24 марта отделение АРА открылось на Украине. Нансеновская миссия также добралась до Украины, но лишь в середине мая.

Нансен подписал договор с русскими 27 августа, также в Риге. Его партнером по переговорам был нарком иностранных дел Чичерин. Переговоры на высоком уровне вел норвежский подданный по той причине, что США уже в августе 1918 года разорвали дипломатические отношения с советским правительством. Нансен же придавал очень большое значение юридической основе сотрудничества и, говоря о помощи, подчеркивал, что она должна оказываться с согласия советских властей, а значит, на их условиях. (Позиция американцев мало чем отличалась от нансеновской, однако они редко высказывались по данному вопросу, когда собирали деньги). Этот факт потом был использован против Нансена в идеологической дискуссии вокруг помощи – в Лиге Наций, в российских эмигрантских кругах, а также в Норвегии.

16 августа на Международной конференции по помощи в Женеве Нансен был назначен верховным комиссаром Лиги Наций по оказанию помощи голодающим. В его задачу входила координация различных сторон этой работы. Поскольку советское правительство не хотело иметь никаких дел с Лигой Наций, а Лига Наций – с советским правительством, это назначение было сделано от имени Международного комитета Красного Креста. Договоренность с Чичериным предусматривала в числе прочего предоставление Нансену полномочий для установления контактов с правительствами европейских стран с целью получения для России кредита до 10 миллионов фунтов стерлингов на закупку продовольствия и лекарств. Текст договора, заключенного Нансеном, по содержанию был близок к договору, подписанному русскими с АРА. Для русских особое значение имела статья, в которой доктор Нансен давал обязательство, что его персонал в России будет заниматься исключительно работой по оказанию помощи, а не политической или коммерческой деятельностью. Поскольку для Нансена первостепенное значение имела именно помощь, он согласился без колебаний.

Советские власти ясно видели свои основные цели и выдвигали соответствующие требования. Страшная нехватка продовольствия в Советской России, независимо от ее причин, а их было множество, никак не могла служить рекламой новому режиму. Существовала опасность того, что возникшая ситуация и оказание помощи могут быть использованы для подрывной политической деятельности. Москва считала, что организация Гувера сыграла определенную роль в свержении недолго продержавшегося коммунистического режима Белы Куна в Венгрии в 1919 году. Совет народных комиссаров и особенно руководивший им Владимир Ленин не хотели, чтобы нечто подобное случилось в России. Вдобавок Ленин был политиком такого типа, что понять его в Европе смогли лишь последующие поколения. Но тогда Ленин уже давно был мертв, а вместе с ним и десятки миллионов людей. Только одна вещь была для Ленина равнозначна завоеванию власти – ее удержание. Для этого годились любые средства, в том числе и террор, ибо, убив несколь-

ких, можно было запугать многих. А значит, террор являлся вполне рациональным методом. Ленин был жестким политиком, и это поняли почти все, кто проявлял к нему интерес. Однако его беспринципность, граничащая с патологией, и цинизм в вопросе власти оставались хорошо хранимой тайной до того момента, когда российские исследователи осенью 1991 года, после неудавшегося августовского путча в период правления Горбачева, получили доступ к тайному архиву коммунистической партии. Там, среди прочего, хранилось 3724 неизвестных до той поры ленинских документов, часть которых была использована генералом Дмитрием Волкогоновым, последним идеологическим комиссаром советских вооруженных сил, при написании им биографии Ленина.

Ленин хотел предотвратить использование голода в стране противниками советской власти. За день до подписания Нансеном договора в Риге Ленин потребовал расправы над уже существовавшей в стране организацией — Всероссийским комитетом по оказанию помощи голодающим. Комитет состоял из представителей различных политических течений и был сформирован по образцу аналогичного комитета, созданного во время голода 1891 года. В его состав входило 73 члена, и, несмотря на участие 12 коммунистических деятелей, в том числе Льва Каменева и Алексея Рыкова, Ленин не имел над ним полного контроля. В Комитет входил профессор С. Н. Прокопович[1], в прошлом министр по снабжению во Временном правительстве Керенского, свергнутого Лениным в ходе Октябрьской революции 1917 года. И профессор, и его жена, г-жа Кускова[2], были экономистами. В Комитет входил также Николай Кишкин[3], член конституционно-демократической партии (либерально-консервативной), бывший социальный министр во Временном правительстве. В то время эта партия, как и все остальные, кроме большевистской, была распущена. Она именовалась "партией кадетов" по двум первым буквам своего полного названия. Кускова еще двадцать лет назад считалась одним из идеологических противников Ленина, поскольку принадлежала к умеренному крылу российских социал-демократов, в которых Ленин видел идеологических предателей еще в конце 1890 годов, то есть когда ему не исполнилось и тридцати.

Развитие событий чрезвычайно беспокоило Ленина. Ответ Гувера был для него явно неожиданным, и Ленин требовал наказать Гувера, дать ему пощечину, так чтобы весь мир это увидел. Проблема состояла в том, что АРА добилась для сотрудников своей организации определенных прав. Ленин оценил этот договор как опасный промах — власти допустили присутствие в стране организации, к тому же иностранной, над которой они не имели полного контроля. В резком письме генеральному секретарю ЦК партии Иосифу Сталину от 26 августа Ленин потребовал арестовать четырех членов Всероссийского комитета по оказанию помощи голодающим. На следующий день на заседании политбюро бы-

1. Сергей Николаевич Прокопович (1871—1955) — политический деятель, был министром торговли и промышленности во Временном правительстве (1917).
2. Екатерина Дмитриевна Кускова (в замужестве Прокопович; 1869—1958) — политический деятель, сначала народница, затем марксистка; после публикации "Кредо" (1899) Ленин обвинил ее в "предательстве рабочего движения", "экономизме" и т. д.
3. Николай Михайлович Кишкин (1864—1930) — политический деятель, один из лидеров партии кадетов; министр государственного призрения в правительстве Керенского в 1917 г.

ло принято соответствующее решение, члены Комитета были арестованы, а сам Комитет распущен[1].

Нансен был осведомлен о Комитете, в котором состоял также и Максим Горький, и очень хотел получить себе в помощники Кишкина. Ленин отреагировал как обычно, когда ему что-то не нравилось. Он писал[2], что подобное крайне наглое предложение Нансена... и поведение "этих кукишей" (игра слов с пренебрежительным намеком на первые слоги фамилий Кусковой и Кишкина) ясно указывают на то, что большевики дали маху. Если ничего не было сделано ранее, то ни в коем случае нельзя упустить момент сейчас: необходимо выделить человека из ЧК, который проведет конфискацию денег комитета и его роспуск. Прокоповича надо немедленно арестовать, обвинить в антиправительственных высказываниях и держать под стражей три месяца, пока идет следствие. Остальных надо выслать из Москвы в разные города, не имеющие железнодорожного сообщения, и держать под наблюдением. Ленин считал, что промедление здесь недопустимо и что Нансену следует поставить ясный ультиматум. Надо приказать газетам высмеивать "кукишей" на все лады. Это кичливые аристократы и белогвардейцы, которым захотелось совершить заграничную поездку... Над ними надо смеяться и глумиться, по крайней мере раз в неделю на протяжении двух месяцев. Только тогда больной зуб будет вырван к всеобщей пользе. Здесь нельзя мешкать.

Решение, как уже говорилось, было принято 27 августа, в день подписания Нансеном договора. После ареста четверо членов комитета были отправлены в первый концентрационный лагерь, в Соловецкий монастырь, к западу от Архангельска. Голод к этому времени приобрел масштабы настоящей катастрофы. Ленин же в своих речах в 1921 году ни разу не упомянул об этом.

Власти уже давно наметили следующий шаг. В середине июля была создана Комиссия помощи голодающим. В противоположность "комитету кукишей" она находилась под контролем властей и называлась "Помощь голодающим", сокращенно "Помгол". Ее возглавляли Лев Каменев, один из ближайших соратников Ленина по партийному руководству, и жена Каменева Ольга. Спустя 15 лет они станут жертвами сталинских репрессий. Каменев вместе с Григорием Зиновьевым будут главными обвиняемыми на первом из трех больших московских процессов. Однако сейчас Каменев наряду с наркомом иностранных дел Чичериным играл важнейшую роль посредника между высшим руководством в Москве и иностранными организациями, оказывающими помощь голодающим. Член первого Комитета Максим Горький устранился от дел. Конрад Сундло, один из тех, кто рекомендовал Нансену в качестве помощника Видкуна Квислинга и кто занимался доставкой на длительное время задержанной — и в конце концов испортившейся — партии норвежской рыбы в Россию, встретил Горького в октябре 1921 года. Как следует из интер-

1. Всероссийский комитет помощи голодающим был создан с согласия Советского правительства 21 июля 1921 г. группой общественных и культурных деятелей, среди которых преобладали бывшие кадеты.
2. Вероятно, имеется в виду письмо к Сталину от 26 августа.

вью, которое Сундло 27 октября дал газете "Свенска дагбладет", писатель был удручен развитием событий и сообщил, что полностью отказался от работы в Комитете. "Российские власти назначили в Комитет только своих единомышленников, и таким образом получился совершенно новый комитет, в котором я не хочу участвовать. Вам следует учесть это", – обратился он к Сундло, но не захотел высказаться яснее. Спустя десять дней Горький поехал за границу; в Стокгольме он дал интервью и сказал, что "голод – самая страшная проблема Советской России, и мы, возможно, зашли слишком далеко в своей политике". Однако в то же время он утверждал, что организация Гувера "работала без всякого плана", и тем самым заложил основу для продолжительной критики и грубой недооценки вклада Гувера.

Убежденность Ленина и других большевиков в необходимости диктатуры требовала, чтобы власти установили полный контроль над иностранной помощью, дабы эта помощь не нанесла ущерба новой власти. Административные контакты иностранцев должны были осуществляться через Александра Эйдюка, который со стороны "Помгола" координировал деятельность иностранных организаций по оказанию помощи. Карл Эмиль Фогт в диссертации о Нансеновской миссии в России указывает, что контроль, очевидно, был важен по чисто политическим соображениям. Он, однако, добавляет, что согласие принимать помощь из-за границы предполагает создание правительственного органа для "упрощения работы организаций, оказывающих помощь. И по сей день многие государства не создают таких органов, и поэтому можно сказать, что большевики были одними из первых, кто понял необходимость подобной меры". <...>

Голод в стране приобрел катастрофические размеры. Подобного развития событий не предвидели озабоченные гражданской войной советские руководители, когда позволили Горькому обратиться к миру с призывом о помощи. А хорошо смазанная американская "машина помощи" загудела и заработала с такой впечатляющей силой, что это не могло не вызвать беспокойства. Власти оказались перед дилеммой: они нуждались в поставках продовольствия для спасения населения и боялись их из-за возможных политических последствий. Советская пресса этого периода постоянно отпускала колкости в адрес благодетелей, а местные и центральные власти арестовывали российских служащих, высылали иностранцев или отказывали им в визах. Так, 11 мая партийная газета "Правда" выступила с нападками на ARA, которая отказалась предоставить своим российским сотрудникам выходной в день 1 мая. "Правда" писала, что этот факт обнаруживает перед всеми истинную сущность американских и европейских капиталистов, которые пришли в Россию вовсе не для спасения голодающих или улучшения условий жизни рабочих. Нет, они куют оковы для рабочего класса и готовят ему веревку. <...>

Проще всего было держаться своих идеологических принципов и считать, что американцы, оказывая помощь, заведомо не могут иметь добрых намерений, в отличие от великодушного человека из Норвегии. В архивах ARA имеется выдержанная в таком духе заметка из английского журнала левой ориентации "Нейшн" от 10 сентября 1921 года:

Доктор Нансен, верховный комиссар, назначенный Красным Крестом в Женеве, успел побывать в Москве и заключил там соглашение, а также посе-

тил Лондон, Париж, Берлин и Женеву. Столь не свойственный официальному представителю темп показывает, как действуют люди, которые в состоянии проявлять человеческие чувства. <...> Его план производит хорошее впечатление, и, несмотря на критику в газетах со стороны лорда Нортклифа, мы полагаем, что он получит всеобщую поддержку. Однако мы думаем, что совершенно иной план господина Гувера, нисколько не лучший, чем у Нансена, может принести вред. Главное отличие заключается в том, что доктор Нансен хочет помогать крестьянам там, где они живут и занимаются своим трудом, — в деревнях. Поэтому продовольствие надо распределять там же, а поскольку деревни разбросаны на большой территории, то для этого необходимо вступать в тесное сотрудничество с местными властями. Господин Гувер не желает сотрудничать с большевиками. Поэтому он сможет дать еду только тем, кто придет за ней на узловые железнодорожные станции. Это означает, что население устремится на эти станции и будет скапливаться там в антисанитарных условиях, что приведет к возникновению болезней... Мы считаем, что первейший принцип работы по оказанию помощи — не допустить скопления беженцев и удержать крестьянина и его лошадь рядом с плугом.

В теории это звучит хорошо. Единственное "но" в том, что эта теория была полностью оторвана от чудовищной действительности в охваченных голодом районах. Вряд ли можно было бы ожидать от автора приведенных строк понимания ситуации, ведь он не предполагал, что АРА уже открыла первые пункты бесплатной раздачи пищи. Американцы удивительно быстро взялись за дело и уже осуществляли помощь. (Жаль, что автор не допускал мысли о том, что АРА также сотрудничала с властями, — а что же ей оставалось делать, если она намеревалась оказывать помощь?) Вряд ли можно было бы ожидать от автора, чтобы он верно судил о положении в российской деревне. Человеческому разуму такое трудно было даже представить. Люди, находившиеся у власти на селе, давно сбежали в город в надежде найти там еду, лошади были зарезаны и съедены, если раньше не были конфискованы или не сдохли от голода, и ни у кого не оставалось сил идти за плугом. Во многих местах живые не имели сил даже хоронить трупы, напоминавшие скелеты, и они валялись на улице — и это в районах, некогда бывших житницами России и Украины.

Среди отчетов, которые Квислинг направлял с Украины весной 1922 года, содержится протокол местного судебного заседания. Вовсе не исключительный случай. Протокол попал в лондонскую газету "Дейли телеграф", очевидно, через верховного комиссара в Женеве и был опубликован 20 мая. Он гласит следующее: "23 января 1922 года мы посетили семью Ивана Федоровича Нищенко, жена которого, Харитина Андреевна, 45 лет, задушила своих детей, мальчика пяти и девочку семи лет, а затем в отсутствие мужа использовала тела их в пищу. Муж покинул семью в поисках еды, сказав на прощанье: 'Справляйтесь как можете'. Харитина Н. психически нормальна и на вопрос 'Почему Вы задушили своих детей?' — откровенно созналась: 'Я задушила их, потому что они были из нас всех самые слабые и истощенные, а потом я их сварила, и мы их съели, ведь мы голодали'". Имеются описания случаев каннибализма на кладбищах, где выкапываются трупы. Было еще несколько судебных дел против родителей, убивших и съевших своих детей; в одном из дел муж и жена сваливали вину друг на друга. Мужчина оправдан и освобожден, же-

на осуждена. В детских домах ужесточается дисциплина, и сотрудникам не разрешается выпускать детей на улицу, потому что они могут быть похищенными, убитыми и съеденными или же подвергнуться нападению голодных собак. Хокон Карс Сюнд был представителем Нансеновской миссии в городе Николаеве на Украине в апреле 1922 года. В одном из первых отчетов он писал, что голод – причина 45% всех смертных случаев, а трупы, лежащие на улице, – обычная картина.

Власти, как местные, так и центральные, далеко не всегда могли навести порядок своей железной рукой. Так, в отчете АРА в 1923 году из Екатеринослава на Украине записано следующее: "Имеется еще одно типичное дело, которое касается четверых детей бывшего судьи. Дети – в возрасте от восьми до шестнадцати лет – давно потеряли мать. Зимой 1921–1922 годов был казнен отец. Труп привезли детям и сообщили им, что их отец был расстрелян по ошибке. Какое-то время они перебивались, продавая вещи отца, а когда все было продано, детям не оставалось ничего другого, как ждать медленной голодной смерти. Один из сотрудников АРА узнал про них от их соседей, которые пытались им помочь, и дети сразу же получили пакеты с едой. Так они пережили зиму, а поскольку старшим удалось найти временную работу, они справляются. Двое младших получают продовольствие от АРА. Таким образом спасена еще одна семья".

АРА пыталась также реорганизовать детские дома, и в отчете после первой инспекционной поездки в сентябре 1921 года значится: "...Детские дома в пораженных голодом районах не имеют внутреннего распорядка, полностью лишены снабжения, обычного санитарного оборудования. Во многих случаях отсутствовали даже кровати для больных детей, а если кровати и были, то в одной часто лежало по трое-четверо детей. Мальчики и девочки лежали на полу в грязном тряпье, что повышало для них риск заболеть. Больные, здоровые и голодающие находились вместе, и иногда количество умерших за день равнялось числу вновь поступивших детей".

Это были "отдельные случаи". Вот некоторые статистические данные: в период с 1913 по 1923 год население Одессы сократилось с 454 тысяч человек до 316 тысяч, то есть на 30 %; население Николаева уменьшилось на 25 %, а Херсона – на 47,5 %. Частично это объяснялось потерями в Первой мировой и Гражданской войнах, однако для сравнения укажем, что население Сибири уменьшилось за названный период всего на 3,2 %.

Свою первую поездку в некоторые пораженные голодом районы Нансен совершил осенью 1921 года. Нансен сделал снимки-диапозитивы, которые впоследствии использовал во время выступлений как в Норвегии, так и в других странах. Его самого снимали кинокамерой, и ряд фрагментов этих кинолент был показан российским историком Александром Шумиловым в Осло в 1993 году. Пленки, на которых запечатлены груды непогребенных трупов, хранились в архивах в течение 70 лет. Фотографии живых скелетов, которые Нансен показывал на лекциях, вызывали шок, и люди теряли сознание, ведь это было задолго до появления телевидения, которое ежедневно, по крайней мере дважды в день, доносит до уютных диванов вести о нищете в разных уголках мира. Тогда же и в газетах не часто можно было увидеть фотографии трупов.

Нансен начал лекционную поездку по странам Европы с выступления в Лиге Наций в пятницу 30 сентября 1921 года и произнес, пожалуй,

самую великую речь в своей жизни. Он оценил количество людей, которым угрожала голодная смерть, в 20–30 миллионов. Эта речь была идеологическим обоснованием дела международной помощи, осуществляемой совершенно независимо от таких факторов, как политические взгляды и политическая система. Таким образом были заложены идеологическая и практическая основы будущей международной деятельности по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации, а также очерчена схема соответствующих организаций. К тому же Нансен не преминул заметить, что и организация Гувера сотрудничает с местными властями, поскольку без сотрудничества невозможно доставить помощь тем, кто в ней нуждается. Нансен отверг мысль, будто эта помощь может способствовать укреплению советского правительства. "Но даже если это и так, неужели найдется хоть кто-нибудь в этом собрании, кто готов сказать, что он скорее допустит смерть 20 миллионов человек, чем поможет России? Я призываю присутствующих ответить на этот вопрос".

Выступление в Лиге Наций Нансен не сопровождал показом диапозитивов. Он находился среди трезвых политиков. И нашлись такие, кто сказал "да". По сообщению "Манчестер гардиан", делегат от Сербии попросил слова и заявил, что предпочтет увидеть, как погибнет вся русская нация, чем рискнет оказать помощь советскому режиму. Спустя неделю в Брюсселе состоялась конференция, которая не одобрила план Нансена. План оказался сорванным в результате целого ряда бюрократических проволочек. Тогда Нансен попытался организовать фонд частных пожертвований, в том числе в Норвегии, где натолкнулся на сопротивление людей, полагавших, что он играет на руку большевикам. Газета "Афтенпостен" начала сбор средств для нуждающихся норвежских крестьян – в качестве ответного шага, который вызвал раздражение Нансена.

Решительное расхождение во мнениях имело, конечно, идеологические корни, однако частично оно объяснялось совершенно различной оценкой ситуации. Как и многие другие, Нансен полагал – это следует из его книги "Россия и мир", – что большевистский НЭП, новая экономическая политика, проводимая с 1921 года, означает отказ большевиков от наиболее непрактичной и догматической части коммунистической идеологии, в первую очередь касавшейся отношения к крестьянам, торговцам и мелким предпринимателям. В 1921–1922 годах было невозможно предвидеть, что этот отказ носит временный характер и что политика круто изменится в 1928–1929 годах.

Как бы то ни было, речь Нансена в Лиге Наций произвела впечатление. Газета "Манчестер гардиан" писала следующее: "Несмотря на враждебность некоторых делегатов, было похоже, что Нансен во время речи склонил собрание на свою сторону и добился поддержки, как никогда ранее. Он был бледен и, казалось, с трудом управлял чувствами, в особенности когда коснулся своего опыта в Арктике – выживания под угрозой голодной смерти. Когда он закончил речь, на галерее раздались бурные аплодисменты. Это была победа человека практических действий, человека душевного и сердечного, над собравшимися в этом зале теоретиками и скептиками".

Но как же обстояли дела в реальности? Нансен, в отличие от американцев, не имел своего аппарата. Вскоре, однако, было создано Москов-

ское отделение Нансеновской миссии во главе с Джоном Горвином. Сразу же после Нового года в Харькове приступил к работе Квислинг. Вначале случилось много неудач и трагедий. Ситуация в области здравоохранения в Советской России была в то время такова, что существовали вещи и пострашнее голода. Недаром Горький в своем призыве о помощи упомянул об опасности возникновения эпидемий. Англичанин Реджинальд Фаррар, администратор с большим опытом, в прошлом руководивший британским управлением здравоохранения, в конце декабря 1921 года умер от тифа. Это произошло вскоре после того, как он сопровождал Нансена в его первой поездке по охваченным голодом районам. В феврале 1922 года та же участь постигла итальянца Гвидо Пардо, который успел потрудиться в Нансеновской миссии всего несколько недель. Пардо был итальянским корреспондентом в России с начала столетия и снискал себе славу благодаря блестящим репортажам с передовой во время русско-японской войны. В июне 1905 года он первым сообщил новость о позорном поражении российского флота под Цусимой. Его вдова Дагмар, шведка по происхождению, вела переписку с Нансеном по поводу пенсии, которой тот так и не сумел для нее добиться. Через год умерла и сама Дагмар, а последним из сохранившихся в архиве Нансена упоминаний об их десятилетнем сыне Арвиде является пометка, касающаяся дальнего родственника в Аргентине, готового взять на себя заботу об осиротевшем мальчике. В том же феврале 1922 года в Самаре умерла от тифа шведка Карин Линдскуг, медсестра; этот район сильнее всего пострадал от эпидемии тифа.

Британские эксперты время от времени совершали инспекционные поездки по России; один из них обладал опытом борьбы с голодом в Индии. В своем сообщении ARA он хвалит американцев за эффективность и в то же время порицает Нансеновскую миссию за ее недостаточное знание обстановки, бестолковое руководство и неполную отчетность. Несколько внутренних докладов ARA содержат довольно пренебрежительные высказывания о Нансеновской миссии, о размерах и эффективности ее помощи, а также указания на то, что Нансен скопировал содержание продуктовых пакетов, раздаваемых ARA, но сделал их чуть меньше. Норвежцам, желавшим внести свою лепту в работу Нансеновской миссии, идея с пакетами казалась гениальной, поскольку позволяла каждому узнать, на что конкретно пошли его деньги. Так как Нансену не удалось получить средства от крупных европейских держав, он сделал ставку на частные пожертвования и добросовестно писал благодарственные письма во все концы Норвегии, даже тем, кто пожертвовал всего сто крон. Вряд ли такую работу можно назвать эффективной с точки зрения современных организационных принципов, однако нельзя забывать, что Нансен был идеалистом, и именно это качество придавало ему силы в работе по оказанию помощи, так же как и в его научно-исследовательских проектах.

Здесь следует упомянуть еще об одном отличии этого человека, а именно, его аристократическом происхождении. Поступки Нансена во многом были следствием его элитарного мышления, и он без труда умел держаться на расстоянии от обычных людей, даже если они были депутатами стортинга. Мы помним, как в 1905 году он предостерегал против того, чтобы доверять решение важных национальных вопросов участ-

никам уличных демонстраций. Однако теперь речь шла о том, чтобы привлечь на свою сторону простых мужчин и женщин, воздействовать на массы. Нансену требовались люди, желающие помочь, но в перспективе ему нужны были такие люди, которые могли бы помогать, исходя из идейных соображений о необходимости оказания помощи; в этом случае он говорил о любви к ближнему как о реальной политике.

АРА не занималась идейной аргументацией, а действовала и вовсе не собиралась вести публичную полемику с кем-либо из своих союзников. Цель состояла в том, чтобы помогать как можно эффективнее, учитывая царящий в стране хаос. Кроме того, как АРА, так и Нансеновская миссия выступали в качестве вышестоящих организаций для ряда более мелких объединений, оказывавших помощь голодающим. Вот почему все отчеты и оценки, в том числе и критические, попадали в архивы АРА.

Летом 1922 года руководитель районного отделения АРА в Харькове, Джордж Харрингтон, пишет в отчете о пакетах Нансена: "Пакет оценен в два доллара и содержит 7 килограммов муки, 4 банки молока, килограмм сала, килограмм сахара и 40 граммов чая. Нет никаких данных о том, сколько было роздано пакетов, однако это число не очень велико. Они завезли также 40 тонн медикаментов, 50 тонн сока лайма и 116 тонн рыбьего жира. Все это будет распределяться в рамках программы медицинской помощи".

Речь в Лиге Наций не помогла Нансену преодолеть сопротивление европейской общественности; не изменила положение дела и полученная им в конце 1922 года Нобелевская премия мира. Российские эмигрантские организации упрекали Нансена в том, что он, помимо оказания помощи, способствовал возвращению российских беженцев в Россию, где их ожидало неопределенное будущее. Этот вопрос стал предметом обсуждения в Лиге Наций: Нансену противостоял Густав Адор, благоразумный швейцарец, возглавлявший Международный комитет Красного Креста. Дискуссия велась вокруг необходимых этим людям гарантий в том, что они не будут подвергаться политическим преследованиям. Нансен заявил, что этого не произойдет, и пояснил, что он получил соответствующие заверения советских властей. Когда его попросили представить письменные доказательства, он ответил, что договоренность была устной и что ему этого достаточно. Участники дискуссии, полагавшие, что они лучше понимают суть советского режима, упрекнули его в наивности. Но правило "Если дал слово, то держи его" было для Нансена свято; возможно, ему не хватало скептицизма, чтобы понять, что оно применимо скорее на снежных просторах Арктики, среди своенравных полярных исследователей, но не в коридорах власти коммунистической Москвы.

Нансен придерживался концепции (хотя и не сформулированной) о том, что часто целесообразнее дать голодному человеку не рыбу, а удочку, чтобы ее поймать. Он собирался потратить часть средств миссии на строительство тракторных станций, а деньги из Нобелевской премии вложил в два хутора, которые, по его замыслу, должны были стать образцовыми хозяйствами. Учитывая все то, что произошло с советским сельским хозяйством в конце 20-х годов, следует признать, что это был промах. Однако даже самым проницательным и дальновидным людям не удалось бы предугадать сумасбродную сельскохозяйственную политику Сталина, ставшую причиной повторения голода. Поэтому бы-

ло бы слишком жестоко упрекать Нансена в отсутствии такого предвидения. Впрочем, совершенно ясно: Нансен мыслил шире, чем АРА. Проведя спешное, но все же основательное изучение ситуации, АРА решила, что в первую очередь надо заниматься спасением жизни людей, оказавшихся в чрезвычайном положении, и такая потребность действительно существовала. Нансен же задался вопросом: "А что дальше? Что мы должны сделать, чтобы обеспечить этим людям кусок хлеба, когда организации по оказанию помощи удовлетворят наиболее острую нужду?" Тогда еще не было сформулировано понятие "постоянная зависимость от помощи", однако в размышлениях Нансена содержится зародыш понимания того, что во избежание такой зависимости необходима целенаправленная работа. Подобный взгляд на вещи соответствовал его вере в инициативу и его убеждениям.

Полной противоположностью такой позиции являлся цинизм советских руководителей, в том числе на местном уровне; Нансену дважды представилась возможность убедиться в этом в 1923 году. В первый раз – в январе–феврале, когда его пригласили в Россию и на Украину и чествовали за оказание помощи, а также в связи с присуждением ему Нобелевской премии. В Москве у него была длительная беседа с Троцким, после чего был устроен прием в его честь. На приеме он говорил, как писала 4 февраля 1923 года газета "Известия", что горд тем, что получил возможность протянуть руку помощи великому русскому народу, строящему новую жизнь и стремящемуся возродить могущество великой нации. Был также устроен прием в Харьковской государственной опере, за который Нансен тепло поблагодарил устроителей. Однако это мало помогло организаторам приема. Три недели спустя, 13 февраля 1923 года, харьковская газета "Коммунист" сообщила о том, что оба директора оперы арестованы на семь дней, заместитель уволен, местный руководитель Красного Креста также арестован на три дня, а два посредника, работавших с иностранными организациями по оказанию помощи на Украине, получили строгий выговор. Местный представитель АРА объясняет в отчете причины этого следующим образом: 1) напитки не были готовы к приходу гостей и так и не были поданы; 2) скатерть была грязная и 3) после мероприятия не досчитались стульев.

Неизвестно, сообщили ли Нансену об этой расправе. Как бы то ни было, он узнал о ней. Позже он забил тревогу, когда советские представители завели речь о возможном экспорте зерна урожая 1923 года. Это решение, сформулированное московским руководством на XII съезде партии в апреле этого года, должно было заставить крестьян напряженно трудиться. Тогда уже было начато претворение в жизнь новой экономической политики (НЭП), и крестьянам, как известно, велели, по выражению Николая Бухарина, "обогащаться". Ленин вследствие тяжелой болезни уже вышел из игры.

Нансен полагал, что помощь по-прежнему необходима, а заявление об экспорте российского зерна сильно затруднит сбор средств в Западной Европе. Однако, поскольку в течение осени 1922 года положение намного улучшилось, было принято решение о свертывании кампании помощи, и в августе 1923 года иностранные организации по оказанию помощи прекратили свою деятельность.

Ингар Слеттен Коллоэн

Неизбежное крушение?

Перевод Н. Федоровой

"То, что я писал, не было ошибочно. Не было ошибочно, когда я писал. <...> Я в полном согласии с самим собой, и совесть у меня совершенно чиста", — заявил Кнут Гамсун в гримстадском зале собраний 16 декабря 1947 года.

Все говорит о том, что до самой кончины четыре года спустя он сохранил свою политическую веру, невзирая на то, что вскоре после краха нацистской Германии чудовищные преступления режима и его главарей стали достоянием широкой общественности. Я сознательно использую выражение "политическая вера". Ведь постоянно крепнущая вера как раз и руководила им с той поры, когда в конце 1880-х годов он впервые вышел в плавание на своем политическом корабле, и до той минуты, когда восьмидесятиоднолетним стариком, в 1940 году, потерпел крушение, а затем, как никогда ожесточенный и непримиримый, продолжил путь.

Путь Гамсуна складывался из шести этапов.

Период до 1914 года, затем Первая мировая война, далее время до прихода Гитлера к власти в 1933-м и, наконец, до 9 апреля 1940 года. После этого Гамсун-политик прошел еще два этапа: время оккупации и период от освобождения до своей смерти.

Политическое содержание веры Гамсуна включало множество компонентов, но выявить их куда легче, нежели определить значительно более сложные по составу смеси из писательской лаборатории. Ведь политик старался вырваться из сферы двусмысленности, иронии и амбивалентности, в которой жил и действовал писатель. Начиная с 1889 года, согласившись на предложение "Дагбладет" уничтожить Ларса Офтедала, политик Гамсун был движим насильственным упрощенчеством, представлявшим разительный контраст творчеству Гамсуна-писателя.

На протяжении всех шести этапов бросается в глаза, как последовательно он шел тем курсом большой политики, какой наметил себе очень-очень рано. Он никуда не сворачивал, словно бы не замечая, что́ происходило в Норвегии и в Европе и скольких это стоило жертв.

Позицию Гамсуна можно реконструировать с помощью его же собственных высказываний в письмах и статьях.

Политическое кредо Гамсуна основано на четырех принципах.

Первый вытекал из его безусловно сильной любви к родине и реального исторического опыта: он *верил*, что маленькая Норвегия всегда была игрушкой великих держав.

© Gyldendal ASA 2002
© Н. Федорова. Перевод, 2005

1. Данная статья представляет собой переработанную версию доклада "Неизбежное предательство?", прочитанного 19 февраля 2002 г. в Академии наук. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Второй принцип сформировался на горьком опыте наполеоновских войн и тяжких голодных лет, о которых ему твердили родители и дед. Он *верил*, что при первом же удобном случае Англия вновь подвергнет Норвегию голодной блокаде.

Третий принцип был следствием первых двух: он *верил*, что сильная Германия помешает британцам и дальше строить козни против Норвегии.

Четвертый принцип зиждился на концепции природных и жизненных сил. Эти силы для Гамсуна легитимизировали право сильнейшего: он *верил* в неотъемлемое, естественное право молодой Германии бросить вызов англичанам и мало-помалу оттеснить старую Великобританию, чья декадентская духовная чума — парламентаризм, демократия, эмансипация, индустриализация, консервированная еда, туризм — заражает все народы.

Впервые мы сталкиваемся с этой специфически гамсуновской формой "английской болезни" в 1891 году.

В письме к друзьям он возмущенно писал: "Гладстон, эта старая, лицемерная корова, увы, и в этом году от инфлюэнцы не помер. Так что уповать особо не на что"[1]. Уже в 1910 году его концепция международной политики отводила британцам ту же роль источника заразы, какую многие европейские круги отводили евреям. Британцы, мол, деморализовали прежде здоровое норвежское население: "Англосаксы сбили жизнь с пути"[2]. На таких позициях он будет стоять до самой смерти.

В той же статье Гамсун разъяснил и принципиальное различие между писателем и политиком: "Перечитывая эти строки, я вижу, что пишу плохо, молочу кувалдой. Ладно, читайте дальше, я пишу так сознательно, в намерении громко высказать мои суждения. Быть может, кто-нибудь прислушается".

К тому времени он давным-давно признался в своей любви к Германии, верность которой тоже сохранит до самой смерти: "Мне бы хотелось прямо сегодня покинуть Париж, уехать в Германию и жить там. Я чувствую себя в душе целиком и полностью германцем"[3].

Тогда, на первом политическом этапе, Гамсун снова и снова заявлял о своей ненависти к Англии и любви к Германии. Но лишь на втором этапе, в годы Первой мировой войны, он окончательно сформулировал свое политическое кредо.

Высказано оно было, кстати говоря, немцу и опубликовано в немецком журнале, а звучало так: "Я убежден, что в один прекрасный день Германия одержит победу над Англией. Это естественная необходимость. Англия охвачена перманентным регрессом; у нее еще уцелели кой-какие длинные цепкие корни, но нет цветов, нет живой верхушки, нет кроны. Германия же, напротив, бурлит силой и молодостью. <...> Зная оба народа, я совершенно убежден, что однажды Германия подчинит себе Англию. И *надеюсь*, что Германия победит сейчас. Эта надежда продиктова-

1. Гамсун в письме Болетте и Оле Юхану Ларсенам, 30 мая 1891 г.
2. Гамсун. Слово к нам // Политикен, 3 июля 1910 г.
3. Гамсун в письме Альберту Лангену, 10 мая 1894 г.

на моей давней, неколебимой симпатией к Германии, а также любовью к отечеству, которое только выиграет от победы немцев"[1].

Почему все норвежцы должны молиться за победу Германии, он некоторое время спустя объяснил Альберту Энгстрёму: "По моему разумению, для Норвегии нет теперь большей опасности, чем Англия, – даже Россия не так меня пугает. Оттого-то мне хочется, чтобы Германия была сильной, это, в частности, однажды воспрепятствует Англии захватить Большой Бельт"[2].

Гамсун все беспощаднее делил мир на единоверцев и еретиков.

Первый, кем он пожертвовал, был датский издатель Свен Ланге, с которым его связывали двадцать пять лет дружбы. Когда Ланге категорически не согласился, что датско-норвежская духовная жизнь вообще хоть чем-то обязана Германии, Гамсун немедля разразился уничижительной газетной статьей[3].

Для третьего этапа политического плавания Гамсуна характерно, что после заключения Версальского мира и в первые межвоенные годы он занял прогерманскую реваншистскую позицию. И ради этого готов был на любые жертвы. 1 апреля 1924 года его дочь Виктория вышла за англичанина, который жил на французском берегу Ла-Манша и, разумеется, воевал на стороне англичан. Отец тотчас постарался вычеркнуть дочь из своей жизни.

Испытывал он и соответственно сильную потребность представить себя мучеником и не раз высказывался в этом ключе. Например, нижеследующее типичное заявление сделано в конце 1920-х годов: "...в сущности, я один стоял на стороне Германии тогда и стою по сей день – ведь вся Норвегия была на другой стороне"[4].

Уже на этом третьем этапе Гамсун приветствовал подъем итальянского фашизма. Его норвежский издатель, Харалд Григ, обещал ему возможность встретиться с Муссолини. Польщенный Гамсун благодарит: "Мне бы очень хотелось выразить Муссолини мое огромное восхищение и глубокое почтение – Господь по милости своей послал нам в это смутное время настоящего мужчину"[5].

Когда Видкун Квислинг, занимавший тогда пост министра обороны, вызвал резкие нападки оппозиции, применив войска против бастующих рабочих, Гамсун поспешил поддержать его и обвинил руководство Рабочей партии в подготовке государственного переворота по указке Москвы. "Что происходит в нашей стране? Насилие, беззаконие, революция – прямо-таки беспримерные по жестокости и дикости. Сейчас это не просто провокация, людей нарочито запугивают и сеют среди них хаос, это план, цель которого – уничтожить жизнь, и закон, и право"[6], – гремел Гамсун.

1. Гамсун в немецком журнале "Симплициссимус", 1914, № 9.
2. Гамсун в письме Альберту Энгстрёму, март 1915 г.
3. Гамсун в датской газете "Политикен", 9 ноября 1914 г.
4. Гамсун в письме Вальтеру Береннсону, 24 апреля 1928 г.
5. Гамсун в письме Харалду Григу, 5 ноября 1932 г.
6. Гамсун в предисловии к работе Хермана Харриса Олла и Николауса Матиаса Йельвсвика "Революционная политика и норвежские законы" (1932).

Четвертый этап политической карьеры Гамсуна — от прихода нацистов к власти в январе 1933 года и до апреля 1940-го — отмечен двумя главными чертами.

Писатель начал мечтать об итало-германском присутствии в Норвегии: "Когда-нибудь фашизм в той или иной форме победит и в Норвегии. Только полные слепцы не видят разницы в эпохе и политике до и после войны". Ему хотелось, чтобы на место беспомощных парламентских демагогов пришли такие же энергичные политики, какие постепенно забирали власть в Италии, Турции, Польше, Австрии и Испании. И он яростно аргументировал, объясняя, почему демократия и парламентаризм не имеют преимущества перед диктатурой вождя[1].

Вторая характерная черта последнего предвоенного периода — стремление игнорировать, обходить молчанием и защищать все более грубые злоупотребления нацистского режима. Все больше интеллектуалов, людей искусства, политиков, профсоюзных деятелей, евреев подвергаются преследованиям, репрессиям, арестам, становятся жертвами убийства. В письме, написанном после Рождества 1934 года дочери Сесилии, которая, как и Эллинор, училась в немецкой монастырской школе, он выразил поддержку быстро ширящейся террористической деятельности режима.

"Ты находишься в великой стране и поверь, это действительно великая и прекрасная страна. Не пиши девочкам, что кое-кто там кончает жизнь самоубийством, не то они подумают, что в Германии куда как плохо. Лучше пиши о том, чтó Гитлеру и его правительству удается свершить в обстановке ненависти и враждебности со стороны всего мира. Ты и я, мы все будем благодарить Германию и благословлять ее, ибо за нею будущее"[2].

Немногим позже, летом 1934 года, Гамсун защищал концлагеря — в другом письме, адресованном на сей раз Кристоферу Андреасу Вибе, который обратился к нему с просьбой поддержать требование освободить арестованных немецких оппозиционеров. "Я не могу, — писал Вибе, — представить себе Вас в униформе <...> во главе беснующейся толпы коричнево-, черно- или краснорубашечников". Гамсун ответил: "Германия находится сейчас как раз в процессе преобразования. И коль скоро правительство прибегло к созданию концентрационных лагерей, и Вы, и весь мир должны понять, что на это есть свои причины"[3].

Тем же летом, когда профессор Юхан Фредрик Поске предостерег в "Афтенпостен" от оправдания методов Третьего рейха, Гамсун публично выступил в защиту террора. "Ему бы стоило задуматься о том, что речь идет о *коренном* преобразовании общества, насчитывающего 66 миллионов человек, и что уже на протяжении 15 месяцев Германия упорно работает именно над этим, продвигаясь вперед, делая ошибки, снова продвигаясь вперед, — причем в условиях *экономической, политической и моральной враждебности всего мира*", — писал Гамсун, напомнив, что существуют "определенные предпосылки для недавней кровавой драмы

1. Гамсун в "АВС", 23 ноября 1933 г., и в "Фюлькесависен", 11 января 1934 г.
2. Гамсун в письме Сесилии Гамсун, 8 февраля 1934 г.
3. Кристофер Андреас Вибе в письме к Гамсуну, середина июня 1934 г.; Гамсун в письме к Вибе, 18 июня 1934 г.

в Германии. <...> Так нет же, подавай ему прежнюю Германию, республику, при которой в этой северной стране распоряжались коммунисты, евреи и Брюнинг!"[1]

В 1935 году Гамсун полностью поддержал экспансионистскую политику Гитлера: "Когда немецкая земля Саар окончательно воссоединится с отечеством, исчезнет серьезный рассадник неурядиц между народами, но если французская политика — с одобрения Англии — опять попытается загнать Германию в прежнее унизительное положение, возникнет новый источник неурядиц"[2].

В том же году Гамсун продемонстрировал, как далеко готов зайти, оправдывая репрессии, каким Третий рейх подвергал своих критиков внутри страны, — всеми силами он старался воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира пацифисту, узнику концлагеря Карлу фон Осецкому. В иной ситуации Гамсун мог бы восхититься моральным мужеством аутсайдера, но не в данном случае, когда речь шла о враге Германии.

Общественность откликнулась мощным взрывом негодования. Однако некоторые организации приняли резолюции солидарности, и более всего порадовал поклонника молодежи Консервативный студенческий союз: "Никогда Вы не были в большем согласии с современной молодежью. Национальная молодежь и в этом вопросе солидарна со своим великим духовным вождем"[3].

После того как австрийский писатель-еврей Эгон Фридель покончил самоубийством в тот самый мартовский день 1938 года, когда немцы вошли в Вену, к Гамсуну не раз обращались с призывом воспользоваться огромным весом своего имени в Германии и выразить протест против той политики, какую нацистский режим проводил по отношению к евреям. Фридель был большим почитателем норвежского коллеги и посвятил Гамсуну свою книгу "Старинная история", которая как раз в тот год вышла в норвежском переводе. Хотя смерть Фриделя, несомненно, произвела на Гамсуна тяжелое впечатление, ее тоже следовало рассматривать всего лишь как жертву, необходимую для строительства Великой Германии и общества новой эпохи. "Кстати говоря, не могу отделаться от ощущения, что самоубийство Фриделя имело и *личные* причины", — оправдывался он в одном из писем[4].

1 сентября 1939 года началась большая война.

Гамсун неуклонно вел свою политическую шхуну прежним курсом, рулевой не менял направления, не замечая терпящих бедствие, не замечая обломков. А ведь все больше поклонников Германии меняли свои позиции. Одним из таких был богатый землевладелец, в прошлом министр и депутат стортинга от Крестьянской партии, Юхан Э. Мельбюэ. В декабре он связался с Гамсуном и предложил ему подписать критическое обращение к Нордическому обществу по поводу развития событий в Германии. Гамсун незамедлительно ответил:

1. Юхан Фредрик Поске в "Афтенпостен", 7 июля 1934 г.; Гамсун в "Афтенпостен", 10 июля 1934 г.
2. Гамсун в журнале "Дер норден", 1935 г., № 1.
3. Резолюция, принятая Консервативным союзом молодежи в ноябре 1935 г.
4. Гамсун в письме Нильсу Мюреру, 28 сентября 1938 г.

"Недовольство следует адресовать вовсе не Германии. Как только Германия получит передышку на Западном фронте, она обернется в другую сторону и вышвырнет русских с Балтики и с Севера. Германия ждет. Подождем и мы. Не будем сейчас бить Германию по больному месту"[1].

Глядя на большую карту мира, прикрепленную к стене в Нёрхолме, Гамсун с удовлетворением следил за победоносным продвижением Германии на всех фронтах. 30 марта 1940 года он выразил от имени норвежского народа такую надежду: "Восточный медведь и западный бульдог подстерегают нас — мы меж двух огней. Поэтому многие из нас, рядовых норвежцев, надеются, что Германия защитит нас — увы, не сейчас, как мы понимаем, но когда придет время"[2].

Всего через неделю его молитва была услышана: гитлеровские войска напали на Норвегию.

Так Гамсун начал пятый этап своего политического пути, продолжавшегося уже 40 лет. Более чем когда-либо восьмидесятилетний писатель ориентировался на свои ранние взгляды. Он не стал старым и немощным Карено[3], изрядно растерявшим воинственный задор и готовым предать идеалы своей юности.

12 апреля он заявил, что Норвегия вовсе не находится в состоянии войны с Германией и норвежский народ должен прекратить сопротивление германским войскам, которые защитят Норвегию "от новых английских налетов. Германия взяла на себя нашу защиту. Мы нейтральны"[4].

В той же статье он пишет об историческом опыте, который способствовал формированию его ненависти к Англии: мол, стоит задуматься "о важнейшем оружии Англии в войне — о голодной блокаде. Людям нечего есть, они не получают продовольствия, потому что таково желание Англии. Пока что они еще могут ходить, потом им придется сесть, потом — лечь. И ждать смерти. Некоторое время назад Англия выступила в оправдание голодной смерти, заявив, что такая смерть милосердна. Но дети... каково смотреть на детей, умирающих от голода! Что скажут на это матери и отцы? Британских матерей радует, что немецкие дети мрут от голода, причем в национальном масштабе. А Чемберлен недавно хвастал в парламенте, что скупил у Норвегии весь добытый за год китовый жир, чтобы Германии не досталось ни капельки. Мы поистине на грани всенародного безумия!"

Так Гамсун твердил все пять лет.

Он призывал отправить в отставку правительство Нюгорсволла[5].

Требовал, чтобы все борющиеся норвежцы сложили оружие[6].

1. Юхан Мельбюэ в письме Гамсуну, 1 декабря 1939 г.; Гамсун в письме к Мельбюэ, 14 декабря 1939 г.
2. Гамсун в газете "Фритт фолк", 30 марта 1940 г.
3. Ивар Карено — герой трилогии К. Гамсуна "У врат царства" (1895), "Игра жизни" (1896), "Вечерняя заря" (1898).
4. Гамсун в воззвании, написанном 14 апреля 1940 г., распространенном в Осло и других городах 19 апреля и опубликованном в "Прессединст" и многих других газетах.
5. Гамсун в "Нашонен", 27 апреля 1940 г.
6. Гамсун в "Фритт фолк", 4 мая 1940 г.

Наказывал королю Хокону либо уступить немцам, либо отречься от престола[1].

Приветствовал установленный оккупационными властями режим Квислинга и одобрял все средства, которые использовались, чтобы сломить Сопротивление. "Всякое сопротивление будет сломлено, даже если часть простых людей по глупости затянет решение этой проблемы", — заявлял он[2].

Даже после незадавшейся встречи с фюрером в июне 1943 года Гамсун упрямо продолжал защищать Германию. Иное было немыслимо, потому что верил он в нечто большее, нежели Гитлер, Квислинг, Тербовен и нацизм. Для Гамсуна они были временщиками, подобно кайзеру в годы Первой мировой войны и веймарским политикам после Версальского мира, — всего лишь орудиями истории в неотвратимой извечной трагедии, которая разыгрывается меж упадочной Англией и здоровой Германией и от которой Норвегия в итоге только выиграет.

Снова и снова он описывал свою Утопию — великую Германию, "объединившую европейские государства под водительством германского национал-социализма. Той части нашего народа, что до сих пор настроена проанглийски, придется изменить свои старые, унаследованные взгляды. Этого не избежать, ибо речь идет о будущем Норвегии, <...> мы понимаем, в чем наше спасение, и впредь не желаем, чтобы хищные британцы эксплуатировали нас и использовали. Мы сменили курс, мы на пути в новое время, в новый мир"[3].

Накануне освобождения без малого восьмидесятишестилетний Гамсун начал шестой, и последний, этап своего политического пути.

4 мая он закончил некролог, посвященный Гитлеру, "провозвестнику евангелия справедливости для всех наций. Он был реформатором высшего ранга, и волею судьбы ему выпало действовать в эпоху беспримерной жестокости, которая в итоге и погубила его"[4].

Задним числом нетрудно увидеть, что Гамсун трижды прокладывал для себя катастрофически ошибочный курс.

В первый раз это случилось в середине 1930-х годов, когда он закрыл глаза на реальность и начал защищать террористические средства, которые нацистский режим применял против собственного народа, а затем и против населения соседних стран. В ту пору и в последующие годы многие симпатизирующие Германии резко изменили свою позицию. Весьма интересно проследить, как быстро левые и правые в норвежской политике консолидировались в единый фронт против нацизма и фашизма.

Второй раз Гамсун роковым образом ошибся, конечно же, в апреле 1940 года. 9 апреля большинство его соратников остановились, отошли в сторону, решили выждать и даже совершили резкий поворот.

Третья ошибка была совершена уже после освобождения. "Я в полном согласии с самим собой, и совесть у меня совершенно чиста".

1. Гамсун в письме королю Хокону, 5 мая 1940 г., через Торвалда Одала. Возвращено.
2. Гамсун в "Афтенпостен", 22 октября 1941 г.
3. Гамсун в "Афтенпостен", 22 октября 1941 г.
4. Гамсун в "Афтенпостен", 7 мая 1945 г.

Выступление Гамсуна в поддержку нацистского режима не было вызвано ни болезнью, ни существенным изменением личностных черт, ни резким проявлением старческих процессов, ни давлением со стороны жены, Марии Гамсун, или иных людей.

Он сам построил свой политический корабль и суверенно, последовательно направлял его в течение полувека. Свинцовым килем этого корабля была политическая вера, которой свойствен целый ряд фундаменталистских черт: неуравновешенность личности, неколебимая убежденность в собственной правоте, беспощадность, готовность к жертвам, стремление обожествлять и демонизировать, утопизм и способность персонифицировать деяния, страны и народы.

Но его политический груз включал нечто большее — всегда, подступая к Кнуту Гамсуну, обнаруживаешь нечто большее: его антиинтеллектуализм, в силу которого он основывался на инстинктах, интуиции и эмоциях, на ощущении, а не на анализе.

Презрение к пацифистам и культ борьбы за существование, возведенный в ранг главного принципа бытия. Поразительно, до чего сходно Гамсун и Гитлер формулировали естественную необходимость войны и борьбы за существование!

Насмешки над городской жизнью, промышленным производством и отходом современного человека от земледелия. Его весьма рано заинтересовало, сколь важное место нацизм отводил перспективам земледелия, предвидя германскую колонизацию Восточной Европы и западных территорий Советского Союза.

Отвращение к парламентаризму и демократии.

Поддержка жесткого исполнения законов и распоряжений, изданных властями предержащими.

Постоянно подчеркивалось — недавно, в 2001 году, это сделал израильский писатель Амос Оз, — что Гамсун увяз и в такой мухоловке нацистской идеологии, как антисемитизм. Расовое сознание было присуще Гамсуну в том смысле, что он исповедовал идею великогерманского сообщества народов, где норвежские арийцы займут центральное место. Однако нет никаких документов, подтверждающих, что он одобрял гитлеровское "окончательное решение" — геноцид евреев.

Зато со всей моральной ответственностью можно предъявить Гамсуну суровый упрек в том, что он не пересмотрел своего отношения к нацистскому режиму, когда, как и все, после краха нацистской Германии узнал о немыслимых целях и размахе Холокоста.

В позиции Гамсуна касательно евреев значительно больше нюансов, чем в его иных политических взглядах. Об этом он подробно писал в 1925 году, и суть была такова: "Желательно бы, конечно, собрать евреев в стране, которую они могли бы назвать своей, чтобы избранная белая раса избежала дальнейшего кровосмешения, а евреи тем не менее могли бы проявить свои лучшие качества на благо всего мира. Но где найти такую страну!"[1]

Важной составляющей в формировании политика явились и его мысли о собственном величии, о культе исключительного человека, о

1. Гамсун в "Нашоналт тидскрифт", 1926, № 11.

суверенном праве избранных обеспечить себе жизненное пространство. Нацизм был целиком и полностью привержен идее иерархии, установленной сверхчеловеком, и видел в ней единственный естественный принцип организации всех сфер бытия. Она представляла собой изначальный закон, действие которого не имеет ограничений.

В своей книге "Наше презрение к слабости" Харалд Офстад определяет главные элементы нацизма, а именно: антиинтеллектуализм, агрессивный национализм, расизм и элитарное мышление, отождествление с силой и презрение к слабости, покорность и безответственность, опекунство и унификация, оккультизм, черно-белое мышление, идеализм, готовность к жертвам, нигилизм. А вот суть нацизма он характеризует так: "Антисемитизм в нацизме не основное. Основное — доктрина, что сильный господствует над слабым, а слабый достоин презрения, ибо позволяет господствовать над собой".

В таком случае Гамсун что же, был нацистом?

Этот вопрос требует куда более глубокого исследования, чем позволяет объем данной работы. Реконструируя политический путь Гамсуна, мы можем установить, что он последовательно защищал Третий рейх начиная с его возникновения 30 января 1933 года и до принудительной капитуляции, состоявшейся пять с лишним тысяч дней спустя.

Большой почитатель Гамсуна, рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс, казалось, обращался непосредственно к нему, когда 10 мая 1933 года, в то время как на площадях университетских городов сжигали тысячи "ненемецких" книг, газет и журналов, заявил: "Художник вправе назвать себя аполитичным, когда политика есть не более чем крикливые стычки парламентских партий. Но когда политика пишет драму народов, когда целый мир рассыпается в прах, старые ценности разваливаются и возникают новые, — в такое время художник не может говорить: меня это не касается. Его это очень даже касается"[1].

Гамсун агитировал за весьма важные аспекты идеологии гитлеровского режима. Хорошо сознавая свое общественное положение, он сам широко им пользовался, особенно если принять во внимание его преклонный возраст. Гамсун активно участвовал во Второй мировой войне, причем исключительно на стороне Германии и ее союзников.

Кнут Гамсун — духовный вождь, дезориентировавший свой народ, а ведь этот народ на протяжении полутора веков привык, что поэты и писатели раскрывают ему великие политические истины. Он вел тех, кто его слушал, к полностью унифицированному, диктаторскому, дегуманизированному обществу, к разбомбленным руинам, концлагерям, газовым камерам.

Оттого-то и вопрос об участии Гамсуна в войне нельзя свести к мелочным юридическим спорам о том, принадлежал ли он или не принадлежал к партии, которую норвежские власти в эмиграции объявили вне закона.

История Гамсуна, пожалуй, как никакая другая, повествует о крестьянском парнишке, который был пленен внутренней жизнью современно-

1. Йозеф Геббельс цитируется по книге Юакима Феста "Гитлер" (1973).

го горожанина, но проникался все бóльшим отвращением к его внешней жизни.

В результате возникло совершенно невероятное явление — реакционный модернист, как его назвал Ойстейн Роттем[1]. Такова сфера творчества писателя. Но и политик, видимо, действовал там же.

В нем постоянно нарастала интенсивная неприязнь к духу времени, который, как он считал, словно моровая язва заражал всех и вся. Ему казалось, мировое сообщество идет к гибели и губят его демократия, капитализм и социализм. В британцах он видел главных разносчиков заразы и прописывал единственное, с его точки зрения, действенное средство: поддержите немцев, которые способны побить англичан, вернитесь к земле и почитайте ее!

Однако презрение Гамсуна к своему времени отчасти выродилось в презрение к реальности и истине. Неколебимое стремление упрощать, отрицать реальное, воспринимать все в контрастах и искажать привело к тому, что рулевой окончательно сбился с курса.

Гамсун шел на штурм объективной истины — и в литературе, и вообще в жизни — и принес себя в жертву беспощадному субъективизму. Он заявил о себе как гениальный писатель, но одновременно возвестил о своем политическом экстремизме, а тем самым и о своем политическом крахе.

Писатель Гамсун наделял многих своих героев отчаянными прожектами и губительными желаниями. И нередко в конце их ждало крушение. Политик Гамсун осуществил отчаянный прожект, и у меня есть подозрение, что по ходу дела он понял: это кончится крахом. В какой же мере губительные желания писателя затрагивали политика?

И это не все. Далеко не все.

Что могло произойти перед тем, как он столь решительно выбрал свой курс?

Отклонялся ли он от этого курса?

Пил ли писатель из той же бочки, куда политик справлял малую нужду?

И это еще далеко, далеко не всё, и так бывает всегда, когда пытаешься вникнуть в историю Кнута Гамсуна.

1. "Гамсун и триумф фантазии" (Gyldendal, 2002).

Кнут Гамсун

Публицистика 1935–1944 годов

Перевод Н. Федоровой

Осецкий

"Тиденс тейн", 22.11.1935 г.

В 1935 году немецкий журналист и пацифист Карл фон Осецкий (1889—1938) был номинирован на Нобелевскую премию мира за свои смелые статьи, разоблачающие милитаризацию Германии и жестокие нацистские репрессии против инакомыслящих. В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, Осецкого арестовали и бросили в концлагерь. Его номинация на Нобелевскую премию вызвала острые дебаты "за" и "против" нацизма. Выступление Гамсуна в этой дискуссии привлекло огромное внимание и привело к тому, что позднее целый ряд коллег-писателей — в частности, Герман Вильденвей (1886—1959) и Томас Манн (1885—1955) — подверг его резкой критике.

Год за годом немецким властям шлют петиции, ходатайствуя об освобождении Карла Осецкого из концлагеря Ольденбург. И покуда немецкие власти оставляют их без внимания.

Год за годом в Норвежский нобелевский комитет шлют предложения присудить Осецкому премию мира. Если он получит эту премию, можно будет *вырвать* его из концлагеря, невзирая на сопротивление властей.

Вероятно, стоит напомнить, что г-н Осецкий вполне мог выехать из Германии как до, так и после прихода нацистов к власти. Но он не пожелал уехать. Рассчитывая, что народ встретит его арест бурным негодованием. И его расчет оправдался.

10 мая 1932 года он писал в своем журнале[1]: "Если я сяду в тюрьму, то не из лояльности, а потому, что фактически нынешним немецким властям крайне неудобно держать меня под стражей... Как узник я стану живой уликой... Не дать этому протесту заглохнуть – мой долг перед теми, кто воспринял мое дело как свое собственное".

Его расчет оправдался, в разных странах нашлись люди, которые восприняли его дело как свое собственное и выступили с протестом. Причем весьма рьяно.

Странный пацифист – он служит своей мирной идее, постоянно доставляя "неудобства" властям родной страны!

© Gyldendal, 1998
© Н. Федорова. Перевод, 2005

1. Журнал "Вельтбюне". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

И год за годом пишутся петиции по поводу того, что он "брошен в концлагерь и подвергается страшным пыткам". И год за годом его выдвигают на премию мира.

А не лучше ли г-ну Осецкому в это тяжкое время перемен, когда весь мир мечет громы и молнии по адресу германских властей, оказать хоть малую позитивную помощь великому народу, к которому он принадлежит? Чего хочет сей пацифист? Выступить против вооружения Германии? Выходит, этот немец предпочел бы увидеть родную страну растоптанной и униженной, отданной на милость французов и англичан?

Слово к соотечественникам в связи с началом войны

Это воззвание было написано для спецвыпуска и опубликовано в Осло 19.04.1940 года, а также перепечатано в бюллетене "Прессединст Норд" (Берлин, 1940).

Я пишу из самых лучших побуждений и вовсе не ищу популярности. Возраст позволяет мне сказать свое слово по поводу неслыханного смятения, в какое нас повергли события последних дней.

Из Швеции сообщили, что Карл Иоаким Хамбру выступил с обращением к норвежскому народу. Да, персона самая что ни на есть подходящая! Человек из иммигрантской семьи, которой в свое время разрешили поселиться в нашей стране. Краснобай, говорильная машина. Конечно, он тоже имеет определенные заслуги, однако совершенно не подходит для того, чтобы именно сейчас наставлять норвежский народ. Ему недостает основы основ — исконно норвежского начала в душе. И эту нехватку норвежскости он демонстрировал неоднократно.

Говорун заявляет, что Норвегия находится в состоянии войны с Германией. Нет, он ошибается, но, даже сбежав в чужую страну, никак не может отказаться от своей треклятой пропаганды.

Пропаганда.

Долгие, долгие годы Норвегию науськивали против Германии, ибо та торпедирует корабли норвежских моряков. А что Германии остается? Кто-нибудь задавал себе этот вопрос? Ведь все дело в том, что Англия не желает отказаться от своего террористического владычества на море, стремится уморить голодом немецких женщин и детей, блокируя пути доставки продовольствия в Германию. Наши моряки, направляясь в Англию, попадают в опасную зону, и немцы их торпедируют. Торпедами Германия защищается от английской блокады. Вот какова правда!

Так ли уж велика вина Германии в гибели наших моряков? Но сколь велика вина Англии!

Кстати, хоть кто-нибудь дал себе труд задуматься о важнейшем оружии Англии в войне — о голодной блокаде? Людям нечего есть, они не получают продовольствия, потому что таково желание Англии. Пока что они еще могут ходить, потом им придется сесть, потом — лечь. И ждать смерти. Некоторое время назад Англия выступила в оправдание голодной смерти, заявив, что такая смерть милосердна. Но дети... каково смотреть на детей, умирающих от голода! Что скажут на это матери и отцы? Британских матерей радует, что немецкие дети мрут от голода, причем в нацио-

нальном масштабе. А Чемберлен недавно хвастал в парламенте, что скупил у Норвегии весь добытый за год китовый жир, чтобы Германии не досталось ни капельки. Мы поистине на грани всенародного безумия!

В давних войнах тоже морили людей голодом, окружая города и страны кольцом блокады. Но сейчас-то об осаде речи нет, речь идет о *взятии* городов и стран. Немцы именно так и действуют. Только Англия упорно не расстается со старым испытанным оружием. Последний раз она использовала его в войне с бурами: 27 тысяч женщин и детей умерли голодной смертью в английских концлагерях, пока мужчины пытались защитить страну от английской агрессии.

Может, и я сейчас занимаюсь пропагандой? Я смотрю, я слушаю. Мне недостаточно разглагольствований близоруких судовладельцев и парламентских политиков. И газет я выписывал так много потому, что хотел знать, каковы позиции другой стороны. Взвешивал "за" и "против". По моему разумению, норвежский народ совершенно несправедливо настроен против Германии. Моряки видят только одно — их торпедируют! И не видят другого — что виноваты в этом англичане.

Но разве мы воюем с Германией? Нет, не воюем. И будем молиться всем добрым богам, чтобы до этого не дошло. С Германией воюют западные державы, а мы нейтральны и нейтральными останемся.

Англии, однако, очень хочется распространить свою войну на норвежскую территорию. Одержимая неуемной кровожадностью, она грабежами и убийствами вторглась на нашу нейтральную землю в Ёссинг-фьорде. Затем она установила вдоль нашей границы минные заграждения и заблокировала нас, чтобы превратить Норвегию в поле битвы. Именно этому и воспрепятствовала Германия, осуществив упреждающую оккупацию страны. Король и правительство Нюгорсволла в этот миг отошли от дел и вместе со всем управленческим аппаратом покинули свой пост. Впрочем, есть надежда, что король вернется в страну.

Вот какова ситуация.

Со всех сторон мы слышим, что Германия встречает сопротивление норвежцев, что Норвегия-де ждет помощи от Англии. Неужто мы еще не усвоили, какова цена английским посулам и гарантиям помощи? Всего несколько месяцев назад англичане разъезжали по Европе, раздавая обещания и гарантии, а совсем недавно посетили Финляндию — и что же? Что из этого вышло? Объявлено, что 11 тысяч человек проходят в Канаде подготовку, чтобы затем оказать Норвегии помощь в борьбе с Германией. 11 тысяч человек, изволите видеть!

То сопротивление, каким немцев встречают у нас, есть, видимо, не что иное, как всеобщая реакция на силу. Едва ли можно истолковать это по-другому. Зачем мы упорствуем в своей глупости, разрушая мосты и дороги, фабрики и элеваторы? Мы что же, вздумали воевать с Германией? Упаси нас Господь от этого! Наверно, мы решили сопротивляться в ожидании обещанной помощи англичан. Упаси нас Господь и от этого, ведь в таком случае мы разделим участь Польши.

Норвежскому народу пора одуматься — пока Англия не привела к нам войну.

Что может сделать Англия? Если она начнет бомбить наши города, то никоим образом не вступит в противоречие со своей кровавой историей. Только вот на сей раз вмешательство Германии защитит нас от новых английских налетов. Германия взяла на себя нашу защиту. Мы нейтральны.

Причем правительство германского рейха клятвенно обязалось не ущемлять самостоятельность и целостность Норвегии.

14.04.1940
Кнут Гамсун

И *вот опять!..*

"Фритт фолк", 20.02.1943

В годы войны родственники осужденных на смерть обращались к Гамсуну, просили использовать его влияние, чтобы выхлопотать у немцев помилование. Эти просьбы глубоко волновали писателя.

Снова и снова меня просят о помощи, просят добиться пощады для осужденных на смерть.

Пишут родители и близкие родственники, а осужденные, которым грозит смерть, все без исключения люди молодые.

Что они сделали? Мы все это знаем: они вели борьбу, работали на Англию. И вот сегодня опять: 13 молодых людей сидят в лагере неподалеку от Осло и ждут смерти. Они работали на Англию.

Молодые люди настроены проанглийски — это их дело! Они верят в победу Англии, желают этой победы и стараются ей способствовать — это тоже их дело! Но вдумайтесь: 13 человек, 13 пособников Англии! Да будь их даже 13 сотен — зачем помогать Англии, которая все равно победит? Есть ли разум и логика в подобном ходе мысли? За плечами у них три года кровавого опыта, что ведет их прямо к суду и смерти. Лучше бы сидели себе тихонько и ждали, пока Англия победит.

Пожалуй, некоторые присоединяются к опасному заговору, чтобы почувствовать себя настоящими мужчинами. Верные товарищи и заговорщики, безмолвные соучастники, посвященные в тайну, великую тайну, — в юности все это обычное дело. Но люди много старше годами, те, кому бы полагалось быть более зрелыми, — как обстоит с ними? Они не сумели обуздать свое отчаяние, действовали совершенно безрассудно и безответственно, обрекая себя на верную гибель. Да, именно так, они в ответе за себя и за всех.

Эти люди, столь неколебимо и безоглядно верящие в победу Англии, грешат против смысла собственной деятельности: хотят работать для Англии, но лишают себя такой возможности, ибо гибнут, действуя вопреки здравым советам, презрев риск, собственные чувства и доводы рассудка. А ведь гибель в их планы не входила.

Сорвиголовы старшего возраста не иначе как по-юношески слегка этим бравируют? Печально, однако, увы, вполне возможно. Им хочется произвести на товарищей впечатление, показать себя. Но все это слишком плохо кончается.

Чего они, собственно, рассчитывали добиться своей удалью? Возможно, ими двигала туманная идея большей свободы — откуда нам знать? Ну, скажем, некое представление о том, что работа для Англии в целом идет во благо. И вот темной ночью их вызывают получить партию оружия. Великая минута — теперь они кой-чего добьются. Начнут стрелять по оккупантам!

Но 13 человек — или пусть даже 13 сотен! — есть ли у них хоть крошечный шанс чего-то добиться своим оружием? Во всех без исключения случаях конец один, что прежде, что теперь, — немцы их прихлопнут. Они понятия не имеют, сколько солдат, охранников и полицейских охотятся за ними, не знают, сколько глаз держат их под наблюдением, не знают, что за ними, быть может, следят уже не одну неделю, не один месяц, что каждый их шаг под надзором, что для них расставлены ловушки, — они работают вслепую, не ведают ни о чем, пока однажды не грянет беда. Вот тогда они обо всем и узнают!

Я обращаюсь к людям, настроенным проанглийски. Может статься, они сохранили еще достаточно здравого смысла, чтобы одуматься. Хотят помогать Англии — ладно, их дело! Но разве же самоистребление помогает Англии? Они верят, что Англия победит, — да пожалуйста! Но зачем же прежде времени подвергать себя отчаянному риску? Ведь на поверку он бесполезен, на поверку оборачивается смертью. Но если Англия победит, они получат в дар все блага, о которых мечтали. Надо лишь подождать. Жить себе спокойно, заниматься будничными делами, держаться при своем доме, под своею смоковницей и ждать.

А не рисковать жизнью...

Тяжко получать письма от родителей и близких родственников несчастных осужденных, которые должны умереть. Здесь понапрасну гибнут молодежь и надежды молодости, это очень печально, ведь каждый может поставить на их место себя и своих близких. И эти письма — опять-таки простертые в мольбе руки и призывы о помощи.

Англию на колени!

"Фритт фолк", 24.06.1943

23 июня 1943 года Гамсуна пригласили в Вену выступить на Втором международном конгрессе литераторов и журналистов, организованном Союзами национальных объединений печати и информации. Конгресс был довольно представительный — 500 участников из 40 стран. В поездке Гамсуна сопровождали начальник отдела министерства внутренних дел Эгиль Холмбуэ, на которого возложили функции переводчика, и доктор юридических наук Херман Харрис Олл, которому тоже предстояло выступить с докладом. Поскольку Гамсун немецким не владел, его доклад после короткого вступления на английском языке, сделанного самим писателем, был зачитан главным редактором газеты "Фритт фолк" Арнтом Рисховдом. Этот доклад стал абсолютной кульминацией Конгресса. Собравшиеся встали и бурными овациями приветствовали Гамсуна, вошедшего в Церемониальный зал дворца Хофбург. "Вестланнске тиденне" опубликовала 25 июня 1943 года следующий репортаж об этом событии: "...Наш прославленный соотечественник [шел] по центральному проходу конференц-зала, все собравшиеся поднялись как по команде и приветствовали его бурей аплодисментов, которой не было конца. Выждав несколько минут на почетном месте в первом ряду, писатель встал. Внятным, четким голосом Гамсун прочел свое обращение к Конгрессу: 'Надеюсь, вы простите мне, что я дерзнул появиться здесь. Я устал писать и слишком стар, чтобы держать речь. Хочу только попросить вас выслушать приветствие писателя из далекого северного края. Он писал книги, пока не состарился. И теперь может рассчитывать лишь на благосклонность народа. Он

слишком стар'. После этих красивых слов на миг воцарилась мертвая тишина, а затем вновь грянули овации, на сей раз как выражение спонтанного восторга и безоговорочного почтения к выдающемуся представителю национальной норвежской интеллигенции". В последующие дни эта речь была опубликована в австрийских, немецких и норвежских газетах, имя Гамсуна было у всех на устах.

Я приехал сюда, не выдвигая никаких условий. И не буду пытаться выступать с докладом — другие способны сделать это куда лучше. Я не могу сказать и ничего такого, чего бы уважаемое собрание уже не знало. Но как норвежец, как человек и германец я просто хочу дать свидетельские показания.

Я не собираюсь выходить за пределы вопросов, стоящих на повестке дня, или обходить их молчанием, но соединю их все и назову одним словом — Англия. Прошу вас ненадолго уделить внимание моему свидетельству об Англии.

Я до глубины души англофоб, антибританец и, сколько себя помню, никогда этим убеждениям не изменял. Не подумайте, будто я ставлю это себе в заслугу, нет, речь идет просто о позиции. Мне рано довелось уехать из родной страны, и я встречал чужестранцев, в том числе и англичан. Кое-что читал, кое-что наблюдал, пытался обдумывать увиденное. Очень странное, незнакомое ощущение охватывало меня, когда люди отдавали англичанам предпочтение, выделяя их среди других людей, причем происходило это не в порядке исключения, а, наоборот, как правило, особенно среди моряков. Мне такая позиция была непонятна. Сам я никогда не сталкивался с народом более неучтивым, нежели англичане, самодовольные, спесивые, заносчивые.

Позднее — уже взрослым, по возвращении на родину — я узнал, что большинство наших соотечественников симпатизируют англичанам как никакому другому народу в Европе. И ныне эти симпатии ничуть не уменьшились.

Неужели мои дорогие соотечественники вовсе не умеют ни читать, ни думать? Конечно, все мы учились в школе, читали книги и имели возможность непосредственно познакомиться с англичанами, с их историей и кровавым их шествием по всему земному шару — но тем не менее упорно лелеяли англичан в своих сердцах!

Можно это объяснить? Можно понять?

И мы не одиноки. Франция и многие другие страны страдают тем же психозом, это прямо-таки повальная болезнь. И я совершенно уверен, ничуть не удивительно, ничуть не загадочно, что народы привыкли видеть в Англии опору, — таков результат английской политики и английских вторжений. Англия ретушировала и фальсифицировала духовность наций, оглупляла людей, делала их слепыми. За долгие века она мало-помалу умудрилась обманом втереться к людям в доверие — вопреки их собственному опыту, вопреки всему, что они видели собственными глазами. Вот в чем жуткий секрет политики Альбиона — в предательской смеси пышных обещаний и мер принуждения, лицемерной богобоязненности и порабощения, Secret Service[1], террора и убийства. Кто мог устоять против такой мощи? Никто. Ни моя бедная страна, ни другие... Посмотрите на Францию. В ходе веков ни одна страна не имела бóльших оснований

1. Секретная служба (*англ.*).

освободиться от английского сотрудничества и английской "дружбы". Наполеон это видел, да-да, видел, но посмотрел бы он на свою страну сейчас, когда над нею поработала английская политика: страна мертва, политически бездыханна, более того, глубочайшим образом бездыханна национально, меж тем как генералы и войска служат англичанам. Каков будет конец? Мы не знаем. Однако французы ныне, похоже, утратили жизнеспособность. Они даже пальцем шевельнуть не в силах.

Только одна страна противостояла отраве английской политики. Великая и могучая страна. Германия. Но как раз потому, что Германия велика и могуча, она всегда вызывала у Альбиона яростное раздражение. Однажды у Бисмарка спросили: "Что вы будете делать, если Англия высадит на территории Германии несколько дивизий?" Бисмарк ответил: "Я их арестую!"

Но время шло. В начале нового века внезапно прогремел выстрел — один-единственный выстрел, эхом прокатившийся по всему миру и быстро, очень быстро ввергший множество стран в бурю войны. Пришлось и Германии вступить в войну, хотя она этого не желала; немцы, как всегда, сражались храбро, но не выстояли против четырех частей света и потерпели поражение. Англия поражения не потерпела. Она всегда извлекает выгоду из чужих поражений. В немецкое население с годами мало-помалу просочились чуждые элементы, которые инфицировали и ослабляли в народе германский дух — а ослабление Германии было Англии весьма на руку. Страну заполонили негерманские народности и расы, подменив собою измученное войной исконное население. Мрачные это были годы для Германии, обложенной немыслимым бременем миллиардных репараций, лишившейся флота, потерявшей колонии, терзаемой безработицей и нищетой.

Что же, тогда ставка на то, что Германия погибнет? Конечно нет... Германия — всем соседка, Германия — срединная держава! И происходившее тогда говорило о чем угодно, только не о гибели. Потому что в Германии началась эпоха национал-социализма, в страну пришла жизнь, деятельность, повсеместный подъем. Случилось откровение, чудо воли и германской мощи. Под водительством фюрера — Адольфа Гитлера.

Но вернемся к нити наших рассуждений: Англия не могла допустить такого подъема Германии, и потому понадобилась новая война. Гитлер долго уступал, просил хоть немного пойти ему навстречу, просил только щелочку, коридор к отдаленной части немецкой земли. Но Англия не желала пойти навстречу, Англия хотела войны.

И мы снова видим ту же многовековую игру британской политики: Англия не хочет воевать сама, нет-нет, она, как водится, предпочитает, чтобы за нее воевали другие. Она давала обещания и "гарантии" одной европейской стране за другой, чтобы они противодействовали устремлениям Германии, и одна страна за другой бились до последнего на службе Англии! И здесь мы опять-таки видим, чего стоят английские обещания и гарантии, но еще отчетливее видим, что народы поддаются своему застарелому проанглийскому психозу и отказываются верить собственным глазам. Английская политика в конечном счете сумела до основания разрушить у этих народов здравую способность суждения.

Итак, Англия хотела войны, и Гитлер обнажил меч. Он, крестоносец и реформатор, желал создать новую эпоху и новую жизнь для всех стран, прочное международное единство на благо каждой страны. Вот чего он хотел. И труды его не пропали даром, народы и нации поддер-

жали его, стали с ним плечом к плечу, народы и нации решили бороться вместе с ним и победить. Мы были тому свидетелями.

Он держится, Адольф Гитлер, этот выдающийся человек, который потихоньку-полегоньку поставил весь мир на ребро и теперь переворачивает его на другой бок! Он справится! С ним рядом его великий итальянский соратник, с ним главные континентальные державы Европы. Сообща они справятся — и войне придет конец!

Но я совершенно убежден: Англию надо поставить на колени. Недостаточно победить большевиков и янки, необходимо одолеть Англию, иначе миру на земле не бывать. Я не гадал по звездам, мои выводы основаны на виденных мною действиях Англии — по всей земле. Моя родная забытая Богом страна тоже из поколения в поколение ощущала на себе силу Англии и злоупотребления этой силой: британцы держали в тисках нашу торговлю, грозили нашему морскому судоходству, их Secret Service словно бы караулила у наших дверей. Нам ли не знать!

Нет, я не гадал по звездам, но за мою долгую жизнь я, думается, сумел разглядеть, что именно Англия есть источник большей части всех тревог, всех бедствий, гнета, нарушенных обещаний, насилия и международных конфликтов. Даже всемирным бедствием теперешней войны мы обязаны Англии, Англия — ее исходная точка.

Англию на колени!

Приветственная телеграмма по случаю финляндского вечера в пресс-клубе

"Афтенпостен", 23.02.1944

В 1939 году Советский Союз напал на Финляндию, начав тем самым так называемую "зимнюю войну". Невзирая на ожесточенное сопротивление, превосходство русских оказалось слишком велико, и в марте 1940 года правительство Финляндии было вынуждено просить перемирия. Финнам пришлось уступить СССР значительные территории. Когда в 1941 году Гитлер вторгся в Советский Союз, финны сочли, что у них появилась возможность вернуть себе утраченные земли, вступили в союз с Германией и продолжили свою войну. Финские и германские войска долго вели успешные операции, перешли старую границу и оккупировали новые территории Восточной Карелии. В феврале 1944 года там шли ожесточенные бои. Гамсун хотел выразить поддержку народу Финляндии.

Мне довелось побывать в Финляндии и прожить там целый год. Было это во времена Бобрикова, в те годы, когда финны явили миру великий пример патриотизма.

С тех пор я всем сердцем с этим народом. Много лет я следил за его переменчивой судьбой и видел, что Финляндия неизменно выдерживает все испытания.

Финские редакторы постоянно шлют мне свои газеты, обеспечивают информацией. Я читаю их фронтовые сводки. И на стене у меня висит карта Финляндии.

Ничего нового не случится — *Финляндия, как и прежде, выстоит.*

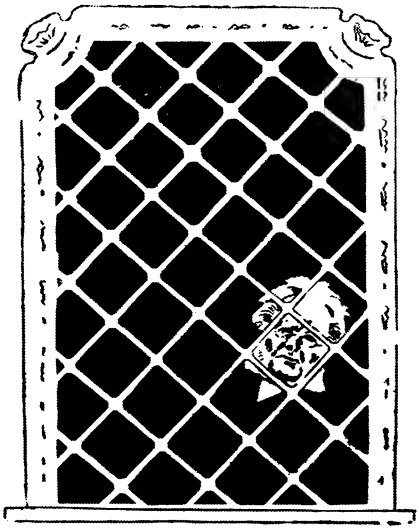
Гейр Поллен

Несколько слов о норвежской литературе

Перевод Елены Рачинской

I

Писатель всегда таков, каким его хочет видеть нация. В Норвегии, которая до сих пор выглядит застенчивым прыщеватым подростком на фоне большинства других наций, понятие "писатель" неразрывно связано с великими национальными задачами, или, вернее сказать, ПРОЕКТОМ, поскольку речь идет о проекте, продолжающемся уже сто пятьдесят лет, и о том, как понятие "Норвегия" обрело свое национальное содержание, то есть как Норвегия стала норвежской. Так уж сложилось, что Норвегия – одно из самых молодых независимых государств в Европе. Моложе ее только те страны, что появились на карте после падения "железного занавеса". Более четырех столетий – то был период нашей истории, который Ибсен, оскорбленный в своих национальных чувствах, назвал четырехсотлетней ночью, – Норвегия была вынуждена мириться с ролью бесправной падчерицы в семье Скандинавских государств, где тон задавала Дания[1]. Неудивительно, что государственным языком Норвегии был... датский. Правда, в 1814 году, в результате наполеоновских войн, в которых Дания выступила на стороне Наполеона – и оказалась в числе проигравших, – Норвегия обрела недолгую



Ибсен. Прижизненный шарж

независимость и собственную Конституцию... но тут же была вынуждена вступить в унию со Швецией[1], и союз этот продолжался около ста лет. В 1884 году в Норвегии было введено парламентское правление, однако уния просуществовала до 1905 года. Тем самым Норвегии как национальному государству с собственным государственным языком всего сто лет, а это немного. В период разрыва унии с Данией и принятия новой конституции в стране зарождается национальное движение, и писатели

© Geir Pollen, 2005
© Елена Рачинская. Перевод, 2005

1. С 1397 г. Норвегия входила в Кальмарскую унию, объединявшую три Скандинавских государства, а с 1537 г. была датской провинцией. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

1. По Кильскому мирному договору 1814 г. Дания передала Норвегию Швеции. Однако в мае 1814 г. состоялось Эйдсволльское учредительное собрание, провозгласившее независимость Норвегии и принявшее норвежскую конституцию. Но после этого Швеции удалось навязать Норвегии унию.

играют в нем немаловажную роль не только как просветители народа и агитаторы, но и как фигуры символические — пример для нации, возрождающейся из пепла унии. Понятия "писатель" и "нация" для норвежцев тесно связаны, и это накладывает особый отпечаток на самосознание норвежских писателей, во многом определяя их творчество.

Добавим к упомянутым выше историческим событиям еще два — освобождение Норвегии от немецкой оккупации в 1945 году и референдум о вступлении страны в Евросоюз 25 сентября 1972 года — и мы увидим характерную закономерность: эти исторические вехи подобны этапам эстафеты. Первым стартует Хенрик Вергеланн[1], один из величайших романтиков во всей истории литературы. Он бежит, прижав к груди конституцию, свидетельство о рождении нации. Затем эстафетная палочка переходит к Бьёрнстьерне Бьёрнсону[2], защитнику идей парламентаризма, ведь парламент — это свидетельство о рождении современного общества и современного читателя. На бегу Бьёрнсон окидывает строгим взглядом зрителей, стоящих по обе стороны крутой трассы, которая ведет к вершинам власти и богатства. Его сменяет — пора уступить очередь дамам — автор романа "Кристин, дочь Лавранса" Сигрид Унсет[3], с пергаментным свитком под мышкой. В романе этом средневековый антураж, но идеи самые что ни на есть современные — вечная борьба между личностью и коллективом, между "я" и "мы", желанием и долгом, свободой и ответственностью, ведь Сигрид не раз говорила: человеческое сердце, увы, неизменно. "Кто вам сказал, что я гонюсь за счастьем?" — пыхтит она в ответ на вопрос одного из зрителей, не устала ли она, не тяжко ли ей бежать с такой непрактичной ношей... Но тут эстафету подхватывает... да кто ж еще, как не Арнульф Эверланн[1]. Сухонький, маленький, усы возмущенно топорщатся, он врывается в послевоенную Норвегию, ставшую государством всеобщего благосостояния, сжимая в исхудавшей руке "Мы все преодолеем", и тут на "Площади Двадцать пятого сентября" его сменяет Даг Сульстад[2]. Он давно уже потерял направление, но со свойственной ему иронией утверждает, что бежит куда надо, хотя на самом деле бежит вовсе не туда, теряет эстафетную палочку и сходит с дистанции, не пробежав и половины. Тут мы и находим сегодня "норвежского писателя" и, тоскливо оглядываясь назад, можем лишь вспоминать о временах, когда между обществом и писателем существовало полное согласие и в глазах этого общества писатели были звездами не последней величины.

Сия краткая история объясняет и то, почему нацистские симпатии Гамсуна до сих пор являются для норвежцев больной темой. Нацист Гам-

1. Хенрик Вергеланн (1808–1845) — норвежский поэт, журналист и общественный деятель, страстный защитник конституции 1814 г. Поэма Вергеланна "Творение, человек и мессия" (1830) отразила мечты о демократической республике.
2. Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1832–1910) — норвежский поэт, драматург, прозаик и журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1903). Бьёрнсон был первым норвежским писателем, начавшим писать пьесы с серьезной социальной проблематикой. Его творчество пронизано патриотизмом, идеями национального величия Норвегии. Автор текста норвежского гимна: "Да, мы любим эту землю..."
3. Сигрид Унсет (1882–1949) — норвежская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1928). Прославилась прежде всего своими романами из жизни средневековой Норвегии "Кристин, дочь Лавранса" (1920–1922) и "Улав, сын Аудуна из Хествикена" (1925–1927).

1. Арнульф Эверланн (1889–1968) — норвежский поэт. Участвовал в социалистическом движении. В 1941–1945 гг. был в концлагерях Грини и Заксенхаузен. "Мы все преодолеем" — название сборника его военных стихов, изданного в 1945 г.
2. Даг Сульстад (р. 1941) — норвежский писатель, лауреат многих литературных премий. Известен своими левыми взглядами. Роман "Площадь Двадцать пятого сентября" (1974) вызвал одну из самых бурных общественных полемик в Скандинавии 70-х гг. В романе прослеживается история одной норвежской семьи со Второй мировой войны до референдума 25 сентября 1972 г. о вхождении Норвегии в ЕЭС. На русском языке вышли его романы "Попытка разобраться в непостижимом" (1984/1989) и "Т. Сингер" (1999/2004).

Даг Сульстад. Коллаж из журнала "Виндует"

сун (самый известный и ценимый в России норвежский писатель, наряду с Ибсеном) — отнюдь не певец любви и природы, предавший своего верного читателя, нет. Он предал и, что еще хуже, осквернил само понятие "норвежский писатель", к которому общество и история, казалось, намертво его приковали.

Как мне кажется, именно надругательство над "норвежским писателем" вызвало такую бурную реакцию на прогитлеровские симпатии Гамсуна. Если расправа Гамсуна над "четверкой великих"[1] писателей в лекциях, прочитанных во время его поездки по стране в 1891 году, еще может восприниматься как нагловатый юношеский эпатаж[2], то выступление восьмидесятилетнего писателя по радио 1 января 1941 года, в котором он звучным, но уже старчески дрожащим голосом убеждает норвежский народ воспринимать как должное и норвежскую нацистскую партию, и Квислинга[1], и немецкую оккупацию, производит гнетущее впечатление. Тут я и вспоминаю слова странника Кнута Педерсена из романа "Под осенней звездой", перечитанного мною на Рождество не знаю уж в который раз: "Да, нелегко переступить порог старости красиво и с достоинством"[2]. И я понимаю, что все сказанное Гамсуном во время оккупации, по сути, есть не что иное, как судорожное кривляние и гримасы старого упрямца в его последний час.

На ум приходят слова Юхана Боргена, сохранившего должное уважение к мудрости творений писателя и простившего Гамсуну его человеческую глупость, — слова, произнесенные Боргеном более двадцати лет назад, незадолго до смерти, в интервью газете "Дагбладет". Его спросили, не страшится ли он смерти. "Нет, — отвечал Борген, сам бывший узником лагеря Грини во время войны, — не страшусь. Но мне жаль, что я больше не смогу каждый год перечитывать 'Под осенней звездой'".

После гамсуновского восхваления Гитлера как "провозвестника евангелия справедливости для всех наций", понятие "норвежский писатель" потеряло свой былой авторитет в глазах народа. А жаль... Кто, как не Гамсун, мог бы принять эстафетную палочку и организовать новый забег, если мы вновь обратимся к нашей спортивной метафоре. Увы...

Но все это — дела минувших дней. Норвежское общество в 2005 году более не походит на народное собрание, где сначала тебя представят председателю, а потом ознакомят с повесткой дня, заранее утвержденной тем или иным центральным комитетом. Оно скорее напоминает многолюдное

1. Писателей Хенрика Ибсена (1828–1906), Бьёрнстьерне Бьёрнсона (1832–1910), Александера Хьелланна (1849–1906) и Юнаса Ли (1833–1908) часто называли "Великой четверкой" золотого века норвежской литературы.
2. При том, что в 1891 г. Гамсуну было 32 года, он чувствовал себя начинающим писателем, за спиной которого всего лишь один, хотя и крайне успешный, роман — "Голод" (1890).

1. Видкун Квислинг (1887–1945) — организатор (1933) и лидер профашистской партии в Норвегии. В 1942–1945 гг. премьер-министр правительства, сотрудничавшего с оккупантами. Казнен в 1945 г. как военный преступник.
2. Перевод В. Хинкиса.

кафе. Нет той "великой дискуссии", когда любой волен взять слово или послушать других, а писатель, если пожелает, волен наслаждаться ролью главного оратора. Теперь все сказанное тонет в гуле голосов: люди за столиками говорят, перебивая друг друга , и их разговоры лишь случайно и ненадолго сливаются в общей беседе, а ты в состоянии ухватить лишь обрывки фраз. Если взглянуть на дело с оптимизмом, то можно смело утверждать: это дает писателю ощущение свободы и небывалый простор для творчества. Писатель переходит от столика к столику, вставляет слово то здесь, то там, играя роль национального символа, мудреца и политика.

Сегодня все понимают: для истории не имеет ровно никакого значения, *что*, собственно, думает кучка писателей по поводу, например, американской авантюры в Ираке, но то, что они высказывают свое мнение, и при этом публично, важно. И хотя Норвегия напоминает кафе, где главное — отключиться и забыть об огромном, полном проблем окружающем мире, поболтать и насладиться обществом друг друга, хотя герои дня теперь отнюдь не писатели, а звезды поп-музыки и спорта, в Норвегии, лоснящейся от легких нефтяных денег, писатель все еще сохраняет некий сенсационный статус. Еще Гамсун недолюбливал Фритьофа Нансена и ворчал, что трудновато бороться за внимание публики с человеком, пересекшим полярные льды на лыжах. Так и в наши дни писатель может только посетовать, что ему трудно конкурировать с человеком, играющим в

Тур Оге Брингсвярд. Коллаж из журнала "Виндует"

Хьяртан Флёгстад. Коллаж из журнала "Виндует"

футбол или бренчащим на гитаре. Но как верно то, что игрок "Манчестер юнайтед" Сульшер является героем нашего времени, поскольку широкие массы считают, будто он занимается делом весьма важным, верно и то, что писатели в полной мере сохранили свой изначальный авторитет, поскольку и они занимаются важным делом. Писатели создают тексты, которые, несмотря ни на что, говорят нам о чем-то серьезном — не в последнюю очередь о том, что значит быть "норвежцем" в мире, где даже до нас, живущих на краю света, мало-помалу доходит: большинство людей в этом мире говорит отнюдь не на норвежском, а, например, на китайском.

II

Когда начинается современная литература? Ответ на этот вопрос зависит от выбранной перспективы и литературных пристрастий. Для меня, писателя средних лет, современная литература начинается в 1965 году. Вторая половина 60-х — время дебюта многих выдающихся норвежских писателей, наследником или оппонентом которых я себя считаю. Тогда же вступает в действие и "Порядок закупки новой норвежской литературы" — важнейшая государственная программа, призванная бороться с англо-американским культурным влиянием, чрезвычайно ощутимым в первые десятилетия после войны. С тех самых пор Норвежский совет по культуре закупает 1000 экземпляров

каждой изданной норвежской книги и распределяет их по публичным библиотекам. Таким образом в библиотеки всей страны поступает широкий ассортимент современной норвежской литературы и писатель находит своего читателя. Литература жива не одним талантом, должны существовать механизмы, которые могут привлечь к таланту внимание публики и заставить ее потратить время и деньги на книги.

Модернизм приходит в Скандинавские страны сравнительно поздно: в Финляндию — в 20-е годы, в Швецию — в 30-е, в Данию — в 40-е, в Норвегию — в 50-е. Тем самым зрелый модернизм — я имею в виду оформившееся течение в искусстве, а не отдельные всплески — явление в Норвегии 1965-го довольно молодое, и опирается он прежде всего на шведскую и англо-американскую традицию: шведский фюртиотализм[1] и творчество Т. С. Элиота.

Около 1965 года под эгидой журнала "Профиль", издаваемого Университетом Осло, формируется новое поколение писателей, выступающее против элитарного, индивидуалистического и пессимистического модернизма. Для норвежской литературы движение "Профиль" — целая эпоха. Писатели культивируют разговорную речь, реальность конкретных вещей, опыт простого человека. За этим направлением закрепляется название неоконкретивизм, а девизом становятся слова кумира нового поколения, врача и поэта Уильяма Карлоса Уильямса[2] "No ideas but in things" — идеи существуют в конкретных вещах, а не в абстрактном, умозрительном мире. Самый способный норвежский ученик Уильямса, Ян Эрик Волл, выражает эту же мысль в одном из стихотворений сборника с характерным названием "Кукареканье" (Kykelipi, 1969) следующим образом: "Говоря 'а', говори 'а'". Вещь есть вещь, язык есть язык. Точка.

Самым значимым представителем движения "Профиль" становится прозаик Даг Сульстад. Его вторая книга, вышедшая в 1967 году, носит довольно симптоматичное название "Вращающийся стул": мир таков, каким ты его видишь, крутясь на вращающемся стуле, — отношение к действительности, сходное с тем, что двадцать лет спустя получило название *постмодернизм*. Сборник "Вращающийся стул" состоит из коротких текстов, и в первом же из них содержится программное заявление: "Зачем кофейнику крылья?" Вещи ценны сами по себе, им не нужно никакого метафизического обоснования или метафорического описания.

Первый этап движения "Профиль", его "литературная фаза", продолжается до 1970 года. Это период многочисленных экспериментов, но, строго говоря, зрелых произведений в это время создано не так уж и много. После 1970 года характер литературы меняется. Под влиянием войны во Вьетнаме, политики американского империализма в целом, студенческих волнений 1968-го, китайской культурной революции, норвежского движения против членства в ЕЭС у представителей движения "Профиль" возникает ощущение, что современное искусство годится разве что для украшения каминной полки буржуа. Они вступают в сталинистскую рабочую коммунистическую партию и выбирают новый лозунг — "Искусство должно служить народу". Как могло случиться, что писатели, воспевавшие эксперимент и свободу творчества, становятся ярыми сторонниками соцреализма, именуя его высшим достижением современного

1. Фюртиотализм — течение в шведской литературе 1930–1940 гг., ориентированное на особую эмоциональность текста. Ассоциируется с поэтами Гуннаром Экелёфом (сборник "Поздно на земле", 1932) и Эриком Линдегреном (сборник "Ариозо", 1947), прозаиком Стигом Дагерманом (1923–1954; сборник рассказов "Ночные игры", 1947). С эстетикой фюртиотализма связывают ранние фильмы И. Бергмана, в частности "Дождь над нашей любовью" (1946).

2. Уильям Карлос Уильямс (1883–1963) — американский поэт, лауреат Первой национальной книжной премии по поэзии (1950), Болингеновской (1953) и Пулицеровской (посмертно) премий.

Хербьёрг Вассму. Коллаж из журнала "Виндует"

искусства? Очевидно, знакомство с тоталитарными режимами ограничивалось лишь теорией или краткосрочными турпоездками в коммунистические страны. Хотя, правды ради, стоит заметить, что некоторые активные участники движения впоследствии попытались с известной долей самокритики и раскаяния объяснить свой отказ от демократических ценностей в шальные 70-е. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Поколение писателей, пришедшее в литературу в начале 80-х, сформировалось во времена, когда к искусству предъявлялись весьма строгие требования: его цель – служить народу, стать орудием в борьбе против власть имущих. Увлекшись революционными идеями, писатели движения "Профиль" позабыли о своих первоначальных замыслах, и новое поколение берется восстановить права личности. Вместе с тем поколение 80-х достаточно непредвзято относится и к модернизму, ценя в нем прежде всего безграничную свободу. Пьянящее ощущение свободы после десятилетия строгой литературной муштры делает писателей восприимчивыми к постепенно формирующимся постмодернистским тенденциям: бытие лишь видимость, маска, игра. Результат – странная смесь низкого и высокого, китча и искусства, стилизации и индивидуального стиля, иронии и наивности. Все это мы уже встречали у писателей 60-х, например у Дага Сульстада. В одном из своих лучших эссе "О необходимости неаутентичного существования" (1968) он представляет читателю своего кумира Витольда Гомбровича[1] и его теорию. Двадцать лет спустя, в 80-х, оставалось добавить: "Если необходимо вести неаутентичное существование, то и творчеству быть таковым".

Попытки традиционного "большого романа" воссоздать человеческое бытие во всей его целостности постмодернисты объявляют мертворожденными и бесполезными. На смену эпическому роману приходит роман энциклопедический – смесь вымысла фактов и литературных аллюзий. Среди пяти норвежцев[2], получавших за последние тридцать лет литературную премию Северного совета, двое писателей, Хьяртан Флёгстад[3] и Ян Хьярстад[4], экспериментировали именно с этой разновидностью романа. Отныне литература – металитература, текст – особый универсум, и для феноменов внешнего мира доступ в него возможен лишь в виде знака, конструкции, игры. Способность искусства отображать мир ставится под сомнение, и все это, само собой разумеется, становится темой новой литературы. Язык подобен зеркалу, и вот одно отражение накладывается на другое, и эти серии отражений множатся и множатся. Более не существует какой-то одной, главной тенденции, кроме разве что отказа от коллек-

1. Витольд Гомбрович (1904–1969) – польский прозаик, драматург, эссеист. Автор гротескно-пародийного романа "Транс-Атлантик" (1953; рус. перев. 1994), пьес "Венчание" (1953), "Оперетка" (1966), многотомного "Дневника" (1957, 1962, 1966), фрагменты которого публиковались в "ИЛ" (№ 12, 2004).
2. Хьяртан Флёгстад (1978), Хербьёрг Вассму (1987), Даг Сульстад (1989), Ойстен Лённ (1996) и Ян Хьярстад (2001).
3. Хьяртан Флёгстад (р.1944) премии Северного совета удостоен за роман "Долина Портленд" (1978). Одна из самых сложных его вещей – роман-эссе "Седьмой климат: Салим Мухаммед в стране Медиа-Туле" (1986).
4. Ян Хьярстад (р. 1953) – писатель, во второй половине 80-х главный редактор влиятельнейшего литературного журнала "Виндует"; премии Северного совета удостоен за роман "Первооткрыватель" (1999), заключительную часть трилогии, куда входят также романы "Обольститель" (1993) и "Завоеватель" (1996).

тивного в пользу индивидуального, от злобы дня в пользу вечности, от политики в пользу поэтики, от содержания в пользу формы. Время программных заявлений осталось в прошлом. Литература напоминает шведский стол, где каждый выбирает еду по своему вкусу и накладывает, сколько душе угодно. При этом вполне допустимо, если селедка и торт окажутся на одной тарелке.

Когда начинаешь рассуждать о современной литературе, прежде всего хочется рассказать о новаторах, о новых тенденциях, но на самом деле большинство читателей, как и большинство журналистов, пишущих о культуре, интересует отнюдь не новаторство, а произведения, создающиеся в русле традиции, ведь во все времена существовало общепринятое мнение о том, что́ есть "хорошая литература". Еще Гамсун говорил об этой разновидности литературы, называя ее "модной": "Модная литература, уважаемые господа и дамы, чужда моей душе и моему уму. <...> Но даже если б в моей власти было изгнать ее из культурного обихода, я все равно не сделал бы этого за ту, пусть малую, пользу, которую она тоже приносит. <...> Модная литература находится на службе у злобы дня и, подобно половому в увеселительном заведении, разносящему дешевое вино на жестяном подносе, необходима до той поры, пока имеется публика, взыскующая такого рода развлечений и нуждающаяся в них"[1]. Бестселлеры, как правило, следуют по накатанному пути, оттого они и становятся бестселлерами.

За последние двадцать лет небывалый расцвет пережил детектив, в особенности детектив женский. Успехом пользуются и романы, написанные в традиции психологического реализма, рассказывающие о детстве, взрослении, становлении личности. Они помогают человеку осознать прошлое, важность извечных ценностей, найти точку опоры в нашем быстро меняющемся мире. Примером подобного жанра может служить объемная семейная хроника Ларса Соби Кристенсена[1] "Полубрат", за которую автор в 2002 году получил литературную премию Северного совета. Книга разошлась огромными, по норвежским меркам, тиражами. Можно привести и другие примеры. Международное признание получили роман Эрика Фоснеса Хансена[2] "Псалом в конце пути" (1990) — о гибели "Титаника", всегда служившей символом трагического высокомерия современного Запада, и "Мир Софии" (1991) Юстейна Гордера[3] — на долю последнего выпал самый большой коммерческий успех за всю историю норвежского книгоиздания. "Мир Софии" был задуман как роман для юношества. История начинается с того, что девочка София находит в почтовом ящике два письма, со следующими вопросами "Кто ты?" и "Каково происхождение мира?" Вопросы чрезвычайно важные и уместные. Собственно говоря, их можно поставить эпиграфом ко всем упомянутым выше книгам, а самое главное, они отвечают потребности человека в конце тысячелетия: оглянуться назад и осознать свое прошлое. Вечные вопросы.

1. К. Гамсун. Модная литература / Перев. А. Чеканского // Кнут Гамсун. В сказочном царстве. Путевые заметки, статьи, письма. — М., 1993. С. 363–364.

1. Ларс Соби Кристенсен (р. 1953) — один из ведущих современных норвежских писателей, поэт и драматург, удостоен множества премий. Его романы переведены во всех европейских странах, в США, Канаде, Пакистане. Роман "Полубрат" вышел в 2005 году в издательстве "Махаон".
2. Эрик Фоснес Хансен (р. 1965) — норвежский писатель. Его произведения переведены более чем на 20 языков. Роман "Псалом в конце пути" опубликован в "ИЛ" (1998, № 7–8).
3. Юстейн Гордер (р. 1952) — норвежский писатель и философ. Его историко-философский роман "Мир Софии" (1991) (опубликован по-русски в 1997 г.) получил ряд престижных литературных премий и послужил основой для самого дорогого фильма в истории норвежского кинематографа. На русский язык переведены романы "Vita brevis" (2000), "Апельсиновая девушка" (2004), "Диагноз" (2005), детские книги.

Таким образом, мы пересекли границу 90-х и перешагнули 2000-й. Законный вопрос: что нового появилось в литературе по сравнению с 80-ми? Ответ: практически ничего. Отсутствие четких тенденций попрежнему остается главным признаком современной литературы. Правда, в последнее время активно обсуждается так называемая "автобиографическая тенденция", когда писатель вводит в роман собственную биографию, а в некоторых случаях действует под собственным именем или помещает в книге свои фотографии, демонстрируя явное пренебрежение к святому принципу разделения ролей "писателя" и "рассказчика". В норвежской, да и в европейской, критике в целом вот уже более пятидесяти лет доминирует отношение к тексту как к особому универсуму. Такой подход отличал и новую критику, и структурализм, и деконструктивизм. Вмешательство писателя в фиктивную реальность почиталось чуть ли не смертным грехом. Анализу подлежал сам объект, и все делали вид, будто субъекта не существует. Наряду с этим *ирония* считалась высшим достижением европейской литературной традиции, а *искренние чувства* рассматривались как нечто устаревшее и подозрительное. Теперь эта догма ставится под сомнение. Так, последний роман Дага Сульстада называется "16.07.41". Если вы сразу догадались, что это не что иное, как дата рождения писателя, то вы абсолютно правы.

Внимание критики привлекает и другой феномен, так называемый "dirty realism"[1]. Многие молодые писатели отдали дань этому виду прозы, сквозь зубы поведав нам о жалких и опустившихся обитателях норвежской деревни: безработных, пьющих, одиноких, косноязычных, исполненных предрассудков и недоверия к чужакам. Нашлись и серьезные противники такой литературы. Одна из самых ярких представительниц женской литературы, Ханна Эрставик[1], критикует "dirty realism" за то, что он создает заведомо ложное представление о действительности. Она убеждена, что настоящая литература должна быть искренней и правдивой. Но поскольку "искренность" и "правдивость" – понятия в мире искусства весьма спорные, можно предположить, что выдвигать подобные требования, от которых веет авторитарностью и догматизмом, – значит загонять себя в ловушку, особенно учитывая опыт 70-х. Кто же сможет определить наверняка, что "искренне" и "правдиво", а что нет? Как бы то ни было, похоже, что содержательная сторона произведения вновь занимает писателей больше, нежели формальная. Поговаривают даже о наступлении новой эпохи общественно значимой литературы. Различные стратегии отчуждения, столь популярные в течение последних десяти лет, будь то постмодернистская стилизация, ирония или жесткий минимализм, породили стремление к подлинности, "новой искренности", открытому проявлению чувств. Об этом свидетельствует и возрождение религиозно-мистической поэзии, и новые формы слияния политики и поэтики, особенно после событий 11 сентября. Ничто не ново под луной. Все новое только кажется таковым, когда акценты в литературе меняются.

1. "Грязный реализм" (*англ.*).

1. Ханна Эрставик (р. 1969) – норвежская писательница, лауреат многочисленных премий, в 2004 г. издательством "Текст" был выпущен ее роман "Любовь" (1997).

Даг Сульстад

Рассказ учителя гимназии Педерсена о великом политическом пробуждении, которого сподобилась наша страна

Фрагмент романа

Перевод Елены Рачинской

Для начала мне хотелось бы сказать несколько слов о моей стране и ее в высшей степени необычайной истории. Норвегия — одна из богатейших стран мира, хотя ее географическое положение никак нельзя назвать удачным, да и суровая северная природа никогда не отличалась особой щедростью, скорей наоборот. Всего каких-то два столетия назад Норвегия была Богом забытой колонией ничем не примечательного Датского королевства, и оттуда ею управляли не шибко светлые умы, получившие не бог весть какое образование в третьесортном Копенгагенском университете. Народ же, которым управляли эти не шибко светлые умы, без преувеличения можно назвать темным, одержимым предрассудками, в конец спившимся и забитым — и все это при полном отсутствии элементарных представлений о гигиене, что даже по тогдашним, довольно либеральным, меркам казалось неслыханным. Для истории любой другой страны две сотни лет не срок, а с норвежцами за два столетия, с конца XVIII века, произошли такие колоссальные перемены, кои вряд ли довелось испытать любому другому народу. Двести лет назад мы были неотесанными дикарями, у нас был самый низкий в Европе уровень образования, а сегодня мы — процветающая страна, высокоразвитое общество, рядовые члены которого столь хорошо образованны, что в состоянии совладать даже с самыми хитроумными технологическими новинками без привлечения заморских экспертов. К сожалению, у нас нет возможности углубляться в причины произошедших перемен, хотя я и горю желанием сделать это, но некоторые моменты все же нельзя обойти вниманием, поскольку без них события, о которых я хочу поведать читателю в своей книге, будут казаться просто невероятными.

В первую очередь необходимо отметить, что Норвежское Чудо не возникло само по себе. Оно стало непредвиденным следствием событий, произошедших отнюдь не в нашей стране, а далеко за ее пределами. То, что Норвегия расположена на севере, а не на юге, например где-нибудь в районе Малаккского пролива, более существенно, нежели то, что ее населяют норвежцы. Если бы наш народ испокон веков жил на побережье Малаккского пролива, то его судьба, скорее всего, была бы схожа с судьбой коренного населения тех краев. Да, вне всякого сомнения, многие из нас находились бы сейчас в пределах страны, именуемой Норвегией, но в качестве иностранной рабочей силы, и сей факт довольно важно подчерк-

© Forlaget Oktober, 1982
© Елена Рачинская. Перевод, 2005

нуть, хотя может показаться, что упомянут он не к месту и значение его преувеличено. Нравится нам это или нет, но мы вынуждены признать: развитие капитализма, а впоследствии и империализма пошло нашей стране только на пользу. Нам просто крайне повезло. Да-да, я полагаю, есть все основания утверждать, что именно необычайно счастливое стечение обстоятельств — главная причина тому, что история Норвегии столь непохожа на историю всех прочих стран. Тут даже параллели-то не подыщешь. Это невероятное везение, которое я не без оснований называю Норвежским Чудом, становится еще более очевидным и делает норвежскую историю еще более необыкновенной, почти удивительной, можно даже сказать экзотической, если учесть, что все разительные перемены произошли в стране, расположенной на обочине мировой истории. Наша страна имела весьма отдаленное отношение к событиям, сотрясавшим мир в последние два столетия. Более того, чтобы найти след этих событий в нашей истории, нужно, с вашего позволения, обладать недюжинным воображением и весьма развитыми умственными способностями.

Не секрет, что произошедшие в мире за последние сто пятьдесят лет изменения, следствие которых мы и наблюдаем в Норвегии, нередко свершались при помощи проверенного политического средства, имя которому Война. Наш мир стал таким, каков он есть, в результате войн: войн между народами, восстаний, революций и контрреволюций в отдельных странах — и продолжает меняться под воздействием роковой логики войны; это аксиома для всех, кто интересуется судьбой человечества и историей, однако мою страну все это едва ли затронуло. Правильнее будет сказать, что во всех мировых событиях мы участвовали лишь постольку-поскольку. Они отозвались в нашей стране подобно эху, не более того. Безусловно, я отдаю себе отчет в том, что и Норвегия приняла участие в мировой войне, к которой привела экспансионистская политика немецкого фашизма и японского милитаризма в конце 30 — середине 40-х годов XX века. Но именно роль Норвегии во Второй мировой блестяще иллюстрирует уникальность нашей истории. Первое, что бросается в глаза при сравнении войны в Норвегии с той же самой войной в любой другой стране, так это ее совершенно иной, точнее сказать мирный характер.

Итак, хотя Норвегия и участвовала во Второй мировой войне и даже была одной из союзных держав, тот факт, что она и на сей раз оказалась на периферии событий, имевших решающее значение для существования ее как страны, вызывает неизменное удивление. История моего народа поразительно мирная, даже в военные времена. За семьсот с лишним лет население Норвегии ни разу не подвергалось угрозе истребления. Массовые убийства — кошмар, пережитый практически каждым поколением европейцев, оккупация, кровавая резня — от всего этого мой народ был избавлен со времен гражданской войны в XIII веке. Какая еще страна может похвастать столь мирным развитием?

В Норвегии противоречия никогда не выливались в открытый вооруженный конфликт. Хотя эхо русской революции отозвалось у меня на родине довольно отчетливо, ни один норвежский рабочий в XX столетии не был убит из-за участия в демонстрациях или забастовках. За весь прошедший век солдаты всего три раза выступили против рабочих, причем один раз это были немецкие солдаты в 1941 году. Бесспорно, властям зачастую приходилось применять силу против возмущенных трудящихся, но правды ради следует заметить, что речь всегда шла о невооруженной полиции, ведь, принимая во внимание международный исторический опыт, нельзя не признать: дубинок и кованых сапог недостаточно для того, чтобы назвать полицию вооруженной.

Так же дело обстоит и с политзаключенными. В норвежских тюрьмах их до крайности мало. Правда, имеется не одна сотня стоящих на учете в полиции за политические

преступления, но, как правило, дело кончается штрафом. Поговаривают, что еще тысячи, а то и сотни тысяч находятся под наблюдением как потенциальные политические преступники, но все же по сравнению с другими странами в Норвегии почти нет политзаключенных. Важно отметить и то, что вынесенные им приговоры довольно гуманны и до сего дня ни один человек не выступил с заявлением, будто в тюрьме его подвергали пыткам. К тому же оппозиция пользуется незыблемым правом открыто выражать свое мнение, как устно, так и письменно, и организовывать объединения и партии, проводить различные акции, даже если мнение оппозиции полностью противоречит мнению властей, даже если оппозиционеры приобретают такое сильное влияние в обществе, что их действия начинают напрямую угрожать устойчивости государственной власти. В таких случаях их могут подвергнуть жестокому осуждению, чинить препятствия их практической деятельности, но ни разу за всю историю современности ни одну оппозиционную партию не запретили. Определенные законодательством демократические свободы имеют в моей стране такую силу, что их действие ограничивают, пожалуй, только рыночные и экономические структуры, а отнюдь не органы власти. И в довершение всего я скажу, что граждане моей страны пользуются всевозможными социальными гарантиями, безработица сравнительно невелика, а уровень жизни даже самых необеспеченных слоев населения довольно высок, да, настолько высок, что даже низкооплачиваемый норвежский рабочий может позволить себе провести положенный по закону четырехнедельный отпуск на курортах Средиземноморья. Полагаю, я назвал все существенные для моего рассказа факты, характеризующие мою страну, ее уникальную историю и общественное устройство. Возможно, следует добавить, что уровень образования высок и едва ли во всей стране найдется хоть один неграмотный.

Стоит ли удивляться, что многим наша страна представляется свободной и счастливой, история ее — исключительно благополучной, а система распределения благ — примером для подражания. Каждый норвежец, грезящий о мировой революции, находясь за границей и встречая там иностранцев-единомышленников, не раз сталкивался с тем, что те, сравнивая Норвегию со своей родиной, превозносят ее до небес. Когда норвежец робко пытается протестовать, понимания он не находит. Даже когда он осторожно замечает, что не стоит, мол, идеализировать страну, о которой вы слишком мало знаете, не стоит судить столь категорично, у него возникает ощущение: переубедить собеседника ему вряд ли удастся. Причина, безусловно, в том, что наша страна, ее место в мире и ее в высшей степени мирная история рисуются как нечто идиллическое, даже экзотическое. Эта картина оказывает неизгладимое впечатление и на самого норвежца, стоит ему только задуматься над тем, что именно ему была уготована необыкновенная судьба родиться и жить в такой стране.

Тем более поразительно, что в 70-е годы в такой стране возникло политическое движение, увлекшее за собой широкие массы восторженных студентов и юных интеллигентов, которые, вдохновившись примером крестьянского сына из далекого Китая, поставили себе целью мобилизовать народ, и прежде всего рабочих, дабы обратить их против собственного Государства, и свергнуть Систему в ходе вооруженного восстания. Здесь необходимо упомянуть, что радикальные политические движения имели место и в других западноевропейских странах, так что помимо вдохновляющего примера крестьянского сына и вождя революции из Китая существовали и иные источники вдохновения, например, волнения студентов в Париже в 1968 году. Однако все это не делает норвежский вариант достойным меньшего удивления, напротив: то, что, казалось, должно было бы превратиться в Норвегии в мимолетный от-

голосок международных событий, пустило здесь корни, причем корни куда более глубокие, нежели в любой западноевропейской стране.

Наше движение стало идеологически выдержанным и сплоченным, сформулировало четкие революционные цели: вооруженное восстание и утверждение диктатуры пролетариата. При этом были предприняты ловкие тактические усилия, чтобы воссоединиться с народом, и проявлена готовность вступать в кратковременные альянсы с кем угодно, только бы это служило Делу. Политическое пробуждение нашей страны обрело продуманную и законченную форму: идеология марксистско-ленинской философии, огромный Китай в качестве прекрасной идеологической утопии, признание общих исторических корней с первым в мире социалистическим государством, СССР времен Ленина–Сталина, и открытое отмежевание от застоя в Советском Союзе 70-х – застоя, причину которого видели в контрреволюции 1953–1956 годов.

С такой программой движение получило широкий и, более того, глубокий отклик у студентов и интеллигенции, сформировало людей бескорыстных и преданных делу революции и выросло за пределы узкого круга интеллектуалов, обратив на себя внимание других слоев населения. Насколько я могу судить, оно так или иначе затронуло многих представителей высокообразованной молодежи нашей страны, а для некоторых стало смыслом существования. А ведь, кроме активистов движения, были еще и те, кто в 1968–1978 годах просто не мог не занять по отношению к нему определенную позицию. Уклониться мало кому удалось. Это стало вопросом жизни и смерти, вопросом ценностной ориентации, от ответа на который, по сути, зависели твои будущие решения и поступки, это касалось и тех, кто сказал однозначное "нет" в ответ еще на один весьма важный вопрос: нужна ли вообще стране революционная коммунистическая партия? Мы можем с уверенностью утверждать, что в истории Норвегии едва ли существовало политическое движение, проникшее в умы интеллигенции страны столь глубоко. Во всяком случае, в XX веке такого точно не наблюдается.

Почти десять лет норвежскую общественность волновало только одно: ты "за" или "против" Рабочей коммунистической партии (марксисты-ленинцы). Десятки тысяч приняли участие в движении, или, точнее, в деятельности РКП (м.-л.): они либо были членами этой партии со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до грубого вмешательства в естество норвежской личности, либо симпатизировали ей. И те, и другие до известной степени были знакомы с языком, правилами поведения, мифологией, отношением к действительности, ритуалами, мышлением и специфическим мировоззрением партии. Удивительно, сколько представителей интеллигенции поддерживало РКП (м.-л.), учитывая, что все они выросли при социал-демократии в одной из богатейших и, уж вне всякого сомнения, наиболее демократической из всех стран. Также удивительно и то, что политическое движение, развившееся в партию, на протяжении десятилетия было средоточием культурной и интеллектуальной жизни в Норвегии. Невероятно, но факт. Идеи РКП (м.-л.) стали определяющими для литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, дебатов в газетах, и причина тому – отнюдь не размах этого политического движения. Причина в том, что его идеи воодушевили цвет нации. Рабочие отнеслись к политическому движению, сформировавшемуся вокруг РКП (м.-л.), как к весьма опасной искре, а вот в средствах массовой информации то и дело упоминались люди искусства, ученые, выступающие как... лидеры забастовочных комитетов.

И все же движение так и не стало всенародным. На выборах его представители не получали и сотой доли голосов избирателей, а это свидетельствует о том, что его идеи не нашли отклика в душах простых людей; несмотря на несомненную силу, движение не достигло своей главной цели – спло-

тить рабочий класс и пробудить его от спячки, чтобы он в соответствии с теорией, вдохновившей РКП (м.-л.), смог наконец выполнить свою историческую миссию и взять власть в свои руки. Сейчас движение исчерпало себя. И тем не менее оно достойно определенного интереса с нашей стороны. Все великие революционные движения потерпели крах, а в нашем случае, вероятно, уже в самом начале можно было предсказать, чем кончится дело. Но, принимая во внимание, что тысячи людей стали его слепыми последователями, а в будущем этим тысячам предстояло стать интеллектуальной элитой страны, интересно поразмыслить над тем, чем привлекательны подобные идеи. Ведь они заставили людей поставить на карту все, а человек ставит на карту все, только когда речь идет о чем-то в высшей степени соблазнительном или о том, что несет в себе очевидную истину. Тысячи людей сплотились вокруг РКП (м.-л.) и более десяти лет жили под гипнозом Партии. Многие отдали Партии лучшие годы жизни. В одной из богатейших стран мира, во времена бурного экономического подъема они посвятили себя проповеди Евангелия от революции. Это стало для них смыслом жизни, а тот, кто исповедовал это "Учение" хотя бы несколько лет, а потом отверг его, стал вероотступником — не перебежчиком, нет, поскольку партия вряд ли взрастила бы перебежчиков. А судьба вероотступников одна: они навечно обречены нести груз своего предательства.

Все это я знаю по себе, так как сам прожил 70-е годы под гипнозом РКП (м.-л.). Я, тридцатилетний учитель гимназии в Ларвике, был убежден, что так называемые "Юные социалисты"[1] абсолютно правы, и действовал строго в соответствии с этим убеждением, испытывая, по правде говоря, далеко не только чувство восторга. На протяжении десяти лет я сам был активным участником движения, испытав на собственной шкуре, каково это — быть революционером. И я отлично понимаю, что творится в душе норвежца, вынужденного соотносить свою жизнь с марксистско-ленинским вокабуляром, революционной практикой, социалистическими взглядами на историю и тайной мечтой рабочего класса свергнуть всех господ, а кроме того, сознательно отказавшегося управлять своей жизнью по собственному разумению и ставшего слепым орудием в руках Партии. Поверьте, я знаю, каково это, и сейчас, в начале 80-х, беру в руки перо, дабы рассказать обо всем, только потому, что ощущаю в душе странное беспокойство: ведь мы добровольно сделались орудием сил, которые при определенном стечении обстоятельств могли превратиться в нечто прямо противоположное нашим устремлениям. Более того, беспокойство это только растет, поскольку я сознаю, что такое превращение, как правило, случается, когда орудие выполнило свое предназначение. Казалось бы, моя тревога абсолютно беспочвенна, ведь политическое движение, отнявшее у меня более десяти лет жизни, даже не приблизилось к своей цели. И все же именно такие вопросы, пусть и помещенные в совершенно иной контекст, вопросы, имеющие отношение к иным временам и странам, терзают душу человека, которому так нравилось зваться революционером.

<...>

1. "Юные социалисты" (SUF) — молодежная организация Социалистической народной партии (SF). В 1969 г. она порвала с партией и стала вдохновителем коммунистического маоистского движения, ставившего целью организацию вооруженного восстания и установление диктатуры пролетариата. В 1973 г. организация была переименована в Рабочую коммунистическую партию (марксисты-ленинцы) — АКР (m-l). (*Прим. перев.*)

Ян Хьярстад
Лжешь ты, Пер![1]

Перевод с английского Антона Нестерова

I

Мое нынешнее место жительства — Хараре, Зимбабве, Африка. За тысячи километров от родного дома. До приезда сюда я думал: то, с чем здесь придется столкнуться, по большей части покажется мне чужим и странным, а это... это освежит мой взгляд и заново научит меня удивляться. Я ошибся. Что такое десяток тысяч километров в мире реактивных лайнеров, спутникового телевидения, кино, телефонов, транснациональных корпораций и телефаксов? Ничтожное расстояние. Ныне, чтобы обрести чувство дистанции, нужно оказаться на одной из лун Юпитера. Это как минимум.

И при всем том... как писатель я чувствовал себя зависшим в безвоздушном пространстве. Я только-только отослал своему издателю законченный недавно роман и обдумывал новый. Тут поневоле начнешь сомневаться во всем и вся. Куда двигаться дальше? Какую тему избрать? Какой должна быть форма повествования? Мнительность автора достигает апогея — а что вообще сейчас творится в норвежской литературе? Что пишут в других странах?

II

В своем следующем романе я хотел подступиться к проблеме "Что есть Норвегия?" Я сидел под жакарандой[1], предаваясь размышлениям о "норвежскости", и тут почтальон принес мне открытку:

Жду около водопада Виктория. Тема беседы: мировая литература.
С наилучшими пожеланиями,
Космополит

Что ж, похоже, все было решено за меня. А мне только и оставалось, что следовать инструкциям: вылет ближайшим самолетом, в гостинице "Виктория" ждет номер, забронированный на мое имя...

С террасы гостиницы открывался прекрасный вид на водопад: водяная взвесь, висящая в воздухе, мост в Замбию, перекинутый над пропастью. Я уже подумывал, не нанять ли мне самолетик и не облететь ли водопад — здесь это называют "Полетом ангелов"[2], — как вдруг передо мной возник загорелый мужчина, весьма напоминающий индуса. Мы обменялись крепким рукопожатием. "Пер Гюнт", — представился мой визави. Будучи писателем, перестаешь удивляться чудесам. Вместо того чтобы недоуменно приподнимать брови, я поинтересовался, почему местом встречи он

© Jan Kjarstad, 1990
© Антон Нестеров. Перевод, 2005.

1. Этой репликой открывается "Пер Гюнт" (1867) Г. Ибсена, здесь и далее цитируемый в переводах А. и П. Ганзен. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1. Жакаранда мимозолистная (Jacaranda mimosifolia) — растение из семейства бегониевых. Первоначально это дерево, достигающее в высоту 50 м, было распространено в Аргентине, откуда его завезли в Африку и Средиземноморье.

2. Популярный туристский аттракцион для посетителей водопада Виктория. В последние годы самолет уступил место вертолету.

избрал эту старинную гостиницу. "Просто она напоминает гостиницу 'Трамонтано' в Сорренто, где Ибсен заканчивал 'Пера Гюнта'. Ну и — водопад. Стимулирует воображение: поневоле начинаешь мыслить масштабно. Кстати, именно об этом я и хотел поговорить — о воображении". Прежде чем я успел открыть рот и произнести хоть слово, мой собеседник разразился длиннейшей тирадой. Боюсь, мне придется привести ее здесь в сильно смягченном виде.

— Что за черт! Что там у вас творится с норвежской литературой? — набросился он на меня. — Вы что, совсем разучились лгать?!

Оказывается, все наши потуги лгать так жалки, что мы, чуть оторвавшись от реальности, камнем падаем на землю... Где наше воображение, где наш полет фантазии?! Это даже не прыжок с парашютом, это — стремительное падение. Где магия? Где волшебство? Все, что мы пишем, приземленно, плоско, одномерно. Банал на банале. Да уж... Реальнее некуда!

— Все это... до тошноты... — он подыскивал слово... — *правдиво*! Вы не писатели, вы — журналюги! Репортеры на похоронах! — разглагольствовал он на непричесанном, но весьма точно передающем суть мысли норвежском.

И дальше: мы так неумело лжем, что боимся собственной тени. Где наша вера в себя? Где дерзость в выборе тем? Вспомните грандиозные картины, нарисованные в "Пере Гюнте"! А мы — мы выдаем какие-то миниатюрки. Сплошное мелкотемье. Сплошной моральный оппортунизм. Все так беззубо, так серо, так предсказуемо. Все это уже сто раз слышано, сто раз читано. Набило оскомину!

Вы пишете так, словно единственная ваша задача — не раздражать критиков. Все это... стерильно! Куда ни ступи — натянута страховочная сетка. Куда ни сядь — "пристегните ремни безопасности!" Можно подумать, что претензия на оригинальность — камень преткновения, который вы страстно хотите обойти! Тоже мне, Великая Кривая из "Пера Гюнта"[1]!

Дальше: мы так жалко лжем, что не в состоянии отличить "придуманную" нами метафору от клише. Где взгляд, способный ухватить образ вещи во всей полноте, где сравнение, которое бы заставило читателя задохнуться от восторга? Что, как не способность создать метафору, отличает настоящего писателя с воображением от посредственных драмоделов! Если мы чего-то добились в литературе, то только благодаря воображению!

Но где норвежский писатель, который решился бы явить Наше Время как бабу на сносях?! Блестящая метафора, правда ведь? Какая мощь воображения воплотилась в "Пере Гюнте", все эти сцены, впечатывающиеся в память: борьба с Великой Кривой, сцены в сумасшедшем доме, сцены с Пуговичником! Нет, и впрямь пора чуть поскоблить твой левый глаз![2]

Далее, — продолжил Гюнт, заказывая "Малави Шэнди"[3] — у него вдруг пересохло во рту, — так вот, далее: норвежские писатели столь никудышные лжецы, что даже не умеют толком *читать*.

Мы читаем так, словно доискиваемся — где тут мораль? — или судо-

1. Когда Пер Гюнт бежит из чертогов Доврского тролля, путь ему преграждает невидимое препятствие:

Пер Гюнт
Ответь,
Кто ты?
Голос
Сама.
Пер Гюнт
Отвяжись ты
С глупым ответом таким! Говори!
Что ты такое?
Голос
Кривая.
Как? Ты — Кривая?..
Голос
Великая, Пер!

(Перевод А. и П. Ганзен)

2. Доврский тролль говорит Перу Гюнту: "Левый твой глаз я чуть-чуть поскоблю, / Вкось все и вкривь будешь видеть, / Но уж зато все красивым найдешь...".

3. Освежающий напиток: имбирное пиво, содовая или лимонад и листья ангостуры, подается со льдом.

рожно готовимся к экзамену — это вместо того, чтобы дать свободу ассоциациям и идти туда, куда устремляется мысль! Взять хотя бы все эти "истолкования" "Пера Гюнта"! Как только не оболванивают пьесу. И все — во славу Интерпретации! Вокруг сплошные Защитники Интерпретации! — в голосе моего друга звучало неподдельное отчаянье. — Можно подумать, пьеса написана ради того, чтобы доказать: у Пера нет "я", а есть только роли, которые он играет! Или доказать, что он — циничный эгоист! Или... Будто это важно! Суть в том, какой эффект пьеса оказывает на своего зрителя или читателя, то есть на нас с вами! С чего мы взяли, будто драма разыгрывается на печатной странице?! Может, те подмостки, на которых разворачивается представление, — наша нервная система? А текст на бумаге — лишь негатив, который превращается в позитивную фотографию, только пройдя через сознание читателя[1]. Повторяю, "Пер Гюнт" — вовсе не пьеса о морали, это пьеса о силе воображения! Сердцевина финальной сцены "Пера Гюнта" — не любовь Сольвейг и не раскаяние Пера, смысл финала в том, что Сольвейг благословляет воображение. Пьеса начинается со лжи: "Лжешь ты, Пер!", а кончается сном: "Спи, усни, ненаглядный ты мой..."[2] А Пер Гюнт — всего лишь катализатор. Он вызывает активность нашего воображения — точно так же, как Гамлет, Фауст или моцартовский Дон Жуан.

Ибсен. Шарж современника

Если вы, норвежцы, претендуете на то, чтобы стать писателями мирового класса, вам надо научиться как следует лгать.

Шум водопада вдали вторил его словам бурной овацией.

III

Не успел я вернуться домой и поудобнее устроиться под жакарандой, как в щель моего почтового ящика упала открытка:

Жду в "Шандаар кафе" на ул. Моффат. Тема беседы: национальная литература.

С наилучшими пожеланиями,
Норвежец

Я был совершенно сбит с толку, однако поспешил отправиться на встречу. Улица Моффат находится в так называемом "индийском квартале" Хараре, недалеко от старинного индуистского храма. Вошедший в ка-

1. Ср. у Ибсена в "Пере Гюнте" (V акт): "*Художавый:* ...Изображенья могут получаться/ Прямые и обратные — иль, как / Зовут их, — негативы, на которых / Обратно все выходит — свет и тени; / На непривычный глаз такие снимки / Уродливы, однако есть в них сходство, / И только надобно их обработать. / Так, если в бытии своем земном / Душа дала лишь негативный снимок, / Последний не бракуют как негодный, / Но поручают мне, а я его/ Дальнейшей обработке подвергаю, / И с ним, при помощи известных средств, /Прямое обращенье происходит./ Окуриваю серными парами, / Обмакиваю в огненные смолы /И снадобьями разными травлю, /Пока изображенье позитивным, /Каким ему и быть должно, не станет".

2. Начало Песни Сольвейг.

фе человек представился как Саладин Чамча. На голове Саладина Чамчи красовался котелок, а говорил он на превосходном норвежском. Да, он просил о встрече... Просто он хотел поговорить о "Сатанинских стихах" Салмана Рушди...

Прежде чем я успел произнести хоть слово, он обрушил на меня теорию — осмелюсь сказать, на мой вкус, чересчур смелую теорию, — доказывающую, что Рушди явно читал "Пера Гюнта" перед тем, как засесть за свой скандальный роман.

Нужно ли говорить, что обе книги начинаются рассказом о падении героев в бездну? При этом и у Ибсена, и у Рушди герои выживают. Пер Гюнт падает с отрогов Бессенгенских гор, куда его утащил олень; этот невероятный полет и последующее "приводнение" в озеро описаны, словно в сценарной раскадровке для замедленной съемки. У Рушди двое главных героев, Саладин и Джибрил, падают с высоты в девять тысяч метров после того, как их авиалайнер был взорван террористами. Прежде чем эта парочка упадет в воды Ла-Манша, Рушди на семи страницах — совершенно безумных! — описывает их небесный полет. "Хуже всего то, что этому описанию *веришь*".

— Но на этом сходство не заканчивается, — продолжал мой собеседник, заказывая для нас две порции самосы[1]. — И у Ибсена, и у Рушди герои "бегут" из родной страны — чтобы окунуться в мир. Норвежец Пер становится гражданином мира и даже выступает в обличье мусульманского пророка; Саладин, мусульманин из Индии, делает все, чтобы стать англичанином до мозга костей — англичанином, чьи эмоции надежно погребены под неброским дорогим костюмом. И в "Пере Гюнте", и в "Сатанинских стихах" герои, повторяя путь блудного сына, в финале возвращаются домой. А как насчет того, что Пер на время превращается в тролля, — правда, ему приходится одолжить для этого хвост, Саладин же в полном смысле слова становится дьяволом, с рогами и копытами? А женские персонажи двух книг? — По мнению моего норвежского друга, параллели здесь более чем очевидны: — Ингрид в "Пере Гюнте" соответствует Памеле Ловелас в "Сатанинских стихах", Сольвейг — Зини Вакил, Женщина в зеленом — Мими Мамулиан, Анитра — Мишель Суфьян. Забавно, правда?

Со следующим утверждением Чамчи я согласился с ходу: оба писателя нападают на посконный национализм — какое бы обличие тот ни принимал; собственно, они только и делают, что развенчивают ходовое представление о национальном характере. Роман Рушди клеймит как самодовольную ограниченность Запада, так и самодовольную ограниченность Востока. И Пер Гюнт, и Саладин ведут существование, лишенное корней, поэтому их непринадлежность чему бы то ни было кажется отражением самих условий человеческого бытия.

— Наконец, — как бы мимоходом обронил мой собеседник, — и Рушди, и Ибсен — писатели, обреченные на бездомность.

Отсюда проблема аутентичности, болезненно волнующая их героев. Пер Гюнт у Ибсена — человек, лишенный сокровенной основы "я"; он побывал золотоискателем, охотником за пушниной[1], работорговцем, плантатором, судовладельцем, торговцем оружием, пророком, археологом, оставаясь при этом ничем; все его роли подобны бесчисленным "одежкам" луковицы, заведомо лишенной ядра. Но о Саладине в романе Рушди сказано, что тот был "человеком, у которого тысяча и один голос", ему не довелось быть собой, всю жизнь под одной маской он скрывал другую. Однако, в отличие от Ибсена, Рушди касается пробле-

1. Распространенные в индийской кухне тонкие лепешки с пряной начинкой.

1. Об этом в начале карьеры Пера Гюнта сказано в V акте ибсеновской пьесы, когда Гюнт, вернувшись из своих странствий на родину, вспоминает прошлое.

мы аутентичности лишь вскользь. Для него аутентичность — не более чем один из множества мифов.

— Клянусь, знаменитую сцену, в которой Пер Гюнт шелушит луковицу — и собственное прошлое, пытаясь докопаться до сути[1], Рушди увидел бы с точки зрения постмодерниста: "'Истины' не существует. Есть лишь не затихающая борьба между множеством и единством".

Но важнее всего, — продолжал мой собеседник, — это где и как оба писателя проводят границу между мечтой и реальностью. С величайшей легкостью Ибсен и Рушди вторгаются в мир грез — и подают его нам как реальность. Задумайтесь, как сделаны сцены, когда Пер оказывается в замке Доврского деда, а Джибрил возносится на гору Мухаммада!

Я считаю, что "Сатанинские стихи" немедленно должны быть включены в канон норвежской литературы! Не-мед-лен-но! — подвел итог Саладин Чамча.

IV

Согласен.

Сидя в "Шандаар кафе", за тысячи километров от дома, я размышляю о норвежской литературе. Ее будущее — в воображении. В способности подбросить в воздух — как можно выше — миры, чтобы мы увидели: на планете — такой знакомой! — проступают неведомые континенты. И победителями из схватки со временем вышли те, кто сделал ставку на воображение. Именно они будут выигрывать раз за разом: Гомер, Сервантес, Шекспир, Борхес, Маркес, Кальвино, Лессинг, Грасс, Турнье, Кавабата. Воображение — язык вселенский.

Как просто потерять веру в это, открыть путь сомнениям! Как просто — недооценить читателя. "На мой взгляд, из всех, написанных мной книг, 'Пер Гюнт' самая непонятая в других странах", — обмолвился Ибсен. "Только норвежцы способны оценить весь блеск этой книги", — вторил ему Бьёрнсон. Какое заблуждение! Точно так же "Сатанинские стихи" (при том, что в романе — масса деталей, внятных лишь индусам и мусульманам) — отнюдь не зарисовка быта малых социальных групп. Нет ничего более интернационального, чем воображение.

В том, что касается воображения, этой "способности к выживанию", "Сатанинские стихи" дадут фору даже "Перу Гюнту". Главный герой книги удвоен: Саладин /Джибрил — наполовину демон, наполовину ангел, и каждый из них является тенью другого. Бесконечно развернуто пространство действия романа, а время — время, охваченное событиями, описываемыми в "Сатанинских стихах", — тысяча с лишним лет! Сама форма "Пера Гюнта" — множество сплетенных вместе историй, реализм, сплавленный со сказкой, интермедиями, фарсом, — все это развито в "Сатанинских стихах" до предела. Этот роман — огненный гейзер, который выплескивает на читателя множество реальностей, голосов, языков. Традиции, к которым мы всё еще причастны, разъяты у Рушди на составные элементы. Бог умер, абсолютной истины не существует. Добро и зло неразрывно сплетены. У зла есть и

1. Пер Гюнт *(посмеиваясь про себя)*
...Постой-ка,
Возьму сейчас да облуплю тебя,
Мой милый Пер, как ни вертись,
ни сетуй.
(Берет луковицу и отщипывает один мясистый листок за другим, приговаривая.)
Вот внешней оболочки лоскутки -
Крушенье потерпевший и на берег
Волнами выкинутый нищий Пер.
Вот оболочка пассажира, правда
Тонка, жидка она, но от нее
Еще попахивает Пером Гюнтом.
Вот золотоискателя листочки;
В них соку нет уже — и был ли прежде?
Вот грубый слой с каемкою сухой —
Охотник за пушниной у залива
Гудсонова. Под ним — листочки вроде
Коронки... Прочь их, бросить, слов не тратя!
Вот археолога листок короткий.
Но толстый; вот пророка — пресный, сочный;
<...>
(Отщипывает несколько листочков сразу.)
Да их не оберешься тут! Ну, что же?
Когда-нибудь покажется ядро?
(Общипывает все до конца.)

благой аспект, оно неизбежно соучаствует в любом творческом акте. Но точно так же и в добре таится зло. Дьявол является под личиной архангела. И — наоборот. Ангелы пали, а демонам дано восстановить свой утраченный облик. Люди возводят свои миры, противопоставив их миру, сотворенному Богом. "Истина" не приходит извне, она творится людьми.

В "Сатанинских стихах" Рушди занят деконструкцией нашей цивилизации. (Собственно, деконструкция и постмодернизм идут рука об руку.) Он доводит демонтаж "очевидного" до предела, а затем делает еще один шаг — и от отрицания переходит к утверждению. Роман Рушди возвещает: мы вступили в совершенно новую эпоху. Из плавильного тигля "Сатанинских стихов" взмывает феникс: чего стоит роскошная композиция романа, таящая в себе самые неожиданные возможности; чего стоит новый чеканный словарь, позволяющий по-новому вопрошать этот мир; чего стоит это собрание свежих метафор. Рушди не только разрушает, он — строит. Эта книга — сатира и виде́ние, слитые нераздельно. Критика старых истин сочетается здесь с острой жаждой обновления. Смерть Бога не означает смерть трансцендентности. "Мы еще способны к восхищению, вопреки всему мы еще можем восходить к трансцендентному", — говорит один из героев романа. Рушди очерчивает возможность изменить мир к лучшему, на протяжении всего романа он размышляет об условиях творения и изменения: "Как новизна пришла в мир? Как рождается новое? Что это — переход одного в другое? Сплав двух сущностей? Перевод с языка на язык? Слияние?" Этот роман переполнен метаморфозами, переполнен новыми идеями. Люди и вещи в нем непрестанно умирают — чтобы возродиться в ином обличии.

Смерть национализма не есть смерть национального характера или национальной культуры. В каких подробностях описан у Рушди эмигрантский Лондон, какие только национальные общины не мелькают на страницах романа! "Здесь мы прошли через переделку, однако и нам суждено преобразить это общество". Растущее культурное многообразие подталкивает нас к новым горизонтам, а вовсе не несет в себе угрозу уничтожения культуры.

Подобно Ибсену, Рушди рассказывает старые истории на новый лад. И Ибсен, и Рушди верят в метаморфозы. Все сущее — реинкарнация, все сущее сотворено из чего-то иного. Опасность, с которой сталкивается хороший писатель, — это опасность фаустовской сделки, опасность того, что воображение, подобно дальнобойному орудию, даст откат и раздавит выдумщика. Воображение требует смелости. Во множестве постановок Пер Гюнт появляется на сцене с красным носом — чем не клоун! Стоит ли удивляться, если люди сочтут вас за шута только потому, что у вас хватает воображения перевернуть устоявшиеся истины с ног на голову.

Сколько "серьезных" критиков глубокомысленно объявили: с точки зрения истории литературы "Сатанинские стихи" — роман-однодневка! Я же считаю, что это такая же этапная книга, как "Улисс", "Жестяной барабан" или "Сто лет одиночества". В "Сатанинских стихах" впервые успешно реализовался новый тип романа — глобальный роман, открывающий возможность для контакта и диалога самых разных культур и социумов. Более того, роман Рушди ставит во главу угла идею изменчивости, а эта идея уже сама по себе наделена способностью порождать перемены вокруг, когда происходит взаимопроникновение и "перекрестное опыление" наших представлений о мире. Книга Рушди — не только явление мировой литературы, но и вклад в новую мировую культуру.

В романе заходит разговор о миссии литературы. Она заключается в том, чтобы "назвать неназываемое, указать на мошенников, встать на чью-то сторону, вызвать на спор,

дать облик миру — и не дать этому миру погрузиться в забытье сна". Ибсен тоже писал о том, что его цель — разбудить людей ото сна. Однажды он написал:

> Жить — это значит все снова
> С троллями в сердце бой.
> Творить — это суд суровый,
> Суд над самим собой.[1]

Мы знаем, какую цену пришлось заплатить Рушди за свою книгу.

V

Я сижу здесь, под жакарандой, переваривая мой разговор с Пером Гюнтом и Саладином Чамчей. Я собираюсь с силами: мне нужно написать роман о Норвегии и "норвежскости". За оградой моего дворика расстилается пейзаж, совершенно непохожий на тот, что я ношу в своей душе. В то же время я могу наложить эти два пейзажа друг на друга и получить своего рода стереоскопический эффект. Или — вымышленный пейзаж, который правдивей... именно правдивей реальности.

Мысленно я переношу часть "индийского квартала" Хараре в Осло. В то же время внутренним взором я вижу, как водопад Мардалсфоссен[1] просвечивает через водопад Виктория[2]: за счет такого наложения широченная Виктория становится намного выше. Вот он, "Полет ангелов". Я сижу под жакарандой, чувствуя себя норвежским гражданином мира. Точнее *норвежским* гражданином *мира*. Или за этим ощущением стоит какое-то новое понятие, для которого пока еще не найдено слова? Пер Гюнт показал мне, что Норвегия стремительно разрастается. Саладин Чамча показал, что мир столь же стремительно сжимается и становится Норвегией. Я сижу здесь, за тысячу километров от дома и, поверьте, наблюдаю эту метаморфозу: мир обретает черты моей родной Норвегии.

Все меняется. Литературу ждет очередная мутация. Более чем когда-либо мы, писатели, должны воистину стать теми, кто искушен во лжи, пришпорить наше воображение — пусть несется к новым, неведомым, пределам. Я — оптимист. И Пер Гюнт, и Саладин Чамча показывают мне: люди *могут* летать.

1. Перевод В. Адмони.

1. Водопад на северо-западе Норвегии, высота — 655 м, самый высокий водопад в Европе.
2. Высота водопада Виктория — 120 м, ширина 1800 м.

Нина Витошек

Христиане и модернизаторы: "пасторальное Просвещение" в Норвегии

Изобретение нации

Перевод с английского А. Нестерова

Русскому мыслителю Владимиру Соловьеву принадлежит меткое наблюдение, оставшееся недооцененным: протестантизм естественным образом вырос из почвы Севера, ибо варвары-германцы приняли католичество, но так и не идентифицировались с ним до конца; в их жизни сохранилось начало, никак не укладывающееся в рамки католического мировоззрения, а по сути, ему враждебное — принцип безусловной свободы личности и восприятие индивида как высшей ценности[1].

Мысль эту Соловьев высказал в 1877 году. Только русский человек, погруженный в культуру, пропитанную рабством и презрением к личности, мог увидеть проблему под таким углом зрения. Индивидуализм, лежавший в основе основ скандинавского характера, нашел отражение еще в сагах, однако экономическая и политическая история северных стран внесла свои коррективы: отчасти эта национальная черта сгладилась, отчасти была надолго подавлена. Но сгладилась — не значит стерлась из коллективной памяти. В начале XIX века поборники национальной культуры вновь объявили индивидуализм высшей ценностью. И если в Дании индивидуализм был подобен восставшему из гроба, то в Швеции он существовал как сильно ослабленная, но вполне живая традиция, а в Норвегии триумф индивидуализма воплотился в особом кодексе поведения, не допускающем никаких компромиссов. Возрождение "исконного" индивидуализма связано не только с возрождением нации, а было во всех трех странах частью политической и экономической программы либерализма. Однако произошло это не сразу, а сопровождалось горячими спорами и сменой моральных парадигм.

Принято считать, что пиетизм XVIII и XIX столетий, с его акцентом на индивидуальную веру, не нуждающуюся во внешних институтах, дал толчок секуляризации. Это верно только в том случае, если рассматривать секуляризацию поверхностно, видя в ней лишь изменение структур социума. Если же понимать этот процесс с точки зрения культуры как отказ от дихотомии сакрального и профанного, то говорить о секуляризации в Скандинавии XIX века в этом смысле едва ли возможно. XVIII и XIX столетия в этих странах прошли под знаком возвращения к первоистокам религии, понятой в духе "разумного христианства" Локка[1]. Священники-рацио-

© Nina Witoszek, 2005
© А. Нестеров. Перевод, 2005

1. В. С. Соловьев. Собрание сочинений. Т. 1. — Брюссель, 1966. С. 231. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, — прим. автора.*)

1. Джон Локк (1632–1704) — английский философ-эмпирик. В работе "О разумности христианства" (1695), проникнутой духом деизма, пытался отделить "подлинное" учение Христа от последующих "изменений". (*Прим. перев.*)

налисты, "начетчики", гернгутеры[1], различные "братья", хаугеанцы[2] и последователи Джонсона в Норвегии, грундтвигианцы[3] в Дании — все эти бесчисленные религиозные движения, как внутри самой церкви, так и связанные с теми или иными формами пиетизма, не только привели Скандинавию к реформе церкви, но и внесли серьезный вклад в строительство гражданского общества. Глубочайшая религиозность была присуща и большей части той элиты, которая разрабатывала проект "национального самоопределения", — вела ли она свою работу в приходских общинах или в светских салонах. Либерализм был допущен и в молитвенные собрания, и на светские рауты, но тем паче вход туда был открыт благотворительности, милосердию и спасению души. Патриотизм был обязателен, но столь же обязательны были христианское смирение и преданность Богу. (Возрожденный скандинавский индивидуализм изначально был отмечен родимым пятном христианства, стереть которое удалось лишь Ницше, уже на излете столетия, и было бы величайшей ошибкой идентифицировать "белокурую бестию" немецкого философа с ее скандинавским прототипом.) В основе "лютеранского романтизма" в северных странах лежала та же идея, что была краеугольным камнем протестантизма в целом: и человеческое, и божественное противятся любым претензиям на абсолютную власть, исходящим от институций мира сего. По сути, перед нами протест против абсолютизации любой доктрины, любых институтов или коллективов, в том числе против абсолютизации нации.

Помня об этом, мы лучше поймем специфику, присущую процессу "изобретения нации" в Скандинавии: религиозный энтузиазм по самой своей природе оказался здесь уздой, сдерживающей крайности национализма. Религиозность служила чем-то вроде тормозного механизма для мобилизации населения под национальные знамена. Даже в Норвегии с ее "комплексом" датской колонии, который, казалось бы, давал индульгенцию на самый оголтелый патриотизм, все свелось к воинственной риторике, тогда как сама стратегия национальной борьбы носила характер постепенных реформистских преобразований, а не революции.

Удивительна и иная черта этой религиозности. В Скандинавии переход к свободно организующимся религиозным общинам не сопровождался нападками на государственную церковь. То было движение, противопоставлявшее себя не внешнему врагу, реальному или воображаемому, а врагу, таящемуся внутри каждого человека. Свободные общины были возвратом к изначальному христианству, которое проповедовал Сын Божий. И на протяжении значительной части XIX века это движение обладало достаточно стойким иммунитетом к идеологии[1].

Тот Север, который грезился национально ориентированным элитам, был Севером "пасторального Просвещения". Этот термин лучше воспринимать во всей многозначности предложенного словосочетания: с одной стороны, он "кивает" на свою сельскую составляющую — воображаемый образ

1. Протестантская секта лютеранского толка, возникшая в 1772 г. в местечке Гернгут, недалеко от Дрездена. Особый акцент ее последователи делали на "религию сердца" — интимно-эмоциональное переживание единства верующего с Христом. Ныне герингутеры чаще известны как моравские или богемские братья. Большая община существует в современной Дании. (*Прим. перев.*)
2. Последователи популярного норвежского проповедника пиетистского толка Ханса Нильсена Хауге (1771–1824). (*Прим. перев.*)
3. Последователи Николая Фредерика Северина Грундтвига (1783–1872) — проповедника, историка, поэта и церковного реформатора. (*Прим. перев.*)

1. Nina Witoszek. The Fugitives from Utopia / Bo Stråth, Oystein Sørensen (eds.). The Cultural Construction of Norden. Oslo, 1997.

крестьянского быта, ставший компонентом и оболочкой скандинавской саморепрезентации, а с другой — слово "пасторальный" напоминает нам о пасторах и проповедниках, а именно они были проводниками и кодификаторами этой новообретенной традиции. Пытаясь определить место христианского Просвещения среди многочисленных движений, нарративов и практик, порою борющихся друг с другом, я хотела бы привлечь внимание к мощному имагинативному, дискурсивному и аксиологическому полю. Его манифестация вовсе не ограничена литературой — скорее, речь идет о сращении, которое можно назвать "культурным жанром". Формулу Бахтина, описывающую чисто литературное явление, можно было бы распространить в этом смысле на более широкую, социальную категорию: "Жанр живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало. Жанр — представитель творческой памяти в процессе литературного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и непрерывность этого развития"[1].

Пасторы и пастыри

Хотя гигантский массив текстов и жизней с трудом поддается генерализации, можно говорить о типической биографии тех, кто в XIX веке заложил основы национального пробуждения — и основы современной норвежской культуры. Большинство этих людей были либо лютеранскими пасторами, либо выходцами из пасторских семей, получившими теологическое образование. Их детство прошло в сельской местности, на пасторском дворе — пасторский дом был той осью, вокруг которой в Норвегии вращалась интеллектуальная жизнь и национальное самосознание. В середине XIX века Грундтвиг жаловался, что большинство пасторов "невероятно самодовольны, малообразованны, и к тому же блудливы, как псы"[1], но вряд ли эти слова так уж справедливы: именно пасторство в течение нескольких столетий было в Скандинавии той социальной группой, которую можно считать протоинтеллигенцией. В 1810 году пасторы составляли около 40 % всех студентов Копенгагенского университета. Пасторство было достаточно мобильным социальным классом, открытым для людей со стороны[2]. Именно пасторы были хранителями исторической памяти, реформаторами, учеными-любителями и агентами народного просвещения. Они основывали школы, насаждали грамотность, создавали благотворительные организации, улучшали методы земледелия и систему здравоохранения. Многие из них были поборниками идей Просвещения, "друзьями Библии и Разума"[3]. Потрясающе разносторонние пасторы, пользуясь своей независимостью от датского чиновничества, создали в угнетенной Норвегии собственную культуру, разработав дискурс и картину мироздания, ставшие опорой для будущих поколений.

Порой удивительно, насколько широкой была образованность этих служителей церкви; оселок, на котором обтачивались их убеждения, — Библия и идеи Просвещения, вера в здравый смысл (одним из самых яр-

1. М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 122.

1. Цит. по: N. F. S. Grundtvig: Tradition and Renewal. (Eds. Ch. Thodberg, A. Pontoppidan Thyssen). Copenhagen, 1983. P. 371.
2. Так, в Швеции священнослужители были влиятельнейшей группой, представлявшей в риксдаге собственное сословие.
3. Примером тому могут служить шведские епископы Риделиус и Далин. Риделиус прекрасно разбирался в философии Спинозы, Локка и Декарта, тогда как Далин, поклонник Фрэнсиса Бэкона, защищал эмпиризм в его английском изводе. В. J. Hovde. The Scandinavian Countries: The Rise of the Middle Classes. Vol. I. — Boston, 1943. P. 114–117.

ких поборников здравого смысла был в Скандинавии Людвиг Хольберг[1]). Их интерес к национальному прошлому подпитывался "Кругом земным" Снорри Стурлусона[2], их патриотизм — "Историей королевства Норвегия" Шёнинга[3]. Почти все они прошли в юности через своего рода rite de passage[4], неизбежный в те годы для норвежцев: покинув родные деревни, они отправлялись учиться в Данию, дорога испытаний приводила их в счастливый город Копенгаген, откуда они возвращались, чтобы осесть на пасторском дворе или на семейном сэтере и служить своим соотечественникам, наставляя и просвещая их. (Рискну высказать предположение, что в "Пере Гюнте" Ибсена содержится пародия на этот "ритуал перехода".) Там они жили в непосредственном контакте с природой, ежедневно соприкасаясь с деревьями, птицами, природным ландшафтом, извечным ритмом сельскохозяйственных работ и смены времен года — все это они славили в гимнах, посвященных горным отрогам, и одах, обращенных к луговым травам. Больше всего их занимала история, природа и топография региона. Их многосторонние штудии простирались от изучения местных топонимов до собирания гербариев и зоологических коллекций, от сочинения патриотических поэм до создания новаторских систем, призванных "улучшить обработку сельских угодий". Юхан Нурдаль Брюн, Ханс Стрьом, Клаус Фриман, Юнас Рейн, Йенс Зетлиц[1] и многие, многие другие — все они были предшественниками "интеллектуалов из народа": они путешествовали по миру, занимались наукой, жили в самой гуще народа, собирали народные сказки и поверья, проводили реформы, несли просвещение и — проповедовали. Различия в их богословских и философских взглядах значат куда меньше, чем характер их деятельности. Являлись ли они защитниками сверхъестественного (Рейн, Нурдаль Брюн), рационалистами (Николай Вергеланн[2], Клаус Фриман в зрелые годы) или умеренными сторонниками гармонии между разумом и Священным Писанием, прежде всего все они были агентами христианского Просвещения. Они популяризировали Руссо и Канта, внедряли английские принципы садоводства (Клаус Фастинг[3]), занимались реформами образования (Ханс Стрьом), отстаивали права владельцев хуторов, защищали безработных. Таинства мелиорации волновали иных из них больше, чем таинство Воскрешения. Среди них было множество "ученых широкого профиля", вынужденных жить в сельской глуши. Так, Леопольд фон Бюх, член Берлинской академии наук, с восторгом описывает встречу с пастором из Гедемарка, который был астрономом-любителем, врачом и изобретателем: "Дом его напоминал какой-нибудь завод, а его при-

1. Людвиг Хольберг (1684—1754) — одна из ключевых фигур эпохи Просвещения в Скандинавских странах. Профессор метафизики и латинской риторики в Копенгагенском университете, драматург, философ, историк, основатель театра "Датская сцена" (1722). В XVIII в. его басни переводил на русский Д. И. Фонвизин, а пьесы с успехом игрались во множестве русских театров. (*Прим. перев.*)
2. Снорри Стурлусон (1178—1241) — автор "Младшей Эдды" и цикла "королевских саг" "Круг земной". (*Прим. перев.*)
3. Герхард Шёнинг (1722—1780) — датско-норвежский историк, автор многотомной истории Норвегии, выходившей в 1771—1881. (*Прим. перев.*)
4. Ритуал перехода (*франц.*). (*Прим. перев.*)

1. Юхан Нурдаль Брюн (1745—1816) — священник, поэт, драматург, фольклорист, оратор, в 1803 г. возведен в сан епископа; Ханс Стрьом (1726—1797) — проповедник, поэт; Клаус Фриман (1746—1829) — священник, автор множества гимнов, поэт; Юнас Рейн (1760—1821) — священник, драматург, поэт, участник Эйдсволльского учредительного собрания 1814 г., принявшего Норвежскую конституцию; Йенс Зетлиц (1761—1821) — священник, литератор, член Норвежского научного общества в Копенгагене. (*Прим. перев.*).
2. Николай Вергеланн (1780—1848) — священник и теолог, один из участников Эйдсволльского учредительного собрания. (*Прим. перев.*)
3. Клаус Фастинг (1746—1791) — священник, просветитель, переводчик, драматург, поэт. (*Прим. перев.*)

мер и наставления оказывали серьезнейшее влияние на всех, живущих в округе"[1]. В гимнах и псалмах, написанных всей этой плеядой, черпавшей вдохновение у Горация, Вергилия, Ювенала и Петтера Дасса[2], воспевались норвежские леса и скалы, Бог, явленный в природе, весенние дни, солнечный свет и рост трав. Все они писали на своеобразном эколекте[3] — в их дискурсе образы природы соседствовали с идеологией нации и прославлением труда землепашца:

> Норвегия, просим тебя об одном:
> За пот землепашцев — воздай им зерном,
> Богатый улов ты подай рыбакам,
> Садовнику дай возгордиться плодами,
> Труждающийся — пусть насладится трудами,
> Пусть мир со свободой пожалуют к нам![4]

Мировоззрение, лежащее в основе такого рода поэтики, — весьма своеобразная смесь, объединяющая, казалось бы, несовместимые элементы: ортодоксальное христианство, веру в здравый смысл, прагматизм, горячий патриотизм и призывы в духе утопического социализма. (Такова, например, "Песня норвежских крестьян" Зетлица, в которой не только говорится о страхе Божием и здоровой семейной жизни, но и содержится призыв к экономической и социальной активности.) <...>

Несмотря на то что иные из этих стихов и проповедей звучали достаточно мятежно, авторы их не были мятежниками, призывавшими к восстанию во имя изменения социального уклада или обретения национальной независимости. Достаточно привести пример Нурдаля Брюна: написав несколько антидатских стихотворений, он до конца своих дней оставался лояльнейшим подданным датского короля. Пастор всегда остается пастором. Его миссия — служить Богу. Если он, как Ханс Стрьом, выходит утром в сад и видит, что за одну ночь наступила весна, это становится поводом для научных наблюдений и толчком к тому, чтобы во всем увидеть волю Провидения и на шаг приблизиться к постижению Бога. Если он, как Файе[1], погружается в изучение христианской мистики, эта мистика парадоксальнейшим образом соединяется с пафосом здравого смысла, столь присущим Просвещению. Если он, как Зетлиц, возвышает голос против социального неравенства и требует справедливости для всех, его критика существующего порядка звучит со строго христианских позиций.

Эта модель мира слишком радикальна, чтобы быть консервативной, и слишком консервативна, чтобы быть радикальной. Перед нами своего рода гуманизм экологического толка: погруженность в природный мир, здравомыслие, христианский прагматизм, помноженные на жажду первопроходцев. Благородство этой модели мира — в этике ответственности за малых сих и чувстве патриотической миссии, которую ее сторонники несут на родных просторах. Ее темная сторона — яростный провинциализм, почти компенсаторного толка, доходящий порой до ксенофобии. Главный парадокс тут заключается в том, что миссия модернизаторов сдерживается, верней, обуздывается благочестивейшей лютеранской религиозностью.

Все это не имеет никакого отношения к комплексу явлений, кото-

1. Leopold von Buch. Reise durch Norwegen und Lappland. — Berlin, 1810. S. 162–163.

2. Петтер Дасс (1647–1707) — нурландский пастор, автор барочных стихов, некоторые из них были положены на музыку, а псалмы Дасса до сих пор поются во многих норвежских приходах. (*Прим. перев.*)

3. Строй речи, проникнутый экологическим сознанием. Термин введен автором. (*Прим. перев.*)

4. Jens Zetlitz. Selskabssang / Nordahl Rolfsen. Norske digtere. — Bergen, 1886. P. 161.

1. Видимо, речь идет о священнике, историке и фольклористе Андреасе Файе (1802–1869). (*Прим. перев.*)

рые Маркс называл идиотизмом сельской жизни. Скорее, мы имеем дело с проектом, направленным на то, чтобы внести в жизнь рациональность и достоинство. И рациональность ценится тут превыше всего: как утверждал Кристен Прам в 1771 году в одной из газет, даже норвежские костюмы, и те рациональнее датских. Мистерии жизни, включая мистерии любви, смерти и безумия, с трудом поддаются обсуждению. Нам остаются тексты — все эти поэмы, дневники и мемуары, а они свидетельствуют о стремлении устроить свой малый мир так, чтобы Сатане не было в нем места.

Замечу: пришедшие на смену пасторам-"экогуманистам" романтики вовсе не порывают с "пасторской" традицией. Контркультура, предъявляющая счет предшествующей эпохе, в XIX веке просто не могла существовать. Битвы старого с новым в XIX веке велись не во имя свободы воображения. Они были организованы иначе, и споры о будущем Родины перетекали в споры о том, как правильно готовить овсянку[1]: священное вполне уживалось с профанным в одном и том же пространстве. Норвежские романтики, подобно их предшественникам, писали патриотические поэмы, выступали за социальные реформы, сажали деревья, осушали болота и изучали деревенскую жизнь. Вергеланн[2] будет проталкивать проект, направленный на изменение общинной жизни, декорировав свои тексты экстатическими благословениями природе и человечеству[1]. Вельхавен[2] будет развивать формы классической поэзии, наполняя их крайне субъективным содержанием. Асбьёрнсен и Му, Осен[3] будут, как и их предшественники, странствовать по селам, собирать предания и изучать диалекты.

В отличие от европейских романтиков, поколение Вергеланна не столько восставало против условностей XVIII века, сколько уточняло смысл старых конвенций. Оно не переиначивало ни одну из доминант Просвещения: рациональность, христианство, оптимизм, одержимость настоящим, а не прошлым, идеализм, стремление к реформам, работа в гуще людей — все это было унаследовано норвежскими романтиками от предшественников и бережно сохранено. Это поколение не противостояло Просвещению. Поиск особенного и национального, активизировавшийся в середине века, осуществлялся в рамках все той же картины мироздания, что была выработана Просвещением. В Норвегии не было "необходимости прививать уважение к разуму, утвердив саму веру в него в какой-либо системе спекулятивной метафизики. Вы-

1. Один из самых острых споров о культуре в Норвегии 1860-х возник вокруг книги П. К. Асбьёрнсона (изданной под псевдонимом Клемент Бонифаций) "Чувствительная кухня", наставлявшей женщин, как правильно готовить овсянку. Эйлерт Сундт выступил с яростной критикой этого труда — на том основании, что автор "Кухни" отвергает тысячелетнюю традицию, существовавшую в стране!

2. Хенрик Арнольд Вергеланн (1808–1845) — поэт и публицист, сторонник радикального норвежского национализма; организовывал народные библиотеки, выпускал популярные брошюры и листовки, издавал газеты. На русском языке поэзия Вергеланна представлена в сб.: Стихи норвежских поэтов. XIX век. — М., 1984. С. 15–47.

1. Имеется в виду поэма Вергеланна "Мироздание, человек и мессия". (*Прим. перев.*)

2. Юхан Себастьян Вельхавен (1807–1873) — норвежский поэт-романтик. Сын священника, получил богословское образование, был профессором философии в Христиании. Русскоязычный читатель может получить представление о поэзии Вельхавена по сб.: Стихи норвежских поэтов. XIX век. — М., 1984. С. 48–80.

3. Петр Кристен Асбьёрнсен (1812–1885) — лесовод, зоолог, прославившийся при этом как фольклорист и составитель (совместно с Йёргеном Му (1812–1882), который был священником, писателем и собирателем сказок) сборника "Норвежские народные сказки" (1841), за которым последовали собственные сборники Асбьёрнсена — "Норвежские волшебные сказки и народные сказания" (1845–1847) и "Норвежские народные сказки" (1871); Ивар Осен (1813–1896) — поэт, фольклорист, грамматист, один из главных идеологов "новонорвежского языка", синтезированного на основе диалектов; в 1848 г. издал "Грамматику народного норвежского языка", а в 1850-м — "Словарь норвежского народного языка". (*Прим. перев.*)

ступающим за господство разума не надо было защищать свои воззрения от кого бы то ни было; Норвегия была разумней разумного"[1].

Наследие пасторов

Роковая (или спасительная?) зависимость норвежской культуры от парадигм пасторального Просвещения сохраняется на протяжении всего XIX, да и XX, веков. Здесь я коснусь лишь некоторых аспектов этого явления.

Эколект как язык национального самосознания

Просто поразительно, насколько норвежская риторическая традиция восходит к пасторам эпохи Просвещения. Именно они выработали тот эмоционально нагруженный дискурс, в котором бытие норвежцев обретает свое выражение через описание пейзажа, земли, климата их страны. Перед нами — целостная система, настоящий эколект. Этот эколект весьма близок восторженным описаниям природы у романтиков, но отражает совсем иное мировосприятие: утилитарное, ставящее превыше всего нужды человека, акцентирующее привязанность человека к конкретному месту и игнорирующее анимистскую или мистическую связь с природой в целом. После эпохи Просвещения данный эколект получил широкое распространение в Скандинавии, чтобы вновь и вновь возникать в самых разных контекстах. Назовем лишь некоторые из них:

а. Эколект "проступает" в рассуждениях о выдающихся представителях нации. Так, весьма характерно высказывание норвежского историка литературы Скарда о писателе Бьёрнстьерне Бьёрнсоне: "Его талант был природной силой, разрывающей наложенные на нее оковы"[1].

б. При попытке описать национальный характер происходит "переход на эколект": тот же Мольтке Му утверждает, что на характере норвежца лежит отпечаток "черной меланхолии и серьезности — память об условиях существования среди суровых фьордов и горных долин, куда так трудно добраться, где пространство, пригодное для обитания человека, крайне ограничено"[2].

в. Эколект связан с восприятием национальных символов и исторических событий, значимых для нации. Так, принятие Конституции 17 мая 1814 года ассоциируется с мифом о щедрости Матери-Природы: "Видимо, неслучайно все это происходит на фоне всепобеждающего наступления норвежской весны, с ее оттепелью, с этой белизной солнечного света в мае, свежей листвой берез, растущих вокруг старого Эйдсволльского поместья. Наша Конституция рождена в один из тех счастливых моментов, когда небо ближе всего подступает к земле и вот — давние чаянья неожиданно воплощаются в жизнь", — пишут историки норвежской культуры Кухт и Скард[3].

г. Эколект почти обязательно присутствует в характеристиках писателей и литературных произведений: так, Вельхавен воспринимается как "человек, живущий в созданном им мире, где царит красота, но этот мир — лишь малая часть целого, подобная саду или парку, разбитых в окружении свободной дикой природы"[4]. О Вергеланне говорится, что "поэзия его дышит красотой и богатством, в этом она по-

1. Цит. по: John Sannes. Patrioter, intelligens og Skandinaver. — Oslo, 1959. S. 105.

1. H. Koht, S. Skard. Fridom og lov I norsk historie og literatur. — Oslo, 1948. S. 236.
2. Moltke Moe og J. E. Sarsю Norsk folkekarakter / Norge i det nittende Aarhundrede. (Eds. Nordal Rolfsen, E. Werenskjold.) — Kristiania, 1900. S. 433.
3. Koht and Skard. Op. cit. S. 193.
4. J. E. Sars. Norges politiske historie. — Kristiania, 1904. S. 1148.

добна природе", а его стиль "подражает естественному движению речного потока" и т. д. По словам Харальда Бейера, "литературе, выросшей в окружении скал, может недоставать роскоши или веселости, — ее достоинство в серьезности и величии тех горизонтов, что открываются взгляду с вершины..."[1].

Близость этого эколекта языку романтиков, "монополизировавших" природу в своих тропах, свидетельствует о тенденции проецировать норвежский ландшафт на народ, живущий внутри этого ландшафта. "Скалистые норвежские горы и голые берега, вторящие эхом рокоту ледяного океана, — пишет Скард, — дышат той же дикостью, что и характер норвежцев". Однако несколькими страницами ниже ученый приходит к выводу, что "в основе сознания норвежцев лежат вовсе не драматические страсти, а "классическая умеренность и здравомыслящий реализм"[2]. Противоречие? О, да. Но оно заложено в самом характере эколекта: тот просто-напросто навязывает характеристики природного ландшафта его обитателям. "Поколение 1814 года" гордилось тем, что видело в норвежской нации олицетворение природы, пробуждающейся ото сна, чтобы всей своей мощью обрушиться на своих обидчиков. Обитатели Норвегии часто изображались как alter ego окружающего пейзажа: свободные, неуступчивые, склонные к крайностям, непроницаемые и неподражаемые в своей изоляции. <...>

Патриотическая поэзия той поры эксплуатировала образ "простых норвежцев": суровых людей, живущих на суровых скалистых берегах или суровом высокогорье, людей с врожденным стремлением к ничем не ограниченной свободе. (Это представление о норвежце как о "Диком человеке" с Севера восходит еще к "Саге о Фридтьофе", но присутствует и в рассуждениях современных культурологов. Так, Хальвдан Кут воспроизводит все тот же топос "Дикого человека", когда пишет в своей истории норвежской культуры: "В 1160 году могущественный король Дании Вальдемар предпринял попытку завоевать Норвегию, но в конце концов вынужден был отказаться от этих планов, ибо ему не удавалось убедить своих магнатов осесть на норвежских землях, так как там жил народ грубый и мятежный"[1]. В своей песне "Когда почувствуем вкус крови на губах", направленной против засилья датчан, Нурдаль Брюн, казалось бы, мирный пастор, говорит языком революции — но чего еще можно ждать от таких подданных?

Наследие "записных радикалов"

При анализе событий 17 мая 1814 года норвежцы раз за разом прибегают к терминам "революция", "восстание", "мятеж". В таких европейских странах, как Польша, Венгрия, Греция, слишком хорошо знакомых с тем, что такое иноземное иго, якобинская риторика стимулировала формирование собственной революционно-романтической традиции. В Норвегии эта риторика мятежа была всего лишь своеобразным синдромом ложной памяти: тщетно было искать за революционным дискурсом реальность баррикад, залитых кровью улиц, городов в зареве пожарищ и поэтов, вздернутых на фонарях. Ибсен насмехался над нерешительностью норвежцев во время Датско-Прусской войны: "Дух этого народа усмирен... они в ужасе отшатываются от всего, что сродни героической мощи и чувству свободы, присущим

1. Harald Beyer. The History of Norwegian Literature. — New York, 1956. P. 4–5.
2. Koht and Skard. Op. cit. p. 123, 146, 162–163.

1. Koht and Skard. Op. cit. p. 21.

прошлому"[1]. В "Бранде" он же иронизировал:

> У вас — свой, маленький удел;
> Что сверх того — ненужно, дурно;
> На поле брани, в битве бурной
> От ваших рук какой вам толк?
> Сберечь свой домик — вот ваш
> долг[2].

Даже у такого романтического бунтаря, как Хенрик Вергеланн, радикальная риторика обманчива. Где и когда он призывал к революции в истинном понимании этого слова? В его творчестве мы не найдем призывов к свержению социального порядка. Да, он превозносил малых сих, но превозносил за "благородную бедность", за безропотное принятие той доли, что выпала им в иерархии бытия[3]. Но образы, хранящиеся в социальной памяти, имеют гипнотическую силу. И революционный дискурс, подобно болоту, "затягивает" и тех ученых, которые готовы усомниться в радикализме как неотъемлемом свойстве норвежской традиции. Так, Йенс Аруп Сейп, с фактами в руках доказывающий, что 1814 год не ознаменовался никакими насильственными изменениями в социальной или политической жизни страны, продолжает рассуждать о "Норвежской революции"[4]. А Ойстен Сёренсен, призывающий к умеренности в оценках роли радикальных движений в норвежской истории, все же говорит о мятеже норвежцев, направленном против договора об унии с Данией. Так революционная образность, пронизывающая социальную память народа, подчиняет себе дискурс, призванный ее изгнать.

Знаменитый критик Георг Брандес[1] еще в XIX веке сетовал на то, что в Скандинавии отсутствует революционная традиция. Он был одним из первых, кто пытался привлечь внимание к этому парадоксу северной культуры — культуры, которая для многих европейских писателей была синонимом романтического мятежа, свободы и демократии. Социально-политические основания "скандинавского" пути уже проанализированы историками и социологами, поэтому воздержимся здесь от повторения сказанного другими, а обратимся к культурному аспекту этой ситуации, во многом еще не исследованному.

Долгое время главными агентами в процессе передачи и воспроизводства национальных убеждений в Скандинавских странах были пасторы. При том, что факт этот признан большинством историков, его культурные последствия до сих пор остаются непрояснеными. Но если на процесс формирования нации (что также можно назвать и процессом безболезненного размежевания наций) повлияли проповедники из норвежской глубинки, то идеология с самого начала подвергалась цензуре этоса, который изначально враждебен любым насильственным социальным изменениям. Как бы ни была радикальна "пасторская риторика" и к каким бы источникам вдохновения она ни восходила, ее носители защищали постепенность любых преобразований, реформы, традиционные ценности. Эти пасторы были хранителями старых образов, привычек и верований, которые долгое время довлели умам людей — и видоизменялись очень

1. Henrik Ibsen. Prologue for Fund-raising Campaign for Norwegian National Theatre, October 15, 1851 / Oxford Ibsen, 8 Vols. — Oxford, 1970–1977. P. 591.
2. Перевод А. В. Коваленского.
3. Henrik Wergeland. For Arbeiderklassen / Henrik Wergeland. Samlede Skrifter. — Kristiania, 1918–1940. Bd. 7.
4. Jens A. Seip. Utsikt over Norges Historie. — Oslo, 1974. S. 48. Лишь Ойвинд Остеруп, настаивающий на том, что 1814 г. следует рассматривать скорее как реставрацию, нежели как революцию, избежал этой ловушки. См.: Nasjonalitetsprinsipp og nasjonsbygging. Norske variasjoner over et europeisk dilemma / Ole Berg, Arild Underdal (eds.). Fra valg til vedtak. — Oslo, 1984. S. 171.

1. Георг Брандес (1842–1927) — литературный критик, датчанин по происхождению. (*Прим. перев.*)

медленно. Призыв "порвать цепи и положить конец рабству" в их устах был не более чем риторическим преувеличением, а вовсе не побуждением к революционному действию. По Ролану Барту, радикальная риторика обладает такой притягательностью потому, что способна оживлять великие формы классицизма и легитимизировать "великую правду демонстративно публичных поступков, к которым серьезные жизненные коллизии подталкивают человека"[1]. Разница между Норвегией и Францией эпохи "великих коллизий" заключалась не только в том, была или не была пролита кровь в той и другой стране. В Норвегии неоклассическая риторика отцов норвежской конституции была неотъемлема от театрального репертуара, созданного пасторами эпохи Просвещения, этими деревенскими Цицеронами и Демосфенами, писавшими для национальной сцены. Это было великое богослужение на латыни, во имя нации.

Одно из самых убедительных культурологических объяснений, почему Скандинавия раз за разом отшатывалась от революции, — концепция "гражданской теологии", предложенная Бернардом Хеннингсоном. Teologia civils, чей абрис дан у Хольберга, Грюндтвига и Кьеркегора, апеллирует к вере в "ответственное, политическое общество" — вере, которая пронизывает не только литературу, но и политику и религию Скандинавских стран[2]. Согласно Хеннингсону, именно эта теология лежит в основе скандинавского иммунитета к идеологии. Диктуемая ею стратегия — выбор срединного пути, ее эпистемиологический базис — здравый смысл, а ее облик — индивидуализм.

<...>

Попробуем подвести некоторые итоги. Существует два вида мифов, хранящихся в коллективной памяти: мифы, обладающие креативной силой, и мифы выхолощенные. В памяти социума присутствуют не только расхожие образы действительных событий, но и "упущенные возможности, непройденные альтернативные пути, эмбриональные формы, не получившие развития"[1]. Норвежский "миф о революции" принадлежит к числу таких непройденных путей. Этот миф питал больше радикальную риторику, чем социальное действие. То был холостой патрон, сотворенный из шума и ярости, а не вызов судьбе. Как показало исследование норвежского рабочего движения в 1919—1920 гг., предпринятое Финном Олстадом, та же самая воинственная риторика была взята на вооружение, чтобы предотвратить надвигающуюся революцию, — и революция не состоялась. "Рабочие поддерживали революцию и Коммунистический интернационал ровно до тех пор, покуда это сулило им немедленные выгоды... За требованием революции были скрыты желания и амбиции иного порядка, и как только они были удовлетворены, идею революции 'убрали на полку'", — пишет историк Финн Олстад[2]. <...> Подобно норвежским романтикам, рабочие склонялись к радикальной риторике, но не к радикальному взгляду на мир.

И история романтиков, и история рабочего радикализма 1920-х годов свидетельствуют: в Скандинавии мы имеем дело с обществом, склонным к "саботажу семантики". Привнесенные из-за границы концепции и образы, соприкоснувшись с местным опытом, резко меняют свой

1. Roland Barth. Selected Writings. Introduced by Susan Sontag. — New York, 1983. P. 39—40.
2. Bernd Henningson. Politik eller kaos? — København, 1980.

1. Geoffrey A. Hosking. Memory in Totalitarian Society / Memory, Culture and the Mind. (Ed. T. Butler). — Oxford, 1989. P. 119.
2. Finn Olstad. Some Reflections on Thought and Action: the Case of the Norwegian Labour Movement / Bo Stråth (ed.). Language and the Construction of Class Identities. — Gothenburg, 1990. P. 538.

смысл, превращаясь в некий фантомный язык, полный экспрессии, за которой ничего не стоит. Если в Норвегии и произошла успешная "революция", то лишь потому, что соответствующие процессы не были революцией; то был не ритуал нарушения табу, а ритуал перехода. И сколько бы ни говорилось о 1814 годе как о начале норвежской Новой Эры, по сути, это был долгий процесс, в котором сплелись движение вперед и откат к старому, ускорение и адаптация, реакция и компромиссы. Современную Норвегию сформировала не политика революционного романтизма, а пасторальная, прагматическая стратегия срединного пути: институциональный контроль над деспотизмом, система политического представительства, права и свободы, гарантированные законом. В той мере, насколько мы можем говорить о "революции" в Скандинавии, мы говорим о движении, которому от рождения были присущи черты протестантизма/пиетизма. Эта "революция" нашла свое выражение не во внешних социальных институтах, а была частным, личным делом каждого — выше уже говорилось, что то же самое произошло в XIX веке с религией в Скандинавских странах. Эта революция ознаменовала разрыв, ритуал перехода, который совершается не в обществе, но в отдельном человеке. И *эта* революция отразилась в скандинавской литературе XIX века, прежде всего в трудах Кьеркегора, в драмах Ибсена и Стриндберга. Их тексты заново открыли или переиначили смысл душевной борьбы, известной еще первым христианам: революция совершается в душе каждого, и каждый сам идет к моральному восхождению — это стало неотделимым аспектом современности.

Норвежская литература на страницах "ИЛ"

1956	Одд Банг-Хансен. *Ответ на международную анкету* [12]
	Арве Муэн. *Ответ на международную анкету* [12]
	Финн Хавревольд. *Ответ на международную анкету* [12]
1957	Эйвинд Болстад. *О том как Рейнерт Мусебергет захотел прыгнуть выше головы.* Роман [10]
	Финн Хавревольд. *Человек в стеклянном яйце.* Статья [2]
1958	Эйвинд Болстад. *Атомные ракеты и Норвегия.* Статья [4]
	Эйвинд Болстад. *Ответ на международную анкету* [5]
	Мартин Наг. *Путь к расцвету.* Статья [1]
1961	Эйвинд Болстад. *Рассказы.* [6]
1964	Йенс Бьёрнебу. *Реквием в честь погибших на войне школьных товарищей.* Стихотворение [6]
	Альф Прейсен. *Долли. Размышления. Подвох.* Рассказы [5]
	Ингер Хагеруп. *Стихи* [6]
1965	Мартин Наг. *Куда идет норвежская литература?* Статья [8]
1967	Мартин Наг. *Ответ на анкету "ИЛ", посвященную Октябрьской революции.* [5]
1976	Юхан Борген. *Рассказы* [9]
1977	Мартин Наг. *Залп "Авроры" и мысли о моей стране.* Статья [9]
	Мартин Наг. *Октябрь в моей биографии.* Статья [11]
1979	Мартин Наг. *Стихи.* [2]
	Карл Фредерик Притц. *Стихи* [2]
1980	Кнут Фалдбаккен. *Страна Заката.* Роман [3–4]
1983	Ханс Бёрли. *Стихи* [6]
	Мартин Наг. *Выступление на софийской встрече писателей 1982 года.* [5]
	Халвор Й. Сандсдален. *Стихи* [6]

1985 Лайла и Тур Турсен. *Через границу с Россией.* Фрагменты романа [5]

1987 Ролф Якобсен. *Стихи* [9]

1991 Хьелль Аскильдсен. *Последние заметки Томаса Ф.* Рассказы [12]

Кнут Гамсун. *Новеллы. На заросших тропинках.* Фрагменты книги [2]

Оста Холт. *Поваренная книга бедняка или малоземельного хутора летопись.* Повесть [11]

1993 Харальд Свердруп. *Стихи* [1]

1996 Ханс Бёрли. *Стихи* [5]

1998 Эрик Фоснес Хансен. *Титаник: Псалом в конце пути.* Роман [7—8]

2002 Хьелль Аскильдсен. *Внезапная спасительная мысль.* Рассказ [3]

Норвежская художественная литература в России

Список книжных изданий 1994–2004 годов

Мы здесь пока живем: Норвежская современная проза / Сост. и предисл. Л. Ульман. – СПб.: БЛИЦ, 1999. – 444 с.
Содерж: **Ульман Л.** Только счастье: [Предисловие] / Пер. Е. Лавринайтис; **Воге Л. А.** Коровы / Пер. А. Ливановой; **Кристенсен Л. С.** Плевок / Пер. Н. Букиной; **Лённ Э.** Метод Тране / Пер. Е. Лавринайтис; **Стиен Л.** Невеста в белом / Пер. И. Наумовой; **Ульвен Т.** Я сплю / Пер. В. Дьяконовой; **Версту С.** Исчезнувшая на лестнице / Пер. Е. Лавринайтис; **Хьярстад Я.** Преодолевая световой барьер / Пер. А. Ливановой; **Далэ Г.** Загадай желание улитке / Пер. А. Ливановой; **Йарволл С.** Кувшин / Пер. Е. Лавринайтис; **Бёге К.** Путь домой / Пер. Е. Лавринайтис; **Фоссе Ю.** И собака может вернуться / Пер. В. Дьяконовой; **Сульстад Д.** О том, что и как едят в Норвегии – и о женщине прогрессивных взглядов / Пер. А. Ливановой; **Ларсен Т. Х.** Заметки незадачливого гребца / Пер. А. Ливановой и Е. Лавринайтис; **Хиде Л.** Девушки года / Пер. В. Дьяконовой; **Амбьёрнсен И.** Черепа / Пер. А. Ливановой; **Тусвик М.** Отпуск / Пер. И. Наумовой; **Ренберг Т.** В белых сапожках / Пер. А. Ливановой; **Халберг Й.** Женщины / Пер. Е. Исуповой; **Петтерсон П.** Пепел во рту / Пер. А. Ливановой; **Хербьёрнсрюд Х.** Халлгрим Флатин 1966 / Пер. А. Ливановой; **Линдстрём М.** История господина Черепашки / Пер. Е. Лавринайтис; **Ашильдсен Х.** Последние записки Томаса Ф., обращенные к человечеству / Пер. О. Ермаковой; **Лавринайтис Е. Ливанова А.** Слово переводчика; Сведения о писателях; Сведения о переводчиках.

Авторы

Амбьёрнсен Ингвар
(Ambjørnsen Ingvar, p. 1956)
Самсон и Роберто. Крутые ребята / Пер. И. Стребловой; Ил. П. Дубвига. – СПб.: Азбука, 2000. – 126 с.
То же. Худож. Н. Воронцов. – СПб.: Азбука-классика, 2002. 175 с.; 2004.
Самсон и Роберто. Наследство дядюшки Рин-Тин-Тэя / Ил. П. Дубвига. – СПб.: Азбука, 2000. – 120 с.
Вид на рай / Пер. Л. Ф. Поповой. – М.: Импэто, 2001. – 176 с.
Самсон и Роберто. Секрет патера Пьетро / Пер. И. Стребловой; Ил. П. Дубвига. – СПб.: Азбука; М.: Оникс 21 в., 2001. – 137 с.
То же. Худож. Н. Воронцов. – СПб.: Азбука-классика, 2003. 186 с.; 2004.

Самсон и Роберто. Неожиданное наследство / Пер. И. Стребловой; Худож. Н. Воронцов. — СПб: Азбука-классика, 2002. — 144 с.

Амундсен Руал
(Amundsen Roald, 1872—1928)
Плавание Северо-Западным проходом на судне "Йоа" / Пер. М. Дьяконовой. — М.: Терра, 2004. — 349 с.

Аскильдсен Хьелль
(Askildsen Kjell, p. 1929-)
Все хорошо, пока хорошо: Рассказы и роман / Пер. и послесл. О. Дробот. — М.: Текст, 2002. — 349 с.
Содерж: Последние заметки Томаса Ф., сделанные им для человечества; Теперь я всегда буду провожать тебя домой; Все хорошо, пока хорошо; Поминки; Макушка лета; Бабье лето; Свидание; Роза расцвела; Ночь Мардона; Ингрид Лангбакке; Карл Ланге; Внезапная спасительная мысль; Мы не такие; Оптимистические похороны Юханнеса; Штырь в старой вишне; Джокер; Бескрайний пустынный ландшафт; Собаки в Салониках; Элизабет; Лицо моей сестры; Окружение: Роман.

Брингсверд Тор Оге
(Bringsværd Tor Ege, p. 1939)
Минотавр / Пер. Л. Поповой; Рис. Ю. Авакяна. — М.: Ной, 1994. — 113 с.

Бьерке Андре
(Bjerke André, 1918—1985)
Мертвецы выходят на берег / Пер. О. Вронской // Бьерке А. Мертвецы выходят на берег; Бальдерсон Б. Министр и смерть; Столессен Г. Паршивая овца. — М., 1996. С. 5—180.

Бьёрнстьерне Бьёрнсон
(Bjærnson Bjærnstjerne, 1832—1910)
Бьёрнсон Б.; Силланпяя Ф. Э. Избранные произведения / Сост. и послесл. Э. Панкратова; / Послесл. Е. Каменской. — М.: Панорама, 1999. — 428 с.

Из содерж.: Бьёрнсон Б. Стихотворения: Да, мы любим эту землю...; Принцесса. ("Принцесса в высокой светелке сидит..."); О, если бы ты знала. ("Не смог я с тобой завести разговор..."); Тайная любовь. ("В углу сидел он..."); Заздравная песнь в честь эйдсволльцев ("Расплавив лед..."); Море вскрылось. ("Море вскрылось, море вскрылось...") / Пер. В. Левика; Эдвард Григ. ("Здесь, ночью, днем осенним...") / Пер. Э. Александровой; Сюннёве Сульбаккен / Пер. К. Телятникова; Перчатка: Пьеса / Пер. А. Эмзиной; Нобелевская речь / Пер. Э. Панкратовой.

Вассму Хербьёрг
(Wassmo Herbjærg, p. 1942)
Книга Дины / Пер. Л. Г. Горлиной. — М.: АСТ, 1999. — 476 с.
То же. СПб.: Азбука-классика, 2002. 491 с.; 2003.
Наследство Карны / Пер. Л. Г. Горлиной. — М.: АСТ, 1999. — 509 с.
То же. СПб.: Азбука-классика, 2002. 505 с.; 2003.
Сын Счастья / Пер. Л. Г. Горлиной. — М.: АСТ, 1999. — 459 с.
То же. СПб.: Азбука-классика, 2002. 473 с.; 2003.
Седьмая встреча / Пер. Л. Горлиной. — М: Слово, 2003. — 459 с.

Вестли Анне-Катрине
(Vestly Anne-Catharina, p. 1920)
Мама, папа, восемь детей и грузовик; Мама, папа, бабушка и восемь детей в лесу; Каникулы в хлеву; Маленький подарок Антона; Бабушкина дорога; Аврора из корпуса "Ц" / Пер. Л. Горлиной; Рис. Ю. Вестли. — М.: ЭКСМО-пресс, 2002. — 478 с.

Висе Ян
(Wiese Jan, p. 1928)
Святая и грешница / Пер. Л. Ф. Поповой. — М.: Импэто, 1999. — 156 с.

Гамсун Кнут
(Hamsun Knut, 1859—1952)
Виктория: Повесть; рассказы. — М.: Радуга, 1994. — 142 с.
Содерж.: Виктория / Пер. Ю. Яхниной; Рабы любви / Пер. Н. Крымовой; Победитель; Голос жизни; Захолустная жизнь / Пер. К. Бальмонта.
Собрание сочинений: В 6 т. / Сост. Ю. Яхниной; Коммент. А. Сергеева. — М.: Худож. лит., 1991 — 2000.
Т. 3. 1994. 653 с.
Содерж.: Странник играет под сурдинку / Пер. С. Фридлянд; Дети века / Пер. А. Афиногеновой; Местечко Сегельфосс / Пер. А. Афиногеновой.
Т. 4. 1996. 732 с.
Содерж.: Плоды земли / Пер. Н. Федоровой; Женщины у колодца / Пер. С. Белокриницкой; О. Рождественского.
Т. 5. 1999. 652 с.
Содерж.: Последняя глава / Пер. Л. Лунгиной; Круг замкнулся / Пер. С. Фридлянд.
Т. 6. 2000. 508 с.
Содерж.: **Рассказы**: Царица Савская / Пер. К. Бальмонта; Дама из "Тиволи" / Пер. Е. Алексеевой; На улице; Кольцо; Совершенно обыкновенная муха средней величины / Пер. К. Бальмонта; Рабы любви / Пер. Н. Крымовой; Сын солнца / Пер. С. Тархановой; Сердцеед / Пер. К. Мурадян; На гастролях / Пер. С. Тархановой; Отец и сын; Голос жизни / Пер. А. Блока; Плут из плутов / Пер. С. Тархановой; Александр и Леонарда / Пер. Э. Панкратовой; Победительница; Тяжелые дни; В клинике / Пер. Е. Алексеевой; **Пьесы**: У врат царства / Пер. Е. Суриц; Царица Тамара / Пер. Н. Киямовой; На заросших тропинках / Пер. Н. Киямовой. — В прилож: Энквист П. У. Гамсун.
Избранное / Вступ. ст. Э. Панкратовой; Коммент. Н. Будур; Худож. С. Любаев. — М.: Терра, 1996. — 623 с.
Содерж.: **Романы**: Пан; Смерть Глана / Пер. Е. Суриц; Виктория / Пер. Ю. Яхниной; Бенони / Пер. С. Фридлянд; Роза / Пер. Е. Суриц; **Новеллы**: Дама из Тиволи / Пер. Е. Алексеевой; Александр и Леонарда / Пер. Э. Панкратовой; Победительница; Тяжелые дни; В клинике / Пер. Е. Алексеевой; **Путешествия**: В сказочном царстве / Пер. Л. Горлиной; Через океан / Пер. Н. Будур.
Виктория / Пер. Ю. Яхниной. — М.: Текст, 1999. — 186 с.
Круг замкнулся / Пер. С. Фридлянд. — М.: Текст, 1999. — 60 с.
Пан / Пер. Е. Суриц. — М.: Текст, 1999. — 187 с.

Плоды земли / Пер. под ред. Н. Федоровой. — СПб.: Азбука, 1999. — 439 с.

Незнакомый Гамсун / Сост., предисл. и коммент. Э. Панкратовой. — Мурманск: Реклам. полиграфия, 2001. — 206 с. Содерж.: Бьёргер / Пер. Э. Панкратовой; **Статьи**: Об Америке / Пер. О. Комаровой; Ларс Офтедаль; Крестьянская культура / Пер. Э. Панкратовой; Слово к нам / Пер. О. Комаровой; Теолог в сказочной стране / Пер. Э. Панкратовой; Письмо к немецкому переводчику; Письмо в "Молде Анноседлад" / Пер. Э. Панкратовой; **Письма разных лет**: Эрику Фрюделунду / Пер. Э. Панкратовой; Марии Герцфельд; Вогту / Пер. Э. Комаровой; Дагни Кристенсен; Венцелю Хагельстаму / Пер. Э. Панкратовой; Марии Благовещенской; Петеру Эммануэлю Ганзену; Константину Пятницкому; Фритьофу Нансену; Эйнару Хильсену; Виктории Гамсун; В Совет по иностранным делам; Письма к Марии / Пер. О. Комаровой.

Скитальцы / Пер. Л. Горлиной. — М.: Текст, 2001. — 396 с.

Август / Пер. С. Фридлянд. — М.: Текст; АСТ, 2002. — 364 с.

Пан; Роза / Пер. Е. Суриц. — М.: Зарубежн. роман: Лит.-худож. журн., 2002. — 96 с.

А жизнь продолжается / Пер. Н. Киямовой. — М.: Текст, 2003. — 412 с.

Голод; Мистерии; Виктория; Под осенней звездой; Странник играет под сурдинку / Предисл. Б. Сучкова. — М.: ОЛМА-пресс, 2004. — 602 с.

Гамсун Туре
(Hamsun Tore, 1912—1995)

Кнут Гамсун — мой отец / Пер. Л. Горлиной, О. Вронской; Вступ. ст. и коммент. Н. Будур. — М.: Терра, 1999. — 462 с.

Гордер Юстейн
(Gaarder Jostein, p. 1952)

Лягушачий замок / Пер. Э. Панкратовой // Толкин Д. Р. Р. Фермер Джайлс из Хэма; Мэннинг-Сэндерс Р. Золотая нога, или Сказки о призраках и гоблинах; Гордер Ю. Лягушачий замок. — М., 1994. С. 133—190.

То же // Лягушачий замок / Худож. В. Волипец. — М., 1995. С. 5—56.

Мир Софии: Роман об истории философии / Пер. Т. Доброницкой. — М.: Радуга, 1997. — 560 с.

То же. 2000.

Рождественская мистерия: Тайна старого календаря. / Пер. Э. Панкратовой. — М.: Радуга, 1997. — 304 с.

Свет утренней звезды. Ч. 1. — М.: Белый алирам, 1998. — 143 с.

Vita brevis: Письмо Флории Эмилии Аврелию Августину / Пер. и послесл. Л. Ю. Брауде. — СПб.: Амфора, 2002. — 191 с.

Апельсиновая девушка / Пер. Л. Горлиной. — СПб.: Амфора, 2004. — 296 с.

То же. 2005.

Ибсен Хенрик
(Ibsen Henrik, 1828—1906)

Кукольный дом: Пьесы / Пер. А. и П. Ганзен. — М.: ЭКСМО-пресс, 2001. — 637 с.

Содерж.: Привидения; Гедда Габлер; Кукольный дом; Столпы общества; Пер Гюнт.

Карлинг Финн
(Carling Finn, 1925–2004)
Под вечерним небом / Пер. П. П. Шабрихина. – М.: Импэто, 2002. – 130 с.

Кристенсен Ларс Соби
(Christensen Lars Saabye, p. 1953)
Полубрат / Пер. О. Дробот. – Москва: Махаон, 2005. – 768 с.

Лёккеберг В ибеке
(Løkkeberg Vibeke, p. 1945)
Пурпур / Пер. Н. Ширяевой. – СПб.: Амфора, 2004. – 366 с.

Лённ Эйстейн
(Lønn Øystein, p. 1936)
Обязательные ритуалы Марен Грипе / Пер. Л. Ф. Поповой. – М.: Импэто, 2000. – 160 с.
"Что будем делать сегодня" и другие новеллы / Пер. П. Шабрихина. – М.: Импэто, 2004. – 134 с.
Содерж.: Теленок в море; Колокольчики для Эммы; Что будем делать сегодня; Не мое это большое дело; Испытание; Река, которая пахла железом; Большой снежный сугроб; Сухой свежевыпавший снег; Рувер берет дело в свои руки.

Линд Идар
(Lind Idar, p. 1954)
Отель "Турденшёльд" / Пер. Л. Жданова // Омре А. Дело Холмгрена; Линд И. Отель "Турденшёльд"; Уильямс Ч. Риф Скорпион. – М.: Терра; Норд, 1995. С. 160–218.

Лу Эрленд
(Loe Erlend, p. 1969)
Наивно. Супер / Пер. И. Стребловой. – СПб.: Азбука-классика, 2001. – 288 с.
То же. 2002; 2002. 252 с.; 2003; 2004.
Во власти женщины: Роман / Пер. О. Вронской. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 256 с.
То же. 2003; 2004. 218 с.; 251 с.
Лучшая страна в мире / Пер. И. Стребловой. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 314 с.
То же. 2003; 2004. 283 с.
Во власти женщины / Пер. О. Вронской; Наивно. Супер; Лучшая страна в мире / Пер. И. Стребловой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 634 с.
4 сказки о Курте / Пер. О. Дробот; Ил. К. Юртхёй. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 390 с.

Матисен Сигурд
(Mathiesen, Sigurd, 1871–1958)
Новеллы / Сост., пер. и предисл. Л. Ф. Поповой. – М.: Импэто, 1998. – 285 с.
Содерж.: Молодые души; Черная неделя; Ассер Хейн; Кровавый вторник; Неизвестный; Флора; Время болезни; Вулкан; Железный крест; Отчий край; Корабль-призрак; Большой пожар.

Нюгордсхауг Герт
(Nygerdshaug Gert, p. 1946)
Гренландская кукла / Пер. Л. Жданова. — М.: Армада, 1995. — 265 с.
Сочинения. В 2 т. /Вступ. ст. Н. Будур; Худож. А. Капнинский — М.: Терра, 1996.
Т. 1. Горький мед; Гренландская кукла; Кодекс смерти / Пер. Л. Жданова. 444 с.
Т. 2. Девятый принцип; Перст Кассандры / Пер. Н. Будур и Л. Жданова. 1996. 317 с.

Нюквист Герд
(Nyquist Gerd, 1913—1984)
Травой ничто не скрыто / Пер. С. Тархановой и Ю. Яхниной. — М.: Издательство Независимая Газета, 2002. — 320 с.
Покойный просил цветов не приносить / Пер. Ю. Яхниной. — М.: FreeFly, 2004. — 267 с.

Омре Артур
(Omre Arthur, 1887—1967)
Дело Холмгрена / Пер. Л. Жданова // Омре А. Дело Холмгрена; Линд И. Отель "Турденшёльд"; Уильямс Ч. Риф Скорпион. — М.: Терра; Норд, 1995. С. 7—158.

Петтерсон Пер
(Petterson Per, p. 1952)
В Сибирь! / Пер. О. Дробот. — СПб.: Лимбус пресс, 2001. — 181 с.

Ривертон Стейн — наст. имя Эльвестад Свен
(Riverton Stein — Elvestad Sven, 1884—1934)
Железная коляска / Пер. Л. Жданова // Каннинг В. На языке пламени; Карр Дж. Д. Три гроба; Ривертон С. Железная коляска; Гаррисон Д. Крылья страха. — М., 1995. С. 257—321.
Хамелеон — М.: Терра, 1997. — 483 с.
Содерж.: Хамелеон / Пер. Л. Горлиной; Смерть явилась в отель / Пер. О. Вронской; Дама непрочь потанцевать / Пер. С. Блахтинского.

Рэм Ховард
(Rem Hevard, p. 1959)
Страна Голгофы: Стихи / Пер. и предисл. С. Фунтусовой; Худож. О. Крывуля. — М.: Импэто, 2003. — 71 с.

Сандему Маргит
(Sandemo Margit, p. 1924)
Женщина с берега / Пер. Б. Злобина. — М.: Сирин, 1997. — 252 с.
Странствие во тьме / Пер. Б. Злобина. — М.: Сирин, 1997. — 254 с.
Кто там во тьме / Пер. Е. Соболевой. — М.: Сирин, 1998. — 231 с.
Легенда о Марко / Пер. О. Дуровой. — М.: Сирин, 1998. — 237 с.
Ужасный день / Пер. О. Дуровой. — М.: Сирин, 1998. — 245 с.
Черная вода / Пер. Е. Соболевой. — М.: Сирин, 1998. — 252 с.
Околдованная; Охота на ведьм; Преисподняя; Томление. — М.: Сирин, 1999. — 637 с.
Смертный грех; Зловещее наследство; Призрачный замок; Дочь палача. — М.: Сирин, 1999. — 621 с.
Невыносимое одиночество; Вьюга; Кровавая месть; Лихорадка в крови. — М.: Сирин, 2000. — 669 с.

Сад смерти; Тайна; Зубы дракона; Крылья черного ворона. — М.: Сирин, 2000. — 637 с.
Следы сатаны; Последний из рыцарей; Ветер с востока; Цветок виселицы. — М.: Сирин, 2000. — 605 с.
Ангел с черными крыльями; Дом в Эльдафьорде; Скандал; Лед и пламя. — М.: Сирин, 2001. — 637 с.
Гора демонов; Затишье перед штормом; Наказание за любовь; Ужасный день. — М.: Сирин, 2001. — 686 с.
Демон ночи; Женщина с берега; Странствие во тьме; Заколдованная луна. — М.: Сирин, 2001. — 653 с.
Легенда о Марко; Черная вода; Кто там во тьме. — М.: Сирин, 2001. — 478 с.
Любовь Люцифера; Чудовище; Паромщик; Ненасытность. — М.: Сирин, 2001. — 653 с.
Страх; Скрытые следы; Немые вопли; В ловушке времени. — М.: Сирин, 2001. — 653 с.
Ущелье дьявола; Демон и дева; Весеннее жертвоприношение; Глубины земли. — М.: Сирин, 2001. — 670 с.

Сандемусе Аксель
(Sandemose Aksel, 1899—1965)
Оборотень / Пер. Л. Горлиной; Предисл. О. Дробот. — М.: Прогресс-традиция, 2004. — 446 с.

Скаген Фредрик
(Skagen Fredrik, p. 1936)
Виктор! Виктор! / Пер. О. Дробот; Свободное падение / Пер. О. Рождественского и А. Чеканского. — М.: Терра, 1996. — 369 с.
Простреленный пейзаж / Пер. Л. Горлиной. — М.: "МИК", 2001. — 287 с.

Стеен Турвалд
(Steen Thorvald, p. 1954)
Константинополь / Пер. Л. Горлиной. — М.: "МИК", 2001. — 190 с.
Исландская лошадка / Пер. Л. Горлиной. — М.: "МИК", 2003. — 641 с.

Столессен Гуннар
(Staalesen Gunnar, p. 1947)
Паршивая овца / Пер. Н. Будур // Бьерке А. Мертвецы выходят на берег; Бальдерсон Б. Министр и смерть; Столессен Г. Паршивая овца. — М., 1996. С. 375—590.

Сульстад Даг
(Solstad Dag, p. 1941)
Т. Сингер / Пер. и предисл. Е. Рачинской. — М.: Прогресс-традиция, 2004. — 254 с.

Тенфьюрд Ю
(Tenfjord Jo, p. 1918)
Салли, дочь пирата: Новые тайны Острова сокровищ / Пер. Л. Брауде; Оформл. М. Бычкова. — СПб.: ЛИК, 2000. — 190 с.

Трап-Мейер Юханнес
(Thrap-Meyer Johannes, 1898—1929)
Смерть Анакреона / Пер. и послесл. Л. Ф. Поповой. — М.: Импэто, 2002. — 158 с.

Ульман Лин
(Ullmann Linn, p. 1966)
Прежде чем ты уснешь / Пер. К. Анисимовой. — М.: Слово, 2003. — 251 с.

Унсет Сигрид
(Undset Sigrid, 1882–1949)
Кристин, дочь Лавранса: В 2 т. / Пер. М. А. Дьяконова; Худож. Е. Г. Клодт. – М.: Дом, 1994.
Т. 1. 1994. 510 с.
Т. 2. 1994. 507 с.
Кристин, дочь Лавранса: Роман в 3 кн. / Вступ. ст. Л. Брауде. – Петрозаводск: Карелия, 1995.
Кн. 1–2 / Пер. М. А. Дьяконова. 634 с.
Содерж.: Кн. 1. Венец; Хозяйка.
Кн. 3. Крест. / Пер. Ю. Я. Яхниной, Л. Ю. Брауде и Ф. Х. Золотаревской.
То же / Худож. Ю. Юров. – М.: КУБОК, 1995; СПб.: Азбука-классика, 2001; М.: ЭКСМО, 2003.
Сага о Вигдис и Вига-Льоте / Пер. Н. Будур // Девы битв / Худож. Н. Алёшина и Т. Хрычева. – М., 1996. С. 7–129.
Йенни: Пер. не указан; Нобелевская речь / Пер. Э. Панкратовой // Деледда Г. Элиас Портолу; Унсет С. Йенни. – М.: Панорама, 2000. – С. 265–464.
Мадам Дортея / Пер. Л. Горлиной. – М.: Текст, 2000. – 348 с.
Возвращение в будущее / Пер., вступ. ст. и коммент. Э. Панкратовой. – М.: ОГИ, 2003. – 171 с.
Фру Марта Оули; Весна / Пер. и вступ. ст. Э. Панкратовой. – М.: Прогресс-традиция, 2003. – 496 с.
Улав, сын Аудуна из Хествикена / Пер. Л. Брауде, Н. Беляковой; Примеч. Н. Беляковой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 634 с.
То же. 2004. 570 с.

Фалдбаккен Кнут
(Faldbakken Knut, p. 1941)
Е-18 / Пер. Э. Панкратовой; Летние каникулы / Л. Поповой. – М.: Импето, 2004. – 374 с.

Фробениус Николай
(Frobenius Nikolaj, p. 1965)
Застенчивый порнограф / Пер. Н. Беляковой. – СПб.: Азбука, 2001. – 317 с.
То же. 2002.
Каталог Латура, или Лакей маркиза де Сада / Пер. Л. Горлиной. – СПб.: Азбука, 2001. – 288 с.
То же. 2002; 2003. 224 с.; Азбука-классика. 2004. 252 с.; 219 с.
То же под загл.: Лакей маркиза де Сада, или Каталог Латура. – СПб.: Азбука-классика, 2001. 249 с.
Адская притча / Пер. Н. Беляковой. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 215 с.
Другие места / Пер. Л. Г. Горлиной. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 284 с.
Адская притча. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 704 с.
Содерж.: Каталог Латура, или Лакей маркиза де Сада / Пер. Л. Г. Горлиной; Адская притча; Застенчивый порнограф / Пер. Н. Беляковой; Другие места / Пер. Л. Г. Горлиной.

Хагерюп Клаус
(Hagerup Klaus, p. 1946)
Маркус и девочки / Пер. В. Дьяконовой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 251 с.
Маркус и Диана / Пер. В. Дьяконовой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 219 с.

Хансен Эрик Фоснес
(Hansen Erik Fosness, p. 1965)
Титаник: Псалом в конце пути / Пер. Л. Г. Горлиной. — СПб.: Азбука, 1998. — 428 с.

Хауген Турмуд
(Haugen Tormod, p. 1945)
Исчезнувший день / Пер. О. Вронской; Белый замок / Пер. Л. Горлиной; Семь царских камней / Пер. О. Вронской и Л. Горлиной; Худож. И. Марев. — М.: Терра, 1997. — 462 с.

Хейердал Тур
(Heyerdahl Thor, 1914—2002)
В поисках Рая; Экспедиция "Кон-Тики" / Пер. Л. Л. Жданова. — М.: Армада, 1997. — 380 с.
То же. 2001.
Экспедиция "Кон-Тики"; "Ра". — М.: Терра, 1998. — 471 с.
Аку-аку / Пер. Л. Л. Жданова. — М.: Армада-пресс, 2001. — 352 с.
По следам Адама. — М.: Вагриус, 2001. — 346 с.
"Ра" / Пер. Л. Л. Жданова. — М.: Армада-пресс, 2001. — 349 с.
Аку-аку. Тайна острова Пасхи / Пер. Л. Жданова. — М.: Астрель; АСТ, 2003. — 379 с.

Хенриксен Вера
(Henriksen Vera, p. 1927)
Королевское зерцало / Пер. О. Вронской; Худож. Д. Гордеев. — М.: Терра, 1995. — 511 с.
Содерж.: Королевское зерцало / Пер. О. Вронской; Сага о королевах / Пер. Н. Будур.
Серебряный молот / Пер. О. Дуровой // Девы битв / Худож. Н. Алёшина, Т. Хрычева. М., 1996. С. 133-358.
Святой Олав / Пер. О. Дуровой, Б. Злобина; Худож. Н. Алёшина. — М.: Терра, 1997. — 537 с.
Корабль без головы дракона / Пер. О. Вронской; Л. Горлиной. — М.: "МИК", 2003. — 310 с.

Холт Коре
(Holt Kere, 1916—1997)
Тризна по женщине / Пер. Л. Г. Горлиной // Холт К. Тризна по женщине; Хаггард Г. Р. Сага об Эйрике Светлооком; Левицкий М. Варяжские гнезда. — М., 1995. С. 11—197.
Конунг / Пер. Л. Горлиной; Худож. Н. Алёшина и Т. Хрычева. — М.: Терра, 1996. — 567 с.
Содерж.: Конунг: Человек с далеких островов; Конунг: Изгои.
Конунг: Властитель и раб / Пер. Т. Чесноковой // Наследие конунгов. — М., 1997. С. 5—201.

Хонес Ойвинд
(Henes Øivind, p. 1960)
Вечная мерзлота / Пер. и ил. Л. Ф. Поповой. — М.: Импэто, 2001. — 135 с.

Хоэм Эдвард
(Hoem Edvard, p. 1949)
Ангел твой, Робинзон. — М.: Изд. центр "Терра", 1996. — 453 с.
Содерж.: Время проб и ошибок; Во времена Тома Бергманна; Ангел твой, Робинзон.

Шульгин Эушен
(Schoulgin Eugene, p. 1941)
Моление о Мирелле / Пер. О. Дробот. — СПб.: Лимбус пресс, 2000. — 206 с.

Эгген Тургрим
(Eggen Torgrim, p. 1958)
Декоратор: Книга вещности / Пер. О. Д. Дробот. — СПб.: Амфора, 2004. — 509 с.
То же. 556 с.

Эгнер Турбьёрн
(Egner Thorbjørn, 1912—1990)
Приключения в лесу Ёлки-на-Горке / Пер. Л. Ю. Брауде; Худож. В. А. Каневский. — Петрозаводск: Карелия, 2002. — 123 с.

Эрставик Ханне
(Ørstavik Hanne, p. 1969)
Любовь / Пер. О. Дробот. — М.: Текст, 2004. — 156 с.

От редакции

2005 год еще не закончился, поэтому мы упомянем лишь несколько переводов с норвежского, попавших в наше поле зрения:

Валла Кристин
Туристы. Роман. Пер. И. Стрельниковой. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 368 с.

Гордер Юстен
Диагноз и др. новеллы. Пер. Л. Брудде. СПб.: Амфора, 2005. — 326 с.

Ибсен Хенрик
Кукольный дом. Гедда Габлер. Дикая утка. Пьесы. Пер. А. и П. Ганзен. — М.: FreeFly, 2005. — 284 с.

Коксвик Марион
Церковная кафедра. Роман, стихи, афоризмы. Пер. Э. Панкратовой, А. Шараповой, К. Мурадян. М.: Импэто, 2005. — 208 с.

Кристенсен Ларс Сааби
Полубрат. Роман. Пер. О. Дробот. — М.: Махаон, 2005. — 768 с.

Лу Эрленд
У. Р. Роман / Пер. И. Стребловой. — СПб.: Азбука-классика. М.: 2005. — 416 с.

Халберг Юнни
Паводок: Роман / Пер. Н. Федоровой. — М.: Иностранка, 2005. — 300 с.

Составил Б. Ерхов

Эрленд Лу
Erlend Loe
[р. 1969]. Норвежский писатель, сценарист, переводчик.

Автор переведенного на 26 языков романа *Наивно. Супер* [*Naiv. Super*, 1996; рус. перев. 2001], а также романов *Во власти женщины* [*Tatt av kvinnen*, 1993; рус. перев. 2002], *У* [*L*, 1999; рус. перев. 2005], *Лучшая страна в мире* [*Fakta om Finland*, 2001; рус. перев. 2002]; детских книг *4 Сказки о Курте* [*Fisken*, 1994, *Kurt blir grusom*, 1995, *Kurt, quo vadis?* 1998, *Kurt koker hodet*, 2003; рус. перев. 2004].
Роман публикуется по изданию *Doppler* [Oslo: Cappelens Forlag a. s., 2004].

Стейн Мерен
Stein Mehren
[р. 1935]. Поэт, прозаик и художник. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии Союза критиков [1963], премии Совета по культуре [1966 и 1969], премии правозащитной организации *Свободное слово* [1978], премии Норвежской академии [1987].

Автор более 30 поэтических сборников, в том числе *Сквозь тишину ночи* [*Gjennom stillheten en natt*, 1960], романов *Неясность* [*Utydelige*, 1972], *Великое освобождение* [*Det store frigjøringen*, 1973], *Титаны* [*Titanene*, 1974], пьес *Шут и его герцог* [*Narren og hans hertug*, 1968], *Большой воскресный завтрак* [*Den store søndagsfrokosten*, 1976], книг *Усилия художника и новое пуританство* [*Kunstens vilkår og den nye puritanismen*, 1974], *Миф и иррациональное понимание* [*Myten og den irrationale fornuft*. 1977–1980], сборников эссе и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Поль-Хельге Хауген
Paal-Helge Haugen
[р. 1945]. Поэт, прозаик, драматург, теолог и переводчик. Лауреат многих премий, в том числе: премии Совета по культуре [1968], премии за лучшее произведение на новонорвежском языке [1985], премии имени Ричарда Уилбера [США, 1986], премии Союза критиков [1990], премии Северного совета [1990].

Автор романа *Анне* [*Anne*, 1968], книги для детей *Путешествия Херра Тидеманна* [*Herr Tidemann reiser*, 1980], многочисленных сборников стихотворений: *К предельной ясности света* [*Fram i lyset, tydeleg*, 1978], *Каменная изгородь* [*Steingjerde*, 1979], *Магма* [*Magma*, 1987], *Медитации на темы Жоржа де ла Тура* [*Meditasjonar over Georges de la Tour*, 1990] и др., а также текстов для ораторий и оперных либретто. Его книги переведены на 20 языков.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Юн Фоссе
Jon Fosse
[р. 1959]. Норвежский драматург, прозаик, поэт. Лауреат премии за лучшее произведение на новонорвежском языке [1993], ежегодной премии имени Х. Ибсена за лучшую норвежскую пьесу [1996] и др.

Его пьесы переведены на 20 языков и идут на 115 театральных площадках по всему миру.
Автор романов *Красное, черное* [*Raudt, svart*, 1983], *Моток ниток* [*Naustet*, 1989], *Свинец и вода* [*Bly og vatn*, 1992], *Утро и вечер* [*Morgon og kveld*, 2000] и т. д.; книг для детей *Бесконечно поздно* [*Uendeleg seint*, 1989], *Край* [*Kant*, 1990], *Черный и мокрый* [*Vett og svart*, 1994] и т. д.; сборников стихотворений *Пес нарезает круги* [*Hundens bevegelsar*, 1990], *Пес и ангел* [*Hunden og engel*, 1992] и др. Новелла *И собака может вернуться* [*Og så kan hunden komme*, 1993] вошла в сборник *Мы здесь пока живем* [1999]. Пьеса *Сон об осени* [Drøm om høsten] была в репертуаре *Балтийского дома* в Санкт-Петербурге.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.
Публикуемый рассказ взят из антологии *Большая любовь. Антология рассказа* [*Den store kjærligheten, novelleantologi*, 1992. Oslo: Det Norske Samlaget, 1992].

Туне Хёднебё
Tone Hødnebø
[р. 1962]. Поэт, переводчик.

Автор сборников стихотворений *Шум* [*Larm*, 1989], *Квадратура тьмы* [*Mørkt kvadrat*, 1994], *Маятник* [*Pendel*, 1997] и др. В 1995 г. в ее переводе вышел том стихотворений Эмили Дикинсон *Маленькое грязное сердце* [*Skitne lille hjerte*, 1995].

Публикуемые стихи взяты из сборника *Восхождение к бу-ре* [*Stormstigen*. Oslo: Kolon, 2002].

Тарьей Весос
Tarjei Vesaas
[1897–1970]. Норвежский писатель, поэт и драматург. Лауреат премии Северного совета [1964].

Автор романов *Посол Хускульд* [*Sendemann Huskuld*, 1924], *Черные лошади* [*Dei svarte hestane*, 1928], *Незнакомцы* [*Dei ukjende mennene*, 1932], *Сандаловое дерево* [*Sandeltreet*, 1933], *Великая игра* [*Det store spelet*, 1934, рус. перев. 1983], *Башня* [*Tårnet*, 1948], *Сигнал* [*Signalet*, 1950], *Птицы* [*Fuglane*, 1957; рус. перев. 1983], *Ледяной замок* [*Is – slottet*, 1963; рус. перев. 1983], сборников новелл *Глина и колесо* [*Leiret og hjulet*, 1936], *Ветры* [*Vindane*, 1952], *Красивый день* [*Ein vakker dag*, 1959], стихотворных книг *Источники* [*Kjeldene*, 1946] и т. д. На русском языке вышел сборник избранных произведений [1983], его рассказы также публиковались в сборниках *Современная норвежская новелла* [1977] и *Норвежская новелла XIX–XX веков* [1974].
Публикуемый рассказ взят из сборника [*Vindane* Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1952].

Юхан Борген
Johan Borgen
[1902–1979]. Норвежский писатель, литературный критик, журналист. Лауреат премии Скандинавского совета [1966].

Автор трилогии *Маленький лорд* [*Lillelord*, 1955, рус. перев. *ИЛ*, 1968, № 6], *Темные источники* [*De mørke kilder*, 1956, рус. перев. 1979], *Теперь ему не уйти* [*Vi har ham nå*, 1957; рус. перев. 1979], романов *Маленький Судный день* [*Lille dommedag*, 1935], *Sorry boy* [1961] и др., новелл *Новеллы о любви* [*Noveller om kjærlighet*, 1952], *Ночь и день* [*Natt og dag*, 1954], *Удачи* [*Lykke til*, 1974], *В этой комнате* [*I dette rom*, 1975] и т. д. В *ИЛ* публиковались его рассказы [1976, № 9]. На русском языке также выходили *Избранные новеллы* [1984], сборник рассказов *Декабрьское солнце* [*Библиотека ИЛ*, 1983], сборник статей и эссе *Слова, живущие во времени* [1988], а также рассказы в сборниках *Норвежская новелла XIX–XX веков* [1974] и *Современная норвежская новелла* [1977].
Публикуемые тексты взяты из сборника *Ночь и день* [*Natt og dag*. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1977].

Йенс Бьёрнебу
Jens Bjorneboe
[1920–1976]. Норвежский писатель и художник. Лауреат премии Союза критиков [1973].

Автор романов *Юнас* [*Jonas*, 1955], *Темнокожий* [*Blåmann*, 1959], *Сон и колесо* [*Drømmen og hjulet*, 1964], *Миг свободы* [*Frihetens øyeblikk*, 1966], *Тишина* [*Stillheten*, 1973] и т. д., сборников стихотворений *Ариадна* [*Ariadne*, 1953], *Большой город* [*Den store by*, 1958], драм *С днем рождения* [*Til lykke med dagen*, 1965], *Любители птиц* [*Fugleelskerne*, 1966] и т. д., эссе *Норвегия, моя Норвегия* [*Norge, mitt Norge*, 1968], *Мы, которые любили Америку* [*Vi som elsket Amerika*, 1970], *Акулы* [*Haiene*, 1974; рус. перев. 1985]. В *ИЛ* печатался *Реквием в честь погибших на войне школьных товарищей* [1964, № 6].
Рассказ впервые опубликован газетой *Orientering*, 4.09.1965. Печатается по изданию *Норвегия, моя Норвегия* [*Norge, mitt Norge*. Pax Forlag, 2002]

Хьелль Аскильдсен
Kjell Askildsen
[р. 1929]. Норвежский писатель, переводчик. Лауреат премии Северного совета [1991].

Автор романов *Брат Давида* [*Davids bror*, 1957], *Окружение* [*Omgivelser*, 1969], *Милый, милый Улав* [*Kjære, kjære Oluf*, 1974], *Будни* [*Hverdag*, 1976], сборников рассказов *Последние заметки Томаса Ф., сделанные им для человечества* [*Thomas F's siste nedtegnelser til almenheten*, 1983], *Внезапная спасительная мысль* [*En plutselig frigjørende tanke*, 1987], *Бескрайний пустынный ландшафт* [*Et stort øde landskap*, 1991]. На русском языке издан сборник *Все хорошо, пока хорошо* [2002]. В *ИЛ* печатались его рассказы [1991, № 12; 2002, № 3]
Публикуемый рассказ взят из сборника *Внезапная спасительная мысль* [*En plutselig frigjørende tanke*. Oslo: Forlaget Oktober, 1987].

Бьёрг Вик
Bjorg Vik
[р. 1935]. Норвежская писательница и новеллистка.

Автор сборников новелл *Воскресный вечер* [*Søndag ettermiddag*, 1963], *Рассказ о свободе* [*Fortellingen om frihet*, 1975], *Скоро осень* [*Snart er det høst*, 1982], *Долгий путь к другому человеку* [*Den lange veien til et annet menneske*, 1993], романов *Плачь, лю-*

Лауреат Премии за лучшее произведение на риксмоле [1972].

бимый [*Grât, elskede mann*, 1970], *Маленькие ключики, большие комнаты* [*Små nøkler, store rom*, 1988], *Эльси Люнд* [*Elsi Lund*, 1994], пьес и книг для детей. Ее рассказы публиковались в сборниках *Скандинавия. Литературная панорама. Вып. 1.* [1989], *Современная норвежская новелла* [1977], *Великанова купель* [1989], *Мы здесь пока живем* [1999], а также отдельной книгой *Недостоверные данные о счастье* [*Библиотека ИЛ*, 1989]. Публикуемый рассказ взят из сборника *С учетом отношений* [*Fohaldene tatt: betraktning*. Oslo, Cappelens Forlag a. s., 2002].

Хьяртан Флёгстад
Kjartan Fløgstad
[р. 1944]. Норвежский писатель и поэт. Лауреат премии Северного совета [1978].

Автор романов *Долина Портленд* [*Dalen Portland*, 1977], *Огонь и пламя* [*Fyr og Flamme*, 1980], *У-3* [*U-3*; 1983, рус. перев. 1988], *Ножом по горлу* [*Kniven på strupen*, 1991], эссе *Диалектический детектив* [*Den dialektiske detektiv*; рус. перев. в сборнике *Скандинавия. Литературная панорама. Вып. 1*, 1989], стихов и статей.
Публикуемая новелла взята из сборника *Фалинь* [*Fangliner*. Oslo: Samlaget, 1972].

Ханс Хербьёрнсрюд
Hans Herbjoernsrud
[р. 1938]. Норвежский новеллист. Лауреат литературной премии имени Тарьея Весоса за лучший дебют [1980], премии Союза критиков [1998].

Автор многих сборников рассказов, в том числе *Свидетели* [*Vitner*, 1979], *Он* [*Han*, 1987], *Икс и Зет* [*Eks og Sett*, 1992], *Мы знаем так много* [*Vi vet så mye*, 2001]. Рассказы публиковались в сборнике *Мы здесь пока живем* [1999].
Публикуемая новелла взята из сборника *Зима* [*Vinter*. Gyldendal Norsk Forlag, 1979].

Фруде Грюттен
Frode Grytten
[р. 1960]. Норвежский писатель и журналист. Лауреат премии, приуроченной к столетию Нурдаля Грига [2002] и премии за язык и стиль [2003].

Автор романа в новеллах *Песня улья* [*Bikubesong*, 1999], сборника стихов *Старт* [*Start*, 1983], сборников рассказов *Пловцы на длинные дистанции* [*Langdistansesvømmar*, 1990], *Больше, чем дождь* [*Meir enn regn*, 1995], *Попса* [*Popsongar*, 2001].
Публикуемая новелла взята из книги *Песня улья* [*Bikubesong*. Oslo: Der Norske Samlaget, 2001].

Рой Якобсен
Roy Jacobsen
[р. 1954]. Норвежский писатель.

Автор романов *Новая вода* [*Det nye vannet*, 1987], *Победители* [*Seierherrene*, 1991], *Мороз* [Frost, 2003], сборника рассказов *Тюремная жизнь* [*Fangeliv*, 1982]. Рассказ *Птичий корм* вышел по-русски в сборнике *Великанова купель* [1989].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Открытое окно* [*Det nye vinduet*. Oslo: J. W. Cappelens Forlag a. s., 2002].

Юнни Берг
Jonny Berg
[Halberg]
[р. 1962]. Норвежский писатель. Лауреат премии Союза критиков [2001].

Автор романа *Паводок* [*Flommen*, 2000] и др. Рассказ *Женщины* вошел в сборник *Мы здесь пока живем* [1999].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Погибель* [*Gå under*. Oslo: Forlaget Oktober, 1992].

Беата Гримсрюд
Beate Grimsrud
[р. 1963]. Норвежская писательница.

Автор сборника новелл *Границы моего непонимания* [*Det fins grenser for jeg ikke forstår*, 1990], романов *Континентальный рай* [*Continental Heaven*, 1993], *Проскользнуть мимо топора* [*E smyge forbi en øks*, 1998], *Что ж там такое в лесу, деточка* [*Hva er det som fins i skogen barn*, 2002], пьесы *Видел ли меня кто-нибудь в другом месте* [*Har noen sett meg et annet sted*, 1996] и др.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Границы моего непонимания* [*Det fins grenser for hva jeg ikke forstår*. Oslo: Cappelens Forlag a. s., 1990].

Бьярте Брейтейг
Bjarte Breiteig
[р. 1974]. Норвежский новеллист.

Автор сборников рассказов *Фантомные боли* [*Fantomsmerter*, 1998], *Суррогаты* [*Surrogater*, 2000].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Суррогаты* [*Surrogater*. Oslo: Aschehoug, 2000].

Фритьоф Нансен
Fridtjof Nansen
[1861–1930].

Норвежский исследователь Арктики, первым пересек Гренландию на лыжах [1888–1889], руководил экспедицией на Фраме [1893–96]. После окончания Первой мировой войны Нансен был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных. Являлся одним из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1921 г. В 1925–1929 гг. – глава комиссии по репатриации армянских беженцев в Советскую Армению. Лауреат Нобелевской премии мира [1922].
Публикуемая статья взята из книги *Хочется сказок* [*Eventyrlyst*. Oslo: J. W. Cappelens Forlag a. s., 1995].

Пер Эгиль Хегге
Per Egil Hegge
[р. 1940]. Журналист и публицист.

Публикуемый фрагмент взят из книги *Фритьоф Нансен – только одно желание* [*Fridtjof Nansen. Bare èn vilje*. Oslo: J. M. Stenersens Forlag, 2002].

Ингар Слеттен Коллоэн
Ingar Sletten Kolloen
[р. 1952]. Журналист и публицист.

Автор двухтомной биографии Гамсуна *Мечтатель* [*Svermeren*, 2003] и *Победитель* [*Erobreren*, 2004]. За этот труд в 2004 году удостоен приза читательских симпатий.

Кнут Гамсун
Knut Hamsun
[1859–1952]. Норвежский писатель, драматург, публицист, лауреат Нобелевской премии [1920].

Автор романов *Голод* [*Sult*, 1890; рус. перев. 1910], *Пан* [*Pan*, 1894; рус. перев. 1910], *Виктория* [*Victoria*, 1898; рус. перев. 1904], *Плоды земли* [*Markens grøde*, 1917; рус. перев 1922] и др. На русском языке издавалось собрание сочинений Гамсуна [1910], а также двухтомник [1970] и шеститомник [1991–2000]. Многие произведения выходили отдельными изданиями. В *ИЛ* публиковались его новеллы и отрывок из книги *На заросших тропинках* [1991, № 2; 1991, № 11].
Статьи взяты из книги *Полемические тексты Гамсуна* [*Hamsuns polemiske skrifter*. Oslo: Gyldendal, 1998].

Гейр Поллен
Geir Pollen
[р. 1952]. Норвежский поэт, прозаик, переводчик. В 2000-2004 годах – председатель Союза писателей Норвегии.

Дебютировал в 1982 году. В 1999 году за роман *Hutchinsons Eftf* номинировался на премию Северного совета. В 2005 году был удостоен премии Союза критиков за перевод романа В.-Г. Зебальда *Аустерлиц*.
Публикуемая статья печатается по рукописи.

Даг Сульстад
Dag Solstad
[р. 1941]. Норвежский прозаик, публицист. Лауреат многих национальных премий, в том числе премии Северного совета [1989] за роман *Норвегия* [Norge].

Автор романов *Война 1940* [*Krig 1940*, 1978], *Рассказ учителя гимназии Педерсена о великом политическом пробуждении, которого сподобилась наша страна* [*Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsukt vert land*, 1982], *Попытка разобраться в непостижимом* [*Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige*, 1984; рус. перев. 1989], *Ночь профессора Андерсена* [*Professor Andersens natt*, 1996], *T. Сингер* [*T. Singer*, 1999; рус. перев. 2004], сборников новелл *Спирали* [*Spiraler*, 1965], *Вращающийся стул* [*Svingstol*, 1967] и др. Новелла *О том, что и как едят в Норвегии – и о женщине прогрессивных взглядов* [*Norske vaner, særlig matvaner + og den radikale kvinnen*] опубликована в сборнике *Мы здесь пока живем* [1999].
Отрывок взят из романа *Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsørt vart land* [Oslo: Forlaget Oktober, 1982].

Ян Хьярстад
Jan Kjærstad
[р. 1953]. Норвежский писатель. Лауреат премии Северного совета [2001].

Автор романа *Край* [*Rand*, 1990], трилогии *Обольститель* [*Forføreren*, 1993], *Завоеватель* [*Erobreren*, 1996], *Первооткрыватель* [*Oppdageren*, 1999], эссе *Человеческая матрица* [*Menneskets matrise*, 1989], детских книг *Охота на тайные вафельные сердечки* [*Jakten på de skjulte vaffelhjertene*, 1989], *У Шахерезады, сказочной королевы* [*Hos Sheherasad, fantasiens dronning*, 1995]. Отрывок из романа *Обольститель* под названием *Преодолевая световой барьер* вошел в сборник *Мы здесь пока живем* [1999], рассказы *Взять высоту* и *Песня синей тоски* — в сборник *Великанова купель* [1989].
Публикуемая статья взята из журнала *Nordmen*.

Нина Витошек
Nina Witoszek
Родилась в Польше, работала переводчиком и редактором в самиздатовских журналах, в 1983 году была выслана из Польши, обосновалась в Норвегии. В настоящее время профессор Университета Осло. Награждена премией правозащитной организации *Свободное слово* [2005].

Автор нескольких монографий, в том числе *Норвежский миф: от Эдды к экологическому мышлению* [*Norske naturmytologier: fra Edda til økofilosofi*, 1998]. Под псевдонимом Нина Фитц Патрик выпустила несколько романов.
Публикуемая статья печатается по рукописи.

Борис Александрович Ерхов
[р. 1942]. Библиограф, переводчик, специалист по скандинавской литературе.

Составитель библиографии *Скандинавская художественная литература в русской печати* в 3 т. [1986—1997], сборников *Стихи норвежских поэтов. XIX век* [1984], *Андерсен в русской литературе* [1997], *Судья и строитель: Писатели России и Запада о Генрике Ибсене* [2004] и др.

Переводчики

Ольга Дмитриевна Дробот
Переводчик со скандинавских и английского языков, литературовед, кандидат филологических наук.

В ее переводах опубликованы романы норвежских писателей П. Петтерсона, Л. С. Кристенсена, Х. Аскильдсена, Х. Эрставик, Э. Шульгина и др., детские книги Э. Лу. В *ИЛ* печатались ее переводы новелл Хьелля Аскильдсена *Последние заметки Томаса Ф.* [1991, № 12] и *Внезапная спасительная мысль* [2002, № 3], а также новелл Торгни Линдгрена [1995, № 9].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* 2002

В его переводах публиковалась проза Малькольма Брэдбери, Артура Конан Дойла, Джона Донна, Уильяма Батлера Йейтса, Артура Мейчена, Алана А.Милна, Чарльза Симика, Эзры Паунда, Мирчи Элиаде, роман Терри Пратчетта *Угонщики, Философы с большой дороги* Тибора Фишера и др., стихи Ага Шахида Али, Луизы Глюк, Ждо Гина, Алана Дагена, Джимми Моррисона, Эзры Паунда, Уолтера Рэли, Лоуренса Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Джона Донна *По ком звонит колокол* (М., 2004), автор многих работ об английской поэзии рубежа XVI—XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыба подо льдом*. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Анна Сергеевна Турунтаева
Переводчик с норвежского

В ее переводе опубликована книга Н. Кристи и К. Бруну *Удобный враг. Политика борьбы с наркотиками*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Любовь Григорьевна Горлина
Филолог-германист, переводчик со скандинавских языков. Удостоена Королевской медали А. Олава [1995].

В ее переводе с норвежского издавались К. Шамун, С. Унест, Н. Фробениус, романы *Веселый парень* Б. Бьёрнсона, *Музыка голубого колодца* и *В следующее новолуние* Турборг Недреос, *Великая игра и Птицы* Т. Весоса, *Акулы* Й. Бьёрнебу; со шведского — романы *Путь змея на скале* Т. Линдгрена, *Река памяти* и *Городские ворота* С. Дельбланка, *Милейший принц* К. Чильмана; с исланд-

ского — тетралогии *Свет мира* Х. Лакснесса, а также книги для детей, рассказы, очерки и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались романы *В поисках Дины* [*Сын Счастья*] Хербьёрг Вассму [1994, № 6]; *Псалом в конце пути* Э. Ф. Хансена [1998, № 7—8].

Нора Киямова
Переводчик с английского, датского и норвежского языков.

В ее переводе издавались произведения В. С. Найпола, Х. М. Свенсен, М. А. Хансена, К. Гамсуна, Х. К. Андерсена и др. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи Х. Й. Сандсдалена [1983, № 6] и П. Хейна [1976, № 10; 1984, № 1], сказки и истории Х. К. Андерсена [2005, № 7].

Татьяна Львовна Шенявская
Филолог-германист, переводчик с английского и скандинавских языков.

Автор ряда статей по древнеисландским сагам, древней и современной исландской поэзии. Принимала участие в создании *Большого норвежско-русского словаря* [Осло, 2003]. Один из переводчиков *Истории европейского права* Э. Аннерса [1994].

Ольга Юрьевна Вронская
Переводчик со скандинавских языков

В ее переводах опубликованы произведения А. Бьерке, Т. Т. Хаугер, В. Хенриксен, С. Ривертона, Т. Гамсуна, Э. Лу и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Максимовна Чевкина
Переводчик с английского и скандинавских языков.

В ее переводах опубликованы стихи П. Лагерквиста, В. фон Хейденстама, Г. Хофму, Й. Хьяульмарссона, роман М. Аксельссон *Апрельская ведьма* [2002] и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатан рассказ Л. Густафссона *Искусство пережить ноябрь* [1995, № 9].

Александра Александровна Афиногенова
Переводчик со скандинавских языков.

В ее переводах публиковались новеллы А. Стриндберга и его пьесы *Игра снов, Пляска смерти, На пути в Дамаск*, романы *Местечко Сегельфосс* и *Дети века* К. Гамсуна, пьеса *Ночь Трибад* и роман *Библиотека капитана Немо* П. У. Энквиста. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны книги И. Бергмана *Laterna Magica* [1989, № 9—11] и *Благие намерения* [*Den goda viljan*, 1994, № 5], роман П. У. Энквиста *Низверженный ангел* [*Nedstorad angel*, 2001, № 4], сказка Х. К. Андерсена [2005, № 7].

Вера Дмитриевна Дьяконова
Переводчик с норвежского.

В ее переводах опубликованы пьесы Юна Фоссе *Имя* и *Сон об осени*, а также произведения К. Хагерюпа, новеллы Т. Ульвена, Л. Хиде и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, норвежского, нидерландского, английского и польского языков, лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Елена Степановна Рачинская
Преподаватель норвежского языка, переводчик со скандинавских языков.

В ее переводе вышли книги Н. Кристи *Плотность общества* и Д. Сульстада *Т. Сингер*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Светлана Владимировна Карпушина
Преподаватель норвежского языка, переводчик с норвежского, английского и немецкого языков, кандидат философских наук. Переводчик в Посольстве Норвегии в России.

Автор ряда учебников для вузов и школ [в соавторстве с В. А. Карпушиным], в том числе *История мировой культуры* [1998], *Мировая художественная культура. Древний мир*. 9 класс [2002]; *Мировая художественная культура. Древний мир* 10 класс [2002], а также учебника норвежского языка [2001], пособия *Лингвострановедение Норвегии* [2005] и др. В ее переводе опубликованы книги П. А. Сорокина *Социологические теории современности* [1992], К. Маннхейма *Диагноз нашего времени. Очерки военного времени, написанные социологом* [1992], Э. Фромма *Здоровое общество* [совместно с Т. В. Банкетовой, 1998], И. Галтунга *Йохан — гражданин мира* [2004] и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины норвежского художника Эдварда Мунка [1863–1944] *Лунный свет* [1895].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.10.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2516.
Тираж 7900 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

“ИЛ” в 2006 году:

“Романтический эгоист” – новый роман-дневник-гламурная хроника овеянного славой француза ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА.

“Флоренс Аравийская” – роман хорошо известного российскому читателю американца КРИСТОФЕРА БАКЛИ, увлекательный остросатирический рассказ о молодой женщине, волею обстоятельств вовлеченной в разворачивающуюся в Арабских Эмиратах политическую интригу.

“Любовный саботаж” – повесть о детстве тридцатилетней бельгийки, бессменного автора бестселлеров, АМЕЛИ НОТОМБ.

“Не отпускай меня” – новинка от известного английского романиста КАДЗУО ИСИГУРО. Это антиутопия, где речь пойдет о клонировании. Автор, мастер закрученной интриги, рассмотрел проблему в очень необычном ракурсе...

“Король среди ветвей” – повесть популярного американского писателя СТИВЕНА МИЛЛХАУЗЕРА, современная версия легенды о Тристане и Изольде, рассказанная свидетелем и участником событий – советником короля Марка.

“Свидания” – маленький французский роман о любви мастера стильной прозы КРИСТИАНА ОСТЕРА, которого “ИЛ” впервые представляет на русском языке.

“Игра в вышибалу” – новый роман самого читаемого автора в Чехии, МИХАЛА ВИВЕГА.

“Педант на кухне” – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА.

“Рассказчик” ДЭНИЕЛА СТАШУОЭРА – биография английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930), создавшего образ знаменитого сыщика-любителя Шерлока Холмса.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро “Новокузнецкая”, “Третьяковская”). Тел. 953-51-47.

---

[12] 2005

РОМАН МЮРИЕЛ СПАРК “ПИР” / “САМОСЕВ” — ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ФИЛИППА ЖАКОТЕ / “ИНВЕНЦИИ” ХУАНА ХОСЕ АРРЕОЛЫ / СОЛ БЕЛЛОУ В РУБРИКЕ “IN MEMORIAM” / “КОСТАС МОНТИС: СОКРАТ НОВОГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ” ИРИНЫ КОВАЛЕВОЙ В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”

non/fictio№7

30 ноября – 4 декабря 2005

7 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

Центральный Дом Художника

Гость ярмарки – Польша

Организатор: Компания «ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты»

119049, Москва, Крымский вал, 10, офис 165

Тел./факс: (095) 238 4500, 238 4516

E-mail: mailbox@expopark.ru

http://www.expopark.ru

Генеральные информационные спонсоры:

афиша

РАДИО РОССИИ

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ EXPO-PARK

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №11, 1-288